6.1974

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

№ 6

Июнь 1974

СОДЕРЖАНИЕ

МАКС ФОН ДЕР ГРЮН — Местами гололед *(Роман. Перевод с немецкого Н. Бунина и В. Стеженского)* 3

ЛУИС СИМПСОН — Стихи *(Перевод с английского Олега Чухонцева. Вступление А. Зверева)* 41

К 670-летию со дня рождения и 600-летию со дня смерти Франческо Петрарки

ЯН ПАРАНДОВСКИЙ — Петрарка *(Перевод с польского В. Борисова. Послесловие Я. Парандовского)* 50

РОМУЛО ГАЛЬЕГОС — Земля под ногами *(Роман. Окончание. Перевод с испанского В. Крыловой)* 149

По страницам журнала «Всесвит»

ДМИТРО ПАВЛЫЧКО — Знакомьтесь — журнал «Всесвит» 204

ВАЛЕРИЯ ВЕДИНА — Творческое счастье Юлиана Кавальца 205

ТАТЬЯНА ЯКИМОВИЧ — «Самая большая авария французской драматургии» 209

ЖАК ФРЕМОНТЬЕ — Слово — рабочим «Рено» (Отрывки из книги «Рабочая крепость: «Рено». *Перевод с французского Ярославы Собко. Послесловие Юрия Покальчука)* 215

ЮРИЙ КОСАЧ — Мышиная возня на «корабле дураков» 225
МАРТТИ ЛАРНИ — Украинским друзьям о Финляндии и финнах *(Перевод с финского В. Смирнова)* 227

К 175-летию со дня рождения А. С. Пушкина

ЛАСЛО НЕМЕТ — Пушкин *(Перевод с венгерского Т. Воронкиной. Вступление В. Лакшина)* 230

Культура и современность

Заметки на полях

А. Галкин — Призраки возвращаются 238

Публицистика

В. КОМИССАРЖЕВСКИЙ — Пространство, которое не может оставаться пустым (Из заметок о зарубежном театре. Окончание) 244

Наши гости

А. Карлов — Действительность — основа творчества (Французские писатели в «Иностранной литературе») 254

Изобразительное искусство за рубежом

АЛЕКСАНДР РОМАНЕНКО — «В мире наших плакучих ив...» 257

Среди книг

Издано в СССР

Ал. Михайлов — «Все, как было...» О. Малевич — Два романа Йозефа Томана. Г. Ронская — Вечером, у очага 260

Издано за рубежом

Красин Химирски — Во имя «поющего завтра». С. Мамонтов — Жизнь и смерть венесуэльского каудильо 266

Из месяца в месяц

270

Авторы этого номера

287

На обложке: Картина югославского художника КРСТО ХЕГЕДУШИЧА «Весна».

На цветной вкладке: Работы КРСТО ХЕГЕДУШИЧА.

© «Иностранная литература», 1974.

МАКС фон дер ГРЮН

Местами гололед

РОМАН

Перевод с немецкого Н. БУНИНА и В. СТЕЖЕНСКОГО

Девочку инвалиды нашли на лесной дороге.

Полураздетый ребенок лежал, уткнувшись лицом в мокрую листву. То была десятилетняя дочка строительного подрядчика Шёллера из дортмундского пригорода Эфинг. Лес, где ее нашли, большой, смешанный, гектаров триста. Инвалиды ходят туда гулять, когда им больше нечего делать. Ежедневно по два часа, если позволяет погода.

Инвалиды обступили мертвую девочку. Генрих Виттбройке пошел к шоссе, остановил проезжавшую машину и попросил водителя известить полицию. Минут через десять прибыл полицейский патруль. Инвалиды посторонились. Генрих Виттбройке сказал:

— Сволочь... ну и сволочь... когда поймаете этого скота, не надо его сразу под суд. Сперва отрежьте ему ... под самый корень, а потом уж и голову долой.

Пока не приехала оперативная группа уголовного розыска, инвалиды не уходили. Из их забетонированных легких вырывался гулкий кашель.

Над Дортмундом висел смог.

Когда санитарная машина увезла труп девочки, инвалиды поплелись в пивную «Гильденхоф». Прислонившись к стойке, они пили пиво, водку и наперебой рассказывали о происшедшем, рассказывали с такой горячностью, словно нашли мешок золота. Вечером уже по всей округе поползли слухи, что дочку Шёллера убил итальянец Анжело Пинола, рабочий волочильного цеха на заводе Хёша и завсегдатай пивной «Гильденхоф». Живет он над гаражом подрядчика Шёллера, в комнате, которую снимает с двумя другими итальянцами. Говорили, что не раз видели Анжело вместе с Ренатой Шёллер, что он часто играл с девочкой и ходил с ней на прогулки.

В свободное время Анжело Пинола работает на подрядчика Шёллера: возит в грузовике песок, гравий, камень. Из приработка Анжело ежемесячно выплачивает Шёллеру сто пятьдесят марок за квартиру да еще кое-что откладывает.

Вечером Анжело Пинолу арестовали на работе, в цехе, и хозяин «Гильденхофа» заявил, что больше не пустит в пивную ни одного итальянца.

— Если появится какой-нибудь макаронник,— обратился он к посетителям,— гоните его в шею.

Столяр Вёльберт и кровельщик Меерман, двое завсегдатаев «Гильденхофа», встали у дверей. В этот вечер ни один итальянец не показывался в пивной. Провожая последних посетителей, хозяин изрек:

— Теперь ясно, что это был Анжело. Иначе хоть один макаронник да заявился бы сегодня.

■

Примерно так в воскресенье утром мне пересказали на улице эту историю. Многие знали, что я давно дружу с Анжело. В полдень я отправился в пивную на «утреннюю заправку». Потягивая возле стойки пиво, прислушался к разговорам. Всем хотелось узнать мое мнение, но я в ответ на вопросы лишь пожимал плечами, и ко мне перестали обращаться. Кровельщик Меерман сказал:

— Майвальд — он сам такой, он за итальяшек.

Не спеша отхлебывая пиво, я смотрел, как хозяин моет стаканы. Услышав, что Меерман еще раз повторил: «Майвальд — он сам такой...» — я с недопитым стаканом в руке подошел к нему и спросил:

— Что ты хочешь этим сказать?

Он рассмеялся.

Я выплеснул пиво ему в лицо.

— Вот это правильно! — послышался чей-то голос за моей спиной.

Однако большинство присутствующих смотрело на меня недоброжелательно. Хозяин тут же скрылся в кухне, как он всегда делает, когда запахнет скандалом или надо в споре принять чью-то сторону. Меерман сначала утерся рукой, потом вытер лицо и пиджак носовым платком.

— Костюм я отдам в чистку,— сказал он.— Но за твой счет.

Спустившись по лестнице из пивной, я встретил Мартина Фогта. Мартин — холостяк, тридцати лет. Вместе с отцом он занимается оптовой продажей пива. Для дортмундца фирма «Торговля напитками, Фогт и сын» — это звучит. С Мартином мы частенько болтаем у стойки, больше всего его интересует спорт.

— Карл, полиция отпустила Анжело,— сказал Мартин.— Не он, это точно. У него алиби: он был на заводе, когда это случилось. Так говорит врач, момент смерти и прочее.

— А кто же? — спросил я.

— Не знаю. Во всяком случае у Анжело железное алиби.

Я поехал домой. Два километра, но я всегда езжу отсюда на машине. На обед у нас был мясной рулет с картофельным пюре.

За столом жена сообщила:

— Анжело освободили. Только что по радио передали, в последних известиях. Сказали: у него алиби.

— Уже слышал.

— Господи, кто же это сделал? Надеюсь, его поймают. Боже мой, убить такую девчушку!

— Карин дома? — спросил я.

— Нет, она ведь уехала с гандболистами. В Шверте.

Мы молча продолжали есть. Покончив с обедом, Ангелика сказала:

— На улице опять скандал.

— Да? Из-за чего?

— Собаки с нашей стороны гадят на «лесной» стороне, в их палисадниках.

— Слава богу, у нас нет собаки.

— Больно уж там важные господа. Из-за собачьего дерьма поднимать столько шума.

■

Улица, на которой я живу, называется Длинной. Вообще-то она не такая уж длинная, около километра. Начинается от федерального шоссе № 54, возле трамвайной остановки, и идет прямо на восток, до самых полей. Улица широкая, автострада от нас в пятистах метрах. Жители поделили улицу на «лесную» и «автострадную» стороны, или на «зеленую» и «черную». На «лесной» стороне расположены коттеджи и виллы директоров, врачей, адвокатов, коммерсантов, мастеров-ремесленников и владельцев транспортных контор. За их садовыми участками начинается лес — его неприкосновенность охраняется законом.

Я живу на «черной» стороне. Здесь небольшие домики на одну семью и трехэтажные многоквартирные дома — в общем, массовое жилищное строительство. На нашей стороне живут рабочие и мелкие служащие; за квартиру они платят от ста восьмидесяти до двухсот шестидесяти марок в месяц. Автомобили на «зеленой» стороне побольше наших и подороже, у женщин есть даже вторая машина для личного пользования. Женщины, живущие на нашей стороне, ездят на трамвае.

Есть и другие различия, но они меньше бросаются в глаза: «зеленая» сторона голосует за СвДП, так как ХДС для них слишком черная партия, а СДПГ слишком красная. Наша сторона голосует за СДПГ, а на последних выборах в ландтаг коммунисты получили даже сто шестьдесят один голос.

Улица спокойная, чистая. Вот только когда подует ветер со стороны угольной шахты и коксового завода, что в трех километрах к востоку, у нас не продохнуть от пыли и вони, проникающих через малейшие щели в окнах и дверях. Зачастую это длится по нескольку дней. Когда все кончается, хозяйки устраивают генеральную уборку и часами проветривают квартиры.

Исход последних выборов заставил призадуматься нашего соседа напротив с «лесной» стороны. Он хороший зубной врач и неплохо зарабатывает. После выборов он сказал мне:

«Герр Майвальд, вы слышали результат по округу? Наша улица скоро превратится в красный район!»

Я мыл машину, когда он, перейдя улицу, подошел ко мне.

Он всегда заговаривает со мной, как только меня увидит. Я поддразнил его:

— Смотрите, герр Боргман, как бы красные не захватили власть, тогда вы не сможете больше зарабатывать ваши двести тысяч марок в год.

Он рассердился:

— У вас какие-то превратные понятия о наших доходах. Даже если бы у меня было двести тысяч годовых, то это всего лишь доход. А вы представляете, какие у нас расходы?

— Да, представляю,— ответил я,— но ведь все расходы вы можете списать за счет налогов.

— Герр Майвальд, прежде вы были гораздо разумнее, пока не стали членом производственного совета. Теперь вы порой рассуждаете как настоящий красный.

— Ах, герр Боргман, это не страшно! Ведь у нас считают красным всякого инакомыслящего; вы сами так мне однажды сказали. Но

есть и такие, о ком моя дочь говорит: они как гнилые редиски — снаружи красные, а внутри коричневые.

— Ваши покрышки пора сменить,— заметил он.

— Знаю,— ответил я.— Но сейчас нет денег на новые.— И, улыбнувшись, снова поддразнил его: — А кроме того, я не могу списать их за счет налогов, как вы.

Боргман свистом подозвал свою собаку и удалился.

Я рассказал об этом разговоре жене.

— Если ты будешь продолжать в том же духе,— заметила она,— мне придется подыскивать другого зубного врача. Прежде ты был обходительнее. Ты изменился с тех пор, как стал членом производственного совета.

— То же самое сказал мне Боргман.

— Взвалил на себя кучу работы и неприятностей и не получаешь за это ни гроша.

— Хватит, Ангелика, смени пластинку.

■

В этот четвертый адвент [1], часов в семь вечера, я снова поехал в пивную. Хотел погонять шарик на «флиппере», но он был занят. Играл Анжело. Прислонившись к стойке, я следил за шариком, вдоль и поперек катавшимся по игральному полю, за вспыхивавшими и гаснувшими лампочками. Анжело заметил меня лишь после того, как шарик остановился.

— Можешь мне помочь, Карл? — спросил он.— Меня выгнали.

— Откуда... с завода?

— Нет, Шёллер, из квартиры, без предупреждения.

— Вот скотина,— сказал я.

У другого конца стойки стояли трое инвалидов, нашедших в лесу девочку. Они кашляли и покряхтывали.

— Чем же тебе помочь, Анжело? Взял бы тебя к себе, но у нас теснота — три с половиной каморки да кухня... Они с тобой хоть прилично обошлись?

— Да, полиция хорошо. Следователь тоже. Даже рука жать.

— Черт бы побрал этого Шёллера,— сказал я.— Не имеет он права тебя выселять. Ты же ни в чем не виноват.

— С итальяшками можно как угодно поступать... сам знаешь — договор наём комнаты нет. Вернусь обратно барак к землякам, где жил раньше.

— Анжело, здесь в пивной...

— Знаю, они все думать, что Ренату я... пока не найти убийцу... они мне ничего не говорить... и от «флиппера» не гонят... а им, вижу, тоже играть хочется.

— Давай с тобой сыграем,— предложил я.

— Бросай монету.

Мы играли около часа. Проигравший партию ставил два стакана пива.

— Я ходил производственный совет,— сказал Анжело.— Там говорят: все порядок. Завод давать мне алиби. И производственный совет, и мастер, и шеф по кадрам.

— Хоть что-то,— сказал я.

— Карл, почему, когда я рассказывать, что есть на самом деле, ты говорить «хоть что-то»?

— Просто так говорят, Анжело.

Хозяин за стойкой сердито дымил сигаретой. Когда я расплатил-

[1] Последнее воскресенье перед рождеством.

ся, он, не глядя на меня, смахнул мои монеты в ящик, а пятимарковую кредитку Анжело осторожно взял двумя пальцами, словно заразную. На прощание он буркнул:

— До свидания вам!

— Подвезти тебя? — спросил я Анжело.

После недолгого раздумья он кивнул в знак согласия.

Я остановился на ярко освещенной площадке перед гаражом. Не успел я открыть дверцу, как Шёллер уже стоял возле машины.

— Карл,— крикнул он,— в дом я его не пущу, пусть убирается ко всем чертям!

— Погоди орать. Он не к тебе приехал. Ему надо пройти в свою комнату.

— Что значит в свою? Пока еще она моя собственная.

— Да успокойся ты! — прикрикнул я на Шёллера.— Он хочет забрать свои вещи. И все.

— Пусть пришлет за ними, чертов...

— Послушай, Шёллер: если будешь фокусничать, я вызову полицию, и тогда с ее помощью Анжело пройдет в комнату за вещами.

Шёллер внимательно посмотрел на меня.

— Ладно, даю вам четверть часа и ни минуты больше. А не то полицию вызову я.

Мы с Анжело поднялись наверх. Когда мы вошли в комнату, оба его земляка сидели на кроватях. Анжело спросил их о чем-то по-итальянски, в ответ они молча пожали плечами.

С их помощью мы уложили два чемодана и две картонные коробки. В окно я видел, как Шёллер мечется взад и вперед по площадке. «Тебе сейчас, пожалуй, не до Анжело,— подумал я.— Других забот хватает».

Шёллер не промолвил ни слова, когда мы вынесли чемодан и коробки и погрузили их в машину. Лишь после того, как Анжело уселся на переднее сиденье и я включил зажигание, Шёллер подошел к дверце с моей стороны, где стекло было опущено. Он сказал мне:

— Я не могу требовать, чтобы моя жена терпела их, ты должен меня понять, Карл.

Мы уехали.

В бараке итальянцы без разговоров предоставили Анжело койку.

— Я тебе еще нужен? — спросил я Анжело.

— Нет, можешь ехать,— ответил он.

«Хоть бы «спасибо» сказал»,— подумал я.

У трамвайной остановки я увидел свою дочь. Позвал ее в машину.

— Ты здесь случайно? — спросила она.

— Нет.

— Мы выиграли: четырнадцать—тринадцать. А мужчины продули.

Я думал о Шёллере.

— У тебя неприятности? С мамой?

— Нет. Шёллер выгнал Анжело на улицу. Я отвез его в барак.

— Так это к лучшему, папа. Шёллер только эксплуатировал Анжело. Три человека в комнате, с каждого он брал по полторы сотни марок. И за эту конуру Анжело гнул горб на него. Пускай теперь Шёллер поищет себе другого дурака.

— В бараке тоже не сладко,— сказал я.— Четыре человека в комнате, примус да один душ на двадцать мужиков.

Когда мы приехали домой, жена зажгла четвертую предрождественскую свечу.

Краешком глаза я наблюдал за Ангеликой. Когда-то она была

отчаянной девчонкой и мечтала сделать карьеру. Начала ученицей в магазине электротоваров, а вечерами после работы ходила на курсы машинописи; потом стала машинисткой, потом секретаршей, а через несколько лет после нашей свадьбы устроилась в универмаг на выдачу покупок, поскольку там больше платили. На том и окончилась карьера моей жены, так и не успев начаться.

За столом пришлось сидеть, пока не догорела эта четвертая свеча.

■

Двадцать лет назад я мечтал: жениться, хорошо зарабатывать, твердо встать на ноги и вообще — жить беззаботно, чтобы меня оставили в покое. Я водил грузовики во многих фирмах. Работал с полгода и у Шёллера, потом с ним разругался и швырнул ему под ноги ключи от машины. В конце концов я обосновался в фирме «Массман» — промышленные газы, кислород, азот,— у которой двадцать филиалов по всей стране. Дали мне тридцатитонку. Со своим автопоездом бывал я и в Саарбрюккене и в Базеле. Получал хорошие сверхурочные, за месяц накатывал свыше трехсот часов, мне поручали самые выгодные дальние рейсы, знали, что я не подведу. Часто по три-четыре дня не бывал дома. Теперь-то я знаю, что Ангелика изменяла мне с мужиками из своего универмага.

К концу месяца у меня всегда выходило на тридцать — сорок часов больше, чем у других водителей.

Но вот однажды я проболел целый квартал. Что-то вдруг случилось с позвоночником, сместился какой-то диск, а когда я вернулся на работу, меня стали отправлять в рейсы не далее ста километров. Заработок, само собой, снизился марок на двести. Ну, а потом началось сущее наказание.

Сиденья в кабинах ведь обиты синтетикой, и от этого у меня по телу пошли фурункулы, один за другим. Особенно летом, в сильную жару. Чтобы не ходить к врачу, я сам вскрывал нарывы бритвенным лезвием — дома, в ванной, при помощи двух зеркал. Иначе опять бы пришлось бюллетенить, опять бы пошли невыгодные рейсы, стало бы меньше сверхурочных и меньше заработок. Чего доброго, перевели бы в гараж. А работать в гараже для шофера — последнее дело.

Через год меня снова начали посылать в дальние рейсы, снова пошли сверхурочные, и я смог заплатить за машину, купленную в кредит. Снова я пользовался доверием у фирмы. Сам директор автобазы сказал мне:

«Знаете, Майвальд, заболеть может каждый. Но вот чего человек стоит, видно, лишь когда он после бюллетеня стиснет зубы, пересилит себя и вновь возьмется за дело».

Я стиснул зубы.

Его слова приятно было слышать. И все-таки я не мог избавиться от какого-то страха. Да, я боялся. Никто не знал, даже Ангелика, что я сам себе вскрывал бритвой нарывы, чтобы на следующий день, сидя за рулем, не морщиться от боли; и я боялся, что опять напомнит о себе позвоночник. Врач предупреждал, что может быть рецидив. День за днем, ночь за ночью водил я свой автопоезд, скрипя зубами от боли, и, бывало, накручивал, как и прежде, свыше трехсот часов в месяц. Больше времени я проводил за баранкой, чем дома, и был твердо убежден, что жена подыскала себе нового хахаля — ведь, вернувшись домой, я замертво валился в постель.

Случалось иногда, когда жена была на службе, дочка заходила в спальню и присаживалась ко мне на кровать; я притворялся, что сплю. Однажды она погладила меня по голове. Я сделал вид, что про-

снулся, и Карин, смутившись, пробормотала что-то. Я попросил ее сварить кофе.

Потом произошла эта история в Гельзенкирхене.

Возможно, был виноват я. Возможно. В тот день я проглотил горсть таблеток — очень болел незаживший фурункул. А ведь врач советовал мне не принимать таблеток во время рейса, потому что они ослабляют внимание и снижают работоспособность.

Суд меня оправдал. Но я-то знаю, что был виноват. На узкой улице из-за притормозившего впереди у тротуара молочного фургона выбежал мальчишка с бутылками молока в руках.

Я задавил его насмерть.

Теперь-то я знаю, не прими я тогда таблеток, я успел бы затормозить. Мое счастье, что я ехал со скоростью ниже дозволенной.

На автобазе мне никто не бросил упрека. Директор опять похлопал меня по плечу.

«Знаете, Майвальд,— сказал он,— когда такому вот, как вы, шоферу приходится делать до тридцати тысяч километров в год, это ему даром не дается. Это нечеловеческая нагрузка. Не терзайтесь понапрасну. Вы здесь ни при чем. Почему лентяйка мамаша погнала своего ребенка через улицу, почему не пошла сама?»

Я был благодарен ему за эти слова. Но вот дома Ангелика целую неделю причитала: «А что, если бы это была наша Карин? Что бы ты тогда сказал?»

Да и отношение ко мне на базе вроде бы уже не было прежним, опять меня время от времени стали посылать в ближние города — в Нёйс и в Дюссельдорф, а иногда вызывали и по воскресеньям, когда в какой-нибудь больнице кончался запас кислорода. Прежде ни разу не случалось, чтобы меня вытаскивали из постели. Отказаться я не мог. И постепенно мне все чаще стали поручать ближние рейсы, и я окончательно замкнулся в стокилометровой зоне с сорока двумя часами по тарифу.

Это было обидно.

Когда же мое терпение лопнуло и я собрался идти к директору выяснять отношения, на меня опять свалилось несчастье. В этот раз не фурункулы, а снова позвоночник. На три недели я угодил в больницу.

Врач сказал:

«Ищите другую работу. Если не бросите свой автопоезд, будете мучиться всю жизнь и годам к пятидесяти станете инвалидом».

«Вы можете предложить мне другую работу, господин доктор?» — спросил я.

«Это не мое дело. Как врач, я могу лишь дать вам совет. Для вашей же пользы. И больше ничего».

«Господин доктор, мне сейчас сорок пять, десять лет я служу в фирме «Массман». Во-первых, с таким позвоночником да еще в таком возрасте меня никто не возьмет, я на двадцать лет старше тех, кого берут заново на работу. Во-вторых, я получаю здесь фактически четырнадцать окладов, то есть двенадцать нормальных плюс дивиденды и премиальные на рождество. А это не пустяк».

«Понимаю, вам нелегко. Но тут я ничем не могу помочь. Как врач, советую лишь одно: подыщите себе такую работу, где вам не придется водить машину, во всяком случае — автопоезд из цистерн. Я ведь вам добра желаю».

И вот я торчал в больнице и размышлял о своем положении.

Ангелика навещала меня ежедневно после работы, Карин приходила редко. В тот тысяча девятьсот шестьдесят восьмой год моя дочь, махнув рукой на аттестат зрелости, решила бросить школу и

стать воспитательницей в интернате для умственно и физически отсталых детей. Я был взбешен решением дочери, а жена только пожала плечами:

«Твое воспитание. Я вмешиваться не собираюсь».

С работы меня никто не навестил. Передали один раз бутылку спиртного и три пачки сигарет. Бутылку я кому-то подарил, поскольку пить мне запретили. А однажды мимоходом в палату заглянул наш старший механик, уселся у кровати и сочувственно вздохнул:

«Да, Карл, все дерьмо».

Он посидел полчаса, полистал журнал «Шпигель», а перед уходом высказался:

«Ну и мудреные вещи ты читаешь. Это ж по зубам только образованным».

К рождеству меня выписали. На больничной лестнице в ту субботу я впервые встретил Анжело. Он меня что-то спросил, я пожал плечами, так как ничего не понял: он говорил тогда по-немецки ужасно, я разобрал лишь отдельные слова: «Амбулатория... мне... амбулатория». Я повел его по коридору и спросил:

«Болен?»

«Нет,— ответил он,— только шприц».

Я обождал, пока ему сделали укол, и прихватил итальянца с собой в такси, которое вызвал вахтер. Анжело с грехом пополам объяснил мне, что живет в бараке для рабочих-иностранцев на Эфингерштрассе у железнодорожного переезда. Расплатившись с таксистом, я пошел взглянуть на жилище моего нового знакомого. В комнате на койках сидели три человека и тихонько подпевали звучавшей из радиоприемника мелодии. Анжело засмеялся и сказал:

«Мы в Германии только работать, есть, пить, спать, копить, мечтать, петь».

Это были единственные слова, которые он тогда правильно выговаривал.

Из барака я пешком отправился к Шёллеру и спросил его, не сдаст ли он итальянцу комнату над гаражом. Поколебавшись, Шёллер дал согласие. Позднее к Анжело перебрались еще двое его соотечественников, соседей по бараку. Сам не знаю, почему я пошел к Шёллеру, с которым годами почти не разговаривал, после того как уволился от него. Шёллер сказал: «Итальянец? Не знаю, с этими иностранцами вечно неприятности». Но все же согласился.

Недели через три я встретил Шёллера в «Гильденхофе», он подошел ко мне сияя, с распростертыми объятиями:

«Карл, дружище, ну и парня ты мне подкинул! Работяга — золото! Слушай, уговори Анжело уйти с завода, пусть работает только у меня».

Но Анжело не ушел с завода.

Когда после выхода из больницы я доложился мастеру и заведующему производством, они сказали, что рады видеть меня снова на работе. Я кивал, слушая их, а мастер добавил, что лучше бы я оставил автопоезд и занялся чем-нибудь на месте, например, техническим обслуживанием подвижного состава — ведь я опытный слесарь.

В заработке я почти не потерял, здесь тоже были сверхурочные. К тому же часто вызывали по воскресеньям, что давало надбавку. Боли в позвоночнике во время работы я не чувствовал, но когда ездил в машине на работу и с работы, в спине все же покалывало.

Тех, кто работает у нас на территории базы, даже по авторемонту, считают людьми второго сорта, чуть ли не штрафниками, хотя это всего лишь люди с плохим здоровьем или полуинвалиды. Я был

слишком молод для инвалида, но слишком болен, чтобы и дальше колесить по стране за рулем.

Через некоторое время я случайно встретил директора. Увидев меня, он не подошел, как бывало прежде, перемолвиться словечком, а лишь кивнул в ответ, когда я поздоровался. Это меня задело: что ни говори, я здоровье потерял, работая на фирму. А может, он действительно меня не узнал?

Я тогда еще не решил окончательно, как быть. Добиваться ли снова дальних рейсов, рискуя опять угодить в больницу месяца через три? Или же примириться с работой в мастерской? Врач предупредил, что после каждого рецидива мне будет все хуже. Так куда же деваться: «штрафником» во дворе автобазы или механиком в ремонтной мастерской, где хоть и работается спокойно, однако чувствуешь себя лишним и где ты невольно становишься козлом отпущения, потому что каждый водитель все грехи валит на механика, если во время рейса обнаружились какие-нибудь неполадки.

Поначалу у меня были стычки с ребятами, потом с заведующим производством и даже с конторщиками; я был настолько недоволен собой, что злился на всех подряд. В конце концов решил остаться в мастерской — ведь ко всему привыкаешь.

■

Когда четвертая свеча догорела, Ангелика вышла из дому. По вечерам она обычно ходила на часок к своей приятельнице фрау Бойстер, на «лесную» сторону. Фрау Бойстер — привлекательная особа, жена владельца аптеки. Ангелика никогда не искала знакомства с женщинами из нашего дома. Она, вероятно, воображает, что они ей не ровня, если ходит на «лесную» сторону. Что же, пусть воображает.

Я лежал на тахте и подремывал. Подумал, не съездить ли в «Гильденхоф», но, вспомнив о последней встрече с Анжело, раздумал. Пошел в комнату к дочери. Карин слушала пластинки.

— Скучаешь? — спросила она.

— Нет, просто невесело что-то...

— Значит, скучаешь.— Карин поднялась.

— Может, сходить в пивнушку?

— Сходи, отец, это ведь для тебя самое лучшее.

— Что значит — самое лучшее?

— То, что ты ходишь туда слишком часто. А это потерянное время. Скажешь, нет?

— Знаю. Но где ж еще можно повстречать приятелей?

Раздался звонок.

Я открыл дверь и оторопел, увидев перед собой нашего шефа по кадрам.

— Добрый вечер, герр Майвальд. Разрешите войти?

— Да, да, входите, герр Штратман. Что-нибудь случилось?

— Я был в гостях на той стороне, у Боргмана...

— Ах, вы знакомы с ним?

— Конечно. Мы бывшие соседи.

Войдя в комнату, Штратман уселся напротив меня.

— Район у вас тихий,— начал он.— Далековато, правда, от работы, но если есть машина, то пустяки.

— Ничего, терпимо,— отозвался я и подумал: «Что ему, собственно, надо? За десять лет мы обменялись с ним сотней слов, не больше».

— Буду краток,— сказал Штратман, отказавшись от рюмки.— Мне поручено сделать вам предложение.

— Предложение? От кого?

— Нашему филиалу в Штутгарте требуется диспетчер. Дирекция подумала о вашей кандидатуре.

— Обо мне? Да, но...

— Видите ли, герр Майвальд, водить автопоезд вы больше не можете из-за травмы позвоночника, а использовать такого квалифицированного специалиста, как вы, на обслуживании подвижного состава просто жаль. Предложение это не мое, оно исходит от главного управления в Дюссельдорфе. Вам понятно?

— Зачем мне Штутгарт? Мой дом здесь.

— Согласен. И все-таки дом у человека там, где у него работа и достаток. Вы будете бригадиром, а со временем, как предусмотрено в договоре, и мастером, когда тамошний уйдет на пенсию. Ему осталось четыре года.

— Очень уж неожиданно все это, герр Штратман.

— Так вам и не надо решать сию же минуту. Обдумайте все как следует, посоветуйтесь с семьей. Предложение почетное. Вы видите, как мы вас ценим.

— Но ведь я здесь член производственного совета, не могу же я...

— С производственным советом вам придется расстаться, это ясно,— сказал Штратман.

— Расстаться... да, да, конечно.

Штратман поднялся:

— Не смею больше мешать. В воскресенье каждому, естественно, отдохнуть хочется... Шел мимо, вот и решил заглянуть к вам. Так что как-нибудь после рождества или Нового года зайдите ко мне, продолжим разговор, обсудим детали и тому подобное. Но, разумеется, если только согласитесь на наше предложение — мы никого не принуждаем.

Закрывая за собой дверь, он кивнул мне на прощание.

Карин стояла в дверях своей комнаты и шевелила губами, прижимая нижней губой верхнюю.

— Папа, не соглашайся,— сказала она,— они просто думают тебя купить.

— То есть как — купить?

— Ты стал им неудобен. Раздражаешь их. И они мечтают от тебя избавиться.

Я прошел в ее комнату и сел на край кровати.

— Не понял, объясни,— сказал я.

— Они хотят избавиться от тебя, потому что ты в своем производственном совете всегда рубишь сплеча и слишком уж просвещаешь своих товарищей по работе...

Мне стало смешно.

— Что ты, дочка, да мои коллеги вовсе не желают просвещаться!

— Ты путаешь им все карты. Поверь мне, отец, они мечтают избавиться от тебя, а лучший способ избавиться от человека — это повысить его в должности... Уволить тебя они не могут, значит избрали этот способ.

— Перестань, Карин, у тебя в голове какая-то путаница. И все оттого, что ты вечно торчишь в этих кружках «Мосо» [1]. Подозрительные сборища.

— Обдумай все сам,— посоветовала она.— Я-то во всяком случае останусь здесь и закончу курсы. Я не хочу уезжать из Дортмунда.

— Мама, наверно, тоже не захочет,— сказал я,— значит, и раздумывать нечего.

[1] Сокращенное название «Молодых социалистов» — молодежного крыла СДПГ.

— Мама? Она поедет туда, куда ты скажешь. Главное, ты станешь мастером.

Несмотря на позднее время, я все-таки наведался в «Гильденхоф». Зал уже почти опустел. На «флиппере» играли двое, они были мне не знакомы. Только у стойки еще толпился народ. Из музыкального автомата лилась мелодия — ансамбль Хэмфри пел «Going down to the Jordan» [1]. Хозяин пивной вывесил плакат с новой сентенцией:

Пьяницы живут вдвое меньше,
Зато видят вдвое больше.

Я взял стакан пива и только тут заметил, что стою между Шёллером и Мартином Фогтом.

— Карл,— повернулся ко мне Шёллер,— эта история с Анжело...

— Не хочу больше слышать о ней,— отрезал я.

«Что же это получается? — подумал я.— Дочь его убили, кто убийца — до сих пор неизвестно, а он, отец, торчит у стойки и накачивается пивом. Я читал в газете, что девочку похоронили».

Шёллер, словно угадав мои мысли, сказал:

— Понимаешь, Карл, сил нет сидеть дома и слушать баб, как они плачутся друг дружке. Потому и вырываюсь сюда. Жизнь-то продолжается...

Может, я был и не прав по отношению к Шёллеру, может, в его положении только и остается, что идти в кабак, делая вид, будто ничего не случилось...

— «Флиппер» освободился,— сказал мне Мартин.— Пошли сыграем разок-другой?

Мартин проигрывал и злился.

Через час я поехал домой. У порога встретил Ангелику.

В кухне я рассказал ей о визите Штратмана. Ангелика мгновенно разволновалась:

— В Штутгарт? И ты будешь мастером? Господи, Карл, подумать только! В твои-то годы! Ты, конечно, дашь согласие. Я готова переезжать хоть завтра.

— Я еще не решил.

— Но, Карл, упускать такое нельзя. Неужели тебе хочется до конца жизни оставаться в слесарке?

— До конца жизни нет. Только до пенсии, Ангелика, не дольше.

■

В понедельник утром меня вызвали в дирекцию по поводу одного рационализаторского предложения, которое я внес несколько месяцев назад. Я придумал подставку, облегчавшую смену тяжелых шин на автопоездах. Секретарша в приемной, указав мне на кресло, попросила обождать и скрылась за дверью директорского кабинета. Оставшись в одиночестве, я уселся на стул возле письменного стола. Ждать пришлось долго, и я от нечего делать принялся разглядывать все, что лежало на столе. Ближе всего ко мне был аппарат величиной с половину футбольного мяча, выпуклая часть его была белой, плоская — черной; я подумал, что это радиоприемник. Вещица заинтересовала меня, я стал ее ощупывать и нечаянно нажал какую-то белую кнопку.

Видимо, это был репродуктор или что-то в этом роде, так как внезапно из аппарата послышался разговор — говорили двое. По голосам я узнал двух наших шоферов, которые только что вернулись

[1] Спускаясь к брегам Иорданским *(англ.)*.

из ночного рейса. Судя по шумовому фону, беседовали они в раздевалке.

Но как это возможно? Каждое слово, которое они произносили на расстоянии километра отсюда, было отчетливо слышно. Что за чудеса? Так как же это возможно?

Я внятно слышал каждое их слово, будто они были здесь, рядом. Они толковали о рейсе, о погоде, о состоянии дорог, о том, что в разных местах простояли в общей сложности больше трех часов. А Франц Вайгель долго и подробно объяснял, как можно подкрутить счетчик, чтобы ни один контролер ничего не обнаружил. «Не дай бог,— подумал я,— если это кто-нибудь услышит. Францу тогда крышка».

И вдруг меня осенило: на автобазе наверняка установлена какая-то аппаратура, при помощи которой можно подслушивать каждое слово, произнесенное в мастерской или в другом месте. И, наверно, подслушивать не только здесь, в дирекции? Даже шепот был хорошо слышен.

Вернулась секретарша Шиндлер (фамилию ее я прочитал на дверной табличке) и пригласила меня в кабинет. Беседа с директором была короткой. Он сказал, что предложение мое удачное, что он закажет пять таких подставок и что, как показали расчеты, смена шин на автопоезде сокращается в результате почти на полчаса. Он уже распорядился выплатить мне сто марок премии, положенной каждому, кто вносит рационализаторское предложение, достойное внедрения.

Я поблагодарил: сто марок были мне кстати.

Пересекая двор, я во все глаза смотрел по сторонам: где-то же должны быть скрыты микрофоны. Я теперь окончательно поверил в то, что они где-то запрятаны. Мысль эта казалась абсурдной, но как иначе объяснишь голоса, раздававшиеся из полукруглого аппарата? И как вообще очутилась эта вещица на столе у секретарши?

Но сколько я ни озирался, ничего не заметил.

Франц Вайгель и Вилли Ранер, чей разговор я сверхъестественным образом слышал, находясь в приемной директора, сидели перед своими шкафчиками в раздевалке. Увидев меня, они тотчас умолкли.

— Что же вы замолчали? — спросил я.

Франц, смутившись, ответил:

— Да понимаешь, тут какая-то чертовщина происходит, уже месяца три как. Что ни скажешь, все доносят, боишься рот раскрыть.

— Что? Месяца три, говоришь? — спросил я.

— Примерно так,— подтвердил Ранер.— Ты, конечно, впервые об этом слышишь,— добавил он и как-то странно покосился на меня.

Я вышел вместе с Францем и посреди двора сказал ему:

— Слушай меня внимательно, Франц. Полчаса назад я был в директорской приемной и оттуда случайно услышал твой разговор с Вилли. Из какой-то полукруглой штуковины я слышал, как ты хвалился, будто можешь подкрутить счетчик так, что ни один контролер не подкопается. Рассказывать тебе дальше, о чем вы говорили?

Тут я впервые в жизни своими глазами убедился, что слова «у него отвисла челюсть» не просто образное выражение. Она действительно отвисла у Франца.

— Ты бредишь,— пробормотал он, вытаращив на меня глаза.

— Все так, как я сказал, Франц.

— Но... но, Карл... значит, тогда...

— Именно. Это значит, что на базе установлена какая-то аппаратура.

— Карл, этого быть не может, ведь такое не спрячешь. Устано-

вить такую штуку на базе и чтобы ни один человек не заметил?.. Нет. А если видел один, скоро узнают все. Сам знаешь, как это бывает. Нет, Карл, не верится.

— Это какое-то подслушивающее устройство,— сказал я.— Уж я разузнаю, будь уверен.

Я направился в помещение производственного совета. Фриц Кольман встретил меня возгласом:

— Ну, отхватил сотнягу? Пошли пропьем!

— Нет,— возразил я,— на премию я построю себе виллу. Ответька мне, Фриц, на один глупый вопрос: у нас на базе есть потайные микрофоны?

— Что?! — Он встал из-за стола.— Ты не спятил, Карл?

— Весьма близок к этому. Только что мне сообщил Франц Вайгель, что последние три месяца начальству становится известно все, о чем мы говорим друг с другом на работе. Я, например, об этом вообще ничего не знал.

— Да, это верно, Карл. И есть даже люди, которые подозревают тебя.

— Меня? Это ж надо додуматься! Я и к директору-то хожу раз в десять лет.

— Болтают, что, мол, ты выслуживаешься, чтобы опять ездить в рейсы и больше получать.

— Бред собачий! Н-да, ничего себе товарищи по работе... Вот так-то и узнаешь людей. Ладно, Фриц, а теперь слушай меня внимательно. Лучше сядь, не то еще в обморок грохнешься.

Кольман машинально сел, но, услышав о моем открытии в приемной, снова вскочил. В волнении он забегал по комнате, сплетая и расплетая пальцы рук. Наконец остановился передо мной.

— Карл... этого не может быть... это просто безумие... Подождика... три месяца назад у нас оборудовали селекторную сеть. Ведь мы сами о ней просили... да?

— Селекторную? — Меня осенило: «Ну, конечно, селектор!» — Слушай, Фриц, вот тебе и разгадка, даже наверняка! Здесь нет селектора, а в зале, где мы проводим заседания производственного совета, его поставили.

— Нет, Карл, этого быть не может,— сказал Кольман.— Такое ведь просто не разрешается делать.

— Но это факт, Фриц. Это так же верно, как то, что я стою перед тобой. Они установили не селекторную сеть, а подслушивающие устройства. Понимаешь? Даже если ты не включишь селектор, они все равно тебя слышат. Фриц, это беззаконие. Это чудовищно. Ты понял? Теперь вот скажи, что нам делать?

— Мы ничего не можем доказать, Карл. А того, что нельзя доказать, не существует. Ведь по селектору-то мы переговариваемся! Попробуй скажи, что нет.

— Ну и что? Раз я своими ушами слышал!

— Все это так. Но если ты не сумеешь доказать того, что говоришь, тебя ведь могут уволить.

— При чем тут увольнение? Правы мы, а не те, наверху.

— Я тебе верю, Карл. Но что будет, если в тот момент, когда мы начнем доказывать, они сумеют сделать так, что аппарат действительно окажется только селектором? Тогда ты сядешь в лужу со своими разоблачениями. И за такой номер можешь вылететь за ворота.

— Фриц, поезжай в город, отыщи нашего уполномоченного или юрисконсульта при профсоюзе, растолкуй ему все и спроси, что делать.

— А что он мне скажет? То же самое, что сказал тебе я: без улик — обвинение пшик.

Я злобно посмотрел на Кольмана, потом сказал:

— В таком случае беру дело на себя. К тому же есть и личная причина: ведь в доносах начальству подозревают именно меня.

— Карл, не делай глупостей! — крикнул Кольман мне вдогонку.

После смены я встретил у проходной Франца, который зачем-то вернулся на базу.

— Карл, извини, я подозревал тебя, извини...

— Ладно, замнем,— сказал я.— Надо что-то срочно предпринимать, Франц.

— Конечно, если дело обстоит так, будем действовать. Я готов тебе помочь.

— Был я у Кольмана. Все ему доложил. Он требует доказательств.

— Кольман слабак, рисковать нипочем не станет. Он хочет до конца жизни председательствовать у нас.

— Созовем производственный совет,— сказал я.

— Пустая затея, Карл, все будут только поддакивать Кольману. Ты же не первый день здесь, сам знаешь.

— Я знаю только одно, Франц, что слышал сегодня твой голос из той белой штуковины и что надо действовать. Но вот как?

Мы подошли к стоянке машин.

— Надо всем сообщить, что у нас вытворяют,— сказал Франц.

— Надо. Но Кольман прав, нет доказательств. То, что мне известно, я не могу доказать.

■

Свернув на Длинную улицу, я увидел перед домом зубного врача Боргмана группу людей. Я затормозил у нашего подъезда. Боргман, заметив меня, пересек улицу.

— Герр Майвальд,— крикнул он.— Ну что вы на это скажете? Они делают это умышленно. Специально приучили своих собак гадить на моем газоне.

— Какой тут может быть умысел, герр Боргман, просто случайность.

В наш разговор вмешалась молодая женщина:

— Это мой пес. У герра Боргмана тоже есть собака, неужели он не понимает! Герр Майвальд, вы должны как-то повлиять на них, эти господа с «лесной» стороны очень уж заносятся, думают, если они богатые, так могут позволить себе все. Вы ведь состоите в партии, у вас авторитет.

— Ну что вы, что вы,— попытался успокоить ее я,— никто вас не собирается обижать.

Их склока мне надоела, и я пошел домой. Карин, наблюдавшая всю сцену из окна, сказала мне:

— Не лезь ты в их дела, такие уж это люди.

— Люди сошли с ума, дочка. Из-за собачьего дерьма устраивать такой тарарам...

— А вообще-то мало хорошего, куда ни ступишь — дерьмо.

Карин подогрела мне вчерашний обед и стала надевать сапожки.

— Уходишь? — спросил я.

— Да, на занятия... Скорей бы начать самой зарабатывать.

— Тебя ведь никто не попрекает.

— Послушал бы, как утром мать орала. Из-за того, что я купила себе новые сапожки.

— Не принимай всерьез... Она сегодня опять задержится?

— Конечно. У нее сверхурочные, как всегда перед рождеством.
— Задержись еще чуть-чуть. Расскажу кое-что.
— Дашь машину — задержусь.
— Идет.

Я рассказал Карин о сегодняшнем событии. Ее реакция была такой же, как и у тех, кому я сообщил о своем открытии. Карин тоже разинула рот.

— Вот так,— сказал я в заключение.— Что теперь делать? Карин, зачем им это нужно? Ведь прибыли из подслушивания не выколотишь! Идиотизм какой-то.

Тут я впервые увидел, что моя дочь курит.

— Если бы они не были в этом как-то заинтересованы,— сказала Карин,— они бы этого не делали. Чем больше они знают о вас, тем крепче держат вас в руках.

Когда она собралась уходить, я еще раз спросил:

— Что же мне делать, Карин?
— Не знаю. Подумай насчет той, в приемной... как ее... Шиндлер.
— Те, что в приемных, не болтливы.
— И все-таки я бы начала с нее.
— Карин, ты начиталась криминальных романов.
— Этот случай, папа, самый что ни на есть криминальный. Пока, до вечера.

После обеда мне вдруг захотелось погулять, я все еще никак не мог успокоиться.

Я пошел по Длинной улице в сторону полей. Выпавший ночью снег уже растаял. «Надо было мне родиться крестьянином»,— подумал я. Немного успокоившись, я повернул назад.

Первый дом на «зеленой» стороне принадлежит мебельщику Вёльберту, второй — врачу-гинекологу, который практикует в центре города и возмущается «панельными птичками», хотя они постоянные его клиентки. В третьем доме живет адвокат, его контора тоже в центре; в четвертом — директор районной страховой конторы, в пятом — главный инженер крупного машиностроительного завода, в шестом... в седьмом... Дома на «зеленой» стороне все собственные. На «черной» стороне жители вносят квартирную плату. Конечно, досадно, когда изо дня в день видишь эти коттеджи и виллы и понимаешь, что там есть комнаты размером со всю твою квартиру, а садовые участки в половину футбольного поля. Конечно, можно утешаться тем, что в других пригородах хуже, особенно в «небоскребах», где люди настолько разобщены, что вздрагивают, когда с ними здороваешься.

У дверей своего дома меня перехватил Боргман.

— Позвольте мне объяснить, герр Майвальд: я вовсе не горячился. Я только прогнал собаку. А эта женщина сразу подняла крик.
— Что поделаешь, герр Боргман, бывает.
— Не заглянете ли ко мне на минутку?

Я не стал отказываться и последовал за ним.

Его гостиная была не меньше всей нашей квартиры.

Я погрузился в глубокое кресло. Боргман налил мне водки.

После третьей рюмки он стал рассказывать, как ему трудно жилось прежде.

— Поверьте, герр Майвальд, успех не дается легко, для этого надо кое-что сделать. Люди на вашей стороне улицы не задумываются о том, что и нашему брату приходится не покладая рук работать. Перед тем как открыть кабинет, я одолжил пятьдесят тысяч марок. Моим ассистентом была жена. Я не мог себе позволить кого-либо нанять... Пятнадцать лет я работал как каторжник, пока не выбрался

из нужды и не построил этот дом. Но я за него еще не рассчитался полностью.

«А этот Боргман симпатичнее, чем я думал»,— решил я про себя.

— Да, герр Майвальд, в жизни надо пробиваться. И я пробился. Не за чужой счет, сам.

После седьмой или восьмой рюмки я сказал:

— Да, вы пробились... Я тоже устроен... а моя дочь будет воспитательницей в интернате.

— Хорошая профессия... неблагодарная, правда... но очень важная... Кстати, я питаю слабость к вашей дочери... кто в наше время решится стать воспитательницей в интернате, да еще для дефективных детей. Уважаю.

Выйдя от Боргмана, я осознал вдруг, что впервые побывал в доме на «зеленой» стороне и увидел, как там все устроено.

В этих домах живут как бы спиной к улице и лицом к садовому участку, куда обращены и большие окна, и просторные террасы, и плавательные бассейны; в саду на ухоженном газоне — качели, ящики с песком и прочие сооружения для детворы. Садовые участки выходят на юг.

Я отправился в пивную. На «флиппере» играл Мартин.

— Ты пешком? — спросил он.

— Да, Карин, возможно, заедет за мной.

— Замечательная девушка,— заметил Мартин.

— А ты с ней знаком?

— Ну, знаешь, играть в гандбол за один и тот же клуб и...

— Ах да, конечно.

Я огляделся. Вёльберт был здесь. Инвалиды, как обычно, собрались у стойки и наперебой кашляли.

Виттбройке заметил, обращаясь ко мне:

— Не пойму я что-то... Простой шофер грузовика — и каждый день ходит в пивную... Мы в свое время могли себе позволить бутылку пива только по воскресеньям.

— Что там сегодня стряслось на вашей улице? — спросил меня хозяин пивной.

Я в двух словах рассказал о «собачьем инциденте».

— От этих дворняг одно дерьмо,— изрек Виттбройке.— На «зеленой» стороне разбили красивые палисадники, а псы с «черной» стороны загадили их.

— Господи! Нашли о чем беспокоиться! — воскликнул я.— Радуйтесь, что еще на своих двоих ковыляете.

Инвалиды разозлились.

Около восьми явилась Карин. Она взяла стакан пива и чокнулась с Мартином.

Чувствовали себя они весьма непринужденно, как я заметил.

■

Уже больше часа стояли мы с Францем Вайгелем напротив того дома на Рейнской улице. Это было пятиэтажное здание старой постройки, примерно конца прошлого века.

Мы наблюдали за подъездом. В списке жильцов на табличке фамилии «Шиндлер» не значилось. Ее адрес мы отыскали в телефонном справочнике,— может быть, она недавно переехала, а может, просто снимает здесь комнату.

Утром я переговорил с Францем. Ему предстоял ближний рейс в Вуппераль, так что к полудню он должен был вернуться. Я поставил на «яму» автоцистерну и начал для виду готовиться к солидному ремонту, одновременно обсуждая с Францем свой план, в основном

сводившийся к тому, что посоветовала мне Карин: заставить говорить секретаршу. Францу идея понравилась. И все же нам было не по себе, когда часов около четырех я остановил машину напротив дома, в котором, по нашим сведениям, жила Шиндлер. Не найдя ее фамилии в списке, мы решили было спросить кого-нибудь из жильцов, но потом передумали. Это могло вызвать подозрения. Мы не знали, как нам быть. Поначалу все представлялось просто: заходим к ней в квартиру и спрашиваем в лоб, есть ли записи подслушанных разговоров и где они хранятся.

Все время нас грызли сомнения: правильно ли мы действуем? Вдруг окажется, что Шиндлер ничего не знает и вообще с этим делом не связана, что тогда? Она может донести начальству, а то и полиции, и мы вылетим с работы.

— Знаешь, Франц, что-то не нравится мне эта затея,— сказал я.— Поедем-ка лучше домой.

Франц подтолкнул меня локтем.

Из остановившегося напротив «мерседеса» вышла Шиндлер, и машина покатила дальше. Вероятно, секретаршу кто-то подвез. Она направилась к подъезду, и, прежде чем я успел что-либо сообразить, Франц перебежал улицу. Я поспешил вслед за ним. Проскользнув в подъезд — дверь его еще не захлопнулась автоматически,— мы прислушались. Шаги секретарши затихли на третьем этаже. Мы медленно поднялись по ступенькам. Свет на лестничной клетке погас, включать его снова было рискованно. Прочитав все дверные таблички на третьем этаже, мы обнаружили приколотую кнопками к двери визитную карточку: «Шиндлер, два звонка».

Франц глубоко вздохнул:

— Ну, давай.

Я позвонил. Послышались шаги. Я включил освещение, и тут же распахнулась дверь. Перед нами стояла Шиндлер.

— Да? В чем дело?

— Можно войти? — спросил Франц.

— Я ничего не собираюсь покупать... ах... герр Майвальд... это вы. Что вам угодно... пожалуйста, входите... что случилось?

Франц, бесцеремонно оттеснив Шиндлер, вошел первым. Она заперла дверь и провела нас в комнату. Очевидно, все ее жилье состояло из этой комнаты; здесь была кухонная ниша, через открытую дверь виднелась ванна. Типичная квартира для одинокого человека.

Мы стояли посреди комнаты. Я смотрел на Франца, он на меня, а Шиндлер, недоумевая, на нас обоих.

— Не угодно ли присесть? Прошу...— растерянно сказала она.— Выпить у меня ничего нет... Так что вы хотите?

— Фрейлейн Шиндлер,— начал я.— Мы болтать долго не собираемся. Короче, где бумаги, где записи? Ведь вы подслушиваете через селектор наши разговоры. Где записи? Вы же записываете то, что слышите.

Шиндлер вытаращила глаза, руки ее искали опору. Но она быстро овладела собой и сказала:

— Уходите отсюда немедленно, иначе я вызову полицию! Это нарушение неприкосновенности жилища!

Она бросилась к телефону. Франц начал волноваться. А я вдруг совершенно успокоился, я понял в эту минуту, что мы на верном пути.

— Вызывайте полицию,— сказал я.— Вызывайте быстрей. Мы и сами туда отправимся, если вы сейчас же не скажете, где лежат записи.

— Что вы ко мне пристали? — крикнула она.— Убирайтесь! Убирайтесь!

— Разумеется, мы уйдем, как только услышим от вас, где записи. Вы же знаете, где они. Это все, чего мы хотим, больше ничего. И оставим вас в покое.

— Я доложу дирекции. Вас выгонят вон! Можете не сомневаться, сегодня же выгонят. Какая наглость!..

Я рассвирепел. Схватил ее за руку, швырнул в кресло и влепил ей пощечину.

— Говори, дрянь! — крикнул я.— Не то изобью до полусмерти!

Она собралась было закричать, но вдруг тихо заплакала. Если бы Франц не вмешался, я бы отдубасил ее основательно. Немного поостыв, я наклонился к ней.

— Спрашиваю в последний раз,— сказал я спокойно.— Где записи? Не считайте нас дураками.

— Папки с записями в зеленом шкафу,— едва слышно ответила она.

— Где зеленый шкаф?

— В приемной директора.

Постепенно Шиндлер успокоилась — только изредка всхлипывала, но на каждый вопрос следовал ответ.

— Когда это началось? — спросил я.

— Три месяца назад.

— А каким образом из селектора получается подслушивающее устройство?

— Там что-то замыкают. Я в этом не разбираюсь.

— Кто до этого додумался? Кто?

— Не знаю. В самом деле не знаю. Приезжали какие-то люди из Дюссельдорфа, из главного управления.

— Ну ладно, а как все было практически? Вы стенографировали? Но нельзя же сидеть круглые сутки и писать.

— Запись велась на магнитофонную пленку.

— Значит, потом вы все перепечатывали на машинке?

— Да,— сказала она,— но... откуда вы узнали?

— Когда вы печатали?

— Когда как... Иногда утром, до работы, иногда вечером. По субботам и воскресеньям тоже. Когда время было... Но откуда вы знаете?

— Кто читал записи разговоров?

— Сначала директор. Потом посылали в главное управление в Дюссельдорф. Через несколько дней их возвращали. Папки я складывала в зеленый шкаф. Но от кого вы узнали, что...

— И вы согласились на эту грязную работу! — воскликнул Франц.

— Погоди,— остановил я его,— пусть рассказывает.

— Когда это началось — подслушивание то есть, а потом запись,— директор мне сказал: Бохумский университет установил аппаратуру, чтобы подслушивать, что говорят рабочие, и по разговорам изучать их образ мыслей и поведение; ведется исследование, сказал он, а такой метод применяют потому, что иначе не получится правильной картины. Это научная работа, научное исследование, которое будет вестись около двух-трех лет...

— И вы этому поверили? — спросил я.

— Конечно. А почему бы не поверить? Раз это научная работа. Правда, через две-три недели я поняла, что здесь что-то не так. Но отказаться уже не могла: слишком много знала, они втянули меня. Да и просто боялась — кто знает, что меня ждало в случае отказа...—

Шиндлер поднялась. У нее был усталый вид.— Что вы собираетесь делать? — спросила она.

— Еще не знаю,— сказал я.— Вам нечего опасаться, если будете держать язык за зубами. Понятно?

Она рассеянно кивнула.

— Как отпирается зеленый шкаф? — спросил я.

— Не впутывайте меня, пожалуйста, я сказала вам все, что мне известно. Ключа от зеленого шкафа у меня нет, и я не знаю, где он. Я вообще ничего не знаю.

Я сделал знак Францу, что пора уходить. Франц уставился на секретаршу и спросил:

— А сколько вам платили за это?

— Как за сверхурочные.

— Дураки не переводятся,— вздохнул Франц и засмеялся.

Когда она выпускала нас, я сказал:

— Вы, конечно, можете теперь звонить по телефону. Но я советую вам этого не делать. Мы оставим вас в покое. Мы вообще с вами не знакомы. Ну, знаем в лицо, знаем, что вы сидите в приемной. И все.

— Уходите,— сказала Шиндлер.

Франц поехал ко мне. Жены и дочери еще не было дома. Опрокинув три рюмки подряд, Франц признался:

— Карл, ты не поверишь, я такого страху натерпелся.

— Думаешь, я — нет? Но у меня злость пересилила. Не пойму, что это на меня накатило. Всю жизнь вкалываешь, жертвуешь здоровьем ради фирмы, а тут сидит вот такая баба и записывает все, что ты говоришь... мы болтаем друг с другом, ни о чем не подозревая, а она строчит...

— Не она, так другая,— вставил Франц.

— Я все время спрашиваю себя: чего они, собственно, добиваются этим подслушиванием? Ведь у нас, кроме как о бабах, ни о чем не треплются.

— Не скажи. Ты хорошо знаешь, что иногда говорят и о другом. Наверно, вот это они и хотят пронюхать, чтобы крепче нас заарканить.

— Так власть же все равно у них, а запугать нас они могут и без подслушивания. Производство у нас не секретное, поставляем промышленные газы, всякому известно, что это такое... Нет, ничего не понимаю, хоть тресни.

— Карл, а что будем теперь делать? Мы знаем, где лежат папки, но ведь это только начало... Карл, ты меня слушаешь?.. Шиндлер говорила про папки...

— Думаешь, стоит привлечь еще двух-трех человек? Вот что, Франц: завтра я расскажу Кольману. По-моему, Фрицу надо быть в курсе.

— У него длинный язык.

— Брось, Франц, не станет же он своих подводить.

— Как знать. Может, ему тоже за это сверхурочные платят.

— Ты рехнулся, Франц. Даже если мы возьмемся за это вдвоем, риск немалый, а если привлечем других, рискуем еще больше. В этом смысле ты прав.

— Чем это мы рискуем?

— Нам нужно добыть папки. Они и есть доказательство. Черным по белому.

— Хочешь сказать, мы должны совершить кражу со взломом, так, что ли? — Франц опасливо поглядел на меня.

— Да, дружище, кражу со взломом.

Едва Франц ушел, я поехал в «Гильденхоф». Хозяин, когда я спросил его об Анжело, ответил весьма любезно. Инвалиды стояли у стойки, и Генрих Виттбройке опять сильно кашлял. Как всегда, они вспоминали о прошлом.

— Прежде мы ходили в пивную пешком,— во всеуслышание заявил Виттбройке, полуобернувшись ко мне,— а нынче всяк подъезжает в авто. Самая голытьба катается теперь в авто.

В пивную вошел Мартин.

— Встретил твою дочь, Карл. Зашли с ней в кафе на Остенхельвег... она возвращалась с занятий... Ну и морока, я и не подозревал, что надо столько зубрить, чтобы стать воспитательницей.

— Она проходит специальный курс по воспитанию дефективных детей,— пояснил я.— Потому и дополнительные занятия.

— Да, она мне говорила.

«Может, рассказать Мартину историю с подслушиванием? — подумал я.— Пожалуй, не стоит, ведь он тоже предприниматель, хоть и мелкий. И если дело дойдет до присяги, они все будут заодно».

— У тебя неприятности? — спросил он.

— С чего ты взял?

— Карин мне говорила.

— Что она тебе говорила?

— Мог бы все-таки поделиться со мной, Карл. Я умею держать язык за зубами. Карин мне рассказала всю эту историю с аппаратурой на вашей базе.

Мы уселись за длинный дубовый стол в самом дальнем углу, где обычно собираются члены стрелкового общества. Я сообщил Мартину, что мы узнали от Шиндлер.

— Как бы ты поступил, Мартин?.. Только смотри, молчок.

У меня просто в голове не укладывалось, что Карин ему все разболтала. Чего это ее угораздило? Ведь обычно из нее лишнего слова не вытянешь.

— Если хочешь знать мое мнение, Карл, я бы ночью залез туда и взял папки. Потом созвал бы ваших людей и выложил им про все безобразия. Папки предъявил бы как доказательство. Ну, а затем пошел бы к прокурору.

— Послушать тебя, так все выглядит проще некуда... но ведь меня могут выгнать. Надеюсь, это тебе тоже ясно.

— Пойдешь работать ко мне.

— Мне нельзя водить грузовик, Мартин

— Найдется и другая работа, не обязательно грузовик.

— Если б я знал, как будут держать себя мои дорогие товарищи по работе,— сказал я.— А этого никогда не угадаешь. У меня уже есть опыт.

В зал вошел Вёльберт. Увидев нас в дальнем углу, он покачал головой и спросил хозяина:

— Что это с ними сегодня?

Хозяин засмеялся:

— Объясняются в любви. Мы здесь лишние.

Я встал из-за стола. Мартин поднялся вслед за мной.

— Завтра загляну к тебе по дороге,— сказал он прощаясь.— Может, кое-что придумаю.

— Заглядывай,— согласился я.

«А он толковый парень»,— подумал я, направляясь домой. Только одно не укладывалось в голове: почему Мартин решил помочь мне в таком деле, ведь он же рискует своей репутацией предпринимателя?

■

Жители нашей улицы уже не первый год гадали, когда начнут застраивать вытянувшийся до самого леса узкий земельный участок, который некогда купил один маклер. И вот теперь все выяснилось.

Приобретя участок, маклер потребовал, чтобы сначала закрыли смежную с его участком мини-площадку для гольфа, разбитую три года назад владельцем транспортного бюро; при этом он утверждал, что игра на площадке будет, мол, ему мешать. Однако муниципалитет в конце концов отказал ему на том основании, что площадка является местом отдыха жителей прилегающего района и представляет общественный интерес.

Первый же день строительных работ не обошелся без неприятностей. Собравшаяся на площадке детвора с любопытством наблюдала, как экскаватор роет котлован под фундамент. Маклеру показалось, что дети мешают работать, и он крикнул им, чтобы они отошли. Детишки нехотя отступили на несколько шагов, тогда маклер начал кидать в их сторону комья земли, конечно не намереваясь ни в кого попасть. Какая-то женщина, увидев это из окна, выбежала на улицу и учинила скандал.

— Куда же деваться детям? — кричала она.— Для всего находят место, только не для детей!

Об этом происшествии мне доложила Карин. Она была крайне взволнована.

— Господи,— сказал я,— и чего это люди по каждому поводу дерут глотку.

— Да, ты хороший,— возразила она,— тебе, кроме собственного покоя, ничего не надо. А ты подсчитай, сколько квадратных метров занимают под стоянку машины на нашей улице и сколько места остается для игр детям. Автомобилям все, детям ничего... ничего, кроме улицы, да и та на «черной» стороне!

— Дочка, а ты, оказывается, тоже за все переживаешь!

— А ты нет? На «зеленой» стороне этой проблемы не существует, там за каждым домом хороший сад и гараж побольше нашей квартиры... Этих господ видишь на улице только по субботам, когда они совершают обряд автослужения — когда они моют свои машины, ухаживают за ними, как за детьми.

— Что поделаешь, дочка, если строительные компании планируют жилые кварталы без детских площадок. Прикажешь сносить дома?.. Чего ты беспокоишься, у тебя-то нет детей...

— Да мы все обязаны беспокоиться, я просто не могу больше смотреть, как детишек вытесняют на улицу, а этот Боргман...

— Кстати, раз уж ты упомянула Боргмана: он тебя уважает, даже питает к тебе слабость.

Карин с удивлением посмотрела на меня и расхохоталась.

— Ну, скажу я тебе, это тип! Однажды он подвез меня в город — я ждала на трамвайной остановке, а он проезжал мимо. Уже в Эфинге он положил мне на колено ладонь.

— Что? Быть не может! Ну, а ты?

— Я? У меня как раз в руках была пилка для ногтей... ну я и воткнула ее изо всей силы ему в лапищу. Кажется, он взвизгнул... При случае посмотри... там, наверно, шрам остался... на правой руке... вот какой это тип... Ладно, отец, не переживай.

■

На следующий день мы с Францем ломали голову, как подобраться к зеленому шкафу, но так ничего и не придумали. Шиндлер я ви-

дел лишь раз, издали. Хотя Франц уговаривал меня не информировать Кольмана, я все же пошел к нему.

— Фриц, ты что-нибудь предпринял в профсоюзе? — спросил я.

— Без доказательств ничего не могу предпринять. Пойми, Карл, они сочтут меня сумасшедшим, если я расскажу им эту историю.

— А я знаю, где лежат доказательства. Только не могу к ним подобраться.

— Не хочешь ли ты сказать, что они здесь... на базе?

— Именно это я и хочу сказать, Кольман.— Я показал на здание конторы.

— Забрать! — крикнул он и стукнул кулаком по столу.— Забрать — и все тут!

— Конечно. Только научи, пожалуйста, как это сделать.

— Выкрасть,— сказал он.— Просто выкрасть.

— А ты, я вижу, неплохой председатель совета. Но шутки в сторону: они под замком, и мне придется взломать его.

— Ну и взломай, только добудь их. Помогу всем, что потребуется. И ключи достану. Остальное уж твое дело... Но меня не впутывай — сам понимаешь, какой тогда шум поднимется.

— Хорошо. Мы это провернем вдвоем с Францем, он в курсе.

— Зайди сюда через полчаса после смены. Дам ключи.

— Ну, а если я добуду доказательства, что потом? Доведешь дело до конца?

— У тебя есть какой-нибудь план? — спросил он.

— Пожалуй, да. Если достану папки, выложу их на стол во время рождественской пирушки.

— Недурно,— сказал Кольман.— Смотри не попадись. Моя поддержка тебе обеспечена.— Он задержал меня еще на секунду.— Слушай, Карл: будешь читать папки, погляди, нет ли там чего про меня. Если есть, покажи мне.

Когда Франц вернулся из Гельзенкирхена, я передал ему разговор с Кольманом. Он начал было упрекать меня, но потом все же согласился, что через голову председателя производственного совета прыгать не стоит.

Через полчаса после окончания смены Кольман вручил мне пластиковую сумку и, когда я уже был во дворе, крикнул вслед:

— Майвальд, ты там погляди, может, арматуру можно починить!

Дома я насчитал в сумке восемьдесят шесть ключей разного калибра и длины, была здесь даже универсальная отмычка. И как это ему удалось раздобыть?

Я сидел в кухне, рассматривал ключи и ломал голову: что с ними делать? В здание конторы незаметно не проберешься, ночью вся территория автобазы ярко освещена; со стороны речного порта высокий забор, и с шести часов вечера до шести утра вдоль него ходит вооруженный сторож с овчаркой. Над тремя боковыми воротами горят по два неоновых фонаря, а над центральными даже три. Иногда я задавал себе вопрос: кого здесь, собственно, надо охранять — автоцистерны или людей?

Покончив с бутербродами, я сложил ключи в сумку и отнес ее в машину.

В палисаднике Боргмана какие-то остряки вбили кол с табличкой: «Собакам вход воспрещен. Детей водить на поводке».

Я еле удержался от смеха. «И кто это сообразил?» — подумал я.

Вернулась с работы Ангелика и разогрела себе обед. Вид у нее был весьма деловой. Я подсел к ней.

— Хорошо, что вернулась пораньше,— сказал я.— Мы с тобой почти не встречаемся.

— Если б ты не шлялся каждый вечер в кабак, встречались бы почаще.

— Ты видела табличку в палисаднике у Боргмана? «Собакам вход воспрещен, детей водить на поводке».

Ангелика оцепенела:

— Ну как это можно? Да еще у Боргмана, который и мухи не обидит.

Вечером в «Гильденхофе» только и говорили что о табличке. Инвалиды точно знали, кто это сделал: конечно, коммунисты, «молокосоцы», ведь они хотят все экспроприировать.

Мартин, игравший с кем-то на «флиппере», поддразнил инвалидов:

— Не мешало бы поставить табличку и под окном Виттбройке.

— А с какой надписью? — подыграл я Мартину.

— С какой? «Сорок лет вкалывал ради силикоза и дураком остался». Он же после войны подарил свой депутантский уголь [1] судебному советнику на вашей улице. Такого дурня поискать надо!

— Мартин, ну что ты все время придираешься к инвалидам! — рассердился хозяин пивной.

— Да потому, что это правда, черт возьми!

— Чтоб ты врезался в дерево и свернул себе шею, пивной извозчик! — крикнул Виттбройке.

Мартин подошел к Виттбройке, сгреб его в охапку и перевернул головой вниз.

— А ну, повторяй за мной,— рявкнул он, держа Виттбройке за ноги: — «Многие лета поставщику пива Мартину Фогту». Ну!

Генрих Виттбройке, хрипя, повторил.

Мартин поставил его на ноги и ухмыльнулся. Виттбройке зашелся в приступе кашля, какой бывает только у силикозных больных. Двое приятелей-инвалидов поддерживали его под руки.

В зале воцарилась тишина. Все ждали, пока Виттбройке отойдет, но он продолжал надрывно, со свистом, кашлять. Меерман подошел к музыкальному автомату, бросил в щель монету и сказал хозяину пивной:

— Включи на полную катушку. Сил больше нет слушать его.

Хозяин, не обращая внимания на Меермана, предложил трем инвалидам отвезти их домой на своей машине, но те отказались. Перед уходом Виттбройке сказал:

— Ничего в вас не осталось человеческого, ничего...

— Пьянчужки несчастные...— сказал я.— Да, кстати, Мартин, ты разбираешься в ключах?

— Еще бы, я профессиональный взломщик.— Он рассмеялся.— Нужна моя помощь?

Я кивнул. Мы расплатились и вышли. На улице я рассказал Мартину обо всем. Он слушал меня внимательно, изредка кивая головой.

— Ясно. Главную идею понял. Остальное — детали. Давай-ка сейчас съездим к порту и на месте уточним подходы.

Мартин лихо вел свой «БМВ». В районе порта ему была знакома каждая улочка. Он остановился перед трехметровой оградой из проволочной сетки, за которой виднелись штабеля желтых бочек. Это был склад лакокрасочной фабрики, граничивший с нашей базой.

— Почему здесь? — спросил я.

— Очень просто. Пролезть сквозь проволоку ничего не стоит, потом между бочками — штабеля тянутся до второго забора, тут мертвое пространство. Второй забор тоже не проблема. От него до

[1] Уголь, получаемый шахтерами в счет заработной платы.

вашей конторы самое большее метров пять. Ну, и дверь в подвал...

— Там вход в экспедицию,— сказал я.

— Вот видишь. Остальное пустяки.

— Так. А обратно?

— Разрезанную проволоку надо сцепить, не то сторож при обходе заметит.

— А овчарка? — спросил я.

Мартин потер руки:

— Собаку я беру на себя.

■

Наш город начинал прихорашиваться еще задолго до рождества и с каждым днем становился все наряднее и светлее. В палисадниках и садах «зеленой» стороны на елках и соснах всю ночь горели электрические гирлянды. Это доставляло радость детворе по обе стороны улицы. Перед праздниками Ангелике всегда не хватало времени, ее универмаг торговал на полную мощность. С приближением рождества жена все чаще работала сверхурочно и все реже бывала дома.

В конце улицы, возле трамвайной остановки, над входом в пивную, куда я никогда не ходил, еще за три недели до праздников повесили транспарант с надписью под светящимися звездами и кометой:

«ПРАЗДНИЧНОЕ ПИВО ЕСТЬ И ДО РОЖДЕСТВА».

А директор страховой конторы над коваными железными воротами своего дома укрепил световую рекламу (если бы я сам не видел, не поверил бы):

«Всем застрахованным мною желаю веселого Рождества и счастливого Нового года».

Хольткамп, чьи поля подходят к автостраде, в прошлом году провел из нашего поселка кабель к полевому свеклохранилищу и установил на нем световое табло. С наступлением темноты в поле загорелись слова: «Рождество в ЕЭС [1] — для немецкого крестьянина стресс». Ввиду участившихся катастроф на автостраде полиция запретила Хольткампу в этом году зажигать табло.

Я подумал, что и Боргман мог бы к празднику выставить в своем палисаднике рекламу: «Ваша праздничная челюсть».

— Отец, а чем ты хуже их? — спросила Карин.— Вывеси в окне транспарант: «Рождественские тарифные ставки! Рождественская травма позвоночника! Будьте инвалидом по-рождественски!»

■

В отличие от большинства предприятий, где рождество отмечали за две-три недели до его наступления, наше рождественское застолье было назначено на девять часов утра в сочельник. День этот считается рабочим днем с той лишь разницей, что работать не надо, а жалованье платят. Как и во все предыдущие годы, местом для торжества была наша столовая; и хотя рождественские премиальные нам выплатили месяц назад, в сочельник каждому из нас еще полагался подарок: кулек с яблоками и орехами, бутылка водки и две пачки сигарет. За пиво и водку, выпитые во время пирушки, также платила фирма. Участие в празднестве было обязательным; тому, кто не являлся, записывали день отпуска за свой счет.

Большинство участников наших утренних пирушек приходили потом домой настолько навеселе, что это служило причиной семейных скандалов. Мы, члены производственного совета, не раз предла-

[1] Европейское экономическое сообщество.

гали отменить «рождественские утренники» вообще или устраивать их на несколько дней раньше и даже ездили по этому поводу в Дюссельдорф, в правление фирмы. Однако дюссельдорфское начальство и по сей день придерживается установленной даты, словно это какой-то общегосударственный праздник. Впрочем, работники автобазы были против отмены рождественского застолья.

— Времени у нас в обрез,— сказал я Францу.— Надо сделать это завтра.

— Завтра?

— Да, лучше накануне сочельника.

— Почему? — спросил Франц.

— Потому, что тогда они практически не смогут обнаружить исчезновение папок из шкафа. И к сочельнику у нас будут в руках доказательства.

— Пожалуй, ты прав, Карл. Значит, с четверга на пятницу?

— Да, с четверга на пятницу.

— А твой Мартин будет? Парень-то он надежный? — Франц явно нервничал.

— Абсолютно надежный,— сказал я.— Можешь не волноваться.

— Ну что ж, я согласен.

В тот же вечер, за игрой на «флиппере», я договорился с Мартином о времени: четверг, двадцать три ноль-ноль. Мартин слушал меня, не отрываясь от игры и не отвечая на ехидные замечания инвалидов. Он лишь сказал мне:

— Эти друзья никак не могут взять в толк, что мой отец, прежде чем купить грузовик и заняться развозкой пива, тоже вкалывал в шахте. Он даже дедовский дом заложил за сорок тысяч марок.

— По крайней мере, у него хоть было что закладывать, чтобы получить кредит в банке.

— Все равно, Карл, надо работать, если хочешь чего-то добиться. Дед жрал одну картошку, чтобы скопить денег на земельный участок. А материалы для нашего дома брал где придется, таскал и в рюкзаке, и на тачке.

Ангелика была уже дома, когда я вернулся. По ее виду я понял, что сейчас лучше с ней не заговаривать. Она приготовила ужин, и мы молча поели в кухне.

— Я стала слишком медлительной, заявил мне заведующий секцией. Карл, сказать такое мне!

— А что случилось? — спросил я.

— Ты же знаешь, что у нас творится в предпраздничные дни, все словно осатанели, подгоняют и подгоняют друг друга... Вот сегодня один, со склада, как заорет на меня, ну я не выдержала и выдала ему пару теплых слов... побежала в уборную и разревелась, полчаса ревела и курила сигарету за сигаретой... Потом вернулась к себе на место... работа, конечно, стояла, меня дожидалась, а заведующий тут как тут...

— Он небось тоже осатанел перед праздниками,— сказал я в утешение ей.

Ангелика некоторое время молча барабанила пальцами по столу.

— Знаешь, Карл,— начала она после паузы,— ты вот носишься со своим Анжело. А у нас в универмаге сейчас полно итальянских девиц, и они делают все, что им прикажут, готовы на все, лишь бы платили сверхурочные. Они нас в могилу загонят, ей-богу.

Ангелика разошлась. Она достала из шкафа бутылку коньяку и сказала:

— Чего только не приходится теперь выслушивать. Раз ты немка, ты уже ничего не можешь себе позволить, тебе просто нахально

заявляют в лицо: вы нам больше не нужны, у нас хватает иностранцев. Скоро и рта раскрыть не дадут... Карл, я уже не молоденькая... а молодые — те вообще помалкивают, ими как хотят помыкают. И они еще «спасибо» говорят.

Ангелика пила рюмку за рюмкой. А если уж она начинает пить, то быстро пьянеет. Я ее знаю. Но она убрала бутылку, вытащила из-за кухонного шкафа гладильную доску и принялась утюжить постельное белье. Мне никак не удавалось убедить ее сдавать в прачечную хотя бы крупные вещи. Она все хочет делать сама: в прачечной, мол, получается хуже.

Я смотрел, как она гладит, и мы обсуждали рождественские подарки. Дочке она купила электронный будильник.

— А я тебе еще ничего не купил,— сказал я.— Чего бы тебе хотелось?

— Чтобы ты не шлялся каждый день в пивную. Больше ничего.

Услышав прерывистый вздох, я поднял глаза. Жена тихо плакала. Порой слезинка-другая падала на белье, и Ангелика тут же проезжалась по мокрому пятнышку утюгом.

— Карл,— сказала она,— вот мы с тобой и дождались.

— Чего дождались? — спросил я.

— Да того, что жить стали врозь.— Ангелика высморкалась.

— Ничего не врозь, просто мы в последнее время слишком много работаем, то есть в последние годы. Нельзя же только сидеть рядышком, держась за ручки. А живем мы неплохо, оба хорошо получаем, на будущий год и Карин начнет зарабатывать. Чего тебе не хватает?

— Нет, Карл, живем мы с тобой врозь. Уже не ходим вместе гулять, не ходим в кино. Ты только и знаешь свою пивную. Иногда всю неделю видимся с тобой урывками.

— Так это ж не от тебя зависит и не от меня, просто работаем в разное время.

— Ты всегда найдешь отговорку. Всегда... Между прочим, Боргман ту фанерку с подлой надписью сохранил. Говорит, что она нужна ему как вещественное доказательство. Ты не слыхал в пивной, кто бы мог это сделать?

— Нет, не слыхал.

— Фрау Боргман — очень милая женщина, совсем простая. Ее отец был трамвайным кондуктором... Им нелегко жилось... Нельзя же ставить человеку в упрек, что он хорошо зарабатывает.

— Конечно, нельзя.

— Вот, видишь, Карл, иногда надо взглянуть на вещи и с другой стороны.

— Скажи-ка, Ангелика, а что бы ты сделала, если бы твой заведующий жил там, напротив?

Она перестала гладить и оторопело посмотрела на меня.

— Я?.. Я пригнала бы собак со всего района к нему в палисадник... Но ведь Боргман не мой заведующий.

Ангелика опять взялась за утюг.

— В том-то и дело, что не твой,— сказал я.

■

Я остановил машину на Канальгассе напротив пивной «Жирная Мария», в которой околачиваются сутенеры и всегда пахнет горячим жиром.

Франц нес пластиковую сумку с ключами, у меня под пальто были спрятаны кусачки для разрезания проволоки. Вечером выпало немного снега, на улицах была слякоть, но за складом лакокрасочной фабрики еще лежала белизна.

Мы прибавили шагу.

— Хорошо бы обошлось все,— сказал Франц.— А если поймают, просидим рождество за решеткой.

— Хочешь отколоться?

— Нет, отступать теперь уже нельзя. Все в порядке, все правильно.

В том месте, где мы с Мартином высмотрели подходящую лазейку, стоял его «БМВ» с включенными подфарниками. Я обрадовался, так как, по правде говоря, немного опасался, что Мартин не приедет Когда же я подошел к машине, то обалдел от неожиданности: рядом с Мартином сидела моя дочь. И курила.

— А ты чего здесь? — спросил я.

— Если кто-нибудь пройдет мимо, мы изобразим любовную парочку,— сказала она так, будто это было для нее самым естественным делом на свете.

Мартин вылез из машины и стал нас поторапливать.

— Я жду здесь, пока вы пролезете через первый забор. Потом еду ко второму. Когда войдете в подвал, начну объезд территории. Может, удастся отвлечь вахтера. Ясно?

Прорезать дыру в проволочной сетке оказалось легче, чем мы думали. Пока я скреплял концы разрезанной проволоки, Франц был уже за бочками и делал во втором ограждении проход, открывавший путь к подвалу. Когда я подбежал к Францу, он уже завершил свою работу. Мы пролезли в дыру, и я опять сцепил концы проволоки.

Подвальная дверь была в тени — по обе стороны лестницы возвышались бетонные стенки, так что даже при внимательном наблюдении нас не могли бы заметить. Мартина я увидел на другой стороне улицы, метрах в ста от конторы.

— Попробуем сперва отмычкой,— шепнул мне Франц.

Через несколько минут дверь открылась.

— Ну, Карл, что скажешь? Не ту профессию я выбрал, мне бы взломщиком быть.

В коридоре подвала Франц вздохнул:

— С самого начала везет... А это плохая примета, когда все идет хорошо.

Дверь из экспедиции в контору была открыта. Мы поднялись по лестнице; от наружного освещения в здании было настолько хорошо видно, что не пришлось включать карманные фонарики.

И в конторе двери оказались открытыми, а некоторые даже широко распахнутыми. Все шло гладко. Дверь в приемную директора тоже была не заперта. Войдя туда, мы сразу увидели зеленый шкаф. Это был обычный деревянный конторский шкаф.

Осторожно раздвинув занавески, мы взглянули в окно: во дворе было светло как днем и ни души. По ту сторону забора проехала машина — вероятно, Мартин.

— Ну, давай,— сказал Франц.

— Надеюсь, это тот самый шкаф,— сказал я.— Если только Шиндлерша нас обманула... не знаю, что с ней сделаю.

Мы попробовали несколько ключей, но ни один не подходил.

— Хорошо бы топор,— прошептал Франц.— Замок вроде нормальный, а дверь не отпирается. Вот дьявольщина!

Пустили в ход отмычку, но тоже безуспешно. Пока Франц перебирал ключи в связке, я с досады потянул за ручку дверцы.

И она вдруг открылась.

Она вовсе не была заперта — только на защелке.

«Взламывать тоже надо умеючи»,— подумал я.

— Ну и дураки же мы,— сказал Франц.

Нижняя половина шкафа была пуста, в верхней лежали стопками синие и зеленые папки-скоросшиватели и стояло несколько переплетенных томов. Не успел я протянуть руку, как Франц схватил одну из папок и отошел к окну. Раскрыв ее, он тихо прочитал:

«...эта стерва... выпроводила меня из конторы... как последнее дерьмо... ну, стерва... пусть только попадется мне...»

— Прочитаешь потом,— сказал я.— Пора сматываться.

Тут выяснилось, что мы захватили с собой маловато сумок для упаковки. Больше половины папок не уместилось. Я растерянно посмотрел на Франца. Он, не долго думая, поднял с пола две корзинки для бумаг. За раз мы не смогли все унести, пришлось тащить в два приема до выхода из подвала.

— Я поищу Мартина,— сказал я Францу,— а ты сходи еще разок наверх и проверь, закрыт ли шкаф.

Схватив две сумки, я стал пробираться среди бочек. Начался дождь.

Казалось, прошла целая вечность, но наконец из Канальгассе вывернула какая-то машина. «По звуку мотора похоже на «БМВ»,— определил я. Машина подъехала вплотную к забору. Это был Мартин. Он выключил мотор. Я подал ему через лаз обе доверху набитые сумки и прошептал:

— Жди, еще будет, я побежал.

— Где Франц? — спросила из машины Карин.

Я вернулся ко входу в подвал. Франц не появлялся. Я отнес Мартину еще две сумки и предупредил:

— Остались две корзинки, полные папок.

— Вы с ума сошли! Здесь нельзя долго стоять. Это бросается в глаза.

— Корзины с папками еще больше бросаются в глаза, так что жди, Мартин.

Я поспешил обратно. Франц наконец появился.

— Карл, я там всюду вытер платком. Ну, в смысле отпечатков пальцев.

Я не удержался от смеха:

— Вот что значит каждую неделю смотреть по телевизору детективы, черт побери!

Посмеиваясь, мы направились к лазу. На полдороге, услышав вдруг голоса, мы прижались к бочкам.

— Нечего тут стоять, проезжайте! Чирикайте где-нибудь в другом месте.

Донесся шум включаемого мотора, потом — шелест колес отъехавшего «БМВ». Нас с Францем разбирала досада.

— Проклятье,— прошипел Франц.— За пять шагов до цели!

— Думаешь, полиция? — шепотом спросил я.

— Навряд ли. Скорее, портовая охрана. Полиция потребовала бы документы.

На четвереньках мы проползли к краю штабеля бочек и притаились. Ночную тишину нарушало легкое шуршание дождя. Холод пронизывал до костей. Где-то в порту или на канале стучал судовой движок. Захотелось курить. Но не успел я сунуть в рот сигарету, как Франц тут же вырвал ее.

— Не дури! И куда этот Фогт подевался, неужто бросит нас?.. Хорошо хоть, что твоя дочка при нем.

«Наверно, они целовались»,— подумал я и мысленно представил себе лицо Карин, серьезное, с большими глазами.

— Где его только черти носят? — опять проворчал Франц.

Мы уселись на бочки, железо было холодное. Я подумал: «Не дай бог штабель развалится...»

Прошло не меньше часа, пока мы услышали шум приближающейся машины. С выключенными фарами она подъехала к лазу в заборе. Обе дверцы распахнулись, Мартин и Карин выскочили из «БМВ» и пригнули спинки передних сидений, чтобы мы быстрее сели в машину. Мы с Францем, прижав к себе корзинки, забрались внутрь. Не успела Карин захлопнуть дверцу, как Мартин рванул с места. Из района порта он направился по Мюнстерштрассе к Главному вокзалу, оттуда по Шютценштрассе назад, потом свернул к Северному рынку. Там он остановился, выключил мотор и свет.

— Ерунда какая-то получилась, этот тип словно из-под земли вылез... наверно, подкрался, мы ничего не слышали, и вдруг стоит перед самым капотом...

— А кто он? — спросил я.

— Скорее всего из портовой полиции, но в штатском. Если б не вы, я бы ему хорошенько врезал. А может, какой-нибудь шпик — их здесь пруд пруди.

— Как вы думаете, сколько длится один час, когда сидишь вот так между бочками и ждешь? — спросил я.

— Да еще под дождем,— добавил Франц.

— Обошлось ведь,— сказал Мартин.— Сейчас отвезу вас.

Он поехал на Канальгассе, где я бросил свою машину.

— Папки оставьте здесь. Буду ждать вас у шахты «Министр Штайн».

Мы с Францем пересели в мою машину. Развернувшись так, что взвизгнули шины, Мартин умчался.

У Франца дрожали руки, он то и дело дышал на них, пытаясь согреть, и с большим трудом прикурил сигарету. Глубоко затянувшись, он сказал:

— Дело-то было пустяковое, а страху натерпелся... Там меня в пот шибало, а сейчас зуб на зуб не попадает.

— Хорошо провернули,— сказал я.

— Ладно, поедем, Карл.

У ворот шахты «Министр Штайн» Мартин ожидал нас. Поравнявшись с его машиной, я подмигнул ему и проехал дальше, он последовал за нами. Был час ночи, улицы были пусты, лишь на Экстернберге, перед пивной, горланили какие-то пьяные. Подъезжая к Длинной улице, я еще издали заметил красный жезл-кружок дорожной полиции. Совесть наша была чиста, мы не выпили ни капли спиртного, и все же в голову приходят странные мысли, когда твой друг везет в багажнике папки, которые ему не принадлежат. Убедившись, что спиртным от нас не пахнет, полицейские для порядка проверили наши документы. Мы поехали дальше в сторону Люнена. Не доезжая до «Острого угла», свернули на Дорфштрассе и метров через пятьсот остановились у дома Фогтов.

— Что дальше? — спросил Франц.— Мне ведь тоже домой надо.

Мартин попросил обождать и вошел в подъезд. Карин осталась в машине. Вскоре Мартин вернулся.

— Мои старики до Нового года уехали в Альгёй. Давайте отнесем это ко мне в «Погребок».

Пивной бар в подвале не был достроен, одну из стен еще не обшили деревянными панелями. Однако на полках позади стойки уже красовались рюмки, бокалы, стаканы и полные бутылки. С потолка спускались красные, синие и желтые плафоны. Мы сложили папки на круглый столик и уселись на высокие табуреты перед стойкой.

— Мартин, налей нам чего-нибудь,— сказала Карин.— Изобрази хозяина.

«Карин наверняка уже бывала здесь»,— подумал я. Мартин скрылся за узенькой дверью, неприметной в деревянной панели, и скоро вернулся, облаченный в белую куртку.

— Если уж бармен, так по всей форме,— сказал он и налил нам «штайнхегера». Мы чокнулись. Только теперь я почувствовал, что словно начинаю оттаивать, напряжение ослабло, мне хотелось рассмеяться, но лицо лишь скривилось в усмешке.

Сгорая от нетерпения, я подсел к столику и начал листать папки.

— Предлагаю следующее,— сказал Мартин.— Вы оба оставайтесь здесь и читайте, а я отвезу Карин домой. Или она сама поедет в твоей машине, Карл?

— Я тоже останусь,— заявила Карин.

— Нет, ты поедешь домой,— сказал я.— Утром можешь вернуться сюда. Успокой мать, если она еще не спит. Скажи, я забыл предупредить ее, что у меня сегодня ночная смена.

— Думаешь, она этому поверит? — спросила Карин.

Мартин повез Карин домой. Мы с Францем взяли по папке и углубились в чтение.

Вернувшись, Мартин показал нам, где туалет, вручил ключ от входной двери и отправился спать.

То, что мы читали, казалось просто невероятным. Перед нами лежали записи разговоров, которые велись на автобазе: в душевой, в гараже, на дворе, в проходной, в столовой, в приемной, на стоянках, на складе горючего, у бензоколонок, в раздевалке...

— Карл, ты говорил когда-нибудь, что нашу базу хорошо бы взорвать?

— Возможно.

— Вот, полюбуйся,— сказал Франц.

Я выхватил у него папку и впился глазами в текст. Будь я перед судом, я ни за что бы не решился сказать под присягой, где и в какой связи произнес некоторые слова и фразы — просто не вспомнил бы. Но все это были действительно мои слова. Правда, насчет «взрыва базы» был у меня разговор с Бургхольцем. Два месяца назад его уволили. А за что, не знаю.

Я прочитал:

«Эй, Карл, у меня тройной скат лопнул. Заменить придется».

«Как же так? Он ведь совсем новый».

«Был. А сейчас лопнул».

«Вот те на. Как же это случилось?»

«Карл, только молчок. Я его сам проколол... В Ольденбурге... Там у меня баба есть, ну и захотелось ее навестить... А начальство, сам знаешь, как шипит, когда у тебя на счетчике два часа простоя без причины и нечем оправдываться».

«Ну, ты даешь, Бургхольц! А если узнают?»

«От кого? От тебя?»

«Ты же знаешь, что я не фискалю».

«Тогда порядок!»

— Карл! — воскликнул Франц.— Ты только послушай, такое и не приснится...

— Что не приснится?

— Ты знал, что Краймайер заставляет работать на себя трех шлюх?

— Чего?! С ума сойти... Вообще-то я удивлялся, как это он приобрел такой шикарный «БМВ». Получает не больше нас, трое детей...

— А знаешь, сколько одна шлюха приносит ему за месяц? Вот

здесь написано: ни много ни мало — две тысячи марок... Да, это, я скажу тебе, доходец. Пальцем не пошевелит, а шесть тысчонок за месяц в кармане! И это ведь не основное его занятие. Да, век живи — век учись... Пожалуй, на базе он работает так, для маскировки.

Тщательно просматривая записи, мы не нашли там никаких примечаний — ни на полях, ни в тексте. И все же в руках у нас были доказательства. Это вселяло уверенность.

То, что лежало перед нами на столе, было ни на что не похоже, было просто невероятно, и я никогда бы об этом не узнал, если бы меня не вызвали в дирекцию по поводу премии и если бы я не заинтересовался полукруглой штуковиной на столе секретарши.

Франц уснул, положив голову на папки.

Я с удовольствием пропустил бы еще рюмочки три, но мне следовало быть трезвым. Кто поверит пьяному в таком деле, которое я собрался осуществить.

Что я скажу, если в дирекции спросят, каким образом я достал эти папки? Они обнаружат дырки в проволочном ограждении, возможно, устроят обыск в моей квартире, будут искать против меня доказательства, так же как я искал доказательства против них. Но никому в голову не придет искать их здесь, в «Погребке» Мартина.

Мы совершили кражу на своем же предприятии, противозаконно ли это? И мы совершили кражу не с целью наживы, а для того, чтобы добыть доказательства противозаконных действий фирмы против нас.

Так что же противозаконно: кража или слежка?

Я разбудил Франца.

— Слушай, Франц, дело мы с тобой затеяли нешуточное, нам одним с ним не справиться, надо подключать профсоюз. Может случиться, что на нас подадут в суд.

— Ничего они не докажут, отпечатки пальцев я стер повсюду. Можешь гордиться мной, я действовал как настоящий профессионал.

Я невольно рассмеялся.

— Мы действовали как настоящие взломщики,— продолжал Франц.— Хорошо, что Мартин помог нам... Да, а что у него с твоей дочкой?

— Понятия не имею. Они знакомы по спортивному обществу, и все.

Мы стали читать дальше. Страницу за страницей. Я уже начал клевать носом, а Францу, видимо, часок сна пошел на пользу. Мы все еще не решили, что делать. Личные машины на территорию базы не пропускают, въезд разрешен только директору и заведующему производством. С полными сумками мимо вахтера тоже не пройдешь — он проверит.

Хоть плачь: сначала вламываемся, как закоренелые громилы, чтобы добыть папки, потом ищем способа, как пронести их обратно.

До начала рождественского «утренника» оставалось лишь несколько часов.

«Наверное, будет то же, что и всегда,— подумал я.— Выступит с речью директор, выступит Кольман, выступит заведующий производством, так было все десять лет, потом мы споем о елочке, а потом о тихой и святой ночи».

К шести утра мы начали мерзнуть. Читать записи мне уже надоело, ничего любопытного я там больше не находил. Обыкновенные разговоры, дурацкая болтовня, похабные анекдоты; ругань по любому поводу: тут и автобаза, и квартира, и жена, и семья, и отпуск, и женщины, и политика, и деньги, и получка. Разговоры по понедельникам,

разговоры по пятницам, кто в какую пивную ходит, кто где провел отпуск. Интересовали меня, правда, разговоры шоферов: каким способом они ухитряются подделывать показания счетчиков, чтобы выбить побольше сверхурочных. Прочитать бы мне эти папки раньше, когда я сам ездил в дальние рейсы, скольких бы неприятностей удалось избежать... И все-таки это не повод для установки подслушивающих устройств. В чем же истинные причины?

Часов около семи пришел Мартин. Он явно не выспался и выглядел мрачным. Он включил «эспрессо» и приготовил нам кофе.

— Мне пора в контору,— буркнул он.

Контора Фогтов помещалась на противоположной стороне улицы в старом доме, который тоже принадлежал их семейству. Всю канцелярскую работу выполняла Хайди, сестра Мартина.

Мы молча пили кофе.

— Да, влез я с вами в историю,— нарушил молчание Мартин.

— Мог бы и свежих булочек принести,— заметил Франц.— Кофе был бы вкуснее.

Мартин хлопнул меня по плечу:

— Карл, папки оставь здесь. Возьми с собой одну, спрячь ее под курткой, никто и не заметит.

Так мы и решили.

■

В половине девятого, усталый и взбудораженный, я вошел в комнату производственного совета и отдал Кольману сумку с ключами.

— Все в порядке,— сказал я.— Папки у нас.

Я сообщил ему, как мы с Францем собираемся действовать сегодня.

— Сумки никто не хватился,— сказал Кольман.— До поры до времени я не буду вмешиваться.

— Надо подключать профсоюз, Кольман. Что мы с Францем для них? Мелкая сошка. Оплюют нас с головы до ног и только, а причина у них всегда найдется.

От Кольмана я отправился в столовую.

В углу напротив входа красовалась высокая, до потолка, елка, украшенная гирляндами лампочек и серебряным дождем. Составленные подковой столы были, как всегда, покрыты белыми скатертями. Возле каждого прибора — бутылка пива, перевязанный золотистой ленточкой кулек, карманный календарь на 1973 год и две пачки сигарет. На четырех человек полагалась бутылка водки. По всему столу через равные промежутки стояли зажженные свечи. Из динамика неслись звуки рождественских песен.

Столовая быстро заполнялась — пришли все, даже трое шоферов, которых назначили дежурить в праздничные дни. Многие, конечно, уже успели выпить. Все было как и в прежние годы. Конторские служащие уселись напротив начальства. Рассказывали анекдоты. Девушка-ученица с распущенными черными волосами раздавала листки, на которых были напечатаны тексты рождественских песен.

Усаживаясь за стол дирекции, Кольман еле заметно кивнул мне. Столы были расставлены так, что все мы видели друг друга, кроме служащих, сидевших к нам спиной.

Все это время я крепко прижимал к себе папку, спрятанную под курткой. В ней были записи разговоров, которые вели между собой Дёрлам и Фольмер. Франц, словно истукан, сидел рядом со мной, и только по тому, как он нервно курил, я догадывался, что́ у него на душе.

В столовую вошел директор Фабер, вместе с ним — шеф по кад-

рам Штратман и заведующий производством Кюн. Фабер кивком приветствовал всех присутствующих и громко, чтобы слышали все, поздоровался с Кольманом. Он встал позади своего стула и поднял руки. В зале стихло, оборвались и рождественские песни, лившиеся из репродуктора.

— Дорогие сотрудники, дорогие друзья! — сказал директор.— Я позволю себе именно так обратиться к вам. Я рад, что вы все пришли. Полагаю, что мы здесь, за исключением вахтера,— но его мы сейчас тоже позовем — в полном составе... Никто не болен, в праздники нехорошо болеть. Итак, следуя нашей традиции и прекрасному старинному немецкому обычаю, мы вначале споем рождественский гимн. Я не сомневался, что все мы не столь уж твердо помним наизусть слова — школьная пора давно миновала,— и потому распорядился отпечатать для каждого экземпляр. Текст у всех под рукой? Ну-с, тогда начнем. Кто запевает? Герр Кюн? Вы же у нас главный певчий! Итак...

Кюн встал, а поскольку кое-кто при этом подумал, что гимн «Преисполненная радости и святости» полагается петь стоя, то один за другим поднялись все. Франц тоже встал, заставил подняться меня, мы взяли листки и запели: «Преисполненная радости и святости, озаряющая душу благостью рождественская ночь...»

Пропели с первой до последней строчки. Кое у кого был даже растроганный вид, когда все снова уселись. Как все торжественно! Восемьдесят мужчин и десять женщин: шоферы и конторщицы, слесари и директор, подсобники и бухгалтер, секретарша и портовые рабочие — раз в году, за одним столом, все вместе!

От имени производственного совета выступил Кольман:

— Дорогие коллеги, господин директор, разрешите мне, как в таких случаях принято, пожелать всем веселого рождества и счастливого Нового года. Это во-первых. Во-вторых, я хотел бы сказать, что мы в этом году хорошо поработали вместе, трудовая атмосфера... кто возьмется утверждать обратное... стала лучше, жалобы реже, и производственный совет чаще, чем в предыдущие годы, полюбовно договаривался по спорным вопросам с дирекцией, когда же мы не договаривались, то находили удачный компромисс. Значительно улучшилось и сотрудничество с главным производственным советом в Дюссельдорфе. Обмен информацией с другими филиалами фирмы хорошо налажен, дирекция позволила нам бесплатно пользоваться телефоном при решении всех важных вопросов, независимо от того, с каким предприятием необходимо связаться... Это очень важно, потому что таким образом мы всегда можем быть в курсе всех дел, происходящих в других филиалах, и ни одна из низовых организаций не будет, так сказать, вариться в собственном соку. Далее: пособие по болезни от предприятия увеличено на пятьдесят пфеннигов, что составляет в итоге одну марку в день; это немного, но если человек заболеет надолго, то кое-какая сумма наберется. Рождественскую премию повысили на пятьдесят марок для семейных и на тридцать — для одиноких, теперь это соответствует месячному жалованью. Мне хотелось бы подчеркнуть, что так было не всегда и что на сегодняшний день это еще не повсюду введено. К сожалению, нам не удалось добиться прибавки на питание в столовой и на напитки, в будущем году мы предполагаем продолжить переговоры по этому вопросу в Дюссельдорфе, но зато позволю себе отметить: качество еды улучшилось, она стала менее жирной, следовательно, менее калорийной, теперь мы получаем больше овощей, а значит, и витаминов, к обеду подают фрукты. И это хорошо — ведь у каждого из нас есть некоторый избыток в весе, двигаемся мы маловато, правильное питание,

особенно в столовой, может оказать тут действенную помощь, и мы организовали эту помощь. Ну вот, коллеги, не специалист я длинные речи говорить, открывайте бутылки, наливайте бокалы. За здоровье всех присутствующих, и еще раз: веселого рождества!

Раздались аплодисменты, все пили, чокались, из репродуктора снова, но тише, чем прежде, зазвучали рождественские песни. Все развязывали кульки, хотелось поглядеть, что там внутри (содержимое, увы, с годами не менялось). Гул голосов усилился. Заведующий производством Кюн постучал ножом по рюмке.

— Мои дорогие сотрудники, к тому, что сказал наш многоуважаемый герр Кольман, я ничего не в состоянии добавить, ибо его слова говорят сами за себя. Мы можем гордиться достигнутыми успехами. Хотелось бы еще, пожалуй, упомянуть, что каждый, у кого в уходящем году были какие-либо затруднения, заботы или печали, имел возможность с полным доверием прийти ко мне. И я осмелюсь сказать, что в большинстве случаев были приняты удовлетворительные решения или, как уже говорил коллега Кольман, был найден удачный компромисс. В этом смысле... я хочу пожелать: вперед, в том же духе, до следующего рождественского праздника. Итак, счастливого рождества всем нам!

Кюну громко захлопали — его любили. Снова налили рюмки и снова выпили. У меня было такое впечатление, что кое-кто порядком нагрузился еще до открытия столовой.

Я сидел, прижимая к себе папку. Мне уже стало жарко.

Слово взял Штратман.

— По-моему, я знаком здесь с самым ничтожным меньшинством присутствующих.— Он рассмеялся, и все засмеялись.— Меньшинством потому, что по долгу службы мне почти не приходится соприкасаться с шоферами, больше — с кадрами по другим специальностям. И все-таки позвольте выразить всем благодарность за проделанную в истекшем году работу, а вернее, за сотрудничество, принесшее взаимное удовлетворение. Мне хочется поблагодарить за это и высказать надежду, что грядущий год принесет нам такую же благотворную для всех мирную трудовую атмосферу. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что только спокойствие и порядок на работе гарантируют хорошую производительность труда. За это я поднимаю бокал; веселого рождества и счастливого Нового года!

Опять все захлопали. Штратман, который уже успел сесть, снова поднялся и постучал по рюмке. В зале стихло.

— Дорогие сотрудники, только что я узнал от директора... большое спасибо, господин директор, что вы обратили на это мое внимание... Итак, я узнал, что бутылки, стоящие перед вами, это не конец, а только начало. На кухне есть еще кое-какой запас, мы не обязаны выпивать все, но имеем право...

Его слова утонули в криках «браво». Заведующий столовой и его жена принесли водку и пиво. Мы с Францем выпили пока что всего по рюмке.

Папка под курткой стала тяжелой и горячей.

Подошло время говорить директору. Как всегда, Фабер выступал последним. Он поднялся, все замолчали.

— Дорогие, уважаемые сотрудники, от всего сердца мне хочется под сияющей рождественской елкой — нам опять удалось раздобыть великолепный экземпляр этого благородного дерева — искренне поблагодарить вас всех за сотрудничество в истекшем году. Я уполномочен передать вам благодарность от правления фирмы из Дюсельдорфа. От себя лично я выражаю благодарность нашему филиалу в Дортмунде. Работа дортмундского предприятия, говорится в

письме правления фирмы и совета директоров, вызывает чувство глубочайшего удовлетворения. Нет необходимости зачитывать письмо целиком — после праздников я распоряжусь вывесить его на доске объявлений. Как вам известно, промышленное предприятие — не детский сад, тут порой возникают разногласия... впрочем, в детском саду тоже... один полагает, что с ним несправедливо обошлись, другой — что его обсчитали, ну и тому подобное. Вы все меня знаете. Каждый из вас волен зайти ко мне в любое время, я всегда стараюсь в пределах возможного оказать помощь. Ту или иную.

Раздались громкие аплодисменты.

Фабер поднял руки, призывая к тишине.

— Благодарю вас. Что касается социальной стороны наших успехов, то об этом уже говорил председатель нашего производственного совета, наш многоуважаемый герр Кольман, которому я в вашем присутствии хочу выразить благодарность (Аплодисменты.)... за наше доброе сотрудничество. Да, вот что я хочу еще сказать, и это необходимо обсудить: ходят слухи... недоброжелатели утверждают, будто я и правление фирмы — противники производственного совета. Это безобразие. Нет, дорогие друзья, я должен здесь со всей решительностью заявить: что такое фирма без производственного совета?! Хаос, бездна конфликтов, которые могут привести только к взрыву. Нет, я за производственный совет именно потому, что он разрешает конфликты, потому что он заботится, чтобы мы жили бок о бок в обстановке производственной демократии, без какой-либо драки... рано или поздно следовало сказать об этом ясно и недвусмысленно. И я это сделал. Со всей откровенностью.

Фабер похлопал Кольмана по плечу.

— Продолжайте в том же духе, герр Кольман, и мы будем ладить с вами так же, как и прежде... (Продолжительные аплодисменты.) Еще несколько слов, дорогие сотрудники... пожалуйста, пейте, не стесняйтесь... то, что я скажу, можно выслушать и за рюмкой... только прошу вас, не жалуйтесь на меня своим женам, если придете домой под хмельком... на кухне еще достаточно резервов, однако все вы, конечно, знаете слова известной рекламы: пей в меру, но регулярно. Я категорически за то, чтобы «в меру». Итак, выпьем... Так вот: есть у нас недовольные, есть и такие, кто пытается совмещать свои личные интересы с интересами производства, находясь в дальнем рейсе. В первую очередь, господа, это касается шоферов... все одинаково довольны быть не могут, особенно на работе, это неизбежно, одному достается кусок пожирнее, другому — попостнее. Так уж устроена жизнь, мы живем не в раю. Полагаю, что в будущем году мы сумеем отделить личное от служебного. Иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. А ведь обижаться прежде всего будете вы. Фирма ведет себя по отношению к вам корректно, порядочно, зачастую просто дружелюбно. Я вовсе не требую, чтобы все проявляли к фирме дружеские чувства, но, пожалуйста, соблюдайте корректность и приличия. Только при таких условиях мы сможем сотрудничать и в дальнейшем, без крупных конфликтов и на основе взаимного доверия. Как проявляется доверие со стороны совета директоров и правления, я вам сейчас продемонстрирую; наша фирма ввела в своих филиалах на всей территории Федеративной Республики повышенные ставки еще первого ноября, не дожидаясь, пока вступит в действие — с первого января — новое общее тарифное законодательство, ибо мы считаем, что добросовестная работа должна быть и вознаграждена по совести независимо от тарифной сетки, хотя я ничего, абсолютно ничего не имею против тарифов. Коллеги, я собирался еще многое сказать, но сегодня давайте

веселиться, то есть у нас всегда хорошее настроение, а сегодня пусть оно будет особенно радостным. Я сам не люблю, когда другие говорят и говорят и мешают мне пить... В заключение позвольте пожелать всем нам и впредь доброго сотрудничества, основанного на порядке и доверии. Счастливого рождества! (Гром аплодисментов.)

Папка под курткой стала еще тяжелее, с меня уже лил пот.

Ну как я сейчас встану и после стольких красивых речей и громких аплодисментов скажу то, что необходимо сказать?

Я покосился на Франца, он смотрел прямо перед собой.

Фабер сел, налил себе рюмку и отправился вокруг стола, чтобы с одним чокнуться, другому сказать несколько слов.

Многие уже так напились, что вряд ли будут способны слушать меня. Надо было подловить благоприятный момент. Я решил сосчитать до пятидесяти и тогда встать. Сосчитал, но не поднялся. Решил сосчитать до ста. Сосчитал, но опять остался сидеть. Шум в зале еще больше усилился. Я уже было совсем скис и тут вдруг с испугом заметил, что Фабер собирается покинуть столовую.

Тогда я вскочил и крикнул:

— Тихо! Слушайте меня! Внимание! Я скажу вам что-то важное!

К моему изумлению, тишина наступила мгновенно. Никто не кашлял, никто не разговаривал, все смотрели на меня, а я смотрел в спину Шиндлер — казалось, она съеживалась с каждой секундой.

Фабер удивленно взглянул на меня. Вокруг на лицах я видел любопытство. Возможно, некоторые подумали, что я собираюсь от имени всех сотрудников выразить благодарность дирекции — в прежние годы так делали. Я посмотрел на Кольмана, он чуть заметно кивнул мне.

— Герр директор Фабер! — сказал я громко.— Объясните, пожалуйста: для какой цели на нашем предприятии установили подслушивающую аппаратуру, то есть аппараты, которые все здесь знают только как селекторы? Пожалуйста.

Зал затаил дыхание. Даже подвыпившие умолкли.

Я спросил еще раз:

— Не можете ли вы сказать мне, почему на территории автобазы установлены подслушивающие устройства?

Я был настолько взволнован, что сам себя едва слышал.

Не спуская с меня взгляда, Фабер медленно поднялся, посмотрел на Кюна, потом на Штратмана.

Мне захотелось убежать.

— Герр Майвальд,— тихо сказал Фабер,— я не понимаю, что означает ваш вопрос... в такой день, на нашем чудесном рождественском празднике...— Он скривил рот.— Послушайте, ведь вы не так уж много выпили, а, черт возьми?.. Мы с вами не на производственном собрании, где обсуждаются подобные вещи — если они существуют,— и тем не менее я отвечу: на нашем предприятии нет никакой подслушивающей аппаратуры, только селектор, если вы имеете в виду его, и я думаю, что все присутствующие уже оценили преимущества селектора. Не так ли? Ну вот.

В зале по-прежнему было тихо.

— Герр директор Фабер, вы лжете. Да, лжете. Официально у нас селектор, а на самом деле — подслушивающее устройство. Повторяю свой вопрос: зачем это нужно? Чего хотите добиться вы или ваши заказчики, подслушивая наши разговоры на работе?

Франц по-прежнему неподвижно сидел возле меня, Кольман играл пачкой сигарет, упершись взглядом в стол.

Неожиданно Фабер крикнул:

— Герр Майвальд, что это значит? Я ответил на ваш вопрос, это-

го достаточно, перестаньте нам мешать и возьмите обратно свои слова, я не позволю публично называть меня лжецом, не портите нам рождественский праздник своими оскорблениями! Каждому известно, что установка селектора была необходима, ведь сотрудники, вы все, господа, этого требовали... Пожалуй, вы действительно выпили сверх меры, герр Майвальд... Итак, дорогие сотрудники, меня призывает долг, моя семья тоже... Сожалею, но вынужден вас покинуть Продолжайте веселиться... и не вздумайте сегодня садиться за руль! Не забывайте: ваши водительские права — это ваше право на существование...

Я вытащил из-под куртки папку, поднял ее над головой и крикнул:

— Ребята! В этой папке записи разговоров Дёрлама и Фольмера... Ребята! На каждого из нас есть такая папка. Там записано все, о чем мы говорили друг с другом последние три месяца в любом углу нашей базы. Селектор вовсе не селектор, как нам хочет внушить герр Фабер, а подслушивающий аппарат, и я не откажусь от своих слов, что герр директор Фабер лжец. Нет, не откажусь!

Фабер встал позади стула, оперся обеими руками о спинку и едва слышно спросил:

— Где вы взяли папки?

Меня удивлял Кольман: до сих пор он не произнес ни слова и продолжал играть пачкой сигарет, будто все происходившее нисколько его не касалось.

— Директор Фабер лжет,— повторил я.— Ребята! Последнее время у нас на базе кое-кого заподозрили в доносах на своих товарищей. Разгадка тут простая: селектор — это подслушивающая аппаратура. Все, что мы говорим друг другу, в любой точке базы и в помещениях, и на дворе, можно услышать. Вы сами знаете, где вмонтированы селекторные коробки. И вот еще что: подслушанные разговоры аккуратненько перепечатывают и подшивают в папки. Таких папок набралось уже тридцать штук.

Пока я говорил, Фабер пошел в кухню и включил музыку. Когда он вернулся, Кольман крикнул ему:

— Так не пойдет, герр директор. То, что сказал здесь Майвальд, настолько чудовищно, что вам придется дать объяснение.— Кольман сбегал в кухню и выключил музыку.

Фабер раздраженно воскликнул:

— Где вы взяли папки, герр Майвальд, о каких там тридцати папках вы говорите?

— Мне их подарил младенец Христос, господин Фабер. К рождеству.

Дёрлам и Фольмер попытались вырвать у меня папку. Вышедший наконец из оцепенения Франц оттеснил обоих.

Фабер, Штратман и Кюн направились к выходу. У дверей встали несколько человек и преградили им путь. Кольман залез на стул возле кухонной двери и крикнул:

— Герр Фабер, вы не уйдете отсюда, пока не объясните нам насчет подслушивающей аппаратуры и записанных разговоров. До тех пор вам не удастся уйти! Тише, ребята, тише!

— То, что с нами проделывают, герр Кольман, называется незаконным лишением свободы,— крикнул в ответ Фабер.— Обращаю ваше внимание, что это наказуемо, герр Кольман. Вы несете полную ответственность за то, что здесь происходит.

Таким я Кольмана еще никогда не видел. Лицо его побагровело, голос загремел:

— Как это называется, герр Фабер, мне наплевать! Здесь вы об-

виняемый, а не мы. Вы должны дать нам ответ, а не мы. Вы обязаны сказать нам, почему устроили это безобразие и по чьей инициативе. Это что — новшество в немецкой промышленности и так делают сейчас на всех предприятиях? Кто вам платит за слежку, сколько?

Фабер, Штратман и Кюн по-прежнему стояли у двери, Шиндлер съежилась на стуле. Фабер медленно вернулся к столу, оперся на него обеими руками и сказал:

— Пока герр Майвальд не сообщит, от кого он получил эти папки, я не соглашусь отвечать ни на один вопрос. Могу лишь повторить, что на нашем предприятии нет подслушивающей аппаратуры, есть только селектор. Пусть герр Майвальд доказывает обратное, а не я.

— Могу доказать! — крикнул я.

Волнение в зале усилилось. Я вскочил на стул, помахал папкой и, когда стало потише, крикнул:

— Ребята, вот эта папка и есть доказательство, не я же ее выдумал! Но можно доказать и по-другому. Пусть два человека пойдут сейчас со мной в директорскую приемную. А вы тут разговаривайте, как разговаривали. Смотрите: здесь, в столовой, селектор выключен. Не трогайте его, не нажимайте на кнопку, пока мы не вернемся!

Франц шепнул мне:

— Карл, а если сейчас включено на селектор, что тогда?

— Мы должны довести дело до конца.

— Герр Кольман! — воскликнул Фабер. — Вы нарушаете свой долг по обеспечению спокойствия и порядка. Надеюсь, вы ясно представляете себе последствия?

Кольман, не отвечая, последовал за мной и Францем к выходу.

— Фольмер и Дёрлам, пошли с нами! — крикнул он на ходу.— В конце концов, вас это больше всех касается.

(Продолжение следует)

ЛУИС СИМПСОН

■

Перевод с английского ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА

Пять небольших сборников стихов за четверть века работы. В количественном отношении итог, вероятно, не слишком впечатляющий. К Луису Симпсону не отнести и знаменитый афоризм о маленькой книжке, которая томов премногих тяжелей. Далеко не каждый его сборник становился событием в поэзии США. Два первых остались попросту незамеченными, и сам Симпсон, составляя томик своего «Избранного», оказался на редкость придирчив к собственным ранним стихотворениям, включив лишь очень немногие, да и те почти полностью переписав.

Настоящая известность пришла к нему только с книгой «В конце открытой дороги» (1963) — уже четвертой по счету. «19 раз цветы облетают, покуда поэты речь обретают»,— писал Лацо Новомеский, и то же самое могли бы о себе сказать Рембо, Элюар, Рильке. В свои девятнадцать лет Симпсон был солдатом; цветы облетели и вновь распустились еще не раз, прежде чем он обрел поэтический голос. Много раз — прежде чем этот голос установился и в нем почувствовалась та необщность звучания, что присуща истинным поэтам.

Совсем не всегда нужно знакомиться с жизнеописанием художника, чтобы понять его творчество. Но о двух фактах биографии Симпсона знать необходимо, они существенны для его поэзии.

Он родился и вырос на Ямайке, воспитывался в той — чуть напоминающей старые английские романы — атмосфере, которая так тонко передана в стихотворении «Отец прикрикнет...». В США Симпсон попал в 1940 году; ему было семнадцать. Прошел год, и студент Колумбийского университета надел форму рядового воздушно-десантных войск. Войну Симпсон кончал в Германии. Там ему сообщили о том, что он стал американским подданным.

Сегодня Симпсон американец не только по паспорту, и все же о Соединенных Штатах он пишет так, словно эта страна так и не стала до конца его домом. На американскую действительность — да и на самого себя — Симпсон смотрит как бы со стороны, и за этим поэтическим приемом нужно видеть и специфику мироощущения. В современной поэзии США господствует «исповедальное» направление, сторонники которого стремятся к предельной искренности, выражая свой мир. Симпсон — поэт иного склада. Его стихи трудно воспринять как авторскую исповедь, «дневник души». Даже приверженность Симпсона к метрике и к традиционным формам (например, балладе) говорит о понимании поэзии как искусства, требующего скорее продуманной художественной конструкции и строгой организации, чем крайней интенсивности лирического чувства, которое само найдет для себя «органическую форму» (термин, предложенный поэтессой Денизой Левертов).

У Симпсона почти всюду чувствуется остраненность поэтического взгляда. Поэт — словно бы случайный гость, «посторонний» на этой земле. Однако он совсем не похож на равнодушного наблюдателя. В стихах Симпсона ощущается чуждость поэта миру, его окружающему, и вместе с тем — его причастность к Америке, ее истории,

ее судьбе. Этим ощущением переполнена книга, которой Симпсон дебютировал,— «Вновь прибывшие» (1950); его можно уловить и в таких стихах, как «Безногий на 42-й стрит», и в «Американских мечтах»:

Я просыпаюсь каждый день далеко
От жизни собственной, в чужой стране,
Где люди говорят на непонятном языке...

Большей частью стихи об Америке — это «мечты», вольные фантазии, то цепочками ассоциаций связывающие день сегодняшний с минувшим (стихи — воспоминания о войне), то непосредственно навеянные современными городами-джунглями, по которым бродят такие похожие и такие чужие друг другу люди с искалеченной душой. Современными городами-спрутами, где толпа сытых и глухих течет не останавливаясь мимо памятника Уитмену, где «свет над улицей болен смертельно», где «замки, тюрьмы, соборы рассозидаются в прах» и кладбище старых автомобилей кажется прообразом завтрашней реальности.

О людях, уподобившихся актерам в фильмах по казенным сценариям, о том, что рушится веками созидавшееся и «громоздкая тяжесть Америки» превращается в груду развалин, писали многие послевоенные поэты. Симпсона выделяет среди них скорее та настойчивость, с какой он пытается соединить разрозненные нити исторического процесса, видя в нынешней общественной ситуации итог, а не абсурдное отклонение от магистрального курса.

Поэтому так часты в его стихах вопросы. Заданные впрямую — Уитмену, певцу Америки и демократии: «Где панорама Миссисипи и девушка, игравшая на фортепьяно?» «Где нация, которую ты обещал?» Подсказываемые ходом поэтической мысли, всей философской настроенностью творчества Симпсона: почему не дождутся своего поэта гиганты секвойи, стоящие над океаном, «как большие безмужние бабы»? Почему запатентованы не только фотокамеры и утварь, но и мечты? Почему так быстро стирается память о «великих войнах» и о поколениях, которые лежат под зеленой травой на полях, где шли сражения войны за независимость, на полях Аппоматокса, где решался спор Севера и Юга, на полях вокруг Вердена и Бастоня, где полыхали мировые войны?

Подлинное своеобразие появляется в стихах Симпсона, когда где-то глубоко, скрытно от читателя, в самой поэтической ткани преодолевается авторская отчужденность от жизни, в которую поэт «заброшен», и рождается иное чувство. Не слитность с Америкой, растворенность в Америке, как в «Листьях травы» или у других последователей Уитмена. Скорее признание — в том же стихотворении «Американские мечты»,— что судьбу Америки уже не отделить от собственной судьбы: «Ах, это мой внизу, мой дом пылает...»

Симпсон — поэт военного поколения; пережитое в годы войны оставило резкий след в его творческой биографии. Опустошенные оккупацией Голландия и Франция, будни фронта, воздух тех лет, когда весть о падении Чинзано или взятии Мишлена казалась важнее всего на свете, ибо приближала мир,— все это для Симпсона часть жизни, которая не станет прошлым.

Пронзительная горечь военных стихов Симпсона, боль воспоминаний, светящаяся в их скупых на слово строчках, побуждают воспринять эти стихотворения как реквием поколению двадцатилетних американцев призыва 1941 года, заплатившему по «кровавому счету» войны:

Блеск молний ширящийся лунный свет затмил.
За взводом взвод
Шагают сны, пока мы валимся без сил,
На фронт — вперед.

На сегодняшнюю Америку Симпсон порою смотрит глазами человека, в сознании которого война отодвинула все другие впечатления жизни. «Всякому воевавшему его война кажется последней, потому что на этой войне он до конца вычерпал себя». Замечание, оброненное Симпсоном в одном из интервью, объясняет в его поэзии многое: истоки того сдержанного, но глубокого драматизма, который в ней повсюду ощутим, чувство неотвратимого поражения человека — даже сегодняшнего триумфатора, Цезаря Августа из стихотворения «Свежим утром» — в его столкновении с законами бытия.

Пережитое в военные годы, оставившие в памяти глубокий, незаживающий рубец, объясняет тональность и такого стихотворения, как «Безногий на 42-й стрит» с его сквозным мотивом жестокости и уродства, с его причудливым и вместе с тем строго логичным развертыванием образа огромного города, грохочущего и безумного. Образа, который поднят в этом стихотворении до большого обобщающего звучания — до символа современной западной цивилизации, которая «механизирует» и опустошает человека, потерянного в толпе одиноких, существующего «только затем, чтобы сказать: вот я каков». Живопись этого стихотворения лишена полутонов, она резка, графична, она кричит о боли:

О, почему в беспредельности неба
Ангелы не говорят? Отчего
Это смятение, эти тела —
Эрос со сжатыми кулаками, плачущий и проклинающий?

Симпсон не раз обращался к мифологическим сюжетам; крупнейшее его произведение — поэма «Лаэрт в Париже». При чтении таких его вещей создается ощущение, что Симпсон старается преодолеть замкнутость в границах, очерченных «горизонтом одного», приблизиться к более широкой поэтической концепции.

Но всякая его попытка (воспользуемся эпиграфом к «Уолту Уитмену у Медвежьей горы») отдать предпочтение «любой другой жизни» все-таки в конечном счете приводит к тому, что предпочтение отдается «собственному существованию», вобравшему в себя многообразный жизненный опыт. Видимо, все дело в том, что этот опыт обладает истинно высокой значимостью — и человеческой, и художественной.

Как бы, казалось, далеко ни отходил он в своих стихах от «собственного существования», поэт всегда рассказывает о самом себе — о человеке, которого зовут Луис Симпсон. Этот человек чем-то напоминает Одиссея, отплывшего с Итаки в большой мир и ищущего пути к своему дому. Прошедшего через войну и постигшего, что самые жестокие испытания начинаются, когда война завершена. Открывавшего неведомые земли, но открывшего прежде всего самого себя.

Жизнь поэта, рассказанная в его стихах, приобретает черты сходства с нестареющим улиссовским мифом; она наполняется содержанием, в котором заключено свидетельство о мире и человеке нашего времени.

А. ЗВЕРЕВ

Американские мечты

В мечтах явилась жизнь моя ко мне,
Мои возлюбленные, гибкие, как лани.
Но любит и Америка мечтать.
Мечта, ты и Россию овеваешь,
И над дремотной Азией летишь.

Как поглядишь на улицу в обычный
Калифорнийский солнечный денек —
Ах, это мой внизу, мой дом пылает,
И близкие мои лежат у сточных ям,
Пока солдаты наши входят в город.

Я просыпаюсь каждый день далеко
От жизни собственной, в чужой стране,
Где люди говорят на непонятном языке,
И это странно для меня и странно,
Я полагаю, и для них самих.

Уолт Уитмен у Медвежьей горы

«...жизнь, не отдающая предпочтения любой другой жизни любого предыдущего периода, предпочитающая поэтому свое собственное существование».

Ортега-и-Гассет

Ни верхом на коне, ни в кресле,
Но подобно себе самому, твердо стоящему на ногах,
Поэт сирени и смерти торчит у тропинки.

Даже бронзовые складки выглядят живыми.
И он глядит дружелюбно.

— Где панорама Миссисипи
И девушка, игравшая на фортепьяно?
Где ты, Уолт?
Пустая дорога ведет на кладбище автомашин

Где нация, которую ты обещал?
Эти домишки на крышах выдерживают
Неимовернейшие снега,
И свет над улицей болен смертельно.

А что же народ, посмотри, он пренебрегает тобой!
Только поэт остановится, чтобы прочесть эту надпись.

— Я здесь! — он ответил.—
Кажется, ты меня разглядел.
Впрочем, разве я не твердил, что занимаюсь саморекламой?
Разве слова мои были неясны?

Я не давал рецептов,
А тот, кто принял мои настроения
За пророчества, ошибается.

Потом, усмехаясь: — За что ты меня упрекаешь?
Я признаюсь открыто, что у меня репутация скверная.
И все же я рад, что ты меня разглядел.

Крокодильими складками бронза морщит...

И к тому же
Все агенты по найму,
Карманные воры, коммивояжеры, а также актеры,
Исполняющие казенные роли,
Стали глухими, служить нанялись
Американской мечте.

И магазиновладелец на этой пустынной дороге,
И домохозяйка, которая знает, что она дура,
И земля — чувствуют облегчение.

Вся эта громоздкая тяжесть Америки
Упразднена! Как Греция с Римом.
Будущее — в руинах!
Замки, тюрьмы, соборы
Рассозидаются в прах, и розы
Цветут на камнях, которых нет...

Облака расходятся над вершинами Сьерр,
Над заливом рассеивается туман;
И цвегущая вишня, ангел у врат,
Пляшет, как итальянка, мечтая о красном.

Ива, ясень и дуб

Когда свобода занялась,
Уже сраженья шли,
И шли стрелки, месили грязь,
Трофеи волокли,
И лук в руках законом был
И правдою земли.

О ива, и ясень, и дуб вековой,
Пехота лежит под зеленой травой!

У Ватерлоо и Мальплаке
В стволы вложив привет,
Записки слали шутники
И кланялись в ответ,
У Аппоматокса, как штык,
Был ясен этикет.

О ива, и ясень, и дуб вековой,
Пехота лежит под зеленой травой!

Но как Верден, так и Бастонь
Сломали четкий строй,
И прямо в душу бил патрон
И гнул к земле сырой,
И смерть была скучна, как смерть,
Был в дураках герой.

О ива, и ясень, и дуб вековой,
Пехота исходит зеленой травой!

Свежим утром

Клеопатра мрачно
Утром говорит:
— Возвестил трубач:
Нам беда грозит!
С ночи, с перепою
Горяча кровать,
Припал головою
Антоний: — Плевать.
Утро свежее,
Холодно вставать.

Враг уже в воротах,
Повернул флот,
Цезарь через мертвых
В барабаны бьет.
— Прикажи, Антоний,
Коней седлать!
Уйдем от погони

Силы собирать...
— Утро свежее,
Холодно вставать.

Удрученный, праздный,
Цезарь Август тих:
— Мертвые ужасны —
Накройте их.
Раньше или позже —
Каждому свой срок,
И Август на ложе
Холодный лег
В утро свежее,
В холодный денек.

Отец прикрикнет: цыц! — и хоть умри

Отец прикрикнет: цыц! — и хоть умри.
Он занят вечерами, он читает,
Шуршат страницы.
Кричат лягушки, светят фонари.

А мать накрутит хриплый граммофон —
И грянет Ламмермурская невеста
Иль выйдет сказка,
Где будут принц, и замок, и дракон.

Луна и звезды над холмом стоят,
И я пред королевскими вратами —
Так сказка длится —
О, Фула, ночь, когда и мыши спят.

А мне случилось в Фуле побывать:
И путь далекий, и невзгоды мира —
Всего хватило —
Терпеть и думать, верить и страдать.

Поля, моря... куда они влекли?
Париж и Рим протягивали руки,
И, соблазняя,
Крылатый бог мне виделся вдали.

Вот дом мой. Вот под буком у стены
Качается малыш, другой играет.
Они хотели,
Чтоб я пришел,— и не удивлены.

А мой отец не устает сидеть,
Мать плачет, звезды и луна сияют.
И шепчет ветер,
Что все, как было, так и будет впредь.

О, разве прав он? Вне его суда
Живу я. И, однако, это правда,
    Что там, на сцене
Любви и ужаса, все, как всегда.

Они сидят — отец, ребенок, мать —
Актеры из домашнего театра —
    В застывших позах.
Как грустно деревянной куклой стать!

Вы знали их, казалось, много лет,
Но потрясите их, если хотите,—
    Они безмолвны.
Спектакль окончен, и гасите свет.

Что делал ты, отец? Кого ты, мать,
Оплакивала? Разве это важно?
    И скажет ветер:
— Послушайте! — и дети лягут спать.

Воспоминанья о проигранной войне

Орудья знают что есть что, следя в прицел,
А мы гуськом
Вдоль рваных ранцев и сапог, зубов и тел
Едва бредем.

Как целлулоид, резок оттиск этих сцен,
Бьет миномет,
Чинзано падает, и рушится Мишлен,
И ночь грядет.

Пока темнеет, может каждый говорить,
Кому не лень:
— Мы окопаемся.— А завтра, может быть,
Последний день.

Блеск молний ширящийся лунный свет затмил.
За взводом взвод
Шагают сны, пока мы валимся без сил,
На фронт — вперед.

Еще вы молоды, и на концах ветвей
Роса нежна,
Ложитесь спать – она разбудит вас верней,
Чем тишина.

Очнутся стре́лки и замрут, как пульс у вен.
Кровав их счет,
Но и они идут за теми же, за кем
И смерть идет.

Безногий на 42-й стрит

1

Негр вырастает из тротуара как спаржевый куст.
Одной рукой он стучит в барабан и тарелку,
Другою держит трубу.

Он машет американским флагом;
Когда он на культях своих идет,
Он дергается, припадает и шаркает.

Медная кружка его гремит;
Он сует ее прямо в ваше лицо:
Вы-то, ублюдки, не обеднеете!

Он не смущен.
Это вы перед ним смущены
Или бог. Таков уж порядок вещей.

Поэтому он стучит в барабан
И поэтому дует в трубу.

2

Я себя вижу в Венесуэле.
Бегут облака над моей головой,
И мысли мои блуждают.

Но безногий стоит у окна витрины,
Рекламируя камеры, пленки и утварь.
Табло течет и мерцает. Время
12.26.

О, почему в беспредельности неба
Ангелы не говорят? Отчего
Это смятение, эти тела —
Эрос со сжатыми кулаками, плачущий и проклинающий?

Время 12.26.
Улицы вытянулись горящие,
И гиганты дрожат в электроцепях.

3

Мне кажется, в центре Венесуэлы
Я утонул в муравейнике. Мучает зуд.
Ноги мои обглоданы муравьями.

Ребра мои мучительно стиснул терн,
И мысль моя уже нереальна.
Но он — поставил в своей конуре

Стул и стол. Стул, как собака,
Ждет человека — и человек
Молча отстегивает протезы,

С грохотом стаскивает башмаки,
Освобождает свои обрубки
И сигарету подносит ко рту.

Кажется, что человек существует
Только затем, чтобы сказать: вот я каков.

Секвойи

Горы движутся, реки бегут.
Но мы — неподвижны.

У нас размышленья гигантов —
облака и ночные звезды.

У нас имена гортанные, дикие —
Хэмт, Ог,— древние имена.

И мы умираем одна за другой,
мышами подточенные. И рушимся.

В смерти медлительны — мы каменеем.
Или мгновенны — как свечи в огне.

Гиганты всегда одиноки. Мы долго
ждали кого-нибудь. Должен же быть

кто-то, кто нашим терпением взыскан,
кто наши ветки нежно сомнет

в крепких ладонях; должны же быть руки,
которые нас обнимут, поймут,

кому мы легки, как кусты барбариса.
О, если такой существует поэт,

пусть он придет! Мы стоим над Тихим,
как большие безмужние бабы,

и, вращая звезды и облака в головах,
смотрим, кому бы нам приглянуться.

К 670-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 600-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКИ

ЯН ПАРАНДОВСКИЙ

Петрарка

■

Перевод с польского В. БОРИСОВА

Сын изгнанника

В самом начале XIV столетия во Флоренции снова разразилась одна из тех внезапных политических бурь, которые нередко навещали город и причиной которых были запутанные и все непрекращающиеся распри между гвельфами и гибеллинами, между «белыми» и «черными». Из города одновременно с Данте, обреченным жестоким приговором на сожжение, бежал и сын его друга, гражданин Флоренции нотариус Петракколо ди Паренцо, присужденный к штрафу в тысячу лир и отсечению руки. Изгнанник остановился в Ареццо, красивом местечке, расположенном в долине, вблизи истоков Арно и Тибра, двух самых известных рек Италии.

Петракколо ди Паренцо не был бы флорентийцем, если б не пытался как можно скорее вернуться в свой любимый город. Он пробовал это дважды: один раз — путем переговоров, другой раз, вместе с такими же, как и он, изгнанниками,— при помощи оружия. Но в конце концов, видно, он все же навсегда простился с мыслью вернуться на родину и впоследствии даже не воспользовался амнистией. Между тем его молоденькая жена, красавица Элетта Каниджани, в понедельник 20 июля 1304 года ранним утром родила сына. Это был Франческо Петрарка. Три года спустя появился на свет еще и его младший брат, Джерардо. Но это произошло уже в Инчизе, на берегу верхнего Арно, куда к тому времени перебрался флорентийский изгнанник. Петрарке было всего семь месяцев, когда на руках какого-то крепкого юноши, имя которого осталось неизвестным, он измерил всю Тоскану. Однажды во время переправы через Арно юноша упал с коня, и мальчик чуть не утонул. Через несколько лет странствующая семья оказалась в Пизе.

В изгнании не благоденствуют. У Петракколо не было состояния

и тот клочок земли, которым он владел где-то за пределами Флоренции, не мог прокормить семью. Она могла существовать лишь благодаря его умению вести дела и доброму имени отца и деда, которые также были нотариусами. Особенно гордился Петрарка своим прадедом Гардзо. «Это был человек,— писал он о нем уже в зрелом возрасте,— больших добродетелей и такого светлого ума, какой редко можно встретить у людей без широкого образования. Не только соседи советовались с ним по всем житейским и торговым делам: заключать ли контракты, вступать ли в брак, не только служащие, занимавшие государственные посты, по делам, касавшимся управления государством, но и ученые из близких и далеких мест прислушивались к его мнению по самым различным философским проблемам, и все удивлялись разумности его суждений и остроте ума. В мире и согласии со всеми прожил он сто четыре года и умер, как и Платон, в день своего рождения, к тому же в той самой постели, в которой родился. Я уже вышел из юношеского возраста, а еще жило множество людей, рассказывавших о нем всевозможные чудеса».

Не на полях сражений и не на пожарищах поверженных городов запечатлена была славная история рода Петрарки. Его предки были честные, трудолюбивые горожане, хорошо известные всем флорентийцам, которых, подобно Петракколо, судьба занесла в Авиньон. В этом городе сразу же образовалась большая колония флорентийцев, состоявшая из таких же, как и он, изгнанников или же из тех, кого духовный сан или собственная предприимчивость привлекли сюда, поближе к папскому двору. В Авиньон съехались крупные и мелкие банкиры, золотых дел мастера, а также разные художники и архитекторы, чей труд нашел применение при постройке новых и переделке старых дворцов. Столь часто ссорившиеся у себя на родине, итальянцы на чужбине жили мирно и оказывали друг другу всяческую поддержку. Расселившись преимущественно в приходе святого Петра, на улицах, примыкавших к биржевой площади, они создали свои кварталы, со своими общинами и цехами, со своими праздниками, собственной юрисдикцией; присущая им высокая культура оказала значительное влияние на более отсталых в те времена французов. Петракколо всегда мог рассчитывать на поддержку земляков.

Франческо было всего восемь лет, когда в 1312 году его родители переехали в Авиньон. Они плыли морем в Марсель, путешествие было бурным, и корабль едва не затонул уже у самого порта. Авиньон, тихий городок на берегу Роны, за последние три года превратился в новый Рим, столицу папства. Поспешно строились дворцы, дома, башни и крепости. На тяжелых работах были заняты привезенные для этого из Испании пленники — мавры и сарацины. Вскоре город опоясали высокие стены, и папский дворец казался высеченной в скале крепостью. С вершины скалы, кроме крыш домов и колоколен, хорошо были видны с одной стороны медленно текущая Дюранс, а с другой — величавая Рона с бесчисленным множеством кораблей, плотов и лодок. Это был водный путь, соединявший Францию с Англией, Фландрией и Италией.

Расширились старые и выросли новые церкви. С утра до вечера раздавался звон колоколов то у доминиканцев — в монастыре святой Екатерины, то у францисканцев — в монастыре святого Петра. Из папского дворца доносился серебристый звон колокола, которым папа созывал кардиналов на совещания, по-особому звучал знаменитый «Дутурессо» из Сен-Дидье, созывавший докторов права на лекции. По ночам многочисленные монастыри перекликались нежным позваниванием сигнатурок. Город же был грязный, тесный и темный. Узкие улочки были почти лишены света из-за бесконечных балконов, гале-

рей и многочисленных, торчащих прямо из стен вывесок постоялых дворов, винных погребков, лавок, которые выставляли свои товары где только придется. Это была огромная ярмарка, где торговали всем, что производила и поставляла тогдашняя Европа и что привозили купцы из далеких, неизвестных стран Востока.

Из Флоренции прибывали иконы, облачения для духовных лиц, ювелирные изделия, из Милана — мечи, копья, латы, из Венеции — шелка, из Бургундии — полотна, из Фландрии — сукна, из Парижа — ковры и эмали, из Испании — пряности, тисненые козлиные кожи, восточные ковры, из Лукки — знаменитая парча. Все известные банкирские дома во Флоренции и Сиене имели в Авиньоне свои филиалы. В этом городе никто не чувствовал себя чужим, каждый мог встретить тут земляка. Постоялые дворы «Под красной шляпой», «Под тремя столбами», «Под бумажным змеем» гудели от многоязычного гомона.

Мост святого Бенезета, знаменитый авиньонский мост, на котором и по сей день, словно эхо веселой и красочной жизни нескольких поколений XIV века, можно услышать песенку «Sur le pont d'Avignon on y danse...»[1], был свидетелем торжественных въездов, свадебных поездов, шествий паломников. Сверкающее оружие, плюмажи, шелка, атласы, парча, кардинальский пурпур, фиолетовые облачения епископов ошеломляли почтенных буржуа. Еще вчера они легли спать в глухой провинции, а сегодня проснулись в бурной и шумной столице.

Один день был совершенно не похож на другой. Помимо таких важных событий, как похороны папы, конклав, избрание и коронация преемника, помимо столь необычайных торжеств, как канонизация святого Фомы Аквинского, который был связан родственными узами с половиной господствовавших в Европе династий, чуть ли не каждый день можно было увидеть турниры, регаты на Роне, въезды иностранных послов, среди них незабываемой по своему фантастическому великолепию была церемония въезда посла татарского хана или памятных только нам ambasciatores et nuncii regis Poloniae[2], имена которых ныне полузабыты. Иногда горожане по целым неделям не снимали ковров, свисавших с балконов и из окон, и, прежде чем они успевали вымести или растоптать цветы, которыми накануне были засыпаны все улицы, наряженные во все белое дети бросали уже новые букеты.

Вслед за духовенством, чиновниками и дворянами римской курии в Авиньон понаехали тысячи людей в надежде добыть в бурной столице легкий хлеб и заработок. За ними потянулась всякая беднота, и через несколько лет тихий городок стал неузнаваем. Здесь нашли пристанище и астрологи, и знахари, и алхимики, в том числе такая знаменитость, как Арнольд из Вильнёва, который, в присутствии папы Климента V, превратил медь в золото и еще за несколько веков до Фауста создал в колбе человеческое существо, homunculus. Были здесь и знахари, заговаривавшие раны, и врачеватели, лечившие рак истолченными в порошок, добавляемыми к еде и напиткам смарагдами, и злобные колдуны, насылавшие на людей смертельные болезни при помощи вылепленных из воска фигурок, которые они затем прокалывали иглами, и тайные советники, несравненные юристы-крючкотворы, знатоки всевозможных юридических уловок, и просто ловкачи, подстерегавшие простодушных послов далеких королей и принцев. Немало монет перепало в их сумы от посланцев Локетека[3]

[1] «На авиньонском мосту танцуют...» *(франц.). (Здесь и далее примечания переводчика. Авторские примечания оговорены.)*

[2] Послов и вестников короля Польши *(лат.).*

[3] Локетек, Владислав (1260—1333) — с 1320 г. польский король

и когда он добивался коронации, и когда вел свои знаменитые процессы с крестоносцами.

Авиньон не был подготовлен к такому переселению народов, не хватало ни домов, ни гостиниц, и Петракколо был счастлив, когда ему удалось найти дом в Карпантра, в двадцати с лишком километрах от Авиньона. В этом уютном городке, согретом полуденным солнцем, с его серыми оливковыми рощами и бесчисленными бортями, были свои резиденции и у многих кардиналов. Частенько здесь проводил время и папа Климент V, когда ему надоедал стук молотков и шум каменщиков, возводивших новые дворцы. У Петракколо завязались кое-какие знакомства в папской канцелярии, появились у него и побочные источники доходов, и он уже мог вполне прилично содержать жену, двоих детей, и, кажется, ему удалось даже сколотить кое-какое состояние.

В Карпантра восьмилетний Франческо начал учиться. Уроки так называемого trivium[1], куда входили грамматика, диалектика и риторика, преподавал ему старый почтенный Конвеневоле да Прато, скромный бакалавр, имя которого пронеслось через века на крыльях славы его ученика. Даже в старости Петрарка с волнением вспоминал те счастливые годы, когда учитель разнообразил обучение латыни странствиями по чудесным окрестностям. Петракколо также любил дальние прогулки. Однажды они отправились к истокам реки Сорг. «Помню как сегодня,— писал Петрарка на склоне лет,— что, взволнованный красотой пейзажа, я закричал в мальчишеском восторге: «Вот место, которое отвечает моей душе, я предпочел бы его большим городам, если б мне было дано когда-нибудь жить здесь!»

Отец хотел, чтобы сын стал юристом, и отправил его учиться, сперва в Монпелье, потом в Болонью. Но Петрарка так и не смог преодолеть отвращения к юриспруденции даже в Болонье, в древнем университете которого в то время преподавала ученая и прекрасная Новелла, которая была столь прекрасна, что вынуждена была читать свои лекции за ширмой, чтобы красота ее не отвлекала внимания слушателей. Единственным его утешением была дружба. Его коллегами, кроме брата Джерардо, были Агапито Колонна, Гвидо Сеттимо, Томмазо Калориа из Мессины, дружбу с которыми он пронес через всю свою жизнь.

«Эти занятия отняли у меня семь лет»,— жаловался Петрарка в старости. Он был не первый и не последний поэт, кому лекции по юриспруденции казались скучными и неинтересными, не первый и не последний, у кого родители хотели выбить из головы поэтические забавы. Нотариус Петракколо, узнав, что, не в меру увлекшись поэзией, его сын забросил пандекты, в порыве гнева швырнул в огонь его книги, сохранив только Вергилия и Цицерона, которых сам боготворил.

Петрарка настолько овладел юриспруденцией, что однажды взялся выступить защитником по делу своего друга, Аццо да Корреджо, и выиграл процесс. Однако этот успех вовсе не вдохновил юношу, это было единственное его выступление в качестве адвоката. «Я не умел,— говорит Петрарка,— жить нечестно, а сделавшись юристом, не смог бы оставаться честным человеком, если б не хотел при этом прослыть простаком и невеждой».

Навсегда остался верен Петрарка своим убеждениям. Юристов он считал шарлатанами, а их науку — собранием бездушных формул, пригодных лишь для выманивания денег у честных людей. В тот век, когда юриспруденция приносила столько всяческих почестей, это бы-

[1] Три начальные науки из числа «семи свободных искусств».

ло весьма удивительное и смелое суждение. Кто же в Авиньоне не знавал этих чванливых, разодетых в золото и бархат господ, которым нужно было уступать дорогу? Ничто не могло доставить Петрарке большего удовольствия, чем возможность обнаружить невежество этих гордецов,— об этом красноречиво свидетельствует известное письмо, в котором поэт с едкой иронией обращается к своему старому учителю Джованни д'Андреа. Идеалом Петрарки были юридические науки, основанные на философии и красноречии. Он был чуть ли не единственным в те времена, кто почувствовал величие римского права и значительность труда, проделанного коллегией Юстиниана. «Право наших отцов,— говорил он,— детище глубокой и ясной мысли, нами не понято и предано забвению».

Когда же Петрарка не мог уклониться от публичных выступлений ссылками на свои убеждения, которых в сущности толком никто не понимал, он оправдывался попросту тем, что от природы, мол, склонен к одиночеству и шум судебных заседаний ему претит. Он вздрагивал при одном лишь виде кафедры. Однако одиночество было все еще недоступным ему, ровеснику дерзких авиньонских школяров, которые могли вогнать в гроб любого из сановников, заботившихся о спокойствии в городе. Вооруженные, несмотря на суровые запреты, юнцы эти были грозой всех домов и улиц. Петрарка всячески избегал встреч с ними.

Вернувшись из Болоньи, Петрарка вместе с братом приобщился к светскому образу жизни и, как он сам писал спустя много лет, «следовал скорее требованиям моды, нежели скромности и добродетели». Мы видим его среди авиньонских франтов в платье до пят, стянутом в поясе, в альмузии — пелерине с капюшоном, в епанче с широкими рукавами, в шляпе набекрень, украшенной жемчугом, цветами, перьями, даже колокольчиком; с маленьким мечом в кожаных ножнах у пояса, кошельком и приборами для письма в роговой оправе. Длинные волосы были уложены в локоны, и Петрарка вспоминает, сколько раз в течение дня приходилось их снова укладывать, чтобы не вызвать возмущения в изысканном обществе. «Я был не слишком силен,— описывает Петрарка себя на двадцатом году жизни,— но довольно ловок; не особенно красив, но все же приятной наружности; у меня был свежий, несколько смуглый цвет лица, живые глаза, быстрый взгляд».

Молодость Петрарки пришлась на тот период расцвета Авиньона, который ярко запечатлен в хрониках тех лет и в счетах богатых горожан. Так, например, весь Авиньон принимал участие в большом празднестве — свадьбе Жанны де Триан и Гискара де Пуатье. Вот что гласят сохранившиеся счета: съедено 4012 караваев хлеба, 8 волов, 55 баранов, 8 свиней, 4 кабана, 200 каплунов, 690 кур, 580 перепелок, 270 зайцев, 40 ржанок, 37 уток, 60 голубей, 4 журавля, 2 фазана, 2 павлина, 290 штук мелкой птицы и множество рыб, 3 центнера сыра, 250 дюжин яиц. Журавли, павлины и фазаны не были поданы на стол, а служили только украшением искусственного фонтана с колоннами и башнями, из которых струилось вино пяти сортов. Одиннадцать вместительных повозок доставляли невиданных размеров бочки с вином. На улицах пели, танцевали, там устраивались турниры и состязания жонглеров. Из окон свисали разноцветные ленты. Среди ночи при свете факелов, освещавших темные закоулки, гости расходились по домам. В этот день Петрарка впервые надел модные туфли из красной кожи, узкие, остроносые и такие тесные, что помнил о них до конца своей жизни.

Кратким оказалось время юношеской беспечности и веселья. Дом погрузился в траур. Умерла мать, которой Петрарка посвятил одно из своих первых произведений, написанных по-латыни. Оно насчи-

тывало тридцать восемь гекзаметрических стихов, столько, сколько лет было прекрасной Элетте, и кончалось словами:

Столько стихов, сколько лет тебе смерть прожить разрешила,
Я посвящаю тебе, в слезах над гробом склоняясь.[1]

И на склоне лет своих он говорил о ней в одном из писем: «Omnium optima matrum, quas quidem viderim» — «Лучшая из матерей, каких я когда-либо видел».

Вскоре он потерял и отца.

Лаура.
Один из предполагаемых портретов.

Лаура

Быть может, самой ценной вещью, которую Петрарка взял из отцовского дома, был прекрасный пергаментный кодекс, заключавший в себе, помимо разных мелочей, произведения Вергилия с комментариями Сервия,— рукопись XIII века, помнящая юность Данте, семейная реликвия. Но вскоре он его потерял. Судя по записям Петрарки, кто-то его украл 1 ноября 1326 года, но потом, спустя много лет, 17 апреля 1338 года каким-то чудом он снова его обрел.

Эти даты Петрарка записал на странице, приклеенной им к обложке. Кроме этой страницы им приклеена еще и вторая — с миниатюрой Симоне Мартини. Маэстро из Сиены изобразил по его просьбе Вергилия в длинном белом одеянии, с бородой философа. Он сидит под пушистым, фантастическим деревом, изображенным на темно-голубом фоне. К нему приближается ученый муж Сервий, он ведет за собой Энея, который в полной экипировке, с длинным копьем в руке стоит у края страницы. Внизу, в другой части картины, виден человек, обрезающий ветку виноградной лозы, символ «Георгик», и пастух с овцами, символизирующий «Буколики».

С этим кодексом Петрарка никогда не расставался и, несмотря на его солидные размеры и увесистость, всюду возил с собой. Из разбросанных в изобилии на полях заметок с годами складывался как бы дневник, содержащий его наблюдения и размышления о Вергилии, о приобретенных знаниях, прочитанных книгах, в нем отмечены даже кое-какие факты из жизни. Важнейший из них запечатлен на обороте первой страницы, приклеенной Петраркой к обложке. Вот этот документ сердца:

[1] Перевод С. Ошерова.

«Лаура, известная своими добродетелями и долго прославляемая моими песнями, впервые предстала моим глазам на заре моей юности, в лето Господне 1327, утром 6 апреля, в соборе святой Клары, в Авиньоне. И в том же городе, также в апреле и также шестого дня того же месяца, в те же утренние часы в году 1348 покинул мир этот луч света, когда я случайно был в Вероне, увы! — о судьбе своей не ведая. Горестная весть через письмо моего Людовико настигла меня в Парме того же года утром 19 мая. Это непорочное и прекрасное тело было погребено в монастыре францисканцев в тот же день вечером. Душа ее, как о Сципионе Африканском говорит Сенека, возвратилась, в чем я уверен, на небо, откуда она и пришла. В память о скорбном событии, с каким-то горьким предчувствием, что не должно быть уже ничего, радующего меня в этой жизни, и что, после того как порваны эти крепчайшие сети, пора бежать из Вавилона, пишу об этом именно в том месте, которое часто стоит у меня перед глазами. И когда я взгляну на эти слова и вспомню быстро мчащиеся годы, мне будет легче, с божьей помощью, смелой и мужественной думою, покончить с тщетными заботами минувшего, с призрачными надеждами и с их неожиданным исходом».

Между двумя апрельскими датами мелкими буквами в восьми строках латинского текста заключил Петрарка историю своей любви. Редко какой документ исследовался так часто и так внимательно. Разбиралось каждое слово, рассматривалась через лупу буквально каждая литера, ибо многие пропустили едва различимое «е» в имени Лауры. Но все это лишь шитье на портьере, заслоняющей скрытую за ней фигуру.

Напрасно мы напрягаем взор, чтобы уловить образ молодой девушки, которая в тот апрельский день шествует под романским порталом собора, поднимает скромно опущенные глаза, встречает взгляд незнакомца и, ничего об этом не ведая, вступает на путь к бессмертию. При желании мы можем себе представить на ее головке огромную шляпу, украшенную шелками, перьями и цветами, или видоизмененный мавританский тюрбан, какие тогда носили, можно также представить руку в вышитой золотом перчатке, раскрывающую веер из страусовых или павлиньих перьев, но она сама вдруг отворачивается от нас и исчезает в толпе среди сотни других, столь похожих на нее девушек.

Шестое апреля 1327 года... В одном из сонетов, посвященных этому великому мгновению, поэт сообщает, что была как раз страстная пятница. Но исторический календарь противоречит этому свидетельству, ибо в 1327 году шестого апреля был страстной понедельник. Неужто память изменила Петрарке в столь важной для него дате?

Собор святой Клары... Нет ныне этого собора в Авиньоне, но нет его и в сонетах. Ни в одном из них мы не найдем Лауру в стенах собора, никогда мы не встретим ее и в городе. В сонетах она живет среди прекрасных холмов — dolci colli — на берегу реки, текущей среди ароматных лугов, неподалеку от старой дубравы. Ее всегда окружает открытое пространство, небо и солнце над нею улыбаются, ветерок теребит ее волосы, трава слегка примята ее стопами, с деревьев сыплются на нее лепестки весенних цветов.

В вергилиевом кодексе она зовется Лауреа, всюду в других записях — Лаура. А может быть, ее звали по-провансальски: Лауретта? В сонетах ее имя кружит в неустанной игре слов, в сочетании с золотом, лавром, воздухом: l'aureo crine — золотые волосы, lauro — лавр, l'aura soave — приятное дуновение. Эти загадки у многих вызывали сомнения в реальности ее существования.

Повторилась история дантовской Беатриче, которой точно так же

отказали в реальном существовании, чтобы превратить ее в аллегорию. Первым, кто хотел выбить почву из-под ног Лауры, был друг Петрарки, епископ Ломбезский Джакопо Колонна. Им было написано шутливое письмо, о котором нам стало известно из ответа Петрарки:

«Что же ты мне говоришь? Будто бы я придумал приятное имя Лауры, чтобы было мне о ком говорить и чтобы обо мне повсюду говорили, будто на самом деле Лаура была в душе моей всегда лишь тем поэтическим лавром, о котором я вздыхаю, чему свидетельством мой многолетний неутомимый труд. Выходит, в той живой Лауре, чей образ будто бы так меня поразил, на самом деле все искусственно, все это только выдуманные песни и притворные вздохи? Если бы только так далеко заходила твоя шутка! Если б дело было только в притворстве, а не в безумии! Но поверь мне: никто не может долго притворяться без больших усилий, а прилагать усилия только для того, чтобы походить на безумца,— действительно верх безумия. Прибавь к этому, что, будучи в добром здравии, можно притворяться больным, но настоящей бледности изобразить невозможно. А тебе ведомы мои страдания и моя бледность. Смотри поэтому, как бы ты своей сократовской шуткой не оскорбил мою болезнь».

Если такое предположение, пусть даже в шутку, мог высказать кто-то из ближайшего окружения Петрарки, превосходно знавший все авиньонское общество, то неудивительно, что Боккаччо, личное знакомство которого с Петраркой состоялось много лет спустя, мог сказать следующие слова: «Я убежден, что Лауру следует понимать аллегорически, как лавровый венок, которым Петрарка позднее был увенчан». Эти два голоса современников в значительной мере подорвали в последующие века веру в реальность существования Лауры, несмотря даже на то, что о нем свидетельствует запись в вергилиевом кодексе. Но можно ли столь далеко зайти с мистификацией, чтобы следы ее сохранились и там, куда никто, кроме поэта, не имел возможности заглянуть? Впрочем, присутствие Лауры нигде не чувствуется столь зримо и живо, как в сонетах.

Всего их свыше трехсот. Из них можно составить дневник любви, пережившей любимое существо. Описания ее красоты, состоящие, по обычаю поэтов того времени, из сравнений, в которых цветы, звезды, жемчужины делают ее похожей на любую воспетую когда-либо в любовной песне девушку, утверждают нас лишь в одном предположении: у нее были светлые волосы и черные глаза. Любовь, охватившая Петрарку с первого взгляда, и в истории дальнейшего своего развития не вышла за пределы чисто зрительного образа. Единственными событиями всей истории этой любви были несколько мимолетных встреч и столь же мимолетных взглядов. А когда поэт однажды поднял перчатку, которую Лаура уронила, это было уже ошеломляющим событием. Если б пересказать содержание сонетов, то пересказ этот прозвучал бы, как первая страница романа, которого больше никто не напишет.

Петрарка познакомился с Лаурой, когда она была совсем юной девушкой. Вскоре она вышла замуж и, став женой и матерью, подобно Беатриче, с негодованием относилась к неустанно оказываемым ей почестям. Немало сонетов запечатлело ее оскорбленную добродетель, высокомерное выражение ангельского лица, строгий взгляд.

Девяносто сонетов написал Петрарка после смерти Лауры. Возвращаясь в воспоминаниях к своей возлюбленной, Петрарка ищет ее в небесах, надеется получить от нее поддержку на пути к спасению. Тон их все более меланхоличен, затемнен, и теперь уже не Лаура, живое существо, навещает его по ночам, а лишь ее тень. То она является ему во сне, то во время работы, когда он сидит, склонившись над

книгами и вдруг чувствует прикосновение ее холодных ладоней. Только сейчас Лаура признается ему в своей любви. Она любила его всегда и будет любить вечно. Но не могла этого показать, ибо оба они были молоды, а она должна была оберегать свою и его невинность во имя спасения их душ. «Ты упрекал меня в кокетстве и холодности, а все это было только для твоего блага».

Эта любовь пламенела в сердце Петрарки в течение двадцати лет, пока Лаура была жива, и, если верить стихам, никогда в нем не угасала. Чуткая, стыдливая, полная смирения любовь к личности возвышенной, недостижимой, любовь, под пеплом надежды таящая жар, которому, однако, никогда не было суждено засиять ярким пламенем, любовь эта, раскрывшаяся в весну жизни и не увядшая ее осенью, казалась невероятной. Скорее творением искусства, а не жизни, скорее литературным приемом, а не реальностью. Кто разделяет эту точку зрения, должен мысленно обратиться к иному произведению, более близкому к нашему времени, к «Воспитанию чувств», в котором реалист Флобер в своем описании любви Фредерика Моро к госпоже Арну словно бы повторил историю Лауры и Петрарки, снабдив ее комментарием из собственной жизни, где за госпожой Арну угадывались госпожа Шлезингер, неотступная любовная мечта этого полнокровного гиганта с галльскими усами.

Предпринималось немало попыток обнаружить документы, свидетельствующие о реальности существования Лауры. Наибольшую огласку приобрели те из них, в которых речь шла о некой Лауре де Нов, которую влиятельный род де Садов причислил к сонму своих предков. Лаура де Нов была матерью одиннадцати детей, а когда умерла, муж ее, через семь месяцев после ее смерти, не переждав и положенного года траура, женился вторично. Семья де Садов обнаружила в 1533 году ее могилу и показывала портреты, не вызывавшие ни у кого доверия. В этом соревновании историков и археологов были эпизоды, напоминавшие события из «Портрета мистера W. H.» Оскара Уайльда, так же как, думая о Лауре, мы невольно вспоминаем загадочную смуглую леди сонетов Шекспира.

Существовал, однако, и современный портрет Лауры, написанный другом Петрарки, сиенским маэстро Симоне Мартини. Приглашенный к авиньонскому двору Бенедиктом XII, который расширил и великолепно украсил папский дворец, Симоне Мартини провел в Авиньоне последние годы своей жизни. Близко общаясь с Петраркой, он, вероятно, встречался с Лаурой, в то время, правда, уже немолодой. В своих сонетах поэт говорит, что портрет его работы был «райской красоты», но, по всей вероятности, художник рисовал его не с натуры, а следуя своему вдохновленному Петраркой воображению.

Можно предположить, что Мартини создал тот идеальный женский образ, который повторяется в его изображениях мадонн и ангелов. Вероятно, и у его Лауры были такие же узкие, продолговатые глаза, такие же белые, словно лилии, руки с длинными тонкими пальцами, такая же легкая фигура, словно бы исчезавшая на золотом фоне, предназначением которой было не ступать по земле, а парить в воздухе. Скорее всего это была миниатюра, ибо Петрарка много раз упоминает, что никогда с портретом не расстается, всегда носит его с собой. Легенда связывает имя возлюбленной поэта с образом одной из женщин на фреске Симоне Мартини в часовне святого Иоанна: будто первая из идущих в процессии женщин, та, что в голубом одеянии, с алой лентой в золотистых волосах, и есть Лаура.

Лауры уже не удастся увидеть, но ее незримое присутствие останется навеки. Ее глаза рассеивают мрак, на щеках играет розовый свет зари, ангельские уста полны жемчуга, роз и сладостных слов. Скло-

нив голову в поклоне, она ступает с улыбкой так легко, словно и не касается земли, на ресницах блестят слезы. Она плывет в лодке, едет в экипаже, стоит под деревом, с которого сыплются на нее весенние цветы. Купаясь в источнике, она обрызгивает водой очарованного ее красотой поэта, как Диана — Актеона. То она беспечна и весела, то слегка грустна и озабочена. В каждое из этих мгновений она лишь мимолетное отражение в волшебном зеркале — в душе поэта.

Еще больше, нежели Лаура, он сам — герой сонетов. Это его порывы, восторги, тревоги, отчаяние и надежды составляют мозаический портрет изысканной расцветки, подсвеченной золотом, как на древних мозаиках романских базилик,— быть может, такие были в соборе святой Клары. Это он предстает перед нами как человек, одержимый противоположными желаниями: стремлением к светской жизни и одиночеству, неустанному движению и сосредоточенной тишине, так легко поддающийся соблазнам и оберегающий чистоту сердца. Если в сонетах, написанных при жизни Лауры, нередко чувствовался бунт скованных в неволе чувств, то сонеты, созданные после ее смерти,— олицетворение покоя и гармонии. Нет ни мыслей о грехе, ни упреков совести, ни опасений, что «осудит нас святоша, развратник высмеет», а сама Лаура стала более близкой, более человечной и принадлежит одному только поэту. В ее неземных признаниях возвращаются теперь овеянные нежностью все взоры, улыбки, слова, жесты, которые, некогда превратно истолкованные, причиняли жестокую боль поэту.

Но если даже Лаура — только творение фантазии художника, если ни один описанный в стихах факт не соответствует реальной действительности, если даже чувства и состояния духа, отражением которых является его поэзия, порождены лишь иллюзиями, все равно сонеты от этого не теряют ни своей красоты, ни той особой ценности, которая присуща каждому художественному свидетельству жизни своего автора, даже если бы оказалось, что форма, тон и общая их поэтическая концепция не принадлежат исключительно ему одному. Такого рода сомнения свойственны не только нашему времени, когда критики повсюду ищут образцов, влияний и заимствований. Видно, они существовали и во времена Петрарки. Не случайно же он в одном из писем к Боккаччо уверяет друга, что в своей поэзии никогда никому не подражал, и дает понять, что он даже не знал своих предшественников. Странно, как будто бы он забыл о собственной песне, чудесном «Trionfo d'amore»[1], в котором шествует великолепный кортеж не только итальянцев (Данте, Чино да Пистойя), но и французских трубадуров и труверов. Более того, Петрарка хотел бы утаить то, о чем свидетельствуют его собственноручные пометки на черновиках, в которых он цитирует стихотворение поэта Арно Даниэля, вдохновившего его на один из сонетов.

Конечно, он их знал, да и не мог не знать песни, звеневшие во всех дворцах и домах Авиньона. И Лаура могла бы вполне догадаться, какая судьба уготована ей в этих стихах, еще до того, как Петрарка ударил по струнам в честь своей Дамы. Первый трубадур Гийом де Пуатье еще за двести лет до Петрарки оповестил мир, что его Дама — это его свет и спасение, что любовь, которая освещает сердце, преображает его, придает новый смысл жизни. Это зародившееся в Провансе евангелие любви, словно на крыльях, перекинулось на север, и ему сдались без боя все феодальные замки. Рядом с политическим и общественным феодализмом появился своеобразный феодализм и в любви, где женщина была сюзереном, а мужчина — вассалом. Трубадуры появились в Каталонии, в Кастилии, в Арагоне. На испанской

[1] «Триумф любви» *(итал.)*.

земле они встретились со своими предшественниками, которые уже давно настраивали свои лютни на мотивы шероховатых, дразнящих арабских мелодий. В одной испанской рукописи есть миниатюра, на которой арабский jongleur[1] в бурнусе и тюрбане и такой же jongleur испанский, но в bliaut[2] и шляпе, один смуглый, другой — белый, играют на одинаковых лютнях, a'ud, и поют одну и ту же арабскую песню на андалузский лад.

Из северной Франции в Сицилию плыл этот поток поэзии, быстрый, обширный и всеобщий, как романтизм XIX века. Каждый странствующий jongleur, который на площади возле авиньонского собора пел по воскресеньям перед толпой горожан, в каждой строфе своей песни повторял заповедь смирения, преданности, верности и послушания женщине-ангелу. Девушка тех времен вместе с молитвою усваивала истину, что любовь — это награда, наивысшая ценность, проявление благородства души, источник добродетели и совершенства.

Именно такой любовью любил Петрарка Лауру. Свою любовь он воплотил в сонете, в утонченной форме стиха, который зародился еще в XIII веке; маловыразительный вначале по своей структуре и форме, туманный по настроению, скорее склонный к раздумью и созерцательности, сонет уже у Данте стал любовным посланием, а у Петрарки достиг бессмертной славы благодаря своему непревзойденному совершенству. И вот уже шесть столетий европейская поэзия слушает и взволнованно повторяет слова поэта:

Благословляю день, минуту, доли
Минуты, время года, месяц, год,
И место, и предел чудесный тот,
Где светлый взгляд обрек меня неволе.

Благословляю сладость первой боли,
И стрел целенаправленный полет,
И лук, что эти стрелы в сердце шлет,
Искусного стрелка послушен воле.

Благословляю имя из имен
И голос мой, дрожавший от волненья,
Когда к любимой обращался он.

Благословляю все мои творенья
Во славу ей, и каждый вздох, и стон,
И помыслы мои — ее владенья.[3]

В пути

Сонеты и канцоны прославили имя Петрарки. Перед ним были открыты двери всех домов. Его друг, грамматик Донато дельи Альбандзани, спустя много лет вспоминал пышные обеды, во время которых никто не обращал внимания на изысканные яства и великолепные вина, ибо глаза гостей были устремлены на Петрарку. И все были готовы слушать его до утра. Иногда он брал лютню и в кругу прекрасных дам декламировал свои стихи, которые все знали наизусть. В бесчисленных копиях они расходились по свету.

Но поэзия тогда не приносила никакого дохода, по крайней мере литературного заработка в нашем понимании. Петрарка был беден. После смерти отца он оказался почти без средств к существованию,

[1] Странствующий музыкант и певец *(франц.)*.
[2] Вид одежды.
[3] Перевод Е. Солоновича.

разоренный, как он сам рассказывает, нечестными опекунами. Но, по всей вероятности, нечестность была тут не единственной причиной, ибо как раз в это время ширилась финансовая паника, большие и древние банковские дома один за другим оказывались банкротами, увлекая в пучину разорения тысячи своих вкладчиков.

Лишенный состояния, Петрарка, однако, обладал качествами, которые поначалу обеспечили ему содержание, а потом сделали его богатым. Приятная внешность, изысканные манеры, прирожденная сердечность и искусство приобретать друзей, живость ума, красноречие, начитанность и эрудиция, прекрасное знание латинского языка — все это открывало перед ним сердца, двери домов и шкатулки. У него было много друзей в высших кругах Авиньона, но особенно близко сошелся он с семейством Колонна, с этим могучим родом римских баронов, часть которого вслед за папой направилась в Авиньон.

Кардинал Джованни Колонна заботился о нем, как отец, в некоторых документах Петрарку называют его капелланом, вероятно, следовало бы сказать: секретарем. Дом кардинала был своеобразной школой жизни: здесь можно было встретить всех самых замечательных людей того времени. Еще ближе сошелся Петрарка с братом кардинала Джакопо, который был почти его ровесником, а когда Джакопо стал епископом в Ломбезе, Петрарка тотчас же направился к нему и в этом маленьком, расположенном у подножия Пиренеев городке провел «неземное» лето. Это был своего рода ученый рай, в котором отнюдь не считалось грехом срывать плоды с древа познания. Плодами этими хозяин охотно делился со своими друзьями, не только с Петраркой, но также и с Лелло ди Пьетро Стефани, которого поэт называл Лелием, и фламандцем Людовиком из Кемпен, прозванным «Сократом». Уже на заре гуманизма широко распространился столь характерный для всей этой эпохи обычай брать античные имена.

Покровители Петрарки ценили его скорее не за тогдашние заслуги, а за то, чем он обещал стать в будущем. От молодого таланта ожидали со временем произведений, которые прославят тех, кому они будут посвящены. Но и в те дни ему нередко случалось составить для изнеженных господ речь или дипломатическое письмо; не исключено, что его способности использовались и иным образом. На эту мысль наводят его путешествия, продолжавшиеся без малого два года: 1332 и 1333.

В дорогу Петрарка отправился охотно. «Желание увидеть новое погнало меня на сушу и море, а отвращение к одному и тому же и ненависть к закостенелым обычаям могли бы завести и на край света». Так впервые сказался в нем дух бродяжничества, который не угасал всю жизнь. С корабля Петрарка пересаживался на коня, с коня в повозку, он не брезговал ни пешим странствованием, ни тряской телегой. Его не отпугивали ни реки, ни ухабистые дороги, он легко переносил и слякоть и жару, ветер и непогоду. Не удалось ему избежать и нападения разбойников. Он исколесил Францию, Фландрию, Германию.

Среди его латинских писем три относятся к этому первому в жизни путешествию: два — к кардиналу Джованни Колонна, одно — к епископу Джакопо. Можно предположить, что именно они покрыли издержки столь великого странствия, и весьма возможно, что начало первого письма к кардиналу («Галлию посетил я, как знаешь, без всякой корысти, просто из юношеского энтузиазма») должно было помочь скрыть истинные мотивы путешествия, о котором столько сплетничали в Авиньоне. Это могли быть поручения по сугубо конфиденциальным делам семьи Колонна либо по делам римской курии. Не отягощенный каким-либо саном, молодой сообразительный человек, легко

завязывавший знакомства и не вызывавший при этом подозрений, великолепно подходил для выполнения миссии, которой под личиной невинного странствия никто не смог бы распознать.

«Я достиг Германии и берегов Рейна,— пишет Петрарка из Аахена,— внимательно наблюдая нравы людей и наслаждаясь созерцанием незнакомых стран. Я сравнивал все с тем, что есть у нас, и, хотя повсюду видел много прекрасного, не стыжусь своего итальянского происхождения и даже, если говорить откровенно, еще больше восторгаюсь своей родиной». Он помнил о ней на всех дорогах, которые приветствовали его римскими именами или памятниками былого величия Римской империи. Это Юлий Цезарь вел его по городам Фландрии и Брабанта, где сквозь шум прядильных и ткацких станков слышался ему шелест страниц из «Bellum Gallicum»[1], и тот же Цезарь привел его в свою Lutetia Parisiorum, то есть в Париж. Очарованный городом, Петрарка не мог от него оторваться, ему не хватало дня, он даже ночью странствовал по этому городу, в котором готов был навсегда остаться.

Париж, как и Франция, находился тогда в зените благополучия, и никто не предчувствовал его недалекого заката. На смену угасшей династии Капетингов пришли Валуа, а с их приходом назревала Столетняя война, но в те годы, когда Петрарка путешествовал по Франции, страна жила еще в достатке. Париж был большим городом в кольце мощных каменных стен, за пределы которых все дальше распространялись его предместья, вокруг тянулись сады, виноградники и поля. По Сене плыли бесчисленные корабли. В крытых рынках, построенных Филиппом Августом, бурлила торговля. Вот уже сто лет, как Париж называли locum deliciarum — городом блаженства.

Десятки соборов, над которыми возвышались Нотр-Дам и стрела Сент-Шапель, славили французское искусство. О добром вине говорилось, что у него цвет витражей Сент-Шапель. Laetitia populi, что можно было бы передать современным выражением douceur de vivre[2], манила к себе чужестранцев. Больше всего их привлекал университет, в котором уже тогда насчитывалось пятнадцать тысяч студентов, съехавшихся из всех стран Европы,— пестрая, шумливая, бурная толпа. Представители всех народов встречались и среди магистров. Петрарка нашел там множество друзей.

Двое остались ими навсегда: Дионисио да Борго Сансеполькро, который подарил ему «Исповедь» блаженного Августина, так много значившего в жизни Петрарки, и канцлер Нотр-Дам Роберто де Барди. Они водили его по книжным лавкам и библиотекам Парижа, помогли попасть в уже тогда довольно богатую библиотеку Сорбонны. Еще один библиофил — Ришар де Бюри, с которым Петрарка познакомился несколько позднее, в это же время с таким же наслаждением дышал воздухом «райского» Парижа. Их вкусы были так похожи, что слова, сказанные де Бюри в его «Филобиблоне» о Париже, звучат, как голос самого Петрарки. «Я так полюбил этот город,— писал он,— что пребывание в нем всегда мне казалось слишком кратким. Даже самые роскошные покои никогда не были мне так милы, как парижские библиотеки. Это истинный кладезь книг. С легким сердцем открывал я кошелек, чтобы извлечь из грязи и пыли бесценные фолианты».

В Германии Петрарку очаровал Кельн, женщины в этом городе были так красивы, что если б он не был уже рабом Лауры, то искал бы среди них свою Даму. Восхищенный красотой собора, он покло-

---

[1] «Галльская война» *(лат.)*.

[2] Сладость жизни *(франц.)*.

нился в нем праху трех волхвов, почтил взволнованным взором Одиннадцать тысяч дев. Жители Кельна оказались людьми более высокой культуры, чем он ожидал, и среди них нашел он друзей, которых, по его словам, еще раньше расположила к нему его слава.

Вероятно, это были не немцы, ибо его слава, сплетенная из итальянских рифм, не могла еще их достичь. Вероятно, речь идет либо о нунциях или других посланцах курии, либо об итальянских купцах, которые бродили повсюду, это могли быть также люди, специально предупрежденные письмами Колонна.

В Иванову ночь Петрарка наблюдал, как толпы стройных женщин, украшенных зеленью и цветами, спускались к берегу Рейна и мыли руки в водах реки — древний ритуал очищения от скверны минувшего года во имя благополучия в текущем году.

«Счастливые! — не без юмора отметил Петрарка.— Нашей нищеты не смогли бы смыть ни По, ни Тибр. Ваши грехи Рейн уносит к британцам, мы охотно послали бы свои в Африку или Иллирию, но, увы, наши реки не столь любезны».

В начале жаркого и пыльного июля Петрарка выехал из Кельна и через Арденнский лес добрался до Лиона. Путешествие через Арденнский лес он увековечил в двух сонетах — легких, безмятежных и радостных, как утренняя прогулка. Он шел один, без оружия, среди таящих опасности лесов, с песней на устах и солнцем в сердце. Петрарка спешил на встречу с Джакопо Колонна, который должен был взять его с собой в Рим, но уже не застал его в Лионе. Рим отдалился на несколько лет; в длинном латинском письме Петрарка пожаловался другу на неудачу и вернулся в Авиньон.

Независимо от того, какие обязанности или дела отправили Петрарку в путь, но он бродил по этим дальним дорогам не как средневековый паломник, посещающий чудодейственные места, а как путешественник, жаждущий все новых и новых впечатлений. До него еще никто так не путешествовал, ничьи глаза не восторгались так прекрасными картинами природы и не роняли слез перед историческими памятниками. Ничье перо не спешило запечатлеть мимолетных впечатлений, никого не приводили в такой восторг скалы, горы и леса. Это было путешествие поэта, который впервые воспел чары Арденнского леса. Но это было и путешествие гуманиста, стремившегося отыскать новые античные тексты. В сущности, это был первый из тех славных, богатых открытиями походов, которые предпримут гуманисты последующих поколений, отправляясь, подобно Колумбам, в странствия не для завоевания островов и континентов, а на поиски изгрызенных крысами пергаментов.

«Как только увижу монастырь, сразу же сворачиваю туда в надежде найти что-нибудь из произведений Цицерона». Со временем Петрарка найдет их куда больше, нежели надеялся. А пока это были мелочи, которые он собирал с благоговением, сравнивал разные копии, чтобы получить возможно более полный текст уже известных произведений, и с триумфом открывал неизвестные. Такой триумф он пережил в Льеже, где обнаружил две речи Цицерона: одной из них была «Pro Archia poeta»[1], которую он впоследствии широко распространил среди цицеронистов своей эпохи. Он сам переписал ее с монастырской рукописи. «Ты будешь смеяться,— сообщал он в письме к другу,— если я скажу тебе, что в Льеже мне с большим трудом удалось найти чернила, да и те были похожи скорее на шафран».

Примерно к этому времени относится и запутанная история поисков затерянного сочинения Цицерона «De gloria» — «О славе». Цице-

[1] «В защиту поэта Архия» *(лат.)*.

рон писал его в июле 44 года до н. э., как об этом он сообщает в письме к своему другу и издателю Аттику. Петрарка как будто обнаружил это произведение, но, вместо того чтобы переписать, дал на время единственный экземпляр рукописи своему старому учителю Конвеневоле и никогда больше его не увидел. Бакалавр то ли потерял рукопись, то ли передал кому-то еще, то ли отдал в залог, но небольшое произведение Цицерона, стоявшее в одном ряду с трактатами о старости и дружбе, исчезло безвозвратно. Это одна из тех драматических историй, которая свидетельствует о том, что гуманисты, следуя примеру Петрарки, буквально в последнюю минуту занялись спасением остатков римской культуры: если б они опоздали на одно столетие или даже на полсотни лет, многих римских писателей мы бы теперь знали только понаслышке.

Петрарке исполнилось тридцать лет, в его времена это значило больше, нежели теперь; правда, и тогда встречались старые люди, даже у самого Петрарки был в роду столетний предок, опыт, однако, говорил о том, что человек не должен надеяться прожить больше пятидесяти. К тридцати годам он успел прославиться своими итальянскими стихами и теперь раздумывал, не держаться ли ему этого языка, несравненным мастером которого он стал. К этому побуждала его еще и мысль, что в латинской поэзии он никогда не превзойдет древних авторов, а здесь, где все было ново, где в тени одинокого гиганта — Данте выросла лишь чахлая поросль, можно было идти уверенным шагом к новой красоте и непредугаданному совершенству.

«Вдохновленный этой надеждой и окрыленный запасом юности,— писал он спустя много лет в письме к Боккаччо,— я поставил перед собой цель — создать на этом языке великое произведение. У меня был план строения и материалы — камни, известь, дерево были собраны...» Можно не сомневаться, что это должна была быть обширная поэма, достойная встать рядом с творением Данте или даже превзойти его. Честолюбивый поэт не мог довольствоваться меньшим.

Петрарка всегда замалчивает или вовсе игнорирует великого флорентийца. Где-то он даже признается, что ни разу не прочитал «Божественную комедию» до конца. Все может быть хотя и трудно в это поверить. Но если и на самом деле так было, то это обстоятельство может послужить еще одним подтверждением того, как далеко Петрарка опередил свою эпоху, будучи, в сущности, уже гуманистом типа кватроченто. Боккаччо не только читал Данте, но и комментировал его с университетской кафедры. Суровое искусство Данте было чуждо духу Петрарки, столь же чужды его духу были образы ада и чистилища. Его мог привлекать «Рай», светлый, лучезарный, в нем было бы место и для Лауры, если б его уже не заняла Беатриче. Впрочем, стоит ли гадать, что именно имел он в виду в те дни колебаний между энтузиазмом и разочарованием.

«Но, размышляя о высокомерном равнодушии нашего века, я задавал себе вопрос, какие умы должны будут меня судить... И словно путник, неожиданно увидевший перед собой отвратительную змею, остановился на полпути...» Вот как объяснил он другу свое решение.

«Высокомерное равнодушие нашего века...» Тут речь идет не о чем ином, как о том пренебрежении, с которым интеллектуальная элита принимала итальянскую поэзию. Петрарка испытал это на своих сонетах: все восторгались ими, многие знали их наизусть, и господа и простолюдины пели их своим возлюбленным, но люди высокого интеллекта считали их пустячком — nugellae, как, впрочем, называет их и сам Петрарка. Сонеты не вызывали того восхищения, которое способно пробудить творение, превосходящее обыкновенные человеческие способности. Им не хватало также и иноязычной аудитории.

И первое и второе могла дать только латынь. Та, на которой до сих пор писали, уже надоела; никто, правда, не мог предложить лучшей, но все чувствовали, что этому языку суждено новое, пышное будущее. Завершилась эпоха, когда на протяжении долгих веков читали античных авторов, стремясь найти в них правила морали, но оставаясь совершенно равнодушными к высокому искусству слова. Петрарка чувствовал себя в силах вернуть латыни ее достоинство и привлекательность, очистить ее от ошибок и чуждых наслоений, поднять из упадка и вернуть ей прежний блеск, словно старому щиту с гербами, затемненному патиной и грязью. Если ему и не удастся сравниться ни с Вергилием в поэзии, ни с Цицероном в прозе, то все же он настолько постигнет тайны их мастерства, что, будучи далеким их потомком, пришедшим позднее на тринадцать веков, окажется в их обществе не чужим, а одним из более скромных их современников.

Одним честолюбием в литературе можно достичь немногого. Свойственное Петрарке в немалой мере, оно все же явилось наименее важным союзником его замыслов. Опору он находил в том, что всегда вернее и лучше всего служит писателю,— в сердце. Петрарка любил латинский язык, как родной, а может быть, еще сильнее, ибо больше уважал его и, по сути, не видел между ними различия. Собственно, это были две разновидности одного и того же языка: одна — старая, другая — новая, одна — всеми уважаемая, другая — униженная несправедливостью исторических судеб.

Латынь была ему необходима как воздух. Сколько искренних сетований хотя бы в этих словах его письма: «Выйдя из дому, я не слышу звука латинской речи и могу разговаривать только с собственной памятью!» Само звучание латинских слов, их грамматические формы, строение фразы наполняли его сердце радостью, безмерный восторг вызывала интонация прекрасной прозы или плывущая серебристым потоком мелодия стиха. Повторить их про себя, связать ряды старых слов новым строем, вынудить их заговорить образами современной жизни — сладостное замешательство охватывало его душу при одной мысли об этой возможности.

Каждая страница старинного фолианта с украшенными причудливым орнаментом полями казалась Петрарке роскошным садом с уходящими вдаль рядами деревьев и цветниками, над которыми он сам кружит словно пчела, с тем чтобы, отяжелев от меда и воска, вернуться к себе и строить, как соты, собственные страницы. «Должно быть, счастлив тот,— вздыхает он как-то в письме к приятелю,— кто, подобно шелкопряду, сучащему шелк из собственных внутренностей, из самого себя черпает мысли и слова...» Он, однако, берет за образец для себя пчелу и на этом останавливается.

Нелегко сегодня понять его сомнения и раздумья по этому поводу. Вот уже несколько столетий писатели пишут на своем языке, даже если где-то в далеком уголке земли говорит на нем лишь небольшая горстка людей. Но Петрарка родился в те времена, когда на зарождение национальных литератур в обществе смотрели если не с презрением, то с недоверием, и даже самые смелые мечтатели не могли предсказать им того развития, какого они достигли в последующие века. Все, что было достойно называться философией, наукой, литературой, с незапамятных времен писалось по-латыни. Это был язык Европы; отречься от него — означало отречься от интеллектуального единства со всем тогдашним культурным миром. Можно смело сказать, что у такого писателя, как Петрарка, в сущности, не было выбора, а вместе с тем голос новой эпохи, который он слышал так явственно, звал его к созданию новой латыни, богатой и выразительной, гибкой и точной, какой она была некогда и какой снова стала под пером гуманистов.

Петрарка вступал на новое свое литературное поприще не как эпигон, а как провозвестник новой эры. Именно от Петрарки берет свое начало тот поход гуманистов, которые говорили и писали по-латыни так, что у некоторых из них, как, например, у Эразма Роттердамского, трудно даже определить, какой язык для них родной. Вместо средневековой культурной общности, которая была церковной и религиозной, они создавали новую, светскую общность, чем-то даже близкую к языческой.

Портрет Петрарки (с рукописи XIV века).

Ветреная гора

Прошло десять лет со дня знакомства с Лаурой. Провел их Петрарка не только в тоске и любовных страданиях, как это можно было бы подумать, судя только по его сонетам, в которых он, словно тень, всегда следует за своей возлюбленной. На самом деле эти годы провел он в неустанных трудах, лихорадочно строя свое будущее, и именно они, тридцатые годы, определили весь круг интересов последующих лет его жизни. Вот, например, день не менее важный, чем тот, когда Петрарка встретил Лауру, и тоже апрельский, ибо по какой-то странной причуде судьбы все необыкновенные события приносил ему апрель. В 1336 году, с 24 по 26 апреля, тридцатидвухлетний поэт вместе с братом Джерардо совершил восхождение на гору Мон Ванту, Mons Ventosus, то есть Ветреную гору близ Авиньона. Это свое приключение не тела, а духа он описал в латинском письме к приятелю Дионисио да Борго Сансеполькро из ордена блаженного Августина, и письмо это является одним из наиболее волнующих человеческих документов того времени.

«На самую высокую в этих местах гору[1], справедливо называемую Ветреной, взобрался я вчера, ведомый единственно желанием увидеть столь высокую вершину. Путешествие это уже давно занимало мой ум, ибо, как тебе известно, я с детских лет живу в этих краях, куда меня забросила управляющая человеком судьба. Гора эта видна издалека и видна отовсюду, она всегда перед глазами. И вот я решил совершить то, о чем думал каждый день, тем более что накануне, читая Ливия, случайно наткнулся на то место, где говорится о том, как Филипп Македонский, царь, воевавший с римлянами, взбирается на фессалийскую

[1] Мон Ванту возвышается над уровнем моря на 1900 метров *(прим. автора)*.

гору Эмо, с вершин которой, как говорят, видно два моря — Адриатическое и Черное. И я подумал, что в таком намерении обыкновенного юноши нет ничего зазорного, если даже престарелому царю оно не показалось чем-то недостойным.

Я стал подыскивать себе спутника. Трудно поверить, но никто из моих друзей не показался мне для этого пригодным. Даже среди близких людей редко встречается полное совпадение желаний и привычек. Этот праздный, тот чересчур осторожный; этот медлительный, тот слишком быстрый; этот грустный, тот не в меру веселый; этот глуповат, тот толковее, чем мне бы хотелось; этот отпугивает своей молчаливостью, тот несусветный болтун; этот неповоротлив и грузен, тот худ и немощен; в одном неприятно равнодушное любопытство, в другом — чрезмерное усердие. Все эти недостатки, хотя и неприятные, легко перенести дома, ибо чего не вытерпит любовь, но в пути они были бы слишком обременительны. В конце концов я рассказал о своих заботах младшему брату, которого ты хорошо знаешь. Для него не могло быть большей радости, чем помочь мне, и он с благодарностью стал мне и братом и другом.

В назначенный день мы вышли из дому и под вечер были уже в Малосене: эта местность лежит у подножия горы с северной стороны. Здесь мы провели день и только сегодня с несколькими слугами, не без труда, взошли на гору, представляющую собой отвесное и почти недоступное нагромождение скал. Но хорошо сказал поэт:

...труд неустанный все победил...[1]

Нашему восхождению благоприятствовал длинный день, приятный воздух, твердость духа, сила и ловкость тела, а единственным препятствием была природа. В одном из ущелий нам повстречался старик пастух, который пытался отговорить нас от дальнейшего путешествия, уверяя, что пятьдесят лет тому назад с таким же юношеским запалом он взобрался на самую высокую вершину, но ничего оттуда не вынес, кроме сожаления, что зря потратил время, да еще изорвал одежду и поцарапал тело о колючки и острые камни; ни до своего путешествия, ни после него никогда он не слышал, чтоб кто-либо еще осмелился на нечто подобное. От его слов — ведь юношеский разум не доверяет предостережениям — наперекор запрету еще сильнее окрепло стремление свершить задуманное. Наконец, убедившись, что все его доводы напрасны, старик некоторое время шел впереди нас, чтоб показать среди скал крутую тропинку, а отстав, еще долго напутствовал нас своими стонами и жалобами.

Мы оставили у него все то из одежды и других вещей, что в дальнейшем могло стать нам в тягость, и быстрым шагом двинулись в путь. Но, как это обычно бывает, после чрезмерного усилия наступает усталость, и вскоре подле одной из скал мы устроили привал. Потом мы снова двинулись в путь, но уже шли не так быстро, особенно я ступал совсем тихим шагом. Мой брат, чтоб сократить себе путь, стал взбираться наверх по самому гребню скалы, я же, более слабый, свернул вниз, а когда он звал меня, показывая, как идти напрямик, я отвечал, что рассчитываю на другом склоне найти менее крутой путь и не боюсь сделать крюк, лишь бы дорога была ровнее. Этим оправданием я прикрывал свою леность, и, когда брат был уже высоко, я все еще брел внизу. Однако более пологого пути так и не нашел, лишь удлинилась дорога и понапрасну расходовались силы.

Наконец мне надоело кружить и петлять, и я решил взбираться наверх напрямик и таким образом попал к брату, которого снизу не

[1] Вергилий, «Георгики», I, 145 *(прим. автора, перевод С. Шервинского).*

мог увидеть. Он успел поддержать свои силы длительным отдыхом, я же был усталым и раздраженным. Некоторое время мы шли нога в ногу. Но как только покинули эту возвышенность, я забыл о своих недавних блужданиях, снова спустился вниз и снова, в поисках более легкого пути, обошел несколько долин, путь был мучительным и долгим. Тем самым я надеялся уклониться от утомительного восхождения на гору, однако естественного порядка вещей изменить нельзя, и еще ни одно тело, спускаясь вниз, не поднималось вверх. Брат смеялся, когда, словно бы назло, за несколько часов со мной такое случилось раза три, а то и больше.

Брат непрестанно посмеивался надо мной, и я спрятался от него в какой-то долине. Там, перескакивая быстрой мыслью от обыденного к нетленному, примерно в таких или похожих словах ругал самого себя: все то, что ты сегодня многократно испытал, взбираясь на эту гору, не раз случалось с тобой и происходит со многими другими в погоне за счастливой жизнью, но человеку это нелегко заметить, ибо человеку дано увидеть только движения тела, движения же души сокрыты и не подвластны его зрению. Жизнь, которую мы называем счастливой, лежит на вершинах, и к ней, как говорят, ведет крутая дорога. Ее преграждает немало возвышенностей, и от добродетели к добродетели нужно подниматься по крутым ступеням, а на самом верху все кончается, это черта, у которой цель нашего странствия. Все хотят туда попасть, но, как говорит Назон: «Мало просто хотеть — добивайся, стремись...» [1]

Ты, говорил я себе, несомненно, не только хочешь, но и стремишься. Так что же тебя задерживает? Вероятно, не что иное, как на первый взгляд такая ровная, такая удобная дорога через низменные земные желания. После долгих блужданий, или устав под бременем плохо распределенного труда, ты вынужден будешь либо взбираться к вершинам этой счастливой жизни, либо остаться праздно лежащим в юдоли грехов, но если — страшно такое пророчить! — тебя застанут там тьма и тень смерти, ты будешь обречен на вечную ночь и вечные муки.

Эти мысли — как это ни кажется невероятным — придали телу и душе моей силы для дальнейших странствий. Самую высокую вершину этой горы жители лесов, почему не ведаю, называют «Сынком», возможно, это иносказание, ибо она выглядит скорее отцом всех окружающих гор. На этой вершине оказалась маленькая ровная площадка, на которой мы наконец могли отдохнуть. Но тут, завороженный какой-то удивительной прозрачностью воздуха и грандиозностью открывшегося передо мной зрелища, я остановился как вкопанный. Гляжу: тучи у меня под ногами. Теперь уже и Афон и Олимп кажутся мне не такими необыкновенными, ибо то, что я о них слышал и читал, сам вижу теперь, стоя на менее прославленной горе.

Я обратил свой взор в сторону Италии, куда всегда устремлена моя душа. Даже заснеженные и покрытые льдом Альпы, через которые, если верить преданиям, прошел некогда смертельный враг Рима Ганнибал, разрушая уксусом скалы, эти самые Альпы, такие далекие, показались мне сейчас совсем близкими. Признаюсь, я вздохнул, когда итальянское небо открылось скорее душе моей, чем глазам, и меня охватило неистребимое желание снова увидеть друзей и отчизну, но одновременно я упрекал себя за эту недостойную мужчины слабость, хотя и то и другое могло быть оправдано и подтверждено великими примерами.

Потом мне пришла в голову новая мысль, уже не о местности, а

[1] Овидий. «Письма с Понта», III, I, 35 *(прим. автора)*.

о времени. Я говорил себе: сегодня исполняется десятый год с тех пор, как, забросив учение, ты покинул Болонью, и — Боже бессмертный, мудрость неизменная! — как много важных перемен произошло в твоем бытии! Очень многое опускаю, ибо я не причалил к пристани, где в безопасности мог бы вспоминать минувшие бури. Быть может, придет час, когда, перебрав поочередно все события своей жизни, я возьму за образец твоего Августина, который говорит: «Хочу вспомнить всю пакостность свою и испорченность души своей не потому, что любуюсь ими, а потому, что люблю Тебя, мой Боже». Немало еще в душе моей неясных и тягостных тревог. Того, что любил я ранее, теперь уже не люблю. Лгу: люблю, но скупее. И снова лгу: люблю, но стыдливее, печальнее. Наконец я сказал правду. Ибо так оно и есть: люблю, но люблю то, что хотел бы не любить, а что хотел бы ненавидеть. Итак, люблю, но вопреки воле, по принуждению — в грусти и в трауре. И сам на себе, несчастный, проверяю достоверность суждения этого достославного стиха:

Я ненавидеть начну... а если любить, то неволей.[1]

Не прошло еще и трех лет с тех пор, как эта лицемерная и низкая наклонность, что целиком овладела мною и в чертоге сердца моего господствовала безраздельно, оказалась лицом к лицу с другой — бунтарской и строптивой, и между ними издавна идет в моих мыслях яростная борьба за власть над этой двойственностью.

Так я мысленно пробежал минувшее десятилетие. И сразу же устремил тревожный взгляд в будущее, спрашивая себя: если тебе случится в течение грядущих десяти лет вести все ту же суетную жизнь и все-таки в какой-то мере приблизиться к добродетели, ведь отрекся же ты в последние два года от прежнего упрямства, благодаря борьбе нового влечения со старым, то не предпочтешь ли ты — я не утверждаю этого, но опасаюсь,— если тебе суждено умереть на сороковом году, провести в равнодушном пренебрежении оставшиеся годы клонящейся к старости жизни?

Эти и подобные тому мысли, отче, не оставляли меня. Я радовался своим успехам, оплакивал свое несовершенство и сокрушался над несовершенством человеческих деяний, словно забыл, куда и зачем пришел. Наконец, оставив тревоги, для которых было бы более подходящим иное место, я огляделся вокруг и увидел то, из-за чего сюда стремился, когда пора было уже собираться в обратный путь. Солнце садилось, и в горах удлинялись тени, это меня подстегнуло и как бы пробудило, я обернулся и устремил свой взор на запад.

Пиренеи, которые являются как бы границей между Францией и Испанией, отсюда не видны, хотя единственное препятствие тому — несовершенство человеческого глаза; зато горы лионской провинции с правой стороны, а с левой — Марсельский залив и тот, другой, у самого Эг Морт, до которого отсюда несколько дней пути, видны прекрасно, а сама Рона как на ладони. Когда я так восторгался всем виденным и, вдыхая запахи земли, снова душою, как до этого телом, устремлялся к небу, мне пришла в голову мысль заглянуть в «Исповедь» блаженного Августина. Обладателем этой книги я стал благодаря твоей любви и в память об авторе, а также о том, кто мне ее подарил, берегу ее и всегда ношу с собой: крохотная книжка, а какое она приносит безграничное наслаждение.

Открываю книгу наугад, имея намерение прочитать первые попавшиеся строки, это оказывается десятая глава. Рядом стоит брат и

[1] Овидий, «Любовные элегии», III, 11, 35 *(прим. автора, перевод С. Шервинского).*

прислушивается. Бог свидетель и тот, кто был рядом со мной, что в том месте, на которое упал мой взор, было написано: «И ходят люди, чтобы восторгаться вершинами гор, вздыбленными волнами моря, широкими течениями рек, безграничным простором океана и сиянием звезд, а о душе своей забывают». Поверишь ли мне, я остолбенел, а брата, который хотел, чтобы я продолжал чтение, попросил не мешать и закрыл книгу. Меня охватило негодование, что еще и теперь я восторгаюсь всем земным, тогда как уже давно, даже от языческих философов, мог бы перенять очевидную истину, что, кроме души, нет ничего достойного удивления и что в сравнении с ее величием ничто не является великим.

Вдоволь насытившись видом горных вершин, обратил я внутренний свой взор в глубь самого себя и с того мгновения, пока не сошли мы вниз, уже ничто не приковывало моего внимания: эти слова заставили меня глубоко задуматься. Я не мог поверить, чтоб это был всего лишь случай... В смятении чувств я даже не заметил той каменистой тропинки, по которой мы посреди ночи добрались до деревенской корчмы, откуда я ушел еще до рассвета, и круглая луна была моим милым товарищем. Пока слуги занимались ужином, я забрался в тихий уголок, чтобы написать тебе обо всем без промедления: в случае проволочки или перемены места могли бы перемениться и мои чувства, да и само намерение писать могло остынуть. Вот видишь, любимый отче, как не таясь хотел бы я открыть перед твоим взором не только всю свою жизнь, но и отдельные мысли — прошу тебя, молись же за меня, чтоб столь долго мятущиеся и столь непостоянные мои устремления утвердились наконец и вместо бесплодных колебаний обратились к одному добру, к одной истине и к твердой уверенности. Будь здоров».

Письмо датировано: 27 апреля, Малосен.

Нет, наш слух не обманывает нас — мы слышим здесь голос нового человека. Никто в средневековье не взбирался на вершины гор, чтобы насладиться красотой природы, да и в более поздние времена, вплоть до Руссо, немного нашлось таких любителей; ни у кого из писателей тех времен, кроме Данте, мы не увидим такой глубокой тоски по родной земле; у Петрарки же это первый звук той струны, которая со временем зазвенит строфами «Italia mia». В этих строках, таких новых, таких свежих, дышащих живительным горным воздухом, альпинист найдет хорошо знакомые ему ощущения, патриот — братские чувства, психолог — яркий документ человеческой впечатлительности, и нас нисколько не удивляет, что в одном из этих великолепных высказываний Петрарка как бы даже перекликается с Виктором Гюго, который столько лет спустя писал: «Я знаю зрелище более прекрасное, чем море,— звездное небо. Знаю зрелище более великолепное, нежели звездное небо,— глубину человеческой души».

Именно в этом произведении Петрарки, хотя, быть может, и не впервые, но зато так ярко, словно только теперь он сам это по-настоящему осознал, проявило себя то «внутреннее зрение», которое помогало ему изучать жизнь и оценивать себя, самые потаенные свои мысли и стремления. Не случайно в его кармане оказалась «Исповедь» блаженного Августина: никогда он не расставался с этой книжкой и учился по ней тому терпеливому и искреннему анализу собственной души, которому посвятил, по меньшей мере, половину своих писательских трудов. Некоторые фразы звучат как предзнаменование размышлений и мыслей, вошедших позднее в «Secretum».

Письмо к Дионисио охватывает события не одного дня, а как бы всей жизни и сродни аллегории Данте в первой терцине «Божествен-

ной комедии» с его selva selvaggia[1], по которой блуждает беспокойный дух поэта. Впрочем, рассказывая, как он блуждал по ущельям, в то время когда брат взобрался уже высоко, Петрарка сам как бы прибегает к аллегории, сравнивая свои блуждания с поисками счастливой жизни: его путь долог и полон сомнений, путь брата — прост и стремителен, ибо брата Джерардо он ведет в монастырь. Таков уж будет Петрарка всю свою жизнь, всегда преисполнен волнений, противоречий, укоров совести, сетований на свои слабости, которыми он вместе с тем дорожит.

Рим

Глядя с вершины Ветреной горы в сторону Италии, в этом голубом просторе искал он глазами души не Флоренцию, которая была неведомой для него отчизной, а Рим, куда всегда устремлялась его душа гуманиста. Кардинал Колонна, пожалуй, не столько содействовал, сколько препятствовал осуществлению этой мечты. Он хотел уберечь Петрарку от той реальной действительности, которая, как он хорошо знал, способна была развеять любые иллюзии. Но Петрарка оставался глух ко всем предостережениям и при первой же оказии отправился в путь. Он был столь нетерпелив, что, невзирая на суровое время года, в декабре 1336 года сел на корабль, направляющийся из Марселя в Чивитавеккиа.

Исхлестанный ветрами, вконец устав от бурь и непогоды, еле живой, добрался Петрарка до итальянской земли и нашел прибежище в недалекой от Рима Капранике. Там был замок графа Орсо ди Ангвиллара, который, хотя имя его и означает «медведь», «смиреннее овечки» — ursus agne mitior, а его жена Агнесса, сестра кардинала Колонна, была олицетворением приветливости. Под ее опекою, в прекрасном климате живописной местности к Петрарке быстро вернулись силы.

Замок стоял на высоком холме, откуда видна была вершина Соракта, точно такая же белая от снега, как и тогда, когда любовался ею Гораций (Vides ut alta stet nive candidum Soracte...[2]); виднелась Монте Чиминио, поросшая почти таким же густым лесом, как во времена Фабия, а у ее подножия — таинственное озеро, заполнявшее погасший кратер; в каких-нибудь двух тысячах шагов далее лежал Сутри с остатками римских стен и амфитеатра, а в его окрестностях — поля, где в древние времена был собран первый урожай хлеба, посеянного Сатурном.

Любитель рощ, источников, тихих долин и солнечных холмов, Петрарка целыми днями бродил по округе, удивляясь разнообразию птичьего царства и огромному количеству диких коз, которые мирно паслись здесь, словно домашние. Даже олени не убегали от него. А местные жители дивились Петрарке, ибо в этом так называемом земном раю никто не отваживался на подобные прогулки. Позднее и сам Петрарка наконец обратил на это внимание.

«Здесь пастухи,— писал он кардиналу Колонна,— ходят по лесам вооруженные, но боятся не столько волков, сколько разбойников. Пахарь идет за плугом в кольчуге и погоняет упрямого быка копьем. Птицелов прикрывает щитом свои сети. Рыбак привязывает удочку к мечу. Ты не поверишь: тот, кто хочет зачерпнуть воды из колодца,

[1] Дикий лес *(итал.)*.

[2] Смотри, глубоким снегом засыпанный Соракт белеет... *(Перевод А. Семенова-Тян-Шанского.)*

привязывает к веревке заржавленный шлем. Ничто здесь не обходится без оружия. Всю ночь слышны окрики стражи на стенах или призывы «К оружию!». Петрарка пробыл в Капранике шестнадцать дней, весьма возможно, что ему пришлось бы остаться тут и дольше, может быть, и вовсе отказаться от посещения Рима, если б сюда не прибыли Колонна, чтобы вместе вернуться в Рим в сопровождении сильного эскорта.

Было похоже, что Вечный город стоит скорее на краю той вечности, из которой нет возврата, нежели на повороте истории, сулящей ему новое будущее и, быть может, даже новое величие. Город словно бы угасал. Если бы собрать всех его жителей от мала до велика, они не заполнили бы даже трибун Колизея, который, впрочем, и не был для них доступен. Как все могучие сооружения античности, Колизей стал замком и крепостью одного из разбойничьих феодальных родов, другие гнездились в мавзолее Адриана, в театре Марцелла, даже арка Септимия Севера была превращена в башню одного из феодалов. А из разобранных кирпичей, мрамора и камней феодальными баронами были возведены защитные валы и высокие мрачные каменные стены с узкими бойницами. О них и доныне напоминают уцелевшие Торре дель Грилло и Торре ди Нероне, с высоты которой, как гласит легенда, Нерон смотрел на пожар Рима и пел песнь о разрушенной Трое.

В тени этих башен и крепостей расположился Рим — всюду виднелись поросшие бурьяном руины, среди которых с трудом можно было различить семь священных холмов. Город болот и трясин, образованных Тибром, с улицами, мало чем отличавшимися от тех жалких переулков, где ютились нищета и преступления. В этот унылый пейзаж даже церкви не вносили умиротворения и покоя. После отъезда папы большинство духовенства разбежалось, церкви были заброшены, некоторые из них заросли бурьяном.

За несколько лет до прибытия в Рим Петрарки, в великий пост 1334 года, осиротевший город пережил нашествие кающихся грешников под предводительством доминиканца фра Вентурино де Бергамо. Паломники шли с посохами в правой руке, с четками в левой, в белых туниках, поверх которых были накинуты голубые плащи с изображением белой голубки, несущей в клюве оливковую ветвь, в белых сандалиях, в капюшонах из голубой шерсти, помеченных красной буквою «Т», с крестами и штандартами; тысячные толпы громко распевали гимны и литании, раздавались возгласы: «Мир и милосердие!» Фра Вентурино произносил проповеди в Сан-Систо, в монастыре доминиканцев на виа Аппиа, в Санта-Мария сопра Минерва, в соборе святого Петра и в Латерано. Но напрасно пытался он поднять боевой дух римлян, его слушали равнодушно и столь же равнодушно взирали на эту странную процессию, когда она покидала город.

Точно так же глух был Рим и к голосу прошлого. Петрарка сразу убедился, что нигде не знают так мало о Риме, как в самом Риме. Впрочем, во всей Италии интерес к античности никогда полностью не угасал, он странным образом видоизменился. В Падуе показывали гробницу Антенора, в Милане с благоговением относились к статуе Геркулеса. В Пизе утверждали, что она основана Пелопсом, ссылаясь при этом на название — пелопонесская Пиза. Венецианцы говорили, будто бы Венеция построена из камней разрушенной Трои. Существовало мнение, что Ахиллес правил некогда в Абруццах, Диомед — в Апулии, Агамемнон — на Сицилии, Евандр — в Пьемонте, Геркулес — в Калабрии. Аполлона считали то астрологом, то дьяволом и даже богом сарацин. Античным писателям изменили профессии: Платон стал врачом, а Цицерон — рыцарем и трубадуром. Вергилий считался магом, и в Неаполе рассказывали, что он спас город от мух,

комаров, пиявок и змей, открыл гору Позилипо и заткнул кратер Везувия. На Капитолии стоял некогда чудесный дворец, в котором Вергилий будто бы создал знаменитое salvatio civium[1] — ряд заколдованных скульптур, которые олицетворяли провинции Римской империи, у каждой из них на шее висел колокольчик, и если какая-нибудь провинция поднимала бунт, колокольчик подавал об этом весть, своим звоном призывая к действию сенат и императорские войска.

«Такая была здесь когда-то жизнь, но она погибла, и ничто уже нас не спасет»,— говорили римляне Петрарке.

Все эти россказни Петрарка, разумеется, не принимал на веру. Он великолепно знал историю Рима, прекрасно ориентировался в хронологии, однако трудно сейчас представить себе, чем были для него тогда руины Рима, что он в них в самом деле увидел и о чем мог только догадываться. Видно, часто смотрел он на них сквозь дымку мечты, если даже отчетливая надпись на пирамиде Цестия не могла развеять его уверенности, что это могила Рема. Но больше всего он думал и вспоминал о том, чего уже не мог найти: «Где термы Диоклетиана и Каракаллы? Где цимбриум Мария, септизониум и бани Севера? Где форум Августа и храм Марса Мстителя? Где святыни Юпитера Громовержца на Капитолии и Аполлона на Палатине? Где портик Аполлона и базилика Гая и Луция, где портик Ливии и театр Марцелла? Где здесь построил Марий Филипп храм Геркулеса и Муз, а Луций Корнифиций — Дианы, где храм свободных искусств Азиния Поллиона, где театр Бальбса, амфитеатр Статилия Таурса? Где бесчисленные сооружения Агриппы, из которых сохранился только Пантеон? Где великолепные дворцы императоров? В книгах находишь все, а когда ищешь их в городе, то оказывается, что они исчезли или остался от них только жалкий след».

Нелегко было ходить по этому городу. Единственными улицами, которые заслуживали этого названия, были древние: Мерулана, виа Лата и кливус Скаури, они одни сохранили остатки прекрасных плит римской мостовой. Но и здесь путь преграждали руины, болота и огороды. Вдоль улиц, похожих на деревенские, стояли дома, в которых ни один кирпич не был сделан теперь, ни один камень не был привезен из каменоломни — все взято из руин. Тут и там вход в более богатые дома украшала какая-нибудь римская арка или галерея с колоннадой, каждая из них чем-то отличалась от соседней, а над ними виднелись готические окна в обрамлении из черного пеперина.

Где же найти тут rostra — знаменитую трибуну, с которой выступал Цицерон? Она была на Римском форуме, но где же сам Форум? Засыпанный щебнем и мусором, поросший сорняками, он стал почти неузнаваем. От арки Септимия Севера до арки Тита тянулись ряды домов и лачуг, напоминавших деревенские хижины, здесь же паслись коровы, валялись в грязи свиньи. Мавзолей Августа походил на холм, поросший виноградом. Из римских водопроводов один лишь Аква Вирго подавал признаки жизни, люди брали воду из колодцев или из Тибра. Этот город был скорее похож на города существовавшей некогда еще патриархальной республики, а не на Рим расцвета империи с теми формами жизни, о которых теперешние римляне давно забыли.

Горькое это зрелище возмущало и вместе с тем грогало. С прибытием Петрарки в Рим начинается новая эпоха в переоценке упадка великого города. Петрарка был первым человеком нового времени, чьи глаза наполнились слезами при виде разрушенных колонн и от одного только воспоминания о забытых именах, чье сердце было взволновано немым свидетельством камней.

[1] Спасение граждан *(лат.)*.

Остатки древних стен, благоговенье
Внушающие либо страх, когда
Былого вспоминаются картины... [1]

пел Петрарка в своей итальянской канцоне. Он ходил по Риму, охваченный тоской при виде руин и растроганный этими свидетелями прошлого. «Это здесь,— повторял он на каждом шагу, мысленно перебирая в уме имена всех великих усопших из Ливия,— а это, может быть, там»,— говорил он, разыскивая следы Цицерона, Вергилия, Горация. Словно слепец, водил он ладонью по лежащей в пыли мраморной плите, которая шептала выщербленной надписью: «Caesar Imperator», и рука его дрожала.

Это был первый поэт, который размышлял о прошлом великих развалин, и первый ученый, который изучал топографию Рима, делая первые шаги в этой науке. Вскоре он вспомнит о судьбе старых стен в стихотворном письме к Паоло Аннибальди и будет призывать этого феодала встать на защиту стен, выдержавших нашествие варваров, а теперь покинутых и забытых. «Честь тебе и хвала, если ты сохранишь эти стены, ибо они говорят о том, сколь славен был Рим, пока стоял нерушимо». Голос Петрарки перекликается тут скорее с нашим временем. Его тревоги не разделяли даже такие энтузиасты античности, как гуманисты. Так, Эразм Роттердамский был трижды в Риме и подолгу жил в Италии, но тщетно было бы искать в его произведениях упоминаний о памятниках древности. Петрарка горячо интересовался ими, разыскивал статуи, собирал римские медали, которые приносили ему крестьяне из окрестных селений.

Ошибался Джованни Колонна: Петрарка не испытал разочарования. Его поразило величие Рима. Измерив собственными шагами длину Аврелиевых стен с их многочисленными башнями, почти не пострадавшими от времени и по-прежнему могучими, бродя вокруг них с утра до вечера, он повторял слова, которыми на следующий день передал свои впечатления в коротком, преисполненном волнения письме к кардиналу: «Поистине Рим был больше, нежели я предполагал, и столь же многочисленны его развалины. Я уже не удивляюсь, что этот город завоевал мир, скорее удивляюсь, что завоевал его так поздно. Будь в здравии». Рука его дрожала, когда он ставил дату: «На Капитолии, в Мартовские иды».

Авиньонские друзья надеялись, что он вернется с каким-нибудь новым замечательным произведением. «Ты думал,— говорил он одному из них,— что я напишу что-нибудь великое, как только окажусь в Риме. Возможно, я собрал здесь огромный материал на будущее. Но пока у меня нет смелости, так меня подавляет величие увиденного и бремя восхищения».

Как всегда, когда Петрарка был тронут до глубины души и всего себя отдавал этому чувству, волнение открывало ему глаза на собственные недостатки и вызывало стремление одержать победу над самим собой. В эти дни им был создан сонет к римлянам:

Священный вид земли твоей родной
Язвит мне совесть скорбию всечасной,
Взывая: «Стой! Что делаешь, несчастный?» —
И в небо указует путь прямой.[2]

Ни о чем другом он не думал, как только о самоусовершенствовании, ничего больше уже не желал, только чистоты чувств, и в конце концов сам не знал, куда стремится: к белой ли келье монаха или к вершине Парнаса.

[1] Перевод Е. Солоновича.
[2] Перевод А. Эфроса.

Из Рима поэт снова возвращался морем, на этот раз летом, но какой-то кружной дорогой, рассказывали даже, будто он при этом побывал в Испании и Англии. Петрарка не спешил возвратиться в Авиньон.

Ареццо. Дом, в котором родился Петрарка.

Уединенная долина

Кто знает, может, именно во время этого долгого морского пути сочинил Петрарка обращенное к Бенедикту XII стихотворное послание на латинском языке, в котором представил Рим в образе скорбной вдовы, молящей о помощи. «Почему ты меня покинул? — взывала столица цезарей и пап.— Или ты не узнаешь моего голоса? Обессилела я, едва держусь на ногах, и старость стерла гордость с моего чела». В этих строках чувствуются сдержанный гнев и жалоба, звучащие как угроза. С этих пор Петрарка неустанно то живым словом, то стихами или прозой обращался к авиньонской курии, призывая пап вернуться в Рим.

К Авиньону Петрарка испытывал теперь отвращение. Увидев собственными глазами разорение Рима, он никак не мог простить провансальскому городишке, что тот лишил Рим его блеска. Он не стеснялся крепких слов, чтобы выразить свое презрение «апокалипсическому Вавилону». И так привык называть его Вавилоном, что нередко, датируя письма, написанные в Авиньоне, вместо «Авиньон» пишет «Вавилон». «Это источник страданий,— заключал Петрарка,— корчма гнева, школа ошибок, храм ереси, кузница лжи, мерзкая тюрьма, ад на земле». Он проклинал Авиньон по-латыни и по-итальянски и прозой, и гекзаметром, и в сонетах.

«Кто сможет описать мое отвращение к жизни, это чувство гадливости, которое преследует меня изо дня в день, этот позорный и темный круговорот дел, этот тесный и неряшливый угол, в котором обитаю я и в котором собралось все отребье мира? Кто сумеет описать эти вызывающие брезгливость картины: вонючие улицы, по которым бегают бешеные собаки и бродят стада свиней, телеги, загромождающие проходы и сотрясающие своим грохотом дома? Кто запечатлеет столь различные, но всегда отталкивающие людские обличья — страшные и измученные лица бедняков, отмеченные печатью высокомерия и порока лица богачей?»

А быть может, это лишь зазвучавший впервые голос впечатли-

тельного и нервного писателя, которому все в городе мешает, который за уличный шум расплачивается потерянным рабочим днем, а ночью становится жертвой кошмаров, рисующих несправедливости человеческих судеб? «То, что некогда Гораций,— роились в голове у него горькие мысли, уже звеневшие строками стихотворного послания к приятелю,— то, что некогда Гораций сказал о столице мира, видя в ней многоголовую гидру, можно ныне сказать и об этом городишке. Из дымных домов еще вчера выходили здесь пахари и пастухи, а ныне отправляется за море купец, не знающий покоя, и воришка ищет здесь прибежище. Болото — и, как во всяком болоте, тут зарождаются преступления Суллы и безумства Нерона... Муза, поставь паруса и дай нам бежать из этой пучины страстей! Позволь ступить на тропу мира и воспеть светлые картины жизни и народ в его повседневном труде. Сбрасываю путы и непротоптанной тропой смело отправляюсь к высокому божьему чертогу...»

Петрарка бежал из Авиньона. Он нашел себе прибежище неподалеку, в селении Воклюз, в котором бывал еще ребенком. Vallis clausa, или Уединенная Долина,— так называлось по-латыни это место, ставшее благодаря Петрарке знаменитым. На много лет он нашел здесь пристанище, о котором мечтал,— пристанище тишины, покоя и труда. «Годы, которые я прожил в Воклюзе,— вспоминал он позднее,— проходили в таком покое, так чудесно, что сейчас, когда я знаю, что такое человеческая жизнь, я понял, что только тогда жил, остальные же мои дни были мучением».

У него был там защищенный каменной стеной дом с садом, огражденный от мира с одной стороны рекой, с другой — скалами. Река называлась Сорг — Sorgues, быстрая, холодная и, как изумруд, зеленая. О хозяйстве заботилось несколько слуг под присмотром эконома Раймона Моне, который жил здесь с семьей. Это был простой, добропорядочный человек, отличавшийся природным тактом. В нем Петрарка обрел верного слугу и друга.

Свободный от забот и обязанностей, поэт не мог нарадоваться своему счастью. «Ты бы увидел,— писал он в одном из писем,— как с утра до вечера брожу я в одиночестве, вдали от людей, по лугам, горам, по берегам ручьев, по лесам и полям. Любуюсь лесными сумерками, радуюсь прохладным пещерам, зеленым лугам и проклинаю придворную суету, шум городов, пороги надменных господ. Мне смешны ухищрения простонародья, сам же я далек и от веселья, и от грусти. Дни и ночи полностью принадлежат мне, я горжусь обществом Муз, наслаждаюсь пением птиц, журчанием потоков. Слуг у меня немного, зато довольно внушительная свита книг. Я могу сидеть дома, могу выйти, когда мне нравится, остановиться в пути, прилечь на берегу говорливого ручья или на мягкой мураве; мне приятно еще и то, что никто меня не навещает, а если и навещает, то очень редко».

Петрарка был неисчерпаем в описании своего пленительного одиночества. Он с радостью сообщал о нем своим друзьям. «Встаю еще затемно, как только рассветет, выхожу из дому, но на природе работаю так же, как и в комнате: думаю, читаю, пишу. Сон, насколько это возможно, отгоняю от своих глаз, тело берегу от лености, дух — от наслаждений, всегда деятельный, не позволяю себе оцепенеть. Целыми днями брожу по выжженным солнцем пригоркам и росистым долинам, заглядываю в пещеры, гуляю по обоим берегам Сорга, не встречая наглецов, обходясь без товарищей и без проводника, и мои заботы с каждым днем становятся все менее отчетливыми и тягостными... Со мной здесь Рим и Афины, в своих мыслях я строю здесь даже отчизну, и окружают меня друзья, которые никогда не подведут. Они жили много веков тому назад, и я один их знаю, ибо восхищаюсь

их деянием и духом, их нравом и жизнью, их языком и талантом. Из всех мест, изо всех времен собираю я их в эту долину и прогуливаюсь в их обществе, свободный и беспечный».

Многие, кто знал веселую и бурную жизнь Петрарки в Авиньоне, удивлялись, откуда вдруг такая любовь к одиночеству. Поочередно всем друзьям расхваливал он свою аркадскую идиллию, а наиболее близким предлагал самим испытать ее. Больному епископу Витербо, Никколо, он направил восторженное послание: «Я не знаю здесь ни угроз тирана, ни бесстыдства соотечественников, здесь не ужалит меня ядовитый язык клеветника, нет здесь ни гнева, ни политических страстей, ни жалоб, ни обмана; здесь не потревожит меня никакой шум, ни суета, ни звук труб, ни бряцание оружия; здесь не встретишься ни с жадностью, ни с завистью, ни с честолюбием; здесь нет высоких порогов, к которым человек приближается с трепетом; здесь радость, простота, свобода и то положение, к которому мы больше всего стремимся,— между богатством и бедностью; здесь одни лишь рассудительные, скромные и мирные сельские жители, народ, никому не причинивший вреда, беззащитный, как этот край, любящий мир. Что же еще? Свежий воздух, нежный ветерок, солнечная земля, чистые родники, богатая рыбой речка, тенистая роща, прохладные гроты, зеленые укромные уголки и улыбающиеся луга. Здесь рев волов, и пение птиц, и шепот нимф — поистине уединенная и пригожая долина. Все, что ни даст здесь земля или вода, таково, словно бы родилось в раю, а чего недостает скудной земле, найдешь в изобилии по соседству. Наконец, ты обретешь здесь желанный покой и — что дороже всего для ученого — множество книг, которые позволяют общаться со святыми, с философами, с поэтами, с ораторами, с историками».

Послушаем дальше это признание, первый в современной литературе голос из мастерской писателя. «Собственному телу,— пишет он в этом письме,— я объявил войну. Глотка, желудок, язык, уши, глаза уж очень часто ведут себя так, словно они не часть моего тела, а безбожные его враги. Не одну беду накликали они на меня, особенно глаза, которые всегда вели меня к погибели. Но теперь я так их ограничил, что кроме неба, гор и вод, почти ничего не вижу — ни золота, ни драгоценностей, ни пурпура, ни слоновой кости, ни рысаков, за исключением тех двух лошадок, на которых мой мальчишка возит меня по округе. Не вижу здесь ни одного женского лица, кроме моей экономки, но если б ты ее увидел, наверно подумал бы, что смотришь на ливийскую или эфиопскую пустыню. У нее иссушенное, жаром солнца опаленное обличье без единого стебелька зелени, без капли сока. Если б такое лицо было у Елены, Троя стояла бы до сих пор, если бы были похожи на нее Лукреция и Виргиния, то Тарквиний не лишился бы трона и Аппий не умер в тюрьме.

Но чтобы описанием лица не преуменьшить ее нравственных достоинств, скажу, что насколько темное у нее лицо, настолько светла ее душа. Это образец верности, покорности и трудолюбия. В неимоверную жару, которую даже цикады едва переносят, она целыми днями работает в поле, а ее огрубевшая кожа презирает любую непогоду. Когда старушка возвращается домой, она свежа и добра, словно юное существо, только что вскочившее с постели. Никогда не ворчит, никогда не жалуется, никогда не выказывает недовольства, неслыханно заботлива, вся поглощена хлопотами о муже, о детях, о моих домочадцах и гостях и столь же неслыханно равнодушна к себе. Эта женщина из камня, она спит на земле, застланной хворостом, ест черный, как земля, хлеб, пьет кислое, как уксус, слегка разведенное водой вино. Она уже давно настолько отвыкла от всего обыденного, что все твердое ей кажется мягким.

Но довольно об экономке, которой столько места можно уделить только в таком письме из деревни. Порицая таким образом свои глаза, что скажу об ушах? Где то пение, звуки флейты, где та сладость лютни, которыми я всегда так восхищался? Унесены ветром! Я не слышу здесь ничего, кроме изредка раздающегося рева волов и мычания коров, кроме щебета птиц и неустанного журчания вод. А что с моим языком, который очень часто у меня самого, а нередко и у других вызывал подъем духа? Ныне безмолвствует с утра до вечера, ему не с кем разговаривать, разве с самим собой. Глотку и желудок я так приучил, что часто мне достаточно ломтя хлеба моего работника, я съедаю его с удовольствием, а тот белоснежный хлеб, который мне откуда-то доставляют, слуги съедают сами. Так привычка стала для меня удовольствием. Только мой управляющий, который обычно никогда со мной не спорит, не может с этим согласиться и заявляет, что такую суровую еду нельзя переносить слишком долго. Я, напротив, считаю, что скромную еду можно вынести дольше, нежели изысканную. Лакомлюсь виноградом, инжиром, орехами, миндалем, рыбой, которой наша речка так богата; внимательно приглядываюсь, как ее ловят, и сам люблю испробовать удочку или сеть.

А что сказать о своей одежде и обуви? Это уже не тот наряд, в котором я так любил покрасоваться среди ровесников. Сегодня ты бы меня принял за крестьянина или пастуха... Что сказать о жилище? Ты подумал бы, что это дом Катона или Фабриция, а живу я в доме с одним псом и двумя слугами. Управляющий занимает соседнее строение, он всегда у меня под рукой, но его услужливость никогда не переходит в навязчивость.

Я нашел здесь для себя два садика, которые больше всего соответствуют моему характеру и образу жизни. Не думаю, чтоб удалось найти на свете нечто подобное, и если уж признаться в этой скорее женской слабости, то скажу — мне очень жаль, что все это находится за пределами Италии. Я называю это своим заальпийским Геликоном. Один из этих садов, дикий, тенистый, великолепное место для работы, я посвятил нашему Аполлону; он зеленеет над истоками Сорга, и дальше нет ничего, кроме скал и пустошей, доступных только птицам и диким животным. Другой садик — неподалеку от дома, старательно возделан и почитаем Бахусом. Расположен он чудесно, вокруг быстрого и прекрасного ручья, над которым, отделенный небольшим мостиком, высится скалистый навес; здесь и в самую сильную жару не чувствуется духоты.

Это место само располагает к работе, иногда я представляю себе, что оно несколько похоже на ту «комнатку», в которой Цицерон имел обыкновение декламировать, но там не было рядом быстро несущегося Сорга. Здесь я провожу полдень, утро — на холмах, вечер — на лугах или у источников в том диком саду, где, покоряя искусством природу, нахожу прибежище под высокой скалой, посреди воды, приют тесный, однако столь вдохновляющий, что даже самый ленивый разум углубится в высокие раздумья... и ничего так не боюсь, как возвращения в город».

Что за наслаждение прививать молодые деревца с мыслью о том, что когда-то с них можно будет собирать более ценные плоды, или обрезать волчковые побеги, или, взяв лопату, окапывать виноградные лозы, или подвязывать их, или оживить луг струйкой воды, отведенной из русла Сорга! За четыреста лет до «Кандида» он познал мудрость «возделывания своего сада» и любил называть себя hortulanus — садовником. Идиллия, останавливающая бег времени, позволила ему познать вневременную безмятежность души.

У древних авторов он искал советов и рекомендаций, когда сеять и сажать, записывал положение звезд и луны и с «Георгиками» под мышкой присматривал за своим хозяйством. Но постепенно его увлекали гекзаметры Вергилия, и, одурманенный их ритмом, он забывал обо всем. Не спеша создавал он собственную мелодию, которая слагалась в стихотворное письмо или эклогу. Когда не было в кармане клочка бумаги, он записывал мысль или отдельное выражение угольком на рукаве кафтана.

Мы видим его, как он возвращается с поля и с тем же наслаждением, с каким вдыхал ароматы широких просторов, дышит воздухом своей комнатки. Нагретая утренним солнцем, она теперь остывает, но еще хранит разбуженные теплом запахи стен и предметов. Вещей здесь немного: кровать под балдахином, дубовый шкаф, высокий и длинный сундук, который может служить и лавкой, кресло с подушкой из козлиной шкуры и пюпитр. На краю пюпитра в двух отверстиях торчат два коротко срезанных рога вола — один с черными, другой с красными чернилами. Есть там и ножик с загнутым концом для обрезки перьев и выскабливания ошибок с пергаментного листа, пучок гусиных перьев и свинцовый грифель для проведения горизонтальных линий, чтобы ряды букв ложились ровно.

«Бумагу, перо, чернила и бодрствование по ночам я ставлю выше сна и отдыха. Более того, если я не пишу, всегда мучаюсь и слабею — бездействие меня утомляет, а в труде я отдыхаю. Когда, зарывшись в листы пергамента, я заставляю трудиться глаза и пальцы, то не чувствую ни холода, ни тепла, мне кажется, будто лежу в мягчайшем пуху, и только когда в силу необходимости вынужден оторваться, начинаю чувствовать усталость». Петрарка рассказывает, как один из друзей, считая такой образ жизни вредным для здоровья, выманил у него ключи от шкафа, спрятал туда все книги, все принадлежности для письма, назначил ему десять дней каникул и велел это время не читать и не писать. «И ушел. Он обрек меня на отдых, а я чувствовал себя калекою. Прошел день, который показался мне длиннее, чем год. На другой день у меня с утра до вечера болела голова. Наступил третий день, меня била дрожь как в лихорадке. Приятель узнал об этом, вернулся и отдал мне ключи. Я сразу выздоровел...» Этим другом его был Филипп де Кабассоль, епископ Кавайона, владевший замком неподалеку, на скалистом обрыве в нескольких километрах от Воклюза. Истинный прелат эпохи Ренессанса, он отличался «великолепным знанием литературы и утонченностью манер», как охарактеризовал его Иоанн XXII в булле, назначавшей его на должность.

Мы видим Петрарку постоянно склонившимся над листом пергамента или бумаги. Вот он мелким своим почерком, используя условные сокращения, делает первый набросок. Потом будет шлифовать его, перерабатывать, пока не придет черед с тщательностью каллиграфа переписать все набело. Он и был каллиграфом, как почти все тогдашние писатели, неохотно поручавшие переписку своих произведений чужим, по большей части небрежным рукам и тупым головам. «Наша праздная эпоха,— пишет он с возмущением,— заботится о кухне, а не о литературе, экзаменов требуют от повара, а не от переписчика. Каждый, кто способен скрести пергамент и держать перо, считает себя переписчиком, хотя у него нет почти никаких знаний, никакой культуры, никакого знакомства с этой профессией. Я не требую орфографии, она исчезла уже давно, но пусть, ради бога, хотя бы верно передают то, что получают для переписывания, чтоб хоть содержание произведения сберечь! Между тем переписчики так все путают, что сам автор не узнал бы своего творения. Ливий, Цицерон и особенно Плиний, если б вернулись, не догадались бы, что это их произве-

дения переписаны этими варварами». Петрарка сам часто копировал, и не только собственные книги, но и чужие. С увеличением доходов он мог позволить себе содержать секретарей и переписчиков, которых сам обучил и за работой которых ревностно следил. О них он несколько раз упоминает на страницах своих бессмертных творений. Но в молодости он сам, большей частью собственным трудом, приумножил свою библиотеку. Самые любимые книги, словно любовниц, он украшал миниатюрами, драгоценными оправами.

Книга стоила дорого: за требник надо было заплатить столько же, сколько за полтора-два гектара земли. Нередко, чтобы удовлетворять свои библиофильские увлечения, Петрарка так же, как и все библиофилы — «рыцари белого ворона»,— прибегал к хитрости: где что-то выманит, где одолжит на вечную неотдачу, а были также и книги, чье появление в его библиотеке объяснялось секретом обширных карманов и рукавов широкого, со складками, одеяния Петрарки. Его визиты мог оплакивать не один монастырь. Редко в каком письме к другу не найдем мы упоминания о книжках или просьбы поискать для него ту или иную книгу. Ни из одного путешествия он не возвращался с пустыми руками. «Если я тебе дорог,— пишет он одному из друзей,— сделай так: найди образованных и достойных доверия людей, пусть перетрясут всю Тоскану, перероют шкафы ученых, как духовных, так и светских». Такие же письма он посылал в Англию, Францию, Испанию. «Хочешь знать мою болезнь? — признается он в одном из них.— Так вот, болен я жадностью к книгам. У меня их гораздо больше, чем мне это необходимо, но с книгами то же, что и с другими вещами: каждое приобретение лишь усиливает мою ненасытность. Только в книгах есть своя особенность: золото, серебро, драгоценности, пурпур, мраморные дворцы, возделанные поля, картины, конь со сбруей и тому подобные вещи дарят лишь поверхностное наслаждение, книги же пронизывают нас до глубины души, они беседуют с нами, дают советы и соединяются с нами сердечной дружбой, ни одна из них не приходит в одиночку, каждая влечет за собой имена других, и одна заставляет желать другую».

Но больше всего его волнуют названия и цитаты из книг, которые как будто навеки утеряны. Петрарка верил, что они все еще существуют и лежат где-то, укрытые от человеческого взора. Во многих случаях действительно так оно и оказывалось — их обнаружили гуманисты в следующем столетии, что касается остальных, то нам остается лишь разделить тревогу Петрарки. В его собрании были рукописи разных веков и различной ценности. Одни насчитывали несколько сот лет, другие были написаны не так уж давно. Новые не всегда оказывались лучшими. Никто не может себе представить, как непохожи были часы, проведенные Петраркой над книгами, на те, которые мы проводим за удобным и не вызывающим усилий чтением ясных, открытых печатных страниц наших книг. Это был скорее труд филолога, подготавливающего научное издание древнего автора на основе сохранившихся рукописей.

Именно так читал Петрарка. Рукописи пестрели ошибками, унаследованными от переписки более старых текстов либо сделанными небрежной рукой последнего переписчика. К каждой рукописи нужно было сперва привыкнуть, познакомиться с характером почерка, своеобразием сокращений, капризами украшений; одни были приятны, другие — отвратительны, от одной веяло тишиной монастырской кельи, от другой — запахами таверны, в которой переписчик пропивал свой заработок. Иногда над одной и той же рукописью работало несколько рук, и со страниц, ухоженных, словно цветники в монастырском саду, можно было вдруг попасть в заросли трав и бурьянов. Все, что пере-

черкивает человеческие намерения — смерть, болезнь, превратности судьбы,— выбивало перо из одной руки, чтобы вложить его в другую.

Больше всего забот доставляли сами тексты, которые почти никогда не оказывались без ошибок. Нужно было догадываться, как на самом деле звучала косноязычная в той или иной копии фраза Цицерона. Петрарка, если мог, всегда сравнивал несколько копий, выбирал тот текст, который представлялся ему наиболее достоверным, руководствуясь собственными предположениями. Каждая страница книги из его библиотеки свидетельствует об этом неустанном труде: поля усеяны пометками, причем так, что можно проследить, как во время второго или третьего чтения он добавлял к предыдущему замечанию еще несколько слов; можно следить за всеми поворотами его мысли и убедиться в том, как с каждым годом растут его познания и проницательность.

Мы как будто слышим скрип отодвигаемого кресла, это Петрарка отрывается от книги, идет к шкафу или сундуку — взять другую, чтобы в новом примечании сослаться на более надежный авторитет, сопоставить одного писателя с другим, запечатлеть собственное наблюдение или свидетельство очевидца. Отсюда, например, на полях «Георгик», в том месте, где комментатор Вергилия говорит о «лесных турах», замечание Петрарки: «Я узнал от посланцев тевтонского рыцарского ордена, что под таким названием известны животные в стране литвинов, с которыми этот орден ведет постоянную войну. А рога тех животных я сам видел: они удивительно большие и красивые». И еще раз своим любознательным взглядом он обращается к Литве, комментируя одну из строк «Энеиды»; жаль только, что, вместо того чтобы познакомиться с нею через наших послов, он воспользовался встречами с крестоносцами.

Вот таким образом он сам для себя подготавливал уточненные и прокомментированные издания, имея под рукой несколько десятков книг, создавал из них другую библиотеку, научную, которой до сих пор не существовало, создавал ее по памяти, на основе наблюдений, размышлений, гипотез, осторожность и точность которых предвосхищают методы современной филологии и истории. Каким скромным, по нашим представлениям, было то количество книг, которое Петрарка сумел собрать и прочитать за свою жизнь! Не более нескольких сотен. Но он не собирал книг, чтобы похваляться их количеством. «Жил некий Серен Саммоник,— писал он,— у которого, говорят, было семьдесят тысяч томов. Это не мудрец, а книготорговец! Недостаточно лишь иметь книги, нужно их знать; нужно их беречь не в сундуке, а в памяти, укладывать не в шкафу, а в своей голове; кто поступает иначе, тот менее достоин уважения, чем книготорговец, который продает их, или шкаф, в котором они помещены». Он не хотел ни хранить лишних книг, ни читать их. И мог бы прочитать книг в два раза больше, если б сознательно себя не ограничивал.

Прежде всего он исключил из своего обихода всю средневековую литературу — агиографию, теологию, схоластику. К этой последней он чувствовал особенно непреодолимое отвращение. Схоластика отбила у него интерес даже к Аристотелю, к которому он относился весьма сдержанно и был далек от общепринятого в то время преклонения перед его именем. Он даже осмеливался его критиковать, подмечая его ошибки, чего никто до той поры себе не позволял: «Я верю, что Аристотель был великим человеком и очень ученым, но все-таки человеком и поэтому вполне мог быть несведущим во многом, скажу и больше, если мне позволят те, кто школу ставит выше истины: он ошибался не только в малых вещах, но и в больших, его суждения нередко были ошибочными». И, казалось, чтобы подчеркнуть еще раз

приверженность идеалам гуманизма, очень деликатно, но решительно отдавал предпочтение Платону, который по духу был ему более близок.

В библиотеке Петрарки был только «Тимей» в латинском переводе, в списке XI века, и этот кодекс волнует нас сегодня множеством пометок, свидетельствующих о часах, проведенных над ним Петраркой у истоков изумрудного Сорга. Когда мы вот так знакомимся с той или иной мыслью Петрарки, очень часто завершаемой восклицанием, нам кажется, будто мы видим в туманном море корабль, плывущий в поисках нового материка, и слышим голос с марса: «На горизонте земля!»

Можно стать человеком высочайшей культуры и без тысяч книг, и без постоянного притока журналов и газет. Петрарке достаточно было нескольких дюжин авторов, с которыми он не расставался, и все они были его современниками, той высшей современностью, какая объединяет родственные стремления и думы. Своих живых современников, если не считать их писем, он не читал и не хранил дома их произведений. Когда он говорил nostri scriptores — наши писатели, он имел в виду Вергилия, Цицерона, Сенеку. И прежде чем составить собственную фразу, как бы оглядывался на них и ощущал их присутствие так явственно, словно бы они смотрели из-за плеча на буквы, которые он выводит на бумаге. Он беседовал с ними, даже писал им письма. И любил повторять, что с радостью отрекся бы от своего века, если б мог перенестись во времена Римской республики.

Что же приобретал Петрарка в повседневном общении с античными мыслителями? Прежде всего язык, ту латынь, которой решил вернуть прежнюю чистоту, гибкость и красочность. Он хранил в своей памяти все слова и выражения, любимые лучшими писателями древности, обороты речи, величественные, как складки тоги, фразы, отвечающие самым изощренным требованиям грамматики, где мысль подобна редкому камню, заключенному в драгоценную оправу ритма. С наслаждением направлял он их бег в русло своих дел и дней, своих представлений и стремлений и с радостью следил, как отражается в них облик его души. Случалось, что память подводила его и он вдруг дословно, словно свою собственную, повторял какую-нибудь античную строфу. Когда это обнаруживалось, он испытывал настоящие мучения. Трудно было бы с большей настойчивостью, чем Петрарка, бороться за собственный, индивидуальный стиль.

Многие его письма тех дней к друзьям написаны гекзаметром, которому он научился у Горация, но сразу же видно, что это писал не Гораций, а совсем другой человек. В одном из писем Петрарка рассказывает, как наблюдал однажды за поющим в зарослях соловьем и еще за какой-то птицей, названия которой он не знал, но которая также вызывала у него восторг своим изяществом, как вдруг другое, хорошо известное всем влюбленным крылатое создание выглянуло из чащи и прицелилось в него из лука. Таким образом, и в это его одиночество вторгалась прежняя любовь, и снова упрямое эхо повторяло имя Лауры.

С тех пор она следовала за ним как тень, не покидая его ни днем ни ночью. Мучимый снами, он срывался с постели, бежал в горы, но в предрассветной мгле она появлялась из родника, сама словно сотканная из тумана или облака, освещенного солнечным лучом, и улыбалась...

Вот какие силки мне ставит Амур — и надежды
Нет, если бог всемогущий меня своею рукою
Вырвать из пасти врага, из пучины спасти не захочет
И не дозволит мне жить безопасно хоть в этом безлюдье.[1]

[1] Перевод С. Ошерова.

Книги, чернильница и перо, одиночество полей и лесов, образ Лауры в душе и старая экономка в доме — вот все, о чем так красноречиво рассказывает Петрарка в письмах и стихах. Однако даже такой ученой идиллией не так-то просто обвести вокруг пальца историков. Они напали на след другой женщины. Не известная по имени, не увековеченная ни сонетом, ни латинским стихотворением, именно в то время она подарила Петрарке сына Джованни.

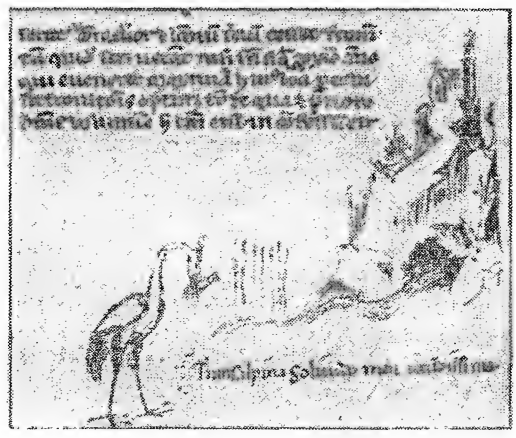


Рисунок Петрарки на рукописи Плиния.

Венок

Поселившись в 1338 году в Воклюзе, Петрарка тут же принялся за труд, который отнял у него много лет. Это было собрание жизнеописаний от Ромула до Цезаря — «De viris illustribus» («О славных мужах»). Он листал своих авторов, собирал в логическое целое разбросанные сведения, старался примирить противоречия, отбрасывал все несущественное и фальшивое, особенно то, что, по его мнению, не соответствовало характеру данной личности или не было достойным ее славы. Эта работа необычайно привлекала Петрарку, ибо давала богатую пищу его чувствам — восхищению мужеством и добродетелью, любви к Риму и преклонению перед его величием. «Мне кажется,— поверял он свои мысли теням Ливия,— что я живу в обществе Корнелиев, Сципионов, Фабиев, Катонов, а не бок о бок с теми жалкими воришками, среди которых я явился на свет под несчастливой звездой».

Произведению этому, пожалуй, в большей степени, чем работам кого бы то ни было из его современников, был присущ известный исторический критицизм. Впрочем, несколько ослабленный слишком субъективным отношением автора к каждой личности, в которую он вкладывал частицу самого себя, какую-то долю собственных сомнений и горечи, своего волнения и усталости. Так, взирая на деяния людей древних времен, ему не раз удавалось раскрыть психологические мотивы их действий, в то время как для всех остальных его современников герои древнего мира были почти лишены человеческих черт, как будто в груди людей, чей образ запечатлели геммы, медали, бронза и мрамор, никогда не билось живое сердце.

Параллельно с этой работой Петрарка собирал материалы и для другого своего произведения — «Rerum memorandarum libri» («О досто-

памятных событиях»), составленного как бы из самих эпизодов, вставок, анекдотов на такие темы, как otium, иначе говоря, благородное отдохновение духа, уединенный труд писателя, память, лукавство, предусмотрительность,— в нем он оперировал примерами из римской, греческой и новейшей истории. Тут была уже эрудиция гуманиста, однако произведение это имело определенный средневековый привкус в педантичности своих рубрик и разделов. Петрарка не завершил его, впрочем, так же, как и «Славных мужей», которых спустя много лет привез в багаже в Падую, посвятил их Франческо ди Каррара и оставил в наследство одному из друзей, чтоб он закончил то, на что ему не хватило ни времени, ни терпения.

Темперамент Петрарки был таков, что он не мог долго задерживаться на одном произведении, особенно если оно было задумано как широкое полотно. Поэтическое воображение всегда гнало его к новым, более увлекательным темам. Как раз мысль о такой теме и захватила его в один из апрельских дней на берегу Сорга. Грудь его распирало от восторга и гордости, словно бы небесный голос призвал его стать народным певцом.

По первоначальному замыслу «Африка» должна была стать эпосом, равным «Энеиде». Тема из римской истории охватывала последний период Пунических войн, который завершался битвой при Заме. Героем поэмы был Сципион, Петрарка представлял его образцом римских добродетелей, идеальным vir bonus [1]: прекрасным, высоконравственным, добрым сыном, безупречным гражданином, мужественным воином, просвещенным человеком. Ганнибал изображен столь же отважным и мужественным, чтобы тем блистательнее была победа Сципиона. Материал был взят из Ливия, Флора, а также Цицерона, из философских произведений которого Петрарка черпал максимы для моральных сентенций и то, что можно разве определить как интеллектуальный колорит эпохи. Форму он позаимствовал конечно же у Вергилия, использовав в какой-то мере и Лукана.

После традиционного обращения к Музам следует молитва к Христу, являя собой первое в литературе соединение Олимпа и Голгофы и предвещая таким образом продержавшуюся несколько столетий манеру гуманистов. Но античных богов Петрарка все же не пустил за порог поэмы, и никакой Юпитер уже не взвешивает на чаше весов человеческие судьбы. Этим немало возмущались позднейшие поэты, смело выставлявшие своих героев на посмешище и вынуждавшие античных богов вмешиваться в их ратные подвиги и альковные перипетии. Оставаясь верным почерпнутой в античных источниках исторической правде, Петрарка все же не остался равнодушным ко всему тому, что принесли последующие пятнадцать столетий. Перед карфагенскими послами встает Рим в таком блеске, какого в конце III века еще не знала столица республики, а намеки на современное запустение вечного города и будущую его славу преисполнены гордого патриотизма и пророческого волнения:

> ...Твоему суждено и в развалинах Риму
> Жить до скончания дней и стоять до последнего века,—
> Лишь со вселенною всей он рухнет!..[2]

Не мог он противостоять таким пророчествам ex post [3], ему не давали покоя исторические видения. В первых двух книгах Петрарка передает сон Сципиона, которому покойный отец показывает римских героев — и тех, что были, и тех, что будут, вплоть до Августа; о позд-

[1] Муж благородный *(лат.)*.
[2] Перевод С. Ошерова.
[3] После того *(лат.)*.

нейших не стоит говорить, ибо это уже упадок Рима. Певец Пунических войн Энний в девятой книге снова рассказывает сон: к нему явился Гомер, и они вместе прошлись по истории латинской поэзии. Но здесь пробел в наших рукописях, быть может, этой книги Петрарка так никогда и не завершил.

Дважды в этих пророчествах появляется и сам Петрарка. Познав загробный мир, Сципион Старший вдохновенно восклицает, как Анхиз в «Энеиде»:

Мнится мне: виден вдали через много столетий рожденный
Юноша, сын Этрусской земли; о твоих повествуя
Подвигах, новым для нас он в грядущем Эннием станет...
Но для меня он дороже певца старинного тем уж,
Что на твои времена издалёка взоры направит,
Хоть не подвигнут его на то ни сила, ни плата,
Ни вражда или страх, ни приверженность к нам иль надежда,
Но восхищенье одно делами великими предков
С жаждою истины вкупе...

А самому Эннию в девятой книге еще отчетливее отвечает дух Гомера:

Юношу я узнаю: у далеких потомков родится
Он в Италийской земле, в тот век, что наступит последним.
Песней вернет он Муз, пребывавших в долгом изгнанье,
И на исходе времен водворит сестер постаревших
На Геликон, хоть и будет гоним через многие смуты.
Имя ему нарекут Франциск; соберет воедино
Подвиги славные он, что своими ты видел глазами:
Брани в Испанском краю и тяжкие в Ливии битвы,—
Чтоб твоего Сципиона воспеть. Назовет он поэму
«Африка». Верой в себя и в свое дарование движим,
Жаждою славы гоним, взойдет он в позднем триумфе
На Капитолий... [1]

Удивительно быстро разнеслась весть о поэме. Никто ее не знал, никто не видел, никто не слышал ни одной строки гекзаметра, даже мало кто знал, каково ее содержание, а все говорили о ней с восторгом. Источником этих сведений был сам Петрарка, сообщавший о своей поэме в письмах к друзьям. Он был предтечей гуманистов и в этом умении своевременно позаботиться о своей славе, причем делал это намного деликатнее, нежели они. Вроде бы неохотно, легким намеком или словом, взятым в скобки упоминанием он умел привлечь внимание и разжечь воображение друзей, а своим покровителям исподволь внушить собственные желания. Ему еще не было сорока лет, когда одновременно два города — Париж и Рим — готовы были увенчать его лавровым венком.

Письма из обеих столиц пришли в один и тот же день, одно — утром, другое — под вечер, они принесли душевные волнения, к которым, однако, Петрарка в какой-то мере был уже подготовлен. Он тут же обратился с письмом к кардиналу Колонне, прося его совета. Нет сомнения, что для кардинала это была не новость — приглашения были присланы не без его участия. Петрарка говорит, что по совету Колонна, а также по велению собственного сердца он выбрал Рим. Но сперва отправился в Неаполь к королю Роберту, перед которым должен был как бы держать экзамен, чтобы получить аттестацию на лауреата.

Роберт, внук Карла Анжуйского, из рода Андегавенов, в юные годы Петрарки был графом Прованса, а следовательно, властелином земли, на которой поэт вырос. Может быть, именно поэтому и на неаполитанском троне он считал себя покровителем и опекуном Петрарки. Петрарка и в поэзии, и в своей латинской прозе не раз прославлял королевские добродетели, разум и человечность короля Ро-

[1] Перевод С. Ошерова.

берта. Непредубежденная история, однако, не заметила в нем таких достоинств. Она повествует о преступлениях, в результате которых король Роберт занял трон, о распутной его жизни, вызывавшей недовольство авиньонской курии. Но Петрарка умел смотреть сквозь пальцы на пороки сильных мира сего, особенно если они относились к нему благосклонно и доброжелательно. Впрочем, это были дела давно минувших дней; король Роберт, словно бы в подтверждение французской поговорки, что «дьявол под старость становится монахом», надел рясу францисканца, произносил проповеди, сочинял теологические и моралистские трактаты. Похоже на то, что Петрарку он и в самом деле искренне любил и охотно принимал его у себя при дворе.

Петрарка был в Неаполе впервые. Он встретил там друзей: Дионисио Роберти да Борго Сансеполькро, незадолго до того прибывшего из Авиньона, чтобы принять епископство в апулийском Монополе, но, главное, Барбато из Сульмона, который, будучи земляком Овидия, старался сравняться с автором «Метаморфоз» и находил таких, которые верили, что это ему удастся,— Петрарка в одном из стихотворных писем шлет ему слова привета. Он был канцлером короля Роберта и немало содействовал награждению Петрарки.

Неаполь очаровал поэта. Помимо чудесной природы его пленяли дорогие сердцу гуманиста места: увенчанный легендой и строками «Энеиды» знаменитый Мизен, озеро Лукрин, воспетые Овидием горячие источники в Байа. Римский поэт легко узнал бы эти места, как бы созданные для наслаждений, где и сейчас было столько красивых женщин в прозрачных одеждах. Но еще больше его привлекали места, которых касалась стопа Энея, искавшего вход в преисподнюю, и могила Вергилия. На самом деле это был обычный древнеримский колумбарий, чей-то семейный склеп. Но так как он находился под Позилиппо, где некогда был похоронен Вергилий, то место это было прославлено в легендах, которые и поныне широко используют неаполитанские гиды. Петрарка приходил сюда как пилигрим и в знак своего преклонения посадил лавр, переживший несколько столетий. Еще в XIX веке это дерево привлекало внимание путешественников как вполне реальный знак внимания поэта нового времени к мнимой могиле античного поэта.

Королевский экзамен продолжался несколько дней. Речь шла о Вергилии, и король был ошеломлен созвучием символов и аллегорий, которые Петрарка обнаруживал в каждой строке «Энеиды». Он считал ее грандиозной аллегорией человеческой жизни. Эней — образ добродетельного человека, стремящегося к совершенству, лес, по которому в первой книге Эней идет в обществе Ахата,— метафора человеческой жизни, полной мрака, крутых тропинок, с чащами, где подстерегает его дикий зверь. Иными словами, опасности и погибель угрожают человеку на каждом шагу. Так излагал Петрарка всю поэму, песнь за песней. А из «Буколик» — только четвертую эклогу. Потом читал Роберту собственные латинские стихотворения, толковал их; возникали диспуты, но вот, наконец, наступил торжественный момент — Петрарка скандировал гекзаметры «Африки».

Ни одно ухо не уловило кое-где встречавшихся диссонансов из-за ошибок в долготе слогов, которых Петрарка сам не замечал,— так всех очаровал этот ритм, уже в течение многих веков не звучавший в современных произведениях. Казалось, будто какой-то гость из эпохи Августа появился при неаполитанском дворе. Когда наконец Петрарка прочитал отрывок о плавании Магона, написанный под непосредственным впечатлением того, что он сам испытал во время путешествия по Тирренскому морю, сперва воцарилась такая тишина, словно в

«Энеиде» в начале рассказа Энея («Conticuere omnes...» [1]), потом раздались восторженные возгласы. «Следует признать,— говорили,— что наш Петрарка превзошел Вергилия и Цицерона». Вот для того, чтобы услышать такое суждение, Петрарка расстался в своем творчестве с итальянским языком, эти слова были достойной наградой за исполненные упорного труда дни и бессонные ночи.

По странному капризу часы жизни снова пробили для Петрарки в апреле великий час. Второго апреля 1341 года он отправился из Неаполя в Рим вместе с Джованни Баррили, который должен был представлять короля Роберта на церемонии увенчания поэта. По пути Баррили отлучился, условившись встретиться с Петраркой у ворот Рима. Но в окрестностях Ананьи на него напали разбойники, он еле спасся и вернулся в Неаполь. Петрарка напрасно ждал его при въезде в Рим, куда он прибыл шестого апреля, в памятный день знакомства с Лаурою.

Как и во время первого посещения Рима четыре года назад, Петрарка гостил в семье Колонна. Сенатором, то есть самым высоким сановником Рима, как бы президентом города, был старый Орсо де' Ангвиллара, который также принимал Петрарку в 1337 году. Срок его полномочий заканчивался как раз в день пасхи, и Орсо пожелал в последний день исполнения своих обязанностей возвести поэта на Капитолий.

В пурпурном плаще, подаренном королем Робертом, Петрарка стоял в большом, устланном коврами, зале сенаторского дворца на Капитолии. Украшенный множеством цветов, зал этот не мог вместить всех сановников, представителей цехов, рыцарей, дам, народа, который толпился на лестницах. Заиграли трубы. Вошли двенадцать юношей из патрицианских семей в пурпурных одеждах и один за другим декламировали они стихи Петрарки во славу Рима. За ними последовали шесть граждан в зеленом, с венками на голове, и ни один из этих венков не был похож на другой, за ними шествовал сенатор Орсо с лавровым венком. Когда он сел, герольд выкликнул имя Петрарки.

Среди наступившей тишины поэт начал свою речь стихами из «Георгик» Вергилия:

Sed me Parnassi deserta per ardua dulcis
Raptat amor...[2]

Голос Петрарки звучал скромно и сдержанно, могло показаться, что он не готовился к выступлению, а просто хотел бы выразить то, что подсказывают ему благородные камни Рима и взволнованные лица слушателей. Закончил он свою речь возгласом: «Да здравствует римский народ и сенатор! Да здравствует свобода!» И стал на колени перед сенатором. Тот, сняв с головы венок, возложил его на голову Петрарки со словами: «Прими этот венок, награду за добродетель» — и провозгласил его мастером поэзии и гражданином Рима.

В ответ Петрарка поблагодарил его сонетом в честь древних римлян. Когда умолкли аплодисменты и восторженные возгласы, старый Стефан Колонна, глава рода, отец Джакопо Колонна, епископа Ломбезского, друга Петрарки, произнес хвалебную речь в честь увенчанного. Народ восклицал: «Да здравствует Капитолий! Да здравствует поэт!» После этого процессия двинулась со склонов Капитолия через весь город к собору святого Петра, где Петрарка положил свой венок у подножия алтаря, словно бы в знак того, что переменился порядок

[1] Смолкли все... *(лат.)*. «Энеида», II, I.

[2] Но увлекает меня к высотам пустынным Парнаса Некая нежная страсть... *(лат.)* «Георгики», III, 291 *(перевод С. Шервинского)*.

триумфальных шествий, направлявшихся некогда с Ватиканского холма к Капитолию. Вечерний город озарили огни факелов, когда началось пиршество во дворце семейства Колонна.

Это был великий день для Рима. Покинутый папами, убогий и заброшенный город, прозвище которого «вечный» скорее унижало, нежели возвеличивало, в этот апрельский день был наполнен уже давно забытой весенней радостью. Сердца жителей бились восторженно и с надеждой: наконец-то старые улицы Рима увидели триумфальный кортеж, но — о чудо! — он сопровождал не грабителя и завоевателя чужих земель, в нем не шли толпы пленников в оковах, не везли окровавленного оружия, снятого с павших воинов, никто не нес захваченных знамен, списков выигранных сражений, сожженных городов и порабощенных народов — триумфатором был рыцарь слова, завоеватель заоблачных высот поэзии. Римский народ, приветствуя его восторженными возгласами, выказывал не восхищение его произведениями, их он не знал и не понимал, а радостное удивление при виде баронов, которые всегда враждовали и ссорились между собой, а теперь шествовали в полном согласии, словно бы покоренные в этот день какой-то неведомой силой, вынудившей их идти друг подле друга в свите поэта.

В дипломе, врученном сенатором Петрарке, приводились примеры из истории Рима, когда лавровым венком в равной мере удостаивали и победоносных вождей, и поэтов, прославивших и обессмертивших свое имя великими деяниями. В наши времена, гласил диплом, слава поэтов давно померкла, распространилось даже мнение, будто в их произведениях нет ничего, кроме лживых вымыслов. Но звание поэта высоко и достойно уважения: с большой силою и увлеченностью в красках и светотенях поэзии звонкой песней говорит он правду. Некогда поэтов увенчивали на Капитолии, но этот обычай вот уже триста лет как позабыт, и только теперь замечательный поэт и историк Франческо Петрарка за свои заслуги удостоен этой чести. По предложению короля Сицилии и Иерусалима сенаторы провозглашают Петрарку великим поэтом и историком, присваивают ему звание магистра, увенчивают его голову лавровым венком и именем упомянутого короля и римского народа предоставляют ему право как в Риме, столице мира, так и в других городах учить, вести диспуты, истолковывать свои собственные и чужие поэтические произведения, а также труды по истории, и, когда ему будет угодно, он может выступать в одежде поэта, в венке из лавра, мирты или плюща.

Каждый свободный час, который удавалось ему высвободить среди бесконечных чествований, приемов и пиршеств, Петрарка использовал для посещения давних своих знакомцев — исторических памятников и руин Рима. На одной из таких прогулок ему встретился молодой человек с быстрым взглядом, он был красноречив и обладал незаурядным знанием античности. От него можно было узнать много доселе никому не известного. Казалось, что ему об этом поведали старые камни, среди которых он чувствовал себя гораздо лучше, чем среди людей. В его словах был жар, и в один из вечеров Петрарка был готов даже присягнуть, что это они, а не огни заката пылают на стенах святого Адриана, который некогда был римским сенатом. В какой-то момент юноша, бросив цитировать Ливия, обратился к Петрарке с вопросом на родном языке, слышал ли он когда-нибудь имена Крешенция и Арнольда из Брешии. Петрарка кивнул:

— Но зачем ты спрашиваешь об этом?

— Я хотел тебе сказать, что дух Римской республики не сгорел вместе с ними на костре.

С того дня Петрарка не видел его вплоть до самого своего отъезда. Молодой человек попрощался с ним на виа Фламиния.

— Мы еще встретимся.

— Где?

— В Авиньоне.

И отошел в сторону, давая пройти сенаторам и другим высокопоставленным лицам, провожавшим поэта. Его звали Кола ди Риенцо, он был сыном трактирщика.

На перепутье

В то время, когда все шире распространялась по Италии молва об этих необычайных торжествах, восторженный и счастливый Петрарка с каждой остановки на обратном пути посылал письма друзьям. Из Пизы, куда он прибыл в конце апреля, он писал королю Роберту: «Снова заслужил ты великую благодарность муз, столь торжественно посвятив им мой скромный талант. Одновременно и сам Рим, и обедневший дворец капитолийский ты приукрасил неожиданным весельем и необыкновенной зеленью. Мелочь! — может кто-то сказать. Но она значительна своей новизной, тем, что озарена торжеством и радостью римского народа. Традиция лавра в течение долгих столетий, когда другие заботы и стремления занимали общество, была не только прервана, но и просто забыта, и вот наш век обновил ее — под твоим покровительством и с моим скромным участием».

Завистников было предостаточно. Одни громко выражали недовольство, что именно Петрарке выпала эта честь: называли имена тех, кого обошли, будто бы более блистательных. Другие пожимали плечами, утверждая, что ныне вообще нет поэтов, достойных такой славы и таких почестей. Они были в те времена, когда жили Вергилий, Гораций, Овидий. «Как было, так и будет,— отвечал на это Петрарка и за себя, и за всех поэтов, которые когда-либо появятся на свете и будут удостоены награды,— вечно одно и то же: древним временам сопутствует слава, а нынешним — зависть».

Петрарка мог, однако, пренебречь завистниками, судьба благоприятствовала ему в этом больше, чем когда-либо. Он нашел нового ангела-хранителя в лице блистательного рыцаря. Великолепно вооруженный, ехал он рядом с ним на чудесном рысаке, словно святой Георгий, сошедший с позолоченных авиньонских фресок. Это был Аццо да Корреджо, тот самый, чье дело в свое время защищал Петрарка перед судом папской курии.

Речь шла о Парме. По закону этот город принадлежал церковному государству еще со времен Григория VII как дар графини Матильды, но после продолжительной борьбы и споров достался Скалиджери из Вероны. В 1335 году они как раз и заняли Парму, а наместником сделали Гвидо да Корреджо, брата Аццо. Сам Аццо поехал в Авиньон защищать перед папою права Скалиджери. В лице Петрарки, своего ровесника, он нашел отличного адвоката. Единственный раз в жизни поэт воспользовался своими юридическими познаниями и одержал победу. Парму признали за Скалиджери.

Аццо сопровождал Петрарку из Авиньона до Неаполя, не отходил от него и в Риме, теперь они вместе ехали обратно. Но не Муза вела за узду его коня. Аццо, едва выиграв дело Скалиджери в Авиньоне, стал всюду, где только мог, интриговать против них. В Неаполе он получил поддержку короля Роберта, и, когда Петрарка надевал на голову лавровый венок поэта, Аццо был уверен, что его семье доста-

нется диадема. Действительно, братья да Корреджо захватили Парму, и в день 21 мая 1341 года Аццо въехал в Парму как один из ее властителей вместе с братьями: Гвидо, Симоном и Джованни. Петрарка ехал с ними, тронутый энтузиазмом народа, который, как это обычно бывает при переменах, надеялся на лучшую долю.

В Парме Петрарке было хорошо. Он встретил сердечный прием у да Корреджо. По своему обыкновению, часто бродил по окрестностям, охотнее всего направляясь в Сельвапиану, расположенную между Пармой и Реджо. Над берегами Энцы возвышались холмы, поросшие буковым лесом. Здесь было все, что он больше всего любил: холодный сумрак леса с неожиданно открывающимися, залитыми солнцем полянами, виноградники, поля, цветущие луга, говорливый поток, скалы, ничем не нарушаемая, разве только пением птиц, тишина. «Этот благодатный край райским кущам подобен,— прославлял он его в латинском стихотворении.— Муза здесь частая гостья. Здесь сердце мое тает в святом огне вдохновения. Песня моя об Африке давно было смолкла, но вот чары леса пробудили меня ото сна и снова в руку мою вложили перо». Уже на склоне лет в письме к потомкам вспоминал он те благословенные дни, когда почти завершил свою поэму.

Почти — потому что окончательно он ее так и не завершил. В нескольких песнях остались пробелы, словно бы после вырванных и сожженных страниц. Но магия Сельвапианы сохранилась в пятой книге, в которой Петрарка воспевает любовь Масиниссы и Софонисбы. Мы с волнением замечаем, как в латинские строки вплетаются образы и метафоры из сонетов и Лаура возникает на африканской земле под именем сотканной из лучей и вздохов Софонисбы.

Петрарка намеревался навсегда поселиться в Парме, он уже стал подумывать о покупке домика, но все же переменил свое решение и уехал. Нигде теперь он не находил покоя. По ночам его мучили зловещие сны, в одном из них он увидел своего друга, Джакопо Колонна, епископа Ломбезского. Тот шел в одиночестве по садам и полям, и Петрарка спросил у него, куда он идет. «В Рим»,— ответило видение. Позднее оказалось, что именно в эту ночь епископ умер.

В Авиньоне увенчанного поэта приняли с энтузиазмом. Он был на аудиенции у папы, удостоившего его почетного бенефиция в Пизе, Колонна устраивали в его честь банкеты, которые, учитывая недавний траур, не могли быть слишком пышными и носили скорее характер литературных чтений. Каждый хотел услышать хотя бы отрывок из «Африки»; на улицах Петрарку встречали приветственными возгласами; Лаура словно бы улыбнулась ему издалека, и этот dolce saluto[1] был тотчас же увековечен сонетом. Петрарке было уже под сорок, он будто отмечал осенний праздник, снова был веселым, не избегал общества, а когда исчезал, снисходительные сплетники его оправдывали.

Мы не можем услышать эти сплетни и поэтому не знаем имени женщины или девушки, которая вскоре стала матерью его любимой дочери Франчески. Есть предположения, что это была та самая женщина, которая подарила Петрарке несколько лет назад сына Джованни. А если была другая, то и о ней, как и о предыдущей, он не вспоминает ни единым словом, более того, в одном из сонетов с горечью говорит об этом периоде своей жизни: «Плывет мой корабль в полном забвении по бурному морю, в ночи и ненастье, между Сциллою и Харибдою, а у руля сидит Пан и мой враг... Погибли среди волн разум и мастерство, не вижу перед собою пристани».

Несчастье постигло брата Джерардо: умерла женщина, которую

[1] Нежный привет *(лат.)*.

он любил, La bella donna, воспетая в сонетах, которые вышли из-под его неискушенного пера. И вдруг этот человек, ветреник, весельчак, товарищ всех, кто в Авиньоне любил и умел повеселиться, изменился до неузнаваемости Сперва он охладел к свету, а через несколько месяцев совершенно его покинул, надел рясу и удалился в картезианский монастырь в Монтре, неподалеку от Марселя, в дикой и пустынной местности, где братья некогда уже побывали, навещая грот Марии Магдалины. Петрарка был потрясен. Неужели должен повториться в жизни эпизод из восхождения на Ветреную гору, когда более смелый и решительный Джерардо направился по крутой дороге прямо к вершине и звал за собой усталого и сомневавшегося во всем брата, бесплодно искавшего дорогу в ущельях?

Петрарка укрылся в Воклюзе, чтобы в одиночестве пережить этот болезненный для него урок и отдохнуть на лоне любимой природы. «Но к чему блаженная тишина мест, эти реки, леса и горы, если всюду, куда бы я ни пошел, следом за мной идет и мой дух, а он все тот же и в городе и в лесу...» Петрарку обступили всевозможные хлопоты и заботы, не дававшие ему покоя вот уже много лет. В счастье и беде, в труде и в веселье наваливалось на него отвращение к жизни и миру, тоска и горечь, чувство неудовлетворенности собою, своими поступками и своими словами, своим прошлым, которое в такие дни он просто ненавидел, своим будущим, покрытым безвестным сумраком. Ничто не стоило усилий, день вставал ненужный, а вслед за ним подкрадывалась, как злобная карга, ночь, ведя за собой мрачные воспоминания, призраки и пугала. Беспокойство, которому не было ни названия, ни причины, отравляло ему жизнь. Средневековый демон, Ацедия, садился у его стола и у изголовья постели.

Как раз в это время он начал писать книгу бесед «О презрении к миру», назвав ее «Тайной» — «Secretum», или, как гласит автограф, «De sécreto conflictu curarum mearum» [1]. Это произведение не предназначалось для чьих-либо глаз, кроме собственных, которые должны были в нем найти утешение для усталого разума, когда вновь наступят дни сомнений. И кажется, при жизни Петрарки действительно никто не заглянул в «Secretum». Раньше он искал поддержку в «Исповеди» Августина, теперь хотел иметь такую же поучительную книгу, только более личную, собственную, в которой мог бы слышать свой голос и свое сердце.

Это был диалог по образу «Тускуланских бесед» Цицерона. Петрарка пригласил на беседу спутника с Ветреной горы, блаженного Августина, с ними было еще и третье лицо, одно молчаливое присутствие которого значило так много,— Истина. Августин задавал поэту вопросы, словно на суде или на исповеди, извлекая из его души самые интимные признания. Эта продолжавшаяся три дня беседа была изложена в трех книгах и касалась отношения к смерти, славе, любви. Помимо слов, которыми обмениваются собеседники, в ней слышны голоса философов и поэтов, призываемых Петраркой в свидетели.

И вот блаженный Августин глядит в душу поэта и не находит в ней ни силы, ни стойкости, ни воли. Ты несчастлив? Неправда, ты сам хочешь чувствовать себя несчастливым. Напрасно Петрарка ссылается на свое сочувствие человеческой недоле, на свое стремление к чистоте и добродетели. Разве можно всегда только стремиться? И всегда говорить: я хочу, но не могу, тогда как, в сущности, нужно сказать: я не могу, потому что не хочу. Напрасно Петрарка ссылается на свои слезы, печаль и страдания. «Я видел твои слезы,— говорит философ,— но не видел твоей воли».

[1] О тайном споре моих забот *(лат.)*.

К сожалению, ни слез из глаз, ни забот из сердца Петрарка прогнать не может. Смерть... «Слово «смерть»,— прерывает его Августин,— не должно быть просто звуком для ушей и мимолетных мыслей, ты должен вникнуть в него и представить себе, что сам умираешь. Только тогда мысль о смерти имеет какое-то значение, когда человек сумеет пережить ее так, словно действительно сам ее узнал». На это Петрарка: «Пусть бог простит меня, но ежедневно погружаясь в эти грустные размышления, а больше всего по ночам, когда разум освобождается от дневных забот и сосредоточивается сам в себе, я выпрямляю свое тело и весь застываю, мне кажется, что я действительно умираю, и это так меня потрясает, что я вскакиваю в ужасе и кричу, слово обезумевший».

Однако сколько бы раз он ни возвращался к этому, описывая свои видения, страхи и беспокойство, незаметно, чтобы он искренне и всей душой стремился освободиться от них,— скорее он находит в этом какое-то горькое удовлетворение, быть может, боится, что, вылечившись, станет другим человеком. «А ты не хочешь быть другим! — отвечает блаженный Августин.— Чересчур веришь в свои способности, чрезмерно восторгаешься своим красноречием, познаниями, даже телесной красотою, тебе любы богатства, почести, даже в самой печали ты ищешь наслаждение».

Все это верно — Петрарка и не думает ничего отрицать, в своем раскаянии он рисует картину той «ацедии», отвращения к жизни и апатии, какие непрестанно его преследуют. Его мучают страхи, ему мерещится, будто его окружают тысячи врагов, ни одна прежняя горесть не забывается, все страдания оживают вновь. Он ненавидит жизнь, чувствует отвращение, презрение к людям. Будущее порождает у него сомнения.

Но святой исповедник раскрывает два других изъяна его души: любовь к Лауре и жажду славы. Лаура? Но ведь именно она с юных лет вела его к благородным и возвышенным деяниям, это она стремилась к тому, чтоб он обратил свой взор от земли к небу, ей он обязан чистотою чувств, она пробуждала ото сна его дух. Августин не может с этим согласиться: «Она тебя отвлекала от небесных дел и учила алкать не творца, а его творение». Петрарка защищается: «Но ведь я любил не тело ее, а душу». Вопросы и ответы перекрещиваются.

Августин: «Помнишь ли ты свои юные годы? Какой сильною была тогда в тебе богобоязненность, мысль о смерти, привязанность к вере, любовь к добродетели!»

Петрарка: «Помню и с сожалением вижу, что с годами мои добродетели убывают».

Августин: «В какой период жизни это случилось?»

Петрарка: «В юношеские годы. Если позволишь, я вспомню, какой мне шел тогда год».

Августин: «Я не требую точной даты. Лучше скажи, когда поразила тебя красота этой женщины».

Петрарка: «Никогда я этого не забуду».

Августин: «Сравни две даты».

Петрарка: «Я встретил ее в то самое время, когда за грехи мои на меня была ниспослана кара».

Августин: «Именно это я хотел от тебя услышать...»

Не имея возможности обладать Лаурой, Петрарка принимал в объятья других женщин: чистота была ложью, правдою — грех. Он хотел бы стоять одной ногой на небе, а другою на земле, но это грозило лишь падением.

В конце беседы Августин касается самой чувствительной струны — славы: «Во всех своих неустанных деяниях, во время ночных

занятий, в своих страстных поисках знаний ты думал только о славе. И тебя не удовлетворяла хвала современников, мысли твои шли дальше, ты стремился к славе у потомков и с этой целью занялся изучением римской истории, стал писать «Африку». «Слава, возможно, и суетна,— защищается поэт,— быть может, она и значит не более чем дуновение ветра, но она несет в себе особое очарование, которому подвластны даже великие души». «Очарование! — восклицает блаженный Августин.— Сколько раз я видел тебя молчаливого, в горечи, когда ты не мог ни вымолвить, ни описать пером того, что явственно представлялось твоим глазам!» «Что же мне делать?» — стонет Петрарка. «Полностью посвятить себя душе своей и ее спасению».—«Хорошо, но не сейчас, пусть я сперва доведу до конца начатый труд. Я не могу остановиться на полпути».— «Снова ты говоришь «не могу» вместо «не хочу».

Так оканчивается этот незавершенный «Спор забот». Петрарка не чувствовал призвания к монашеству; он часто кружил мыслями по монастырям, но не был аскетом, хотя именно в аскетизме видел наиболее верный путь к внутреннему спокойствию. Он завершал «Secretum» с горьким убеждением, что навсегда останется при своих сомнениях, при своем беспокойстве, на перепутье, о котором не знал, что оно является перепутьем двух эпох.

Песнь и письмо

Проходя мимо церкви Сент-Агриколь, Петрарка поравнялся с молодым человеком, который остановил его латинским приветствием. Занятый своими мыслями, поэт не сразу узнал его и, только когда тот напомнил ему о Риме и о прощании на виа Фламиния, понял, что перед ним стоит Кола ди Риенцо. Выглядел он гораздо хуже, чем ранее. Он был так бледен и худ, словно его терзали голод или лихорадка. Оказалось, он и в самом деле страдает от того и другого. В нескольких словах рассказал он поэту о своих злоключениях.

После смерти Бенедикта XII в Авиньон прибыло посольство римского дворянства, чтобы присутствовать на выборах и коронации нового папы, воздать ему почести и получить подтверждение своих привилегий. Предводительствовали в нем Колонна и Орсини, а главным оратором был Лелло Стефани ди Тосектис, синдик римского народа, милый Петрарке «Лелий», друг и наперсник, адресат многих писем поэта. Между тем в Риме взяла верх народная партия, душой которой был Кола ди Риенцо, и именно он, никому здесь не ведомый, без протекций, с одной лишь верой в победу доброго дела, приехал защищать перед апостольской столицей права римского народа. Новый папа, Климент VI, выслушал его доброжелательно, даже позволил произнести речь перед консисторией, и это была одна из тех речей, которыми Кола так умел завоевывать сердца и умы.

В зале консистории на стенах нарисованы попугаи и лебеди. Может, это знамение? Может, речь эта превратила Кола в попугая или была его лебединой песнью? Ведь папа неожиданно, уже в мае, назначил сенаторами Рима Маттео Орсини и Паоло Конти, этих двух представителей ненавистных баронов. А виной всему были интриги кардинала Джованни Колонна...

Упомянув это имя, Кола ди Риенцо бросил быстрый взгляд на Петрарку. Поэт наклонил голову. Он знал своего друга: кардинал ни в одном деле, особенно таком, как это, не переставал быть Колонна, гордым сенатором, который не признавал претензий простолюдинов и

скорее согласился бы уступить власть одному из Орсини, нежели отдать ее представителю народа.

Мало того, жаловался Кола, но у него выбили почву из-под ног в Авиньоне, закрыли перед ним двери к папе, его лишили возможности жить в Риме: имущество его захвачено, ему угрожают тюрьмой. Деньги, которые он взял с собой, поглотила ненасытная авиньонская земля, голод глядит ему в глаза, и он чувствует себя слабым и больным.

Чтобы разговор состоялся без свидетелей, они обошли незаметно церквушку и остановились под ее абсидой, поросшей древним плющом, в таком укромном и тихом месте, как будто оно находилось где-то вдали от людного и шумного Авиньона. Вечерело, и в зарослях плюща воробьи ссорились из-за ночлега. Солнце освещало ветхие стены церкви, столь напоминавшие руины, о которых говорил Кола. А говорил он всегда с необыкновенным пылом. Время от времени в родную речь — в этот резкий говор Рима, пропахший хлебом и вещевыми мешками древних легионеров, вливался поток латыни, удивительно густой, богатой и яркой, словно витражи в мерцании свечей, и этот язык амвона неожиданно падал на мостовую, на выщербленные плиты староримских улиц и несся вскачь по ним шумом запыхавшейся толпы. Его слова отдавали потом и кровью.

В них гневно взывала к мести нищета римского народа, стонущего под ненавистным игом баронов. «Каждый раз, когда я вспоминаю эту беседу,— писал Петрарка три дня спустя,— сердце мое распаляется, и я готов полагать, что это был голос не человека, а бога, доносившийся ко мне из глубины церкви... С этого дня я всегда с тобою, и меня охватывает то отчаяние, то надежда, и, колеблясь между одним и другим, я говорю себе: о, если б когда-нибудь!.. О, если б это случилось в дни моей жизни! О, если б я мог участвовать в деле таком прекрасном, такой великой славы!..»

Отношение кардинала Колонна и папы к римскому нотариусу сразу же изменилось: помыкать человеком, за которого вступился Петрарка, было немыслимо. Несколько недель спустя Климент VI в письме к римским сенаторам велел отменить все приговоры, вынесенные Никколо, сыну Лоренцо, находящемуся под папскою опекою. И действительно, с этого времени Кола, который провел при папском дворе почти год, ни в чем не испытывал нужды.

Петрарка тем временем отправился в Неаполь в роли папского «оратора» при посольстве к королеве Иоанне, наследовавшей трон после недавней смерти короля Роберта. Она была замужем за Андреем, младшим братом Людовика Венгерского, оба они воспитывались при неаполитанском дворе. Будет ли Андрей коронован, не было еще решено, но ввиду юного возраста этой королевской четы было установлено регентство. Папа все эти акты считал незаконными, так как именно ему принадлежало право опеки над осиротевшим королевством.

В это же время спохватился и венгерский двор. Правила им знаменитая Эльжбета, дочь Локетека, мать Людовика Венгерского и юного Андрея. Вскоре после смерти короля Роберта она отправилась в Неаполь в сопровождении большой свиты венгерских господ. Король Людовик дал ей на дорогу много золота и серебра, великолепные галеры везли ее по Адриатике, в Венеции ее принимали с большими почестями, в Неаполе ей был предоставлен Кастель Нуово. Отсюда она отправила посольство к папе в Авиньон с просьбой — разрешить коронацию Андрея и Иоанны. Разрешение было получено после выплаты курии огромной суммы — 40 000 гривен серебра. Но дочь Локетека уже

хорошо изучила нравы неаполитанского двора и, вместо того чтобы думать о короне для сына, стала подумывать о его бегстве из зачумленного города. Андрей, однако, воспротивился разлуке с женой, и Эльжбета уехала одна. Как раз в это время Петрарка направлялся в Неаполь.

Путешествие было бурным. Несколько раз он пересаживался с корабля на коня и снова с коня на корабль, преследуемый то бурею, то войной. Ноябрьское море загоняло его на землю, а земля, ощетинившаяся мечами и копьями враждующих княжеств, оказывалась не менее опасной, и поэт сам не ведал, каким чудом добрался до Рима. Здесь, как обычно, его принял гостеприимный дом Колонна, и через некоторое время он спокойно продолжил свой путь в Неаполь.

Прошло неполных два года, но какая перемена! Приветливый, доброжелательный, просвещенный двор короля Роберта превратился в дом разврата, коварства и интриг. Словно в насмешку дорогое Петрарке имя Роберта носил монах, овладевший и королевою, и ее двором. Вот какими красками рисует Петрарка эту личность. «Передо мной предстало,— пишет он кардиналу Колонна,— трехногое животное, босое, с непокрытой головой, высокомерное в своем убожестве, увядшее от сладострастия. Постриженный, краснолицый, с жирным задом, едва прикрытый скупой одеждою,— вот человек, который осмеливается взирать не только на тебя, но и на папу словно бы с высокой скалы своей святости. Не удивляйся — на золоте покоится спесь, ибо молва гласит, что его кошель в несогласии с рясою. Эта новая разновидность тирана не носит ни диадемы, ни пурпура, ни оружия — лишь грязный плащ, который покрывает его едва наполовину; он горбится не от старости, а от лицемерия, он силен не красноречием, а молчанием и нахмуренным лбом. Он бродит по королевскому дворцу, опираясь на палку, людей низкого сословия расталкивает, справедливость топчет, позорит все божьи и человеческие законы».

Все при дворе было отравлено каким-то чуждым духом. Петрарка не мог ничего добиться, его миссия оказалась бесплодной. Впрочем, он сам этому способствовал тем, что выступил в неблагодарной роли защитника нескольких негодяев, которых Колонна хотели освободить из тюрьмы. Петрарка уже через несколько дней сбежал бы из города, если бы не старые друзья — Барбато и Баррили. С ними он ходил на прогулки по окрестностям, жадный к красотам и историческим памятникам. Но стихии словно бы сговорились, и Неаполь вскоре постигло большое несчастье. О нем кружили всяческие пророчества, ожидалось землетрясение. В предсказанный день разбушевалась буря, какой никто не помнил. Она продолжалась всю ночь, на другой день город выглядел словно после нападения врага: разрушенные дома, трупы на улицах. В порту затонуло несколько кораблей. Глядя на рассвирепевшие волны, подбрасывавшие мачты и остовы разбитых кораблей, Петрарка поклялся, что никогда больше не ступит на корабль. «Умоляю тебя,— писал он кардиналу Колонна,— не вынуждай меня никогда больше вручать свою жизнь ветрам и волнам. Это единственное, в чем я не буду послушен ни тебе, ни папе, так же как не послушал бы и отца, если б он вернулся на свет. Воздух я оставляю птицам, море — рыбам. Я сухопутное существо и хочу ходить по земле». Он заявляет, что на твердой земле ему не страшен ни мавр, ни сармат, он готов идти вплоть до самой Индии.

В охваченном тревогой городе громко говорили, что это небесная кара за грехи развратного двора, который называли в народе tabernacolo dei gaudenti — храмом Утех. По улицам тянулись процессии кающихся грешников, сама королева в сиянии своих золотых волос шла

босиком среди паломников и раздавала милостыню. Но при дворе такое настроение длилось недолго и вскоре все вернулось в свою привычную колею, во дворце вновь воцарились музыканты, шуты и фокусники.

Трудно было в таких условиях вести дипломатические переговоры. Беседы, встречи, приемы порою затягивались до ночи, которая в декабре наступает рано, а «...тут,— пишет Петрарка,— ночная дорога столь же ненадежна, как в дремучем лесу. Повсюду полно молодых дворян, вооруженных и необузданно дерзких: ни родители, ни власти, ни королевское величие не способны удержать их в повиновении... Но разве можно удивляться, что в темноте ночи без свидетелей они чинят произвол, если средь бела дня на глазах королей и народа устраиваются в итальянском городе позорные игры гладиаторов с более нежели варварской жестокостью? Льется человеческая кровь, и под аплодисменты зрителей, в присутствии родителей убивают детей, от которых требуют отваги, словно бы они боролись за отечество или за вечное спасение. Не ведая обо всем этом, я невольно позволил завлечь себя на место, которое называется Складом угля, неподалеку от города, и это название ему дано справедливо, как дымной кузнице жестокой смерти. Была королева, с нею королевич Андрей, юноша незаурядного ума, было все войско неаполитанское, такое великолепное, как нигде, и плывущая нескончаемым потоком толпа. Я надеялся в этом великолепном собрании увидеть нечто великое и напрягал зрение, и вдруг, словно бы произошло нечто необыкновенно радостное, раздался гром аплодисментов. Оглядываюсь и вижу стройного юношу, который, пронзенный мечом, падает у моих ног...» Петрарка не мог смотреть больше и, вскочив на коня, сбежал от этой мерзости. А между тем такие же игры на протяжении нескольких столетий происходили и в достопочтенных стенах Рима, к которым с таким благоговением прикасался поэт, и на них глядели люди, которых Петрарка в своих грезах видел в образе небожителей.

Вскоре Петрарка покинул Неаполь. Напрасно мы ищем в его отчетах имя Эльжбеты, дочери Локетека, его деликатность умалчивает и о пороках королевы Иоанны, а возможно, он и сам был очарован этой красавицей, как многие из поэтов, исключением среди которых не был и Мистраль. Короля Андрея он наделяет чрезмерно лестными эпитетами, но их, однако, не следует его лишать, помня о его печальном конце. Спустя несколько лет он был задушен в собственной опочивальне — все обвиняли Иоанну в причастности к этому преступлению.

После неаполитанских разочарований Петрарка с наслаждением вдыхал приветливый воздух Пармы. Теперь у него было время заняться покупкой и устройством дома, о чем он уже давно подумывал. Этот дом стоял — и стоит доныне — возле церкви Сан-Стефано, в предместье Сан-Джованни, окруженный обширным садом. Петрарка был в восхищении от этой новой своей обители. Он намеревался превратить ее в свой «итальянский Геликон», соперника Воклюза, который был заальпийским Геликоном, и так был этим поглощен, что ему даже в голову не пришло разобраться в делах, касающихся Пармы, пока неожиданно он не убедился в том, что попал в западню.

Переменчивый Аццо да Корреджо, перессорившись с братьями, продал Парму за шестьдесят тысяч золотых флоринов маркизу Обицо д'Эсте из Феррары. Это разозлило соседних князей, и коалиция Гонзага, Висконти, Скалиджери, болонских Пеполи и падуанских Каррара выступила против маркиза с наемными войсками, состоявшими главным образом из немцев. Парма была осаждена. Петрарка бежал.

В один из мартовских вечеров в сопровождении небольшого эскорта он выскользнул из города, счастливо миновав неприятельские посты. Была уже глубокая ночь, когда он добрался до Реджо, но и этот город оказался во власти наемников. Петрарка был вынужден продолжать свой путь дальше. Неожиданно из засады выскочила шайка разбойников и с дикими криками напала на горстку безоружных беглецов. Их спасли только кони. И хотя им вслед летели камни и дротики, к счастью, никто не был ранен. Но тут конь Петрарки споткнулся в темноте, выбитый из седла Петрарка упал и сломал руку. Сгоряча, не чувствуя боли, он снова вскочил на коня и, оглянувшись, понял, что с ним остались всего несколько товарищей, остальные разбежались, некоторые вернулись в Парму.

А тут новая божья кара: гроза с молниями и ливень. Беглецы спешились и спрятались под брюхом у лошадей, после каждого нового удара грома животные испуганно рвались и вставали на дыбы. Казалось, кони вот-вот вырвутся и исчезнут во тьме этой адской ночи. Петрарка стиснул зубы от боли, рука все сильнее опухала. Наконец дождь утих, и, как только стало светать, они двинулись дальше, совсем не уверенные в правильности пути. Первый город, до которого они добрались, Скандино, оказался дружественным Парме. Здесь они узнали, что у стен города их поджидала банда конных и пеших разбойников, которых разогнала та же буря, показавшаяся Петрарке кромешным адом. Через несколько дней, совершенно изнуренный и больной, он прибыл в Болонью и слег.

Те, кто присматривал за ним, предсказывали тяжелую болезнь. Сквозь беспокойный сон прорывались отдельные слова: «Italia mia — rabbia tedesca — diletto almo paese — crudel guerra — latin sangue gentil...» — «У него горит кровь,— говорили.— Он бредит». Но никогда еще его разум не был так ясен, а сердце столь разумно. На следующий день он не мог ни повернуться, ни взять перо в руки. Тогда он велел позвать секретаря и закрылся с ним на несколько часов. Молодой человек вышел из комнаты ошеломленный, держа в руках несколько исписанных страниц.

Никогда еще в итальянской поэзии не звучали столь пламенные слова, призывающие к миру и согласию, как в этой канцоне «Italia mia». Казалось, сама земля взывала к вернувшемуся к жизни almo paese — благословенному краю, с его реками, солнечными долинами и горами, которые природа воздвигла словно щит между Италией и тем rabbia tedesca — тевтонским безумием, которое орошало ее нивы как кровью варваров, так и благородной латинской кровью — latin sangue gentil. О горечи, боли, ненависти к заальпийским наемникам, топтавшим итальянскую землю по приказу перессорившихся между собою князей, говорили слова этой песни, возвышенные и мелодичные. Откуда это безумие, эта слепота, эти поиски продажных сердец и веры? Пусть же несется эта песнь к людям великодушным, их мало, но они есть, пусть раздается клич: Мир — Мир — Мир. Pace — Pace — Pace.

Италия никогда не забывала этой песни. Песнь возвращалась в черные периоды истории, указывала идеальный, весьма далекий от действительности путь объединения и согласия, звучала в мыслях князей, вождей, государственных деятелей, звенела под пером Макиавелли, и уже на пороге свободы ее подхватили Леопарди и Кардуччи. Сам Петрарка мог считать, что выступил недаром, ибо вскоре был заключен мир между враждовавшими магнатами и Джоакино Висконти выкупил Парму у маркиза Обиццо д'Эсте. Парма оказалась под властью правителей Милана.

В Болонье Петрарка задержался не дольше, чем того требовало состояние его здоровья. Он перебрался в Верону, и, пока сильные мира сего проливали кровь своих подданных за клочок земли, Петрарка выиграл генеральное сражение с всепожирающим временем и одержал одну из величайших побед в истории гуманизма. В библиотеке капитула он обнаружил письма Цицерона, о которых никто не знал и которых никто тут не искал. Едва он развернул слипшиеся от сырости ветхие листы кодекса, едва прочитал страницу, как сердце у него бешено заколотилось и пот выступил на лбу. Он читал, проглатывая неясные слова, перескакивая через окончания строк, расползавшихся у среза покрытых грязью страниц. Читал и глазам своим не верил. Перед ним были письма Цицерона, о которых он так давно мечтал, и до сих пор — напрасно.

Все исчезло — и эта сводчатая темная комната, и Верона, исчезло время, даже сам он словно бы растворился, как бы вырвался из этой нестерпимой действительности и, наконец, был награжден живым присутствием человека, которого любил и которым восхищался с детства. Он слышал наконец голос Цицерона не с трибуны, не на философском диспуте, а в его доме, из того неизвестного atrium [1] или tablinum [2], где он разговаривал с друзьями или сам с собою, голос, не предназначенный для тысяч ушей, не сдерживаемый правилами ораторского искусства или какими-либо иными соображениями, а простой человеческий голос, в котором трепетало только что пережитое чувство или волнение. В нем звучали и смех и плач, он был то страстный, то нежный, тихий, приглушенный, как просьба, то яркий, как горячий полдень, то потухший, словно одинокие часы, проведенные в ночной темноте, когда во всем доме бодрствует только его мысль.

О том, чтобы выторговать рукопись у капитула, не могло быть и речи. Лишь теперь она приобрела цену, и каноники не думали расставаться с нею. Но и Петрарка не мог с ней расстаться, пока не снимет копии. Месяцы, которые он провел над ее изучением, поэт считал счастливейшими в своей жизни. Письмами к близким он взволновал весь интеллектуальный мир. Это было ошеломляющее открытие. Рукопись содержала письма к Аттику, к брату Квинту, к Марку Бруту и несколько апокрифов. Ныне мы знаем, что от глаз людей XIV века был укрыт еще один кодекс писем Цицерона, причем значительно более обширный, но он попал в руки гуманистов только в следующем столетии, Петрарка имел все основания считать, что наткнулся на уникум, который без него безвозвратно погиб бы от сырости.

Он был взволнован и вместе с тем несколько уязвлен в своем почитании Цицерона. Видел его теперь иначе, вблизи, прямо перед собою, и даже еще ближе — читал в его открытой душе. Никто из современников Петрарки не знал такого Цицерона. Памятник сошел с пьедестала и предстал в обычных человеческих пропорциях, увы, до смешного незначительных. Петрарка был задет за живое. Труднее всего прощать кому-то слабости, которые сродни нашим собственным. В письмах Цицерона Петрарка обнаружил ту же слабость духа, те же колебания, опасения, страхи и ту же раздражительность, суетность, которые были свойственны ему самому. Он был возмущен и написал письмо великой тени.

«Франческо Петрарка приветствует Марка Тулия Цицерона.

Долго разыскивал я твои письма и наконец нашел их там, где меньше всего ожидал. Я читал их с жадностью. Я слышал твои слова,

---

[1] Главная часть дома у римлян, следующая непосредственно за прихожей.

[2] Главная комната в римском доме.

твой плач, узнал твою переменчивость, Марк. До сих пор я знал, каким ты был учителем для других, теперь знаю, каким ты был для самого себя. Поэтому, где б ты ни был, выслушай — не совет, а сетование, которое один из потомков, с почтительностью произносивший даже имя твое, высказывает со слезами на глазах. О беспокойный, вечно испуганный или, говоря твоими же собственными словами, вспыльчивый и несчастный старик, зачем участвовал ты в стольких распрях и никому не нужных раздорах? Где ты оставил спокойствие, столь уместное для твоего возраста, занятий, судьбы?..

Я скорблю о твоей судьбе, мне стыдно за тебя, и я сожалею о твоих ошибках. Чего же стоят твои поучения, кому нужны прекраснейшие слова о добродетелях, если ты сам себе в глубине души не веришь? Ах, насколько лучше было бы, особенно для философа, состариться в тихой деревне в раздумьях о вечной жизни, а не обо всем этом, столь ничтожном, и не знать ни ликторских розог, ни триумфов, ни Катилины. Но бессмысленно говорить об этом. Прощай навеки, Цицерон.

В горном краю, на правом берегу Адидже, в городе Веронс, шестнадцатого июня, года от Рождества Христова, которого ты не знал, 1345».

Письмо вызвало возмущение в литературном мире: как смел Петрарка так брюзжать на величайшего писателя античности! Но никто из этих негодующих судей не подумал, как тяжело достались эти слова самому Петрарке.

Трибун свободы

Прошло уже много времени с тех пор, как покинул Авиньон Кола ди Риенцо, назначенный папой нотариусом города Рима, а о нем снова заговорили. Петрарка внимательно слушал эти вести.

Никколо, сын Лоренцо, все более открыто выступал в защиту народа, всячески стремясь, и речами и символами, воздействовать на его воображение. Так, на стене церкви Сан-Анджело ин Пескьера, одной из самых старейших и самых славных в своем квартале, он велел нарисовать картину, изображавшую всемирный пожар. Вот высокое пламя охватывает королей и простонародье, а среди них и Рим в образе пожираемой огнем старой женщины. Справа от нее церковь, из которой выходит ангел в пурпурном плаще и белой тунике, с мечом в руках; он спешит на спасение гибнущего в пламени Рима, Петрарка хорошо знал эту аллегорию. В ней был и его собственный сон о конце и возрождении света, какой-то очень давний, быть может, стоический, а может, еще древнее — сивиллин, первых дней Рима.

Но римские вельможи не принимали всерьез ни нотариуса, ни его символов и часто приглашали его, чтобы ради забавы послушать его пламенные речи. Особенно он их развеселил на банкете у Джованни Колонна. «О да,— крикнул нотариус,— я буду когда-нибудь великим сеньором, а может, императором. И тогда,— он указал на окружавших его баронов,— всех вас отдам под суд и велю повесить или отрубить головы». Бароны покатывались со смеху. Не первый день он смешил их россказнями, будто он и не сын трактирщика, поскольку его мать любил император Генрих VII.

Так развлекалась знать до троицына дня 1347 года.

В предпраздничную субботу Кола вместе с другими заговорщиками, в окружении сотни вооруженных единомышленников, которых он уже давно держал наготове, захватил Капитолий, разогнал сенаторскую стражу и чиновников. Никто не оказывал сопротивления. Заиграли трубы, и Кола обратился к народу с призывом на следующий день всем собраться на этом священном холме, помнящем рождение Города. Всю ночь он провел в молитвах в своей излюбленной церкви Сан-Анджело ин Пескьера.

Утром следующего дня он двинулся на Капитолий. Одет он был в рыцарские доспехи, его сопровождало двадцать пять заговорщиков. Впереди несли четыре хоругви. На красном фоне хоругви свободы был изображен Рим в образе словно сошедшей с римской медали величественной богини — она восседала на троне, держа земной шар в одной руке, пальму — в другой; внизу виднелась золотая надпись: «Roma—caput mundi»[1]. Хоругвь справедливости изображала на белом фоне святого Павла с мечом и венком, а на хоругви мира был святой Петр с ключами. В конце процессии несли старинную хоругвь с изображением святого Георгия.

На Капитолии Кола выступил перед собравшейся толпою, которая провозгласила его ректором города. Эту должность он должен был разделить с папским легатом. Прежде чем толпа разошлась, послышались с разных сторон возгласы: чудо! чудо! Над головой нового ректора кружил прилетевший откуда-то голубь. Но Кола ди Риенцо остался недоволен — ему не пришлись по вкусу ни звание ректора города, ни разделение власти. Через несколько дней он принял новое звание, которое пристало к нему навсегда: трибун.

Теперь он был правомочен покарать смертью и помиловать. Мог учреждать должности, издавать указы, имевшие силу закона. Он стал диктатором. Свои послания Кола ди Риенцо начинал словами: «Никколо, суровый и ласковый, трибун свободы, справедливости и мира, освободитель священной Римской республики...» За короткое время он реорганизовал вооруженные силы города, упорядочил акты правосудия, которое до тех пор почти не отличалось от разбоя. Ошеломленные его успехами, аристократы заперлись в своих замках. Кола разослал баронам уведомление — явиться на Капитолий для принятия присяги. Шутки стали сбываться. Мало кто осмелился выказать бывшему нотариусу непослушание.

Когда все собрались, Кола вышел в пурпурном плаще, наброшенном на доспехи, и велел всем присягнуть на Библии, что они отрекаются от каких-либо замыслов напасть на него, что, уважая новую конституцию, будут заботиться о безопасности дорог и подвозе провизии, что не будут предоставлять убежища разбойникам и преступникам, а вдовам и сиротам будут оказывать помощь, что не будут предпринимать ничего во вред городу и его казне и по первому призыву явятся с оружием или без него, как повелит трибун. Первым присягнул Стефануччо Колонна, за ним Орсини, Савелли. Народ молча смотрел, как их грозные руки касаются алтаря. Все это было как во сне.

Петрарка вместе со всем Авиньоном жадно ловил эти вести, которые, впрочем, находили подтверждение и в письмах самого трибуна. Петрарка чувствовал себя поднятым на волну необыкновенных событий. «Я знаю,— писал он трибуну,— что ты стоишь теперь на высочайшей сторожевой башне, поставленной перед судом и молвой не только итальянцев, но и всех людей, не только современников, но и

[1] «Рим — глава мира» *(лат.)*.

тех, кто в будущие века родится: ты взял на себя неимоверную тяжесть, но великолепную и прекрасную, дело необыкновенное и достойное хвалы. Никогда не забудут тебя ни современники, ни потомки... Не знаю, известно ли тебе и что ты думаешь о том, что твои письма, которые доходят до нас, не остаются у адресатов, а немедленно всеми так старательно переписываются, с такой поспешностью передаются из рук в руки по всему городу и по курии, словно бы исходили не от такого же, как и все мы, человека, а от какого-то высшего существа или антипода, и все это способствует тому, что письма эти сеют сумятицу в умах. Никогда от оракула Аполлона Дельфийского не получали столько противоречивых пророчеств, сколько из твоих высказываний».

Он не думал о себе: ему все было ясно, от заголовка до даты написания письма. Что за наслаждение читать: «Liberatae Reipublicae anno primo» — «В первом году свободной Республики!» «Это слово радует, восхищает, очаровывает». Однако прежде всего Петрарка был очарован той быстрой и блистательной славой, которую столь молниеносно завоевал Кола ди Риенцо. Спустя две недели после захвата власти трибун упразднил феодальную систему, запретил гражданам Рима приносить вассальную присягу дворянам, называть дворянина господином, носить его герб. Наказание понесли многие высокорожденные грабители: граф Бертольдо ди Ангвиллара уплатил штраф, бывший сенатор Агапито Колонна стоял на Капитолии в оковах, та же участь постигла Мартино Стефанески, также бывшего сенатора и родственника двух кардиналов.

Авиньон был вне себя от возмущения. Страсти разжигало семейство Колонна. Что же теперь предпримет их излюбленный, верный друг и почти домочадец, Петрарка? Из всего, что можно было предположить, наименее вероятным было то, что он сделал. Петрарка направил трибуну и римскому народу пламенное послание, в котором заявлял: «Свобода среди вас — нет превыше нее ничего более сладостного или желаемого, и никогда ее не познаешь лучше, нежели тогда, когда утратишь... Кто бы стал колебаться: умереть ли свободным или жить в неволе?.. Вас окружают голодные стаи волков... Пусть из груди вашей исчезнет недостойная любовь к прежним тиранам, которая присуща вам, наверно, от долгой привычки. И раб до поры до времени поклоняется высокомерному господину, и птица, заключенная в клетку, заискивает перед своим хозяином, но раб, если может, сбрасывает оковы, а птица улетит, если только отворить клетку. Вы были невольниками, высокоуважаемые мужи, вы, кому все народы привыкли служить, вы, кто у своих ног видели королей, согнулись под властью горстки тиранов... Не знаю, чему больше удивляться: такому долготерпению римлян или безмерному высокомерию тех, других...»

Из-под его пера появляются такие слова, как «бесплодный дворянский титул», «разбойники», «меч мести», «отогнать хищных волков от овчарни», «уже троих поочередно Брутов мы прославляем: первый изгнал Гордого царя, второй — убил Юлия Цезаря, третий в наше время преследует тиранов изгнанием и смертью...» В обращении к трибуну он пишет: «Если не откажешься от верного совета, ни кровь, ни любовь тебя не остановят... Что касается этих людей или, вернее, бестий, любая суровость — праведна, любая жалость — противоестественна. Ты, муж превосходный, открыл себе путь к бессмертию. Ты должен выстоять... Ромул маленький город окружил ненадежным валом, ты самую большую из всех столиц окружаешь могучими стенами...» И заканчивает как бы отрывком из древнеримской молитвы: «Благоденствуй, наш Камилл, наш Брут, наш Ромул или

каким бы именем ты ни предпочел быть названным, благоденствуй, творец свободы, мира, спокойствия Рима».

Что же мог Петрарка ему предложить? Свое перо — и теперь он думает только о том, как служить словом доброй славе и доброму имени трибуна. А из Рима доходили добрые вести, похоже было, будто начался золотой век. Возросло благосостояние народа, житницы были полны хлеба, городские кассы стали богатыми, были расширены и отремонтированы больницы, с улиц исчезли голодные нищие. В письме к Клименту VI трибун мог похвастать, что в течение нескольких месяцев он умиротворил всю римскую провинцию, а Риму обеспечил такую широкую власть, какой у того не было уже много веков.

Кола ди Риенцо обладал богатой фантазией и пламенным даром слова. В своих мечтах и надеждах он переносил современников в новую эру. Regeneratio, renovatio — возрождение — впервые это слово было произнесено именно его устами. Он повторял его неустанно, словно бы подгонял упирающееся божество. Но ему не хватало благоразумия, чтобы укротить свою гордость, разжигаемую фантастическими грезами.

По всей Италии Кола ди Риенцо разослал гонцов с приглашением на торжество посвящения в рыцари. Гонцы несли в руках окованные серебром жезлы, и при виде их люди становились на колени, приветствуя этот символ объединения. И в Авиньон забрел один из таких послов с письмами трибуна. На него напали, сломали о его голову жезл, знак его неприкосновенности, вырвали сумку с письмами и на глазах у всех порвали. Это было неслыханное насилие над правами народа, и Кола ди Риенцо пожаловался на это папе. Петрарка в пылком письме обвинил Авиньон в варварских нравах.

Но Авиньон уже перестал благосклонно взирать на дерзкого трибуна. В самом деле, Кола ди Риенцо провозгласил свободными все итальянские земли, всем итальянцам дал римское гражданство, вложив новый смысл в старое понятие: populus Romanus. На штандарте трибуна появилось изображение волчицы с двумя царевичами-близнецами, а с его уст слетали резкие слова против чужих властителей, то есть против Германской империи. Возможно, что он и папство намеревался ограничить одной лишь духовной властью — dominium spirituale.

Все эти идеи были близки сердцу Петрарки. Он и сам не раз высказывал их осторожно в своих открытых письмах, искреннее и смелее в тех, которые под названием sine nomine, анонимных, хранил у себя. Но он был так нетерпелив, так возбужден, что засыпал трибуна Риенцо своими письмами.

«Нелегко сказать, муж превосходный, сколь сильно встревожен и обеспокоен я исходом твоих намерений. Бог мне свидетель, я считаю себя в известной мере соучастником твоих опасностей, трудов и славы. Не хочу, да и действительно не могу удержаться, чтобы не выступить в твою защиту, когда, случись, кто-нибудь в моем присутствии дерзко о тебе отзовется. Всем известно и каждый это подтвердит, с каким жаром и настойчивостью я всегда выступаю против тех, кто ставит под сомнение справедливость твоего управления, твою добрую волю и искренность, и не оглядываюсь назад, и не гляжу перед собой, кого уколю своим словом, кого раню. Неудивительно, что этим я оттолкнул от себя многих близких друзей. Говорю это, чтобы ты знал,— я с тобою и не издалека ожидаю конца, а нахожусь в строю и либо окажусь победителем — либо погибну в этой неимоверной битве. День мой проходит в заботах, ночью тревожат сны, и вот так мучаюсь, находясь во сне и бодрствуя одновременно, и никогда

не нахожу покоя. В таком состоянии единственным для меня утешением является перо...

Расскажу, что видел последней ночью или о чем думал, потому что сам не знаю, наяву ли это было или в полусне. Показалось мне, что я вижу тебя на каком-то возвышении в центре мира, на крутой горе, на ее вершине, такой высокой, что она достигла чуть ли не самого неба. По сравнению с нею все горы, какие я видел, все, о которых читал или слышал, могли бы показаться плоской равниной, даже сам Олимп, воспетый поэтами двух языков, был скромным пригорком. Облака касались твоих ног, солнце висело низко над головою, тебя окружала свита отважных мужей, а ты, посредине возвышаясь надо всеми, сидел на сверкающем троне, такой достойный и просветленный, что сам Феб мог бы тебе позавидовать.

Я бродил вокруг, а толпа людей собралась такая, что счесть ее было немыслимо, от удивления я не знал, что и подумать. Полагаю, что и двадцатая часть этого огромного сборища не населяла никогда земли. Кто-то из них в ответ на вопрос сказал, что здесь собрались народы не только нашего века, но и всех последующих. «А что они делают?» «Ожидают,— услышал я в ответ,— каков будет конец этого мужа (и он указал глазами на тебя), за которого, как видишь, борется не только земля, но и небо и звезды. Слышишь ли ты этот шум?» Я напряг слух и действительно услышал приглушенные раскаты грома из далекой тучи, словно бы приближалась гроза. «Марс,— сказал незнакомец,— угрожает молнией, но Юпитер спокоен». Я спросил: «Так что же ты думаешь? Чем окончится это ожидание?» «Один бог ведает»,— ответил тот.

Кола ди Риенцо смело направлялся к вершине. Он был уверен, что со временем заменит серебряную диадему трибуна на железную королевскую корону, а, кто знает, может, и на золотую корону — императора. В день святого Иоанна он ехал в Латеран на белом коне, что до сих пор было привилегией лишь папы и императора.

Трибун избрал Латеран местом, где он собирался принести рыцарскую присягу, назначенную на первое августа — день старинного праздника Feriae Augusti, установленного Октавианом после окончания гражданской войны четырнадцать веков тому назад и вошедшего как Феррагоста в живую традицию римского народа. Накануне праздника, 31 июля, в три часа дня, по городу шла огромная процессия: две тысячи гостей с разных концов Италии, посольства со штандартами, бароны из города и окрестностей, двести всадников и пятьсот женщин, пешком сопровождавших мать и супругу трибуна, и, наконец, сам Кола ди Риенцо в длинном одеянии из белого шелка, обшитого парчой, со скипетром в руке. Рядом с ним ехал папский наместник, перед ним несли меч, позади него — хоругвь.

Уже был вечер, когда процессия вступила на площадь перед Латеранской базиликой. Отозвались колокола. После торжественного богослужения в базилике трибун вошел в достославный баптистерий Сан-Джованни ин Фонте. В порфировой купели, в которой папа Сильвестр, по преданию, крестил некогда Константина Великого, совершил Кола ди Риенцо рыцарское омовение. На следующий день он опоясался мечом как рыцарь святого Духа. Даже статуя Марка Аврелия участвовала в этих торжествах: из ноздрей его бронзового коня с утра до ночи лилось по свинцовым трубам вино. Народ пил это вино, пел и плясал в сиянии августовского солнца.

Две недели спустя состоялась коронация трибуна в Санта-Мария Маджоре. Некоторые ее детали Кола ди Риенцо позаимствовал из церемонии увенчания Петрарки, воспоминания о которой еще были памятны. Ему сперва подали венок из дубовых листьев, ибо «он граж-

дан спас от смерти», затем венок из плюща, ибо «возлюбил религию», третьим был миртовый венок, поскольку «он верно исполняет свои обязанности», четвертым — венок из лавра, в знак того, что «полюбил науку, а корыстью пренебрег», под конец священник прихода Санта-Мария Маджоре вручил ему оливковый венок со словами: «Муж смиренный, прими этот оливковый венок, ибо смирением ты победил высокомерие». Все венки были сплетены из растений и ветвей деревьев, которые разрослись на триумфальной арке Константина. Наконец на голову Кола ди Риенцо надели серебряную диадему, вручили ему скипетр и серебряную державу.

Как будто наяву осуществилось видение Петрарки, в котором трибун явился поэту на головокружительной вершине. И словно бы послушавшись предостережений Петрарки, Кола ди Риенцо стал все круче и круче обращаться с римской аристократией. Так, в сентябре трибун пригласил выдающихся ее представителей на пиршество в Капитолии. В какой-то беседе Стефано Колонна сказал что-то неодобрительное о роскоши в одежде и о частной жизни трибуна. Кола переменился в лице, стал кричать, что его окружают враги, обвинил всех присутствующих в заговоре и велел отвести их в тюрьму. На другой день рано утром под зловещий звон колоколов узников ввели в зал, обитый белым и красным сукном. Ожидали суровых приговоров, между тем было объявлено помилование. «Зачем он выпустил этих волков из сети?» — возмущался Петрарка, когда ему рассказали об этом. Дом Колонна, в котором он чуть ли не был воспитан, обходил он теперь стороной. Там его обвиняли в предательстве и черной неблагодарности. Много лет спустя он говорил об этом так: «Нет для меня на целом свете семьи дороже княжеской семьи Колонна, меня связала с нею любовь и тесная дружба, но еще дороже мне Республика, дороже Рим, дороже Италия, дороже безопасность и честь порядочных людей».

Он не мог спокойно оставаться в своем одиночестве, его не удовлетворяли письма, которые он посылал и получал, ему хотелось быть вместе с трибуном в возрождающемся Риме, быть там, где занималась заря нового времени. 20 ноября 1347 года он отправился в Рим. Когда Петрарка проезжал мимо дома Колонна, его не покидало чувство, будто у окна стоит кардинал и следит за ним. С этим своим опекуном и другом он прощался в течение нескольких последних ночей, когда писал эклогу «Разрыв». Он сам, как пастух Амикл, говорил о себе, что идет за голосом сердца: хватит с него чужих нив и лесов.

Крепнет в сердце любовь к отчизне, властно зовущей:
Там в росистой траве прекрасней бледность фиалок,
Роз на кустах алее багрец и запах нежнее,
Чище родной ручеек, по равнине бегущий знакомой,
Слаще вкус у травы на лугах Авзонии милой.[1]

Далеко Петрарка не уехал. В Генуе его ждали новые вести. «Я,— писал он трибуну,— получил от друзей письма, в которых ты выглядишь совершенно изменившимся и в которых теперешняя твоя слава не напоминает прежнюю. Ты теперь любишь не народ, как прежде, а только худшую его часть, ей служишь, ей льстишь, ею восторгаешься... Неужели мир должен увидеть, как из вождя добрых ты становишься сателлитом недостойных? Неужто столь неожиданно перепутались наши звезды, а может, божество стало к нам неблагосклонным? Зачем я мучаюсь? Все будет так, как установлено извечным порядком, я не могу этого изменить, я могу только убежать. С открытою душою я спешил к тебе, теперь я возвращаюсь...»

[1] Перевод С. Ошерова.

Как безжалостны бывают даты! Это письмо, датированное в Генуе концом ноября, было уже надгробием величия и славы трибуна. Она испепелилась через несколько месяцев. Еще так недавно он победоносно выступал против крепостей баронов и, казалось, навсегда сокрушил их могущество, но тут в зените его триумфа на трибуна обрушился папский суд. Кола ди Риенцо предстал перед кардиналом Бертраном и сразу же был сломлен. Его покинула гордость, он стал безвольным, покорным и слабым. Он отрекся от всех своих титулов и званий, отменил декреты и после шести месяцев неограниченной власти тайком бежал из Рима и укрылся в горах.

Авиньон. Папский дворец.

Чума

Год 1348-й был годом невиданных бедствий. Только монахи, листавшие старые монастырские хроники, могли указать на нечто подобное в давние времена. Словно грозное предзнаменование, им предшествовало землетрясение в Италии и Германии. Несчастье пришло с Востока, вместе с кораблями, заходившими в порты Италии, Франции, Англии, Фландрии, тем самым путем, по которому во втором веке от Тихого до Атлантического океанов прокатилась огромная волна чумы.

В Европе признаки болезни были не те, что на Востоке, где обычным предвестником смерти было кровотечение из носа. Здесь первым признаком болезни были карбункулы, напоминавшие по форме яблоко или яйцо,— в народе их называли шишками. Они появлялись сначала в паху, потом расходились по всему телу, на руках и бедрах проступали черные или синие пятна, иногда большие и более редкие, иногда мелкие и расположенные более часто. Говорили, что так болели и умирали люди в Риме в конце VI века, когда в апостольскую столицу вступил Григорий Великий.

Власти приказывали очищать города, изолировать больных, некоторые общины закрыли ворота и велели никого не впускать, а когда чума все же проникала сквозь стены города, карали смертью стражников, обвиняя их в продажности. По улицам шествовали процессии кающихся, устраивались молебны, еще никогда богачи столь щедро не раздавали милостыню. Из старых пергаментов переписывались подходящие к этому случаю песни и молитвы. Астрологи утверждали, что причина всех напастей — несчастливое расположение небесных тел. Медики были беспомощны, хотя никогда не было их так много, как сейчас. Никому не известные прежде лекари, мужчины и женщины, не имевшие никакого представления о врачебном искусстве, придумывали самые удивительные средства. Монастырские

фармацевты обращались к своим записям и извлекали из них различные рецепты, которые некогда якобы оказались эффективными.

Больные умирали на третий день после появления первых признаков заболевания. От них заражались родные, соседи и все, кто только коснулся одежды больного или какого-нибудь предмета, который тот держал в руке. Больных избегали, люди запирались в своих домах, жили, отрезанные от мира, а когда чума проникала и к ним в дом, бежали, оставляя больных без присмотра. Здоровые по собственному разумению выбирали себе тот образ жизни, который больше соответствовал их склонностям. Одни искали спасения в воздержании, ели легкие кушанья, пили лучшие вина, но соблюдая умеренность, другие утверждали, что единственное лекарство от чумы — веселье, они не отказывали себе ни в чем, и случалось, что оставляли с носом безносую смерть.

Вид у них был зловещий. Сутками просиживали они в корчмах, харчевнях, мертвецки пьяные врывались в покинутые дома и грабили их сверху донизу, от подвала до чердака. Все законы пошли прахом. Многие их стражи и исполнители поумирали, другие лежали при смерти, а третьи, лишившись подчиненных, остались не у дел. Более рассудительными казались те, кто не укрывались в домах, не предавались буйству, спокойно ходили по улицам, с душистыми цветами и пахучими травами в руках, убежденные, что эти травы и коренья, их благоухание придаст им сил и здоровья. Полезным, по крайней мере, было уже то, что таким образом им удавалось хоть отчасти спастись от царившего в городе зловония разлагающихся трупов и смрада больных.

Все, кто мог, бежали. Куда? Об этом не думали. Лишь бы очутиться где-нибудь в другом месте. Случалось, что люди, покидающие город, встречали у ворот таких же беженцев из других городов, искавших убежище именно здесь. Люди покидали все: дома, имущество, семьи. Брат оставлял брата, муж — жену, даже родители убегали от детей, обнаружив у них признаки болезни. Но находились и охотники, соглашавшиеся за плату присмотреть за больными. Правда, больше, чем на оплату, они рассчитывали на хозяйское имущество и нередко сами умирали на пороге дома среди награбленного добра.

По мере того как зараза опустошала страну, живые все меньше заботились о мертвых. Хоронили их как попало, лишь бы поскорее с этим покончить, и под конец трупы стали просто выбрасывать на улицы, где их подбирали могильщики. На одних носилках несли по нескольку трупов, вскоре стало не хватать гробов. «О покойниках беспокоились не больше, чем о дохлых козах»,— говорит Боккаччо. Вскоре умершие утратили право не только на собственный гроб, но и на собственную могилу. В глубокие рвы сбрасывали сотни трупов.

В деревнях не было и этого. Люди умирали на полях, на дорогах, в лесах. О них самих и об их опустевших домах, в которых никого не осталось в живых, знали только вороны. Лишенные какой бы то ни было помощи, словно проклятые человеческим обществом, крестьяне ежечасно ждали смерти и совершенно забросили свои хозяйства. Никто не обрабатывал поля, не заглядывал в виноградники и сады, домашние животные шли под нож на ужин, который нередко оказывался последним. А те из них, кого пощадил нож, ибо рука хозяина уже окостенела, разбегались и, бездомные, бродили по окрестностям. Немало зáмков, возвышавшихся над окрестными деревнями и встречавших гостей скрежетом подъемных мостов, сигналами труб стражей, звоном колоколов в часовнях, стояли теперь безмолвными, и никто не знал, сбежали оттуда люди или умерли.

Петрарка все время находился в разъездах. Из Вероны он перебрался в Парму, из Пармы в Феррару, наведывался то на Капри, то в Падую. Не заглядывал он только в Авиньон, который совсем обезлюдел. В нем насчитывали свыше ста тысяч умерших. Тогда не принято было заниматься статистикой и только по числу умерших определяли, сколько живых носила год назад животворная земля. А кто из оставшихся доживет до нового года?

Среди могил и покойников Петрарке всюду мерещилась смерть. Он убегал от нее под опеку магнатов или просто куда глаза глядят. Его вечно мучило чувство страха, ему казалось, что вокруг него мало простора, что он лишен свободы. Петрарка убегал из тесных улиц, из перенаселенных городов, из домов и только в дороге чувствовал себя хозяином положения. Странствия были ему так же необходимы, как воздух, как открытое небо над головою. Это был прирожденный бродяга, и даже язык его — язык странника, в котором то и дело мелькают такие слова, как дорога, тропа, поле, странствие, корабль, путь, конь, поклажа. Ими насыщена не только прямая речь, но и поэтические образы, сравнения и метафоры. Теперь смерть схватила за узду его коня и гнала из города в город по лесам, полям и бездорожью. Он убегал от мира, который близился к своему концу. «Уже день нашей эпохи клонится к закату».

На одной из стоянок он написал стихотворение «Ad se ipsum» — «Себе самому», в котором рассказал о тогдашних тревожных днях. Он убегает, но куда? «Ни море, ни земля, ни горы не дают пристанища». Напрасно он укоряет себя в трусости, напрасно встревоженно говорит себе о тщетности человеческих усилий — все равно он хочет жить! Страх и надежда днем и ночью борются в его сердце, он ничего уже не знает, звезды на его небосклоне погасли, без проводника оказался несчастный гость бренного тела...

Совсем иным был брат его Джерардо. Настоятель монастыря, в котором обитал Джерардо, до тех пор человек деятельный и энергичный, перед лицом бедствия совсем потерял голову и советовал всем монахам бежать из обители. Куда? Где та обетованная земля, где тот Арарат? Он ни о чем и слушать не хотел. Но брат Джерардо отказал настоятелю в послушании. «Погибнешь здесь в запустении, и даже могилы у тебя не будет!» — кричал настоятель. Брат Джерардо ответил, что никогда не заботился о своей могиле. Настоятель уехал и с ним часть монахов. Однако чума не пощадила их, настоятель погиб первым в тех краях, что казались ему безопасными.

Человек тридцать осталось в монастыре с братом Джерардо. Но и сюда пришла чума и забирала людей одного за другим. Брат Джерардо ухаживал за больными и сам хоронил умерших. Он один уцелел. Когда на монастырь нападали разбойники, ему удавалось успешно отражать нападения, монастырский колокол всегда звонил в положенное время, давая соседним селам знать, что не дремлет мужественное сердце Джерардо. Когда, наконец, чума отступила, он стал подумывать о заселении монастыря. И брат Джерардо ввел в стены монастыря, уцелевшие только благодаря ему, новых монахов вместе с новым настоятелем. С удивлением смотрели они на человека, который вышел из этой героической борьбы здоровым, бодрым, веселым. Со слезами на глазах слушал Петрарка эти вести, и Джерардо показался ему все тем же юношей, который легко перепрыгивал через скалы и утесы Ветреной горы.

Огромные опустошения произвела чума и в жизни Петрарки. Много близких умерло. В Париже скончался Роберто де Барди, во Флоренции — Сеньуччо дель Бене, в Авиньоне — кардинал Джованни Колонна. Ни с одним из них он не попрощался, а с кардиналом, кото-

рый был для него вторым отцом, не успел помириться. Вражда современ римского трибуна осталась теперь между ними навеки. Не попрощался он и с Лаурою. Известие о ее смерти он получил в Вероне и сделал запись об этом в экземпляре своего Вергилия. Он пишет, что сообщил ему об этом Людовик. Не был ли это тот самый Людовик из Кемпена, которого он всегда называл Сократом? Странно, что в этой записи Петрарка называет его по имени. А может, это был другой Людовик, кто-то из близких Лауры?

Чума прошла, оставляя за собой обезлюдевшие города, опустевшие деревни, покинутые поля, сады и виноградники, разоренные хозяйства, скорбь в сердцах и заброшенные кладбища. Но не успели еще люди передохнуть, как грянуло новое бедствие — землетрясение. Похоже было, будто действительно близок конец света. С ужасом слушали люди вести из Рима. Латеранская базилика наполовину обвалилась, церковь святого Павла стояла в обломках, башни, стены, дома были разрушены. Вечный город лежал в руинах, но все же по-прежнему являл собой символ судеб всего человечества. А люди со дня на день ждали все новых бедствий — теперь уже неотвратимых.

Боккаччо

1350 год папа огласил anno santo — святым годом. После рождества 1349 года, едва миновала чума, из всех европейских стран в Рим направились паломники. Как же примет их Рим, на который обрушилось двойное несчастье — чума и землетрясение? Кто найдет в нем пристанище? Таверны, постоялые дворы, харчевни — а их осталось совсем мало, ведь Рим отвык от гостей — сразу же были переполнены; люди искали приют в частных домах, и весь город превратился в сплошной постоялый двор. Каждый домовладелец стал хозяином постоялого двора. Но все равно для всех мест не хватало, приходилось ночевать под открытым небом, возле костров. Таким ночлегом были вынуждены довольствоваться те, кому пребывание в Риме оказалось не по карману. Цены возросли непомерно, люди жаловались на нехватку сена, соломы, топлива, рыбы и овощей, только мяса всегда было вдоволь, и стоило оно не очень дорого. Римлян упрекали в жадности, многие придерживали хлеб и вино, пока они не подорожали. Обедневший город хотел обогатиться за один год.

Паломники не находили здесь почти ничего, кроме памятников старины да преданий. Все, что некогда было украшением города, лежало в развалинах или находилось в полном запустении. Тем фанатичнее молились они на могилах апостолов, а когда в воскресенье или в праздники в соборе святого Петра показывали Santo Sudario [1], толчея была неимоверная, возникали даже опасения, что старые стены собора не выдержат и рухнут под натиском толпы. Старые люди, помнившие последний юбилейный год пятидесятилетней давности, с грустью взирали на эти ужасные перемены. Теперь в Риме не было папы, а тогда в столице Петра восседал великолепный Бонифаций VIII, последний из могущественных пап, которому подчинялись императоры и короли.

Молодежь, в свою очередь, с грустью смотрела на Капитолий, где уже не развевалась хоругвь трибуна. Никто не знал, что с ним сталось. Одни говорили, что он в Абруццах и ведет жизнь отшельника, другие — что трибун отправился в Святую землю, а некоторые гото-

[1] Так называемый платок святой Вероники *(прим. автора)*.

вы были поклясться, что опознали его в толпе паломников. Но все эти слухи быстро забывались, так как на поверку оказывались лишь безосновательными домыслами.

Петрарка только в конце лета собрался в путь. Пятый раз в жизни он ехал в Рим. Но на этот раз не с французской земли, а с итальянской, поэтому он не думал об удобном морском пути и не спешил. Он и не мог спешить, ибо это были уже не те времена, когда можно было ехать налегке, вдвоем или втроем. Хотя это путешествие не было путешествием важного синьора или сановника, все же оно оказалось достойным столь любимого поэта. Каждый город хотел видеть его своим гостем, и в каждом городе кто-нибудь да присоединялся к его свите. Так Петрарка въехал во Флоренцию.

Флоренция не обладала для него очарованием отчизны, здесь не было ничего, что могло бы поразить человека, который знал Париж, Неаполь, авиньонские дворцы и замки почти всех итальянских князей. В отличие от Данте, сердце которого трепетало при одном лишь воспоминании о mio bel San Giovanni [1], Петрарка остался холоден к этому городу. Флоренция значила для него гораздо меньше, чем Рим, где самая обыкновенная мостовая становилась для поэта дорогой мечтаний и возвышенных раздумий. Разумеется, Флоренция испытала куда больше, чем другие города, начиная от древних этрусков, но кто думал в те времена об этрусках, могилы, картины и скульптуры которых еще были погребены в земле? Зато история этого города никогда не знала отдыха, и незачем было искать в ней вчерашний день.

Петрарка осматривал средневековый город, где Палаццо Веккьо уже бросал свою неровную тень на площадь Синьории, но над Санта-Мария дель Фьоре еще не возвышался купол Брунеллески. В пролетах Понте Веккьо над желтым Арно, как и сегодня, словно птичьи гнезда, лепились многочисленные ювелирные лавчонки. В их розовых или голубых стенах был заключен сказочный мир, мир чудесных золотых изделий, которые просеивали, примеряли тонкие руки высоких, стройных девушек с полными губами, светлоглазых, светловолосых или же с волосами цвета каштана. Еще не воплотил их в бронзу и мрамор Донателло, еще не восторгался ими Боттичелли, а Гирландайо не заселил ими пресвитерию в церкви Санта-Мария Новелла. С ее стен смотрели тогда суровые фрески Орканьи, это был мир Джотто, красочная колокольня которого уже поблескивала на солнце, в этом aero cristallino — прозрачном флорентийском воздухе, ожидающем зорь Возрождения. Он один в этом городе был предвестником Ренессанса.

Сын изгнанника чувствовал себя тут очень неуютно, даже было как-то неспокойно на душе, особенно если он шел мимо дома Портинари, из которого некогда выходила Беатриче, мимо находящегося неподалеку другого дома, из которого украдкой бежал его отец с тем, чтобы уже больше сюда не вернуться, или же мимо маленькой, величиной с платок, площади с узким домом на краю, откуда тем же вихрем был выброшен Данте.

Он чувствовал себя чужим на этих шумных улочках, в этом котле, кипевшем тысячью страстей «в пределах одной стены и рва». Почести, которые ему оказывали, он принимал весьма сдержанно, это можно было считать скромностью. Истинную свободу он находил только в кругу верных друзей. Больше всего его привлекал Джованни Боккаччо.

Сын флорентийского купца и неизвестной парижанки, моложе Петрарки на девять лет, живой, остроумный весельчак, известный

[1] Моем прекрасном Сан-Джованни *(итал.)*.

своими любовными приключениями, стихами и новеллами, он краснел и смущался, как студент, в обществе поэта, увенчанного лаврами на Капитолии. Боккаччо любил и почитал Петрарку с давних пор. Знал наизусть его сонеты и в подражание им сочинял собственные, старался не упустить ничего из его латинской прозы, писал «Bucolicum carmen» [1] тем же стилем и с такими же запутанными аллегориями, сто раз принимался за письмо, в котором хотел высказать свое восхищение творцу «Африки», а сейчас не находил слов, чтобы хладнокровно отвечать на его вопросы. Под сенью громкой славы Петрарки он чувствовал себя лишенным собственной славы, более того, она казалась ему незаслуженно шумной.

Встретившись, они долго смотрели друг на друга. Они были одинакового роста. Боккаччо внимательно изучал это смуглое благородное лицо с тонкими губами, останавливал взгляд на достойных прекрасного рисунка руках, и он не был бы сыном флорентийского купца, если бы не заметил и не оценил изящного одеяния Петрарки и великолепного сукна, из которого оно было сшито. Петрарка с интересом следил за беспокойными движениями этого высокого, сильного человека, который, хотя ему еще и не было сорока, уже начинал седеть и обнаруживал склонность к полноте. Припомнились ему и неаполитанские сплетни о любви Боккаччо и Марии, родной дочери короля Роберта. Встретилась эта странная пара в церкви Сан-Лоренцо Маджоре. Лаура? Беатриче? Вовсе нет. Боккаччо не был ни мечтателем, ни трубадуром. Он любил и был любим своей возлюбленной, писал не только для нее, но и в ее присутствии. А когда он с ней расстался, из-под его пера вышла «Элегия мадонны Фьяметты», посвященная всем влюбленным дамам, первый дневник покинутой женщины, скорбный плач раненой любви, не надуманный, а правдивый и душераздирающий, как голос живого человека.

Петрарке известно было обо всем этом понаслышке, ни одной из его книг он не читал и промолчал, узнав, что Боккаччо занят сочинением большого сборника новелл. Его заинтересовало только название книги: «Декамерон». Он спросил Боккаччо, знает ли тот греческий. «Увы, всего лишь несколько слов». «Так же, как и я»,— ответил Петрарка и рассказал ему о своих занятиях греческим.

За несколько лет до того в Авиньоне появился некто Варлаам, родом из Калабрии, грек и в прошлом греческой веры, от которой он отрекся и принял католичество. Петрарка завел с ним знакомство, перешедшее в дружбу. Они встречались ежедневно, и Варлаам стал учить его греческому языку по рукописи Платона. Варлаам получил от этих уроков больше, чем его ученик: он изучал латынь, которую знал плохо, и благодаря протекции Петрарки получил епископство в родной Калабрии. Через несколько месяцев он покинул Авиньон, и это краткое обучение было прервано. Других учителей у Петрарки не было. Боккаччо дал Петрарке слово, что не успокоится, пока не найдет грека, способного научить его греческому. «Это необходимо,— сказал Петрарка,— пусть, по крайней мере, один из нас хорошо изучит этот язык. Без него мы оба хромаем на одну ногу».

Несколько дней они были почти неразлучны, проводили вместе каждый свободный час. Боккаччо открыл Петрарке свои замыслы. Он хотел написать произведение «De claris mulieribus» — «О славных женщинах», как бы в дополнение петрарковского «De viris illustribus», но больше всего был ему по душе труд «Genealogia deorum» — «Генеалогия богов», в которой каждый мог бы найти сведения о древних

[1] «Буколики» *(лат.)*.

богах. Петрарка одобрил и горячо поддержал его — это были труды, достойные столь блестящего ума.

Петрарка просматривал книги, которые были гордостью и величайшим сокровищем Боккаччо. Среди них он обнаружил копии собственных произведений, сонеты, письма, разные мелочи. Но больше всего интересовался он античными писателями. Ничего нового в этом собрании он не нашел, однако некоторые кодексы были более сохранными, чем те, которые имелись у него. Боккаччо рассказывал о своих посещениях монастырских библиотек на Монте-Кассино, в Гротта Феррата. «Не поверишь, какие это руины, как все разрушено».

Это Петрарка знал по собственному опыту. Но не следует ни разочаровываться, ни сомневаться, думал он: нам не известен ни день, ни час, когда в наши руки попадет какое-нибудь забытое произведение античных писателей. В эту минуту вошел Лапо ди Кастильонкьо — он хоть и был юристом по профессии, но великолепно знал литературу. Страстный коллекционер, собиратель античных авторов, он нашел несколько сочинений Цицерона, которые незадолго до того переслал Петрарке. Они переписывались, Лапо копировал также письма Петрарки для других лиц. В этот раз он на прощание сунул поэту в сундук какую-то заплесневелую книгу.

— Что это?

— Увидишь.

Для более продолжительного разговора не было времени — кони ждали возле дома.

Путешествие оказалось неудачным. Недалеко от Больсены конь взбрыкнул и Петрарка поранил ногу. Пока они доехали до Рима, рана загноилась, Петрарка опасался, что лишится ноги. К нему на помощь были созваны лучшие хирурги — из всех врачей он доверял только хирургам. Благодаря их стараниям через несколько недель поэт мог уже передвигаться. Он немножко прихрамывал, но ничуть не больше, чем прежде, а это у него было с детства. Еще прикованный к постели, он описал свое приключение в письме к Боккаччо. И закончил его следующими словами: «Пишу тебе, мой друг, еще лежа в кровати, что, впрочем, видно из самого начертания букв, и пишу не для того, чтобы ты посочувствовал мне, а чтобы ты порадовался, что я перенес это с полным спокойствием духа и точно так же перенесу и худшее, если случится. Живи счастливо и будь здоров, а обо мне не забывай».

Это письмо, написанное «в ночной тиши», было первым посланием и началом их многолетней дружбы. С этого времени они не перестают переписываться, думать друг о друге, мечтать о новой встрече, обмениваться книгами, все теснее, все прочнее становятся их дружеские отношения. Лишь через четыре столетия Гёте и Шиллер повторят этот образец дружбы двух великих писателей, которые в одном и том же столетии делят между собою славу и гордость своего народа. Сегодня говорят: Петрарка и Боккаччо, одному отдавая первенство в поэтическом мастерстве, другому — в итальянской прозе. И действительно, трудно не поражаться, что в середине XIV столетия, через сто лет после первых неуклюжих попыток передать факты и мысли на итальянском языке, он приобрел под пером Боккаччо такое богатство и совершенство.

Никто так, как он, не сумел соединить в одно целое изысканные обороты поэзии stil nuovo [1] с тогдашним городским разговорным языком, в котором звучит гомон тесных улиц, заполненных криками продавцов и грохотом маленьких мастерских ремесленников, никто до него не пытался сажать цветы и сеять траву на городской мостовой,

[1] Нового стиля *(итал.)*.

загонять в гущу домов веселый ветер полей, никто не умел из шероховатых слов извлечь нежную мелодию, напоминающую шум деревьев в летнюю ночь, и не в силах был по ступеням коротких фраз подняться к огромным, разветвленным периодам. Они были построены по античному образцу, но так, как вскоре будут строить архитекторы Ренессанса, мастера фасадов с широкими окнами и мощными карнизами, бросающими тень на весь верхний этаж.

Сознавая свое мастерство, Боккаччо, однако, недооценивал значимости своих произведений, но все же относился к ним куда благосклоннее и нежнее, нежели Петрарка, совершенно пренебрегавший ими. Все эти новеллы и рассказы были для него лишь «развлекательной литературой», более высокой, чем ярмарочные творения, народные прибаутки и притчи, но родственной им по жанру, более высокие по языку и стилю, они все же принадлежали к той убогой «простонародной» литературе, которая отвечала потребностям текущего момента, но не имела права рассчитывать на будущие столетия. Несравненно важнее всех «Декамеронов», которые писал его друг, была для Петрарки та заплесневелая книга, которую сунул ему в сундук Лапо ди Кастильонкьо. Только особым стечением обстоятельств: несчастьем с ногой, болезнью, а потом и всевозможными делами в конце юбилейного года в Риме можно объяснить тот невероятный факт, что он взялся за этот драгоценный фолиант только на обратном пути, в Ареццо.

Город встретил Петрарку великими почестями. Ему показали оберегаемый с большим пиететом дом, в котором он родился. Ни один поэт до него не переступал еще порог своего детства с таким чувством, будто входит в музей. Но вот после всех оваций и приемов Петрарка нашел наконец свободную минуту и заглянул в рукопись, которую дал ему Лапо. С тех пор ничто уже для него не существовало. Напрасно стучались в его двери — Петрарка не велел никого впускать. Он оправдывался тем, что принимает у себя очень высокого гостя.

В самом деле, это был необыкновенный гость: желанный, долгожданный, которого не раз ждали понапрасну, и вдруг он явился неожиданно, как Одиссей в Итаку, король в лохмотьях — Квинтилиан!

Мало ныне на свете людей, кого согревает это имя, и, пожалуй, ни в ком оно не вызывает такого неподдельного восторга, какой пробудило в тот декабрьский день у Петрарки. Это имя пользуется неизменным и большим уважением у филологов и историков литературы, идущих по следам его странствия im Wandel der Jahrhunderte [1]. Это имя носил с заслуженной гордостью ритор I века, испанец родом, во времена Флавиев содержавший школу красноречия в Риме. Он и сам выступал как адвокат в знаменитых процессах, находился в дружеских отношениях с семьей императора, оставил немало произведений, в числе их знаменитое «De institutione oratoria» — «О воспитании оратора». Тонкий исследователь стиля, великолепный теоретик красноречия, которого внимательно изучали в последние века античности, он был хорошо известен и в раннем средневековье, а потом затерялся, как множество других, где-то между XII и XIII веками.

Петрарка читал только те «декламации», которые ходили под его именем, и сразу распознал бы фальшивку. Сейчас он держал «Воспитание оратора», которое так долго разыскивал. Экземпляр был совершенно истрепан. Не хватало нескольких книг, а в тех, что уцелели, было множество пробелов. Рукопись была небрежной и пестрела ошибками. Преисполненный восторга от того, что стал обладателем такого сокровища, и тревожась при мысли, что, возможно, где-то еще находится затерянное, Петрарка, по своему обыкновению, чтобы по-

[1] Здесь: в глубину веков *(нем.)*.

делиться тем, что творилось в его душе, написал письмо, обращенное к духу Квинтилиана. Он датировал его из Ареццо: «В горном мире, между правым склоном Апеннин и правым берегом Арно, в моем родном городе, где впервые удалось мне познакомиться с тобой, 7 декабря года от Рождества Христова, которого твой господин [1] предпочитал не признавать, а преследовать, 1350». В сборнике писем Петрарки, хранимом во Флоренции, почтенный Лапо ди Кастильонкьо дописал рядом с этими словами: «Говоришь правду, ибо я дал тебе его во времена твоего римского путешествия, а до этого никто его не видел».

Петрарка обращался к Квинтилиану, как будто тот мог ему что-то посоветовать: «Мне хочется еще только одного: увидеть твое творение полностью, и где б ты ни был, молю тебя — не прячься больше». Таково было общение гуманистов, живых и мертвых, словно бы светский вариант торжествующей и воинствующей церкви. Действительно, полный текст Квинтилиана существовал, но был надежно укрыт в монастыре в Сен-Галлен, где его обнаружил Поджо Браччолини лишь спустя шестьдесят пять лет, зимой 1415—1416 годов.

Рукопись, которая была собственностью Петрарки, ныне хранится в Париже, и каждая ее страница свидетельствует о его волнениях, радости, восторге. Поминутно он брался за перо, чтобы подчеркнуть ту или иную фразу и выделить восклицанием: «Слушайте, чересчур снисходительные родители!» «Послушай, легкомысленный подражатель!» «Запомни это, проповедник!» «Внимание, жадные и хищные адвокаты!» «Помните об этом, ослы, коих я не удостою никаким именем!» «Послушайте, надутые ничтожеством схоласты!» Петрарка всех их вытащил на поля этой книги, словно грозный судия. Все, чье невежество, глупость, высокомерие не раз выводили его из себя, стояли перед этим голосом разума и науки, голосом таким близким, словно он был его собственным. Он поминутно удивлялся, радовался, и его перо снова кричало: «Прекрасно!» «Великолепно!» «Чистая правда!» «Встань и смотри!»

Но больше всего волнуют те места, где он разговаривает сам с собою: «Сильван, послушай, речь о тебе!» «Читай внимательно, Сильван!» «А это снова против тебя, Сильван. Ответишь в трактате об одинокой жизни!» Спустя несколько лет он дописал: «Я ответил по мере своих возможностей». Сильванус — лесной — это он, сам Петрарка, персонаж одной из своих эклог. Имя это так к нему пристало, что друзья часто его так и называли. А здесь на полях рукописи Квинтилиана оно звучит, как самое ласковое обращение.

С волнением и восторгом читал Петрарка эти страницы, точно присланный с того света дневник его собственных исследований, размышлений и дум. Увлеченный этой близостью взглядов, он комментировал их на полях книги отдельными примерами из своей жизни, воспоминаниями. Это было торжество его литературной доктрины, которую он завоевал собственным трудом, в полном одиночестве, вопреки почти всему, чем жил его век, и голос знаменитого учителя стольких поколений, согражданина величественной античности подкреплял и как бы освящал его труд. Теперь он уже не сомневался в правильности своего пути. Он решил оживить традиции латинской литературы и вот он получил подтверждение тому, что действительно был призван совершить это. В течение двух последующих столетий светлейшие умы Европы думали и чувствовали так, как чувствовал и думал в эти декабрьские дни 1350 года, склонившись над потрепанным кодексом Квинтилиана, Петрарка — отец гуманизма.

[1] Домициан *(прим. автора)*.

По пути из Ареццо он не мог миновать Флоренции, он должен был еще раз, и еще горячее, нежели до этого, поблагодарить синьора ди Кастильонкьо, а также снова встретиться с Боккаччо, дружба с которым, как и каждое новое чувство, требовала новых встреч. Они снова были очарованы друг другом. Когда прощались, у Боккаччо блестели на глазах слезы. «Мы не можем быть так далеко друг от друга»,— повторял он.

После отъезда Петрарки Боккаччо решил действовать. С помощью всех друзей и почитателей Петрарки во Флоренции он без особого труда убедил городские власти, что необходимо что-то сделать для великого поэта. Рим увенчал его лаврами, Париж добивался того же, Авиньон осыпает его бенефициями — Флоренция должна вернуть ему отчизну. Именно это было изложено в письме, одном из наиболее волнующих писем, которые когда-либо получал Петрарка из родного города.

Высокочтимому Франческо Петрарке,
Канонику падуанскому,
увенчанному лаврами Поэту,
дражайшему нашему Согражданину —
Приор искусств и Гонфалоньер Справедливости
Народа и города Флоренции

«Давно уже до наших ушей и сердец дошла слава твоего имени, любимейший наш Согражданин, счастливый отпрыск нашей отчизны...»

Что же они ему предлагают? «Праотцовские нивы», некогда отнятые у его отца, а ныне выкупленные у частных лиц. «Скромный это дар, но ты сумеешь его оценить, зная законы нашего города, ибо ни для кого еще не было сделано ничего подобного. Так вот, ты можешь свободно проживать в городе, в котором ты родился. Неужто тебя не привлекает возможность вернуться в родной город, краше которого, а это можно сказать с уверенностью, нет во всей Италии?»

Письмо длинное, пересыпанное цитатами из Вергилия, Саллюстия, Энния, Лукана, в ход были пущены комплименты, перед которыми не устояло бы даже самое требовательное тщеславие: «ты овеял славою наш век», «мы поздравляем себя и нашу родину, которая дала такого великого сына», «ты — единственный и несравненный, такого не видели минувшие века и не увидят будущие», «ты — свет и блеск нашей отчизны»... В последней фразе сказано, что письмо отвезет «наш чрезвычайный посол» Джованни Боккаччо.

Боккаччо нашел Петрарку в Падуе и получил не менее красноречивый ответ. Петрарка рассыпался в словах благодарности, уверял в своей радости и гордости, которыми его наполняет столь необычайно высокая честь. «Что касается моего возвращения, бог свидетель, как страстно я желаю подчиниться вашим приказам, но не все можно высказать в письме, я поручаю это живому слову вашего посла. Славный муж, Джованни Боккаччо, из рук которого я получил это письмо, передаст вам мои чувства столь же верно, как если бы я сам высказал их перед вами».

Неизвестно, какого рода было это поручение, можно предполагать, что то была либо дипломатическая отговорка, либо торг о соответственном имущественном наделе. Флоренция была скупа. Боккаччо, которого посылали с различными миссиями, платили столь же скупо, как и сто лет спустя Макиавелли, которому не однажды приходилось стыдиться своего убожества при пышных дворах, где он бывал послом. Принимая приглашение Флоренции, Петрарка вынужден был бы отказаться от ряда приходов, обеспечивавших ему вполне при-

личное содержание, поэтому ему следовало или постараться получить такие же бенефиции в пределах Флоренции, или каким-то иным образом покрыть убытки. Все свидетельствует о том, что Петрарка не торопился воспользоваться почетным приглашением и был скорее им озабочен.

Он не доверял своему городу. Тревога, всегда охватывавшая его среди тесных улиц и стен с закрытыми воротами и бастионами, та тревога, которая гнала его на открытые дороги и поля, овладевала им теперь при одной только мысли о Флоренции. Эта «пятая стихия», как некогда Бонифаций VIII назвал бурный город, не соответствовала нраву поэта, всегда склонного к одиночеству и покою, а с годами еще больше стремившегося к безопасности и тишине. Петрарка не надеялся найти это во Флоренции.

Флоренция была огорчена. Чего же хотел этот человек, переменчивый, как осенняя погода? Ведь не кто иной, как он сам, в стихотворном послании к Зенобио да Страда домогался приглашения в город, который изгнал его отца. Ведь это он перечислял в гекзаметрах все города, которые звали его к себе и оказывали ему почести, всех князей, которые предлагали ему свою дружбу только для того, чтобы в конце словами горечи и раздражения упрекнуть Флоренцию за ее молчание. Теперь, когда наконец она, отбросив спесь, заговорила чуть ли не со смирением, он ответил высокомерно и вел себя так, словно собирался засунуть их письмо вместе со старыми бумагами в ящик стола. Боккаччо выслушал от своих земляков немало горьких слов, а Флоренция в конце концов взяла обратно свой дар, и о возвращении Петрарки больше не было речи.

Он думал о другом возвращении. Его вдруг с неотразимой силой охватила тоска по приюту отшельника в Воклюзе, где он не был четыре года, по роскошным полям, виноградникам, оливковым рощам, по книгам, которые он там оставил, по дому, полному воспоминаний и снов, по незаконченным трудам. Пресыщенный обществом людей и собственной славой, он хотел укрыться в уединении, помнящем его безымянные дни. Он вернулся в разгар лета, когда виноградные гроздья золотились на лозах, сплетенных по итальянскому способу в гирлянды, от дерева к дереву, когда сад был румяным от яблок, а Сорг, бежавший по камням, скандировал свою бессмертную эклогу.

S.P.Q.R.[1]

Тем не менее Петрарка не мог остаться в уединении. Давно уже дорога из Авиньона в Воклюз не видела столько экипажей, столько конных и пеших путников. Прекрасная пора года благоприятствовала этим экскурсиям и в какой-то мере оправдывала их в глазах недовольного поэта, который вынужден был принимать все новых и новых гостей. Местные жители, удивленные числом кардиналов, епископов, аббатов, которые чередой съезжались к истокам Сорга, терялись в догадках и полагали, что, наверно, сам папа проводит лето в этих краях. Более осведомленные соседи Петрарки не разуверяли их в этом, опасаясь, что их поднимут на смех, если они скажут, что цель всех этих странствий — скромный домик поэта в Воклюзе.

Авиньон никак не хотел согласиться с тем, что Петрарка снова уединился в деревне, среди книг и бумаг. В курии, где он был с коротким визитом сразу же после приезда, его приняли с большой преду-

[1] S.P.Q.R. — Senatus Populusque Romanus — Сенат и народ Рима *(лат.)*.

предительностью и с тех пор не давали покоя, предлагая должность апостольского секретаря. Но Петрарка решительно отказался. Даже в молодости он всячески избегал официальных должностей, и теперь, в расцвете славы, пойти на службу в какое-нибудь беспокойное учреждение казалось ему величайшей глупостью. Зато он принял приглашение комиссии кардиналов, избранной для выработки новой конституции Рима, и переслал им свое мнение в двух посланиях.

Не вникая в детали, касающиеся структуры управления и учреждений, городского ополчения или налоговой системы, Петрарка писал о величии Рима и славе вечного города, чуть ли не в каждой фразе прибегая к словам Respublica Romana, и примеры брал из эпохи республики, как бы перескакивая через Римскую империю явно для того, чтобы так же обойти молчанием и ее средневековую имитацию — Римскую империю германской нации.

В этом он был понятен и современен, ибо требовал для Рима правительства, опирающегося на самих римлян, на римский народ, который завоевал это право еще в прадавней борьбе с патрициями. Требуя устранить от правления чужеземных пришельцев, Петрарка употреблял те же страстные слова, которыми некогда разжигал гнев римского трибуна против баронов. Он считал их чужаками, потомками германских родов, захватчиками, и, в сущности, его удар был направлен против самой феодальной системы, чуждой латинскому духу, создавшему собственную демократию еще в те времена, когда германцы жили в лесах, как дикие звери. Что же тут ломать голову над строем Рима, когда он на вечные времена был утвержден в этих священных буквах — S. P. Q. R.— Senatus Populusque Romanus! Достаточно вдохнуть в них новую жизнь, достаточно вернуть им прежнюю силу и славу.

Со страницы, на которой он писал, словно водяной знак, проступал облик трибуна. Петрарка откладывал перо и всматривался в голую стену, на которой виднелась тень его головы, прикрытой капюшоном, колеблющимся вместе с огоньком свечи в подсвечнике. Где ты, Никколо?

Никколо был в Праге, в тюрьме. Император Карл IV, под покровительство которого бежал Кола ди Риенцо, долго не знал, что делать с изгнанником. Кола удивил его и ошеломил. Он забрасывал императора письмами, в которых то оправдывал свои действия, то снова строил необыкновенные планы. Говорил о папской тиаре, о золотой короне императора и серебряной — трибуна, который будет князем Рима. Церковь нужно реформировать, писал он, вернуть ей прежнее достоинство в евангельском убожестве. Император сдерживал его, как мог: hortamur ut dimittas fantastica — напоминаем тебе, чтоб ты отказался от этих фантазий. В конце концов, узнав, что в Авиньоне Кола ди Риенцо обвиняют в ереси, он стал его опасаться и отдал пражскому архиепископу. Архиепископ некоторое время подержал Никколо под арестом, ожидая более четких указаний из Авиньона. Наконец папа потребовал вернуть узника.

«Недавно,— сообщал Петрарка своему флорентийскому другу Нелли,— в курию пришел, вернее не пришел, а его привели как пленника, Никколо, сын Лоренцо, некогда грозный трибун Рима, а ныне несчастнейший из людей, хотя я не совсем уверен, достоин ли в своем несчастье жалости тот, кто, имея возможность с такой славой погибнуть на Капитолии, предпочел сидеть в тюрьме, сперва в Чехии, потом в Лиможе, и тем самым выставить на посмешище имя Рима и Республики. Больше, чем я бы того хотел, известно, сколь часто мое перо занималось его именем и славою. Я любил в нем добродетель, прославлял его намерения, восхищался его духом; я поздравлял Италию и

благословенный город с приобретением новой власти, предсказывал мир всему свету; я не мог скрыть радости, которая била из стольких источников, мне казалось, что сам я разделяю эту славу, я вдохновил его, о чем свидетельствуют его собственные послания и письма. Я подогревал его разум всем, что мог придумать, чтобы разжечь эту пламенную душу. Я хорошо знал, что ничто так не согревает благородной души, как слава и хвала, поэтому не скупился на них, многим казалось это преувеличением, но мне — искренней правдой; я вспоминал давние его деяния и побуждал на новые. Сохранились некоторые мои письма к нему, я нисколько их не стыжусь, ведь я не пророк, да и сам он не мог всего предвидеть. Тогда, когда я писал их, он был достоин не только моей похвалы, но и восхищения всего человечества — и тем, что уже сделал, и тем, что еще намеревался сделать. Быть может, только по одной причине эти письма следовало бы уничтожить, а именно за то, что он предпочел жизнь в бесчестии смерти в славе. Но тут уж ничего не поделаешь: если б я даже хотел их уничтожить, сделать это не сумею — они стали всеобщим достоянием, и я не властен над ними. Однако вернемся к делу.

Так вот, пришел он в курию смиренный и отвергнутый; он, который нагонял страх на всех плохих людей в мире, а в добрых вселял радостную надежду и бодрость, он, которого некогда сопровождал весь римский народ вместе со старейшинами итальянских городов, шел теперь такой несчастный, меж двумя стражниками, а вокруг толпилась городская чернь, чтоб поглазеть на человека, чье имя некогда было покрыто славой. Император римский отсылал его к римскому епископу...»

Кола ди Риенцо посадили в самую высокую и наиболее укрепленную башню под названием Тур де Труйя. Построил ее Бенедикт XII руками сарацин. Она возвышалась по соседству с кухней, а весь низ ее был занят под склад дров и угля. Верхние этажи обычно стояли пустыми, на последнем отвели место стражникам и устроили арсенал, называемый «артиллерией», поскольку там находились арбалеты, баллисты, стрелы, не считая другого снаряжения.

Кола ди Риенцо поместили в обширной комнате с тремя окнами, обращенными на три стороны света, с огромным камином, для которого не жалели дров. С потолка свисала длинная цепь, к которой он был прикован за ногу, она предоставляла узнику некоторую свободу движений, но при любом из них своим звяканьем напоминала о его позоре. Ему была предоставлена кровать, постельные принадлежности, одежда, кормили его остатками с папского стола. Из папской библиотеки прислали также несколько книг — Библию, Тита Ливия. У него были письменные принадлежности, и он пользовался ими, сочиняя какую-то религиозную поэму, о которой вскоре заговорил весь город. Словом, это была, как мы читаем в одном из официальных документов, «тюрьма благородная и изысканная» — «carcer honestus et curialis».

Едва прибыв в Авиньон, Кола ди Риенцо стал расспрашивать о Петрарке: в городе ли он, помнит ли его, придет ли к нему на помощь. Петрарка молчал. Кола ди Риенцо был причиной стольких волнений и тревог поэта, что ему не хотелось вновь стать участником его дела, судя по всему, окончательно проигранного. О заступничестве перед папой нечего было и думать: Климент VI был настроен против трибуна. Впрочем, папа был болен, что явилось косвенной причиной того, что Петрарка восстановил против себя многих влиятельных лиц.

Дело в том, что он написал папе письмо, призывавшее остерегаться невежд врачей, которые ничем не могут больному помочь, разве только поскорее отправить на тот свет. Давнее презрение и неприязнь

к чванливым лекарям, ставившим себя высоко, к неучам, принимаемым многими наивными людьми за бесценный кладезь знаний, в то время как они заслуживали лишь звания мыльных пузырей, продиктовали ему резкие слова, почти жестокую издевку над всякой человеческой глупостью. Это вызвало бурю негодования среди врачей, а они были достаточно влиятельны, чтобы пошатнуть даже такой авторитет, как Петрарка. Он боролся с ними еще много лет и посвятил им немало уничижительных сочинений, столь же язвительных и обоснованных, как всем известные нападки Мольера, который много лет спустя с таким блеском высмеивал чванливых лекарей с их отсталой средневековой медициной.

Но Кола ди Риенцо слишком большое место занимал в жизни Петрарки, чтобы он мог покинуть его в беде. Он сделал то, что считал лучшим: обратился с письмом к римскому народу, призывая его вступиться за своего трибуна. Письмо это, в сущности, было брошюрой или безымянной листовкой и имело целью то, что мы сегодня назвали бы «воздействием на общественное мнение». Ибо самым худшим для узника было молчание. «Никто не осмеливается,— писал Петрарка,— промолвить даже слово, разве только робко шепнет что-то в темном углу. Я и сам, хотя и не поколебался бы умереть, если б моя смерть принесла Республике какую-нибудь пользу, сейчас молчу и даже в этом письме к вам не называю своего имени; думаю, что сам стиль его может служить подписью. Добавлю еще, что обращаюсь к вам как римский гражданин».

Петрарка был римским гражданином со времени увенчания лавровым венком на Капитолии и считал это звание благороднейшим из всех своих титулов. Если бы кто-нибудь отказал ему в этом праве, Петрарка боролся бы за него со всей страстью и энергией, даже призвал бы на помощь Цицерона с его речью в защиту поэта Архия! Но никто ему в этом не перечил: civis romanus так был обесценен, что скорее Петрарка оказывал ему честь, гордясь этим гражданством. Как трудно понять поэтов! В первой же фразе своего письма Петрарка обращался к римскому народу со словами: «Непобедимый народ мой, покоритель мира», а добропорядочные мещане с берегов Тибра не знали, что им делать: то ли смеяться над этими словами, то ли плакать. Один только Кола ди Риенцо принимал их всерьез, за то теперь и позванивал цепью в Тур де Труйя.

Нам неизвестно, какие последствия имело это послание. Пробудило ли оно совесть у римского народа? Или римский народ забыл о своем трибуне? Искал ли Петрарка какие-нибудь иные пути, чтобы прийти на помощь человеку, которым некогда так восхищался? Весьма возможно, что и искал. Однако окончательно судьбу трибуна решила смерть Климента VI. На его место был избран Иннокентий VI, и многие восприняли это так, словно бы после солнечного дня вдруг наступила темная ночь. Климент VI любил роскошь, пиршества, был щедрым, даже расточительным, большим охотником до праздников и турниров. Авиньон не помнил более великолепных времен.

А Иннокентий VI был аскет, человек сурового нрава и считался скупым. Впрочем, так оценивали в этом своевольном городе каждого, кто не любил сорить деньгами. Энергичный и властный, он начал с радикальной реформы курии, разогнал толпу нахлебников, которая ее окружала, урезал ненужные расходы, бросил в печь проекты новых дворцов, башен и садов, а художникам велел передать, что фресок уже предостаточно. По-иному отнесся он и к узнику. Приостановил начатый процесс, снял с него обвинение, освободил от наказания и отдал под опеку кардинала Альборноса, который отправился в Италию, чтобы упорядочить отношения в церковном государстве.

Кола ди Риенцо довольно долго находился в свите кардинала, пока наконец ему не предоставили некоторой свободы, впрочем, достаточной для того, чтоб он мог раздобыть денег и собрать войско для похода на Рим. Однако завоевывать его не было никакой необходимости. Римские рыцари с оливковыми ветвями в руках вышли его встречать к самому Монте-Марио. Он въехал в город по мосту святого Ангела, на улицах были сооружены триумфальные арки, из окон и балконов свисали ковры. Шедшее впереди духовенство пело «Benedictus qui venit» [1]. Приветственным возгласам толпы не было конца. Кола ди Риенцо встречали так, словно бы сам Сципион Африканский возвращался в Рим. На следующий день явились делегации от окрестных общин, чтобы воздать ему почести. «Теперь ты уже не покинешь нас»,— говорили ему. На этот раз срок его правления длился девять недель.

Кола ди Риенцо начал с того, на чем остановился в 1347 году,— двинулся на Палестрину, гнездо семейства Колонна. Осада была длительной, и наемные солдаты требовали выплаты просроченного жалованья. Кола одолжил денег у братьев известного кондотьера фра Монреале, но вскоре сам фра Монреале — гроза всей Италии — появился в Риме. Кола тут же воспользовался случаем, чтобы избавиться от этой опасной личности и поживиться его имуществом. Фра Монреале был схвачен и казнен на Капитолии, у подножия лестницы Санта-Мария Ара-Цели. Кола захватил все его достояние и уплатил самые неотложные долги. Монреале был разбойником без чести и веры, но за его казнь трибуна все же осуждали. Осуждали за то, что он казнил разбойника не во имя справедливости, а из корысти.

Кола ди Риенцо постоянно не хватало денег, и, чтоб раздобыть их, он устанавливал все новые и новые налоги. Обложил ими даже вино и повысил цены на соль, чем вызвал всеобщее возмущение. Начались интриги, заговоры, трибун стал подозрительным, недоверчивым, вместе с виновными арестовывал невинных, а смертные приговоры переполнили чашу терпения. В городе громко заговорили, что трибун убивает людей, чтобы захватить их имущество.

Вскоре Кола получил от папы назначение на пост сенатора. Папская булла была получена поздно вечером, и поэтому он отложил ее публичное чтение на следующий день. Но она никогда уже не была прочитана. Ранним утром следующего дня вышли две колонны вооруженных — одна из района Сан-Анджело и Рипа, другая из района Колонна и Треви. С возгласами: «Да здравствует народ!» они двинулись к Капитолию. Здесь, перед дворцом сенатора, возгласы сменились криками: «Смерть предателю! Долой налоги!» В окна посыпались камни, дворец пытались поджечь.

Все приближенные тут же покинули трибуна. Он бежал через пустые залы, не встретив ни единой живой души, наконец схватил хоругвь Рима и вышел на балкон. В него посыпались камни. Кола проиграл последнюю ставку. Если б ему дали возможность говорить, он нашел бы нужные слова, ораторское искусство еще никогда его не подводило, и погасил бы возмущение. Но он успел сделать одно: развернуть хоругвь и указать на вышитые золотом буквы S.P.Q.R. Это был последний жест, достойный легенды.

Укрывшись от пуль, Кола ди Риенцо переоделся, вымазал лицо сажей, закутался в плащ пастуха, прикрыв голову подушкой, чтоб уберечься от падающих балок,— дворец уже охватило пламя, спустился из окна и кричал вместе со всеми, словно сам был из числа нападающих. Но тут вдруг распахнулся плащ, и засверкали золотые на-

[1] «Благословен тот, кто приходит» *(лат.)*.

плечники, которые он забыл срезать С трибуна сорвали плащ, и вот, в одежде из зеленого бархата и в красных чулках, будто выставленный на посмешище, он попал в руки толпы. Не зная, как с ним быть, его повели к церкви Ара-Цели, но тут кто-то сзади ударил его по голове, и сразу засверкали ножи. Его продырявили, как решето, и тащили за ноги до самой площади Марцелла — толпа ахейцев тащила по Риму труп Гектора. Затем бесформенную массу повесили посреди площади. У подножия позорного столба валялся занесенный чьей-то ногой обрывок хоругви, и в грязи можно было прочесть вышитые золотом буквы: S.P.Q.R.

На третий день евреям велели сложить костер из засохших веток, и на нем сожгли то, что некогда было телом трибуна. Это происходило у подножия мавзолея Августа. Пепел развеяли на все четыре стороны света.

Но более могущественный ветер истории унес в далекие века славу его имени и эхо фанфар, которыми Кола ди Риенцо в день 1 августа 1347 года провозгласил независимость Италии. Их отзвуки в течение XIV и XV веков слышатся в творчестве Петрарки, Боккаччо, у Леонардо Бруни, у Фацио дельи Уберти, у Маттео Виллани, у Поджо Брачолини и в произведениях всех писателей, которые мыслью, мечтою, словом ускоряли объединение итальянской родины. Ренессанс включил имя трибуна в орбиту своей славы, ибо новое время, подобно Петрарке, именно в античности черпало свои идеалы высшей культуры, высшего стиля жизни, свободы и презрения к пережившим себя формам жизни.

Правитель замка

Петрарка считал, что подвергает себя опасности, столь открыто выступая на стороне римского трибуна, однако оказалось, что гораздо более опасным является его старое знакомство с Вергилием. Он не считался с эпохой, которую намного опередил, и не предполагал, что очень многие люди знают Вергилия лишь по роману «Необыкновенные похождения Вергилия, сына рыцаря из Арденн», из ярмарочных небылиц о его магических проделках. Правда, до ушей Петрарки дошло, что его называют новым Вильгардо. Предание гласило, будто грамматик из Равенны Вильгардо в 1000 году увидел во сне трех демонов; один из них назвался Вергилием, другой — Горацием, третий — Ювеналом, и все трое благодарили его за почести и благоволение, которыми он их окружил. После этого сна Вильгардо стал провозглашать речи, противные вере, утверждая, что только этим поэтам известна настоящая истина. Похоже было, что сейчас даже некоторые члены кардинальской коллегии готовы видеть в Петрарке ученика чернокнижника. Но поэт только забавлялся этим в беседах с отдельными кардиналами, которые, подобно Талейрану, высмеивали невежество своих отсталых коллег.

Однако дело приобрело серьезный оборот, когда к этим нелепым наговорам стал прислушиваться новый папа Иннокентий VI. Несомненно, свою лепту внесли и врачи, которым Петрарка немало досадил. Недруги зашептали: «Почему это он уединяется в Воклюзе и чем он там занимается по ночам? Сквозь щели в ставнях его комнаты виден свет, который гаснет только на рассвете. Он не расстается с Вергилием. Все понятно: он занимается магией и чернокнижием».

Петрарка сперва только смеялся над этим, потом удивлялся, а затем начал волноваться. Что может быть страшнее абсолютной глупости? И поэт впал в отчаяние. Он чувствовал себя всеми покинутым и

никому не доверял. Петрарка писал письма влиятельным друзьям и уверял их в своей верности, в которой никто из них не сомневался. Такой уж у него был характер: даже малейшая тучка была способна окутать всю его жизнь мраком. Мысленно представлял он себя лишенным заслуг, славы, признания. «Я чужак,— взывал он,— и бродяга на земле, как все мои отцы. Я изгнанник и испуганный скиталец». Он видел себя валяющимся в придорожной канаве, без крова над головой, без близкой души.

И поэт решил бежать. Собрал, что было в доме наиболее ценного, и крадучись выскользнул из своей Уединенной Долины. Буря и ливень вернули его с дороги. Но решения своего он не изменил и в мае 1353 года навсегда покинул Авиньон и Воклюз. По пути он посетил монастырь брата Джерардо — это была последняя их встреча. Через несколько месяцев после отъезда Петрарки неизвестные злоумышленники ворвались в его дом, украли что смогли и подожгли его. Верного управляющего, Раймона Монэ, тогда уже не было в живых, а без него дом в Воклюзе был обречен. К счастью, уцелело величайшее сокровище — книги, спрятанные в гроте, где никто не догадался их искать. Так были сожжены все мосты, по которым Петрарка мог вернуться в Авиньон.

По пути через Альпы, увидев Италию, он создал одну из прекраснейших своих латинских песен:

Здравствуй, священный край, любимый господом, здравствуй,
Край — для добрых оплот и гроза для злых и надменных,
Край, благородством своим благородные страны затмивший,
Край, где земля плодоноснее всех и прекрасней для взора,
Морем омытый двойным, знаменитыми славный горами,
Дом, почтенный от всех, где и меч, и закон, и святые
Музы живут сообща, изобильный мужами и златом,
Край, где являли всегда природа вкупе с искусством
Высшую милость, тебя соделав наставником мира.
Жадно я ныне стремлюсь к тебе после долгой разлуки,
Житель твой навсегда, ибо ты даруешь отрадный
Жизни усталой приют, ты дашь и землю, которой
Тело засыплют мое. На тебя, Италия, снова,
Радости полный, смотрю с высоты лесистой Гебенны:
Мгла облаков позади, лица коснулось дыханье
Ясного неба, и вновь потоком ласковым воздух
Обнял меня. Узнаю и приветствую землю родную:
Здравствуй, вселенной краса, отчизна славная, здравствуй! [1]

Едва Петрарка двинулся в путь и стало известно, что он оставил Воклюз, со всех сторон послышались голоса: «Куда? Почему не к нам?» Авиньон не желал примириться с тем, что Петрарка навсегда его покинул, флорентийские друзья насупились, Падуя напоминала о своих правах, ведь он был ее каноником и его связывала дружба с правящим двором, Парма ссылалась на давнюю его близость с сеньорами да Корреджо, к тому же здесь стоял его дом, в котором ему было так хорошо! Его приглашали король французский, король Неаполя, князь Гонзага из Мантуи, а венецианский дож Дандоло, с которым Петрарка переписывался, был уверен, что он предпочтет Венецию. Победил тот, кому всегда улыбалось счастье,— Джованни Висконти, архиепископ Милана.

Боккаччо не знал, сердиться ему или плакать. Петрарка у Висконти! Все были поражены, многие возмущены. Двор Висконти считался самым скандальным среди всех итальянских дворов, хотя и остальные не отличались добропорядочностью. Имя Висконти стало чуть ли не символом беспощадности, жестокости и преступлений. Правда, архиепископ Джованни не заслуживал столь суровой оценки, но и на него

[1] Перевод С. Ошерова.

падала тень мрачного рода. Да и сам он не был ягненком. Это был сеньор гордый и решительный, не князь церкви, с которой он неустанно спорил, а князь Милана, настоящий властелин, заботившийся о величии дома Висконти и о расширении влияния этой новой силы в Италии.

Архиепископ прибрал к рукам Петрарку так, словно бы занял расположенный по соседству чужой город,— он победил его лестью. Поэт сдался не сразу и на почетных условиях. Он выговорил себе независимость и отказался от каких бы то ни было обязанностей. Но архиепископ сразу заявил, что ничего от него не требует, ему довольно и того, что все знают: Петрарка принял его приглашение и поселился в Милане. Это будет для Висконти достаточной честью. Разве можно было устоять против таких слов, к тому же высказанных столь важным сеньором? «Взвесив все,— писал Петрарка друзьям,— я выбрал то, что лучше, или, по крайней мере, не очень плохо, впрочем, хорошо ли, плохо ли, но я несомненно сделал то, что было необходимо!»

Петрарка поселился в доме на краю города, возле собора святого Амвросия. Из его окна были видны свинцовая крыша собора и две башни у главного входа. Здесь проходил блаженный Августин, его тут крестили, через эти ворота шествовали ломбардские короли и германские императоры за железной короной. Но больше всего приковывала взгляд Петрарки скульптура, изображавшая святого Амвросия: «Как величаво это чело с его густыми бровями, какое спокойствие в этих глазах! Он словно живой, только уста немые». Из старого храма доносились мелодии гимнов, которые впервые спел в нем святой Амвросий тысячу лет тому назад. Задняя стена дома прилегала к городским стенам, за ними зеленели широкие поля, а еще дальше виднелись снежные вершины Альп. Петрарка хвалил также «необыкновенно целебный воздух», хотя именно здесь подхватил малярию, которая мучила его больше года.

Архиепископ Джованни вскоре умер, и после него к власти пришли трое его племянников: Маттео, Барнабо и Галеаццо. Только теперь Петрарка понял, какой плохой выбор он сделал. Но отступать было некуда. Неудача следовала за неудачей. Умер дож Дандоло, вскоре после этого был казнен его преемник Марино Фальери, с которым у Петрарки была давняя дружба, позорно погиб Кола ди Риенцо, обвиненный в измене и лишенный достояния, ушел в изгнание Аццо да Корреджо. Его тяжба со Скалиджери обернулась и против Петрарки: сына поэта Джованни изгнали из Вероны. Податься было некуда, да и Барнабо Висконти был не из тех людей, которые выпускают птичек из клетки.

Это была личность, достойная самого Светония. Для Барнабо самым важным занятием была охота на диких кабанов. Только его дротик мог их убивать, и тот, кто осмелился бы поднять руку на герцогского кабана, терял ее под топором палача, и чаще всего вместе с ней и голову. Подданные вынуждены были содержать герцогскую псарню, насчитывавшую свыше пяти тысяч гончих. Неслыханные налоги ложились на плечи миланцев: турниры, балы, семейные торжества — все это требовало денег. Дети герцога должны были иметь серебряные колыбели.

Петрарка стал крестным отцом одного из них, он подарил крестнику золотой кубок и нарек его Марком, обосновав это имя в длинном латинском стихотворении. В нем он перечислил всех знаменитых Марков, которых знала история, особенно римская, и только под конец вспомнил о евангелисте. Как ни странно, он не постеснялся упомянуть в этом списке и Марко Висконти, двоюродного деда своего

крестника, хотя всем было известно, что он погиб от руки одного из племянников. Боккаччо был прав: при дворе Висконти ничего не стоило потерять свободу или совесть.

Петрарка стал политическим деятелем. Для него это было неожиданным, но нельзя сказать, чтобы неприятным. Еще архиепископ Джованни уговорил его быть послом в интересах мира между Венецией и Генуей. Преемники архиепископа, осыпая поэта почестями, также использовали его славу в важных дипломатических акциях. Он был свидетелем при подписании мирного договора между Висконти и Карлом IV. Встретился с императором в Мантуе, провел с ним неделю и провожал его на обратном пути до самой Пьяченцы. Позднее он ездил к императору послом, провел в Праге три месяца, где, окруженный почестями, установил дружеские отношения со многими чешскими епископами. После возвращения в Милан Петрарке доставили письмо от императора, увешанный золотыми печатями пергамент о назначении поэта на должность правителя замка.

Никогда никого еще перо не возносило так высоко. За герцогским столом Петрарка занимал первое место, в Венеции его сажали по правую руку от дожа, императрица Анна, родом княгиня Свидницкая, воспитанница Эльжбеты, дочери Локетека, в собственноручно написанном письме сообщала ему о рождении дочери, короли Англии и Франции задумывались над тем, какое бы доставить ему удовольствие, и вместо книг присылали золотые кубки. Не было такой высокопоставленной особы, которая, приехав в Милан, не искала бы пути к скромному дому поэта либо у собора святого Амвросия, либо, позднее, в Джериньяно, неподалеку от монастыря картезианцев, где была деревенская резиденция Петрарки, названная в честь Сципиона Африканского Linternum [1]. Многие, как, например, Пандольфо Малатеста или Никколо Аччьяйоли, великий сенешаль королевства Сицилии, приезжали в Милан с единственной целью — раздобыть портрет Петрарки, и считалось небывалой честью, если поэт позволял приехавшим переступить порог его кабинета.

В небольшом городке Бергамо жил некий Энрико Капра, золотых дел мастер. Завороженный именем Петрарки, он стал собирать его произведения, которые в основном сам переписывал, и выпрашивал у поэта все новые и новые. Петрарка иногда посылал ему несколько страниц. Всех поражала его щедрость, ибо он отказывал в этом многим сановникам. Энрико Капра так увлекся наукой, что, будучи уже немолодым человеком, записался в университет. Петрарка старался сдержать его увлечение, опасаясь, что золотых дел мастер кончит из-за этого банкротством. Но Капра вынашивал еще более смелую мечту — хотя бы раз в жизни принять у себя в доме Петрарку. Весь Милан смеялся над этим простодушным человеком: Poeta Laureatus отказывался посетить и не такие дома.

Однако, ко всеобщему удивлению и возмущению, Петрарка принял приглашение и в один погожий октябрьский день сел на коня. Собралось множество ломбардских дворян, чтобы сопровождать его в столь необыкновенном путешествии. Все население Бергамо во главе с городскими властями высыпало навстречу. Известнейшие граждане шли рядом с его конем, приглашая поэта либо к себе домой, либо во дворец муниципалитета. Золотых дел мастер, которого совершенно оттеснили, дрожал от страха, что о нем забудут. Но Петрарка направился именно к его дому. Все там ожидало знаменитого гостя. Золотых дел мастер устроил такой пир, какого в Бергамо еще не видели. Ком-

[1] Линтернум — город в Кампании и деревенское имение Сципиона *(прим. автора)*.

ната, где Петрарка должен был ночевать, казалось, была вся из золота и пурпура; в предназначенной для него кровати еще никто никогда не спал и не смел спать. Энрико Капра был так счастлив, что родные опасались за его рассудок. А на следующее утро у него под окнами гудела толпа со штандартами и гербами цехов, сопровождавшая Петрарку до городских ворот.

Вернувшись к себе, Петрарка застал всех своих переписчиков за работой; одни переписывали его творения, другие были заняты переплетением готовых рукописей. На своем столе он обнаружил несколько писем, полученных в его отсутствие; Боккаччо писал, что вскоре будет в Милане. Сбросив плащ и надевая теплую епанчу, которую всегда носил во время работы, он задумался о том пути, который прошел. Он шел всегда словно из полумрака на ослепительный свет.

Сначала могло казаться, что поэт стремится лишь к полноте знаний, что он хочет познать все богатство человеческой мысли, сохраненной на пергаменте, но это была наивная и робкая мечта ученика. Впрочем, она сбылась: никто не мог похвастать, что знает больше его, разве только если речь шла о таких науках, к которым он относился пренебрежительно: об астрологии или опиравшейся на магию медицине. Но даже здесь он мог бы преподать многим урок — в звездах он понимал не меньше астрологов, доктрину которых отвергал как смешной предрассудок, зато он знал в них толк как поэт и, не веря в то, что звезды могут повлиять на пищеварение, был уверен, что они могут управлять сердцами.

Свое собственное сердце он отдал любви. В ней нашел он не только источник поэзии, но и высшее познание, познание более высокое, чем книжное, и открыл полный чудес мир чувств. Никто так не умел жить сердцем, как он. Он любил Лауру и в ней все очарование женщины вообще. Любил красоту благородного поступка, незапятнанной жизни, самопожертвования из любви к ближнему. Любил красоту в природе — от цветов до звезд, от низинных лугов до высоких гор, любил ночные зарницы, сулившие погоду, и непостижимую тишину леса. Любил то, чего сторонился человек древности и средневековья: обнаженные скалы, дикие ущелья, низвергающиеся в пропасть горные потоки. Он убедился — недостаточно углубиться в книги, чтобы понять, что чувствовали и думали другие, для этого прежде всего нужно углубиться в самого себя и со всей искренностью, на какую только ты способен, вскрыть механизм своих поступков и стремлений. Именно здесь лежит путь к настоящему человеку и к той удивительной способности, которой, кроме человека, никто не обладает в мире,— умению слышать, изучать, чувствовать природу, чтобы найти ответ на ее скрытые вопросы.

Как писатель, он не считал нужным себя ограничивать. При желании он мог настроить себя на любой лад: и на тот, который необходим для создания сонета, и на тот, которого требуют поэма, эклога или трагедия,— покидая Авиньон, он думал создать драму, посвященную этому городу. Садился писать письма как философ или моралист, но в любой момент мог стать и простым балагуром, веселым и сердечным товарищем. Был непостоянен в мыслях, взглядах и чувствах, легко подпадал под влияние окружающих, мимолетных обстоятельств, времени года, собственного настроения и никогда этого не скрывал, никогда не пытался от этого отречься:

Pace non trovo e non ho da far la guerra
E temo e spero, ed ardo e son ghiaccio
E volo sopra'l cielo e giaccio in terra
E nulla stringo e tutto'l mondo abbraccio.

И мира нет — и нет нигде врагов;
Страшусь — надеюсь, стыну — и пылаю;
В пыли влачусь — и в облаках витаю;
Всем в мире чужд — и мир обнять готов [1].

Петрарка никогда не жил одними только духовными интересами. Не был чужд земных страстей, вопреки всем суждениям об этом в XIV веке, о чем он сам писал не однажды, уважая средневековую традицию. С истинным пристрастием относился к верховой езде, ему ничего не стоило проскакать пятьдесят километров в день. Большую заботу проявлял о своей одежде и внешнем виде, считая элегантность своего рода вежливостью. Не сторонился развлечений и веселой компании, пока это его занимало, не избегал женщин, хотя и повторял о них суровые слова философов-стоиков и отцов церкви. Был любовником и отцом, потом дедом, познал множество неприятностей и печалей, но и немало радостных забот.

Играл на лютне и пел, рисовал и занимался искусством, как ни один из писателей этой эпохи, восхищался Симоне Мартини, а еще больше — Джотто. Занимался и сельским хозяйством, сам ухаживал за своим садом, сажал и прививал деревья. Охотился, ставил силки, ловил рыбу. С ветром в поле дружил так же, как с тишиной запертого кабинета, пахнущего старым пергаментом и кожей переплетов.

Вечно был в движении. В жизни Петрарки случались периоды, когда он больше находился в пути, нежели дома, и часто сам удивлялся, откуда у него такое желание и даже отвага идти навстречу различным трудностям и опасностям. Сколько раз его корабль терпел бедствие, сколько раз ему удавалось уйти из рук разбойников! Однако ничто не могло остановить его стремления к познанию мира. Он посетил больше стран, чем кто бы то ни было из его современников, да и в более поздние века, вплоть до нашего времени, трудно найти писателя, который мог бы с ним сравняться.

А куда он сам не мог попасть, туда направлял свое воображение, подкрепленное знанием географии. Он собирал сведения об ultima thule [2], как будто намеревался завтра же туда отправиться, и засыпал нетерпеливыми письмами знакомых, у которых могли быть какие-нибудь сведения об этом далеком острове. Для одного миланского дворянина, Джованни ди Манделло, который собирался в Святую землю, он составил «Itinerarium Syriacum» — «Сирийский путеводитель», достойное удивления произведение. Точнейшие сведения об этой стране были собраны с такой увлеченностью, что становилось ясно — его интересовала тут вовсе не та цель, ради которой была проделана столь кропотливая работа. Это он сам, а не тот дворянин странствовал по суше и по морю, это он останавливался в восхищении среди чудес природы и перед историческими памятниками, плыл вдоль берегов и пробирался через горы. Завершая последний абзац, в котором рассказывается о путешествии с острова Фарос в устье Нила, поэт, мысленно еще гоняясь за призраком Помпея, как бы с чувством сладкой истомы опускается в кресло, словно бы и в самом деле он только что вернулся из далекого странствия.

Петрарка никогда не оставался безучастным зрителем окружающей его жизни. Точно так же как отдавался он каждому увлечению, как, к удивлению блаженного Августина, не отрекался ни от страха, ни от боли, так не отступал и ни перед каким испытанием — ни перед радостным, ни перед горьким. Он стремился узнать, в силах ли любовь и альтруизм победить эгоизм или тот возьмет верх над ними,

[1] Перевод Ю. Верховского.
[2] Край света *(лат.)*.

мирится ли естественная потребность счастья со страданием, превратностями судьбы, страхом смерти, гнетом моральных устоев, общепринятых условностей, этикета, общественной зависимости или отбрасывает их.

Но он понимал также прелесть отшельнической жизни и воспринимал ее так тонко, как редко кто из монахов, вот почему не в монастыре, а именно в тиши кабинета было создано одно из замечательнейших аскетических его произведений «De otio religiosorum» — «О монашеском досуге». Никто красноречивее его не прославлял также тишины светского уединения, исполненного дум, шумящего словом и песнью,— sapientum templa serena [1]. Он никогда не надевал монашеской рясы, не отгораживался от мира. Он мог жить и как отшельник, и как светский человек.

Он знал толк во всем, даже в коммерции. Деньги не могли составить его счастье или сделать его несчастным, но он хотел знать, как делаются деньги, и, наверно, сумел бы вести дела банковской конторы или торговой фактории не хуже иного деляги-флорентийца.

Вопросы общественного устройства и проблемы власти волновали Петрарку с юных лет. Он воспитывался в Авиньоне, где перекрещивались интересы различных стран, а во дворце Колонна имел возможность наблюдать закулисную сторону многих международных событий, запечатленных потом в различных высокопарных актах, которые приводили в отчаяние историков, пытающихся раскрыть истинный их смысл. Выступление римского трибуна он воспринял как сигнал к бою и смело и открыто стал на его сторону.

С тех пор он уже никогда не переставал заниматься политикой.

В его политической деятельности было немало поэтической фантазии, мечтательности и того особого романтизма, который он сам создал,— романтизма той влюбленности в античность, в которой скорбь по минувшему соединялась с верой, что «прекрасная фея не умерла, а спит» и может еще пробудиться к новой жизни. Эти фантазии и мечты не только в моральном отношении стояли гораздо выше вульгарного реализма политиков, широко использовавших и обман в дипломатии, и силу в ими же создаваемых конфликтах, но были и намного «реальнее», ибо несли в себе грядущее единство итальянского народа и государства.

Следуя своим политическим симпатиям, Петрарка выбрал в те годы Милан именно потому, что тогда он был центром важнейших проблем и, казалось, сможет даже добиться гегемонии на всем Апеннинском полуострове. Из этого города открывались более широкие горизонты, и письма, которые отсюда исходили, становились известны многим. Петрарка рассылал их во все стороны: императору, генуэзцам, в Венецию. Он унимал споры, устанавливал мир, раздавал короны. Его слушали со вниманием и уважением, хотя в своих поступках мало прислушивались к его советам, когда же он молчал, с беспокойством допытывались о причинах молчания. Мир жаждал слов, а еще больше — удивительных мыслей поэта, весьма современных и вместе с тем таких архаичных, не соответствующих текущему дню, что иногда это даже раздражало. Но именно для текущего дня как будто чересчур мудреные, они взывали к дню завтрашнему, не ускорить приход которого было бы стыдно.

Петрарка не был ни сдержанным, ни скромным. Императору Карлу, который покидал Италию после коронации в Риме, он направил вдогонку короткое и довольно-таки язвительное письмо. «Ты, властитель мира, вздыхаешь по своим чехам!» — обращался он в

[1] Безмятежный храм мудрецов *(лат.)*.

этом письме к императору и послал ему через своего друга, Лелия, древнеримскую императорскую медаль, «которая, если б могла заговорить, отговорила бы тебя от этого бесславного, если не сказать позорного, пути. Будь здоров, Император, и подумай над тем, что оставляешь и куда спешишь». Это не был язык дворянина. Ни один правитель замка не обращался так к императору.

«Не могу молчать!» — писал Петрарка венецианскому дожу, призывая прекратить братоубийственную войну между Генуей и Венецией. Он не мог молчать. Из какого бы уголка священной итальянской земли ни доносился до него лязг оружия, он тотчас же обращался туда со словом примирения, призывая враждующих к согласию и клеймя позором союзы, нанимавшие чужих на погибель своим. Он издевался, проклинал, плакал, умолял, находил в своей латыни слова, которые так врезались в память, что спустя еще много лет их повторяли пергаменты многих трактатов. При желании он мог бы занять самые высшие должности. Мог стать не только апостольским секретарем, как это предлагал ему поочередно каждый из пап, но и кардиналом, так же как и в светском государстве не было такого высокого звания, которого он не получил бы, если б этого действительно домогался. Но свободный посланец мира не хотел себя ограничивать.

Петрарка был первым из когорты великих людей, которых Ренессанс охарактеризовал как l'uomo universale — идеал всесторонности и полноты человеческой личности в ее способностях, стремлениях и свершениях. Этот идеал нашел позднее свое выражение в таких гигантах, как Леонардо да Винчи и Гёте. Петрарка был предшественником и как бы ранним представителем этой плеяды.

Портрет

Не из замка и не из дворца шли эти письма к папам, королям, дожам и герцогам, в которых Петрарка выступал от имени народов, обреченных на немое послушание. Чем дальше от Милана, тем меньше людей верило, что письма эти рождены в домике на краю города и что их автора можно встретить на улице в толпе прохожих. В Милане все знали поэта в лицо, и никто не проходил мимо, не поклонившись ему. Петрарка любил рассказывать об этом в письмах к друзьям. А друзья, хотя и знали, что он ведет весьма скромный образ жизни, все-таки полагали, что Петрарка очень богат. Полностью развеять эти иллюзии ему не удавалось. Казалось, чем старательнее он убеждал в этом, тем меньше ему верили, и за пределами круга самых близких его друзей росла в мире легенда о его богатстве и могуществе.

На самом деле ему хватало двух комнат — кабинета и спальни,— обе были столь малы, что в них даже нелегко было повернуться — при любом неосторожном движении можно было за что-то зацепиться, что-то опрокинуть. Тот самый кодекс Цицерона, который Петрарка собственноручно переписал в Вероне, том увесистый и толстый, упал и ударил его по ноге, а через несколько дней это случилось снова. «За что же ты меня бьешь, Марк?» — жаловался он полушутливо. Однако это была не шутка, рана начала гноиться, и ему пришлось лечь в постель.

Для него не было горше муки. Он ненавидел кровать, подушки, одеяло. Ложился поздно вечером и спал мало, словно бы погружаясь

во временное небытие. Этот момент он оттягивал как можно дольше, подбадривая себя вечерней прогулкой, призывал на помощь радостные мысли, готов был даже к тоске и отчаянию, лишь бы подольше не расставаться с явью. Он хранил ее в пламени свечи, которую не гасил на ночь. Когда сон проходил, он тотчас же вскакивал, даже если была еще ночь. А рассвет всегда заставал его за работой. «Днем и ночью попеременно читаю и пишу, одна работа помогает отдохнуть от другой. У меня нет иных утех, иных радостей в жизни. А работа в руках моих все растет и растет, и я действительно не знаю, как вместить все это в тесные рамки жизни».

«Раньше я не ценил времени так, как теперь,— писал он Франческо Нелли, приходскому священнику церкви святых Апостолов во Флоренции.— Всегда ненадежное, в юные годы оно все же оставляло мне больше надежды, а теперь и время и надежды сокращаются, как, впрочем, и все остальное. Чем меньше у нас чего-то, тем оно нам дороже; если б на земле на каждом шагу попадались жемчужины, мы ступали бы по ним, точно по простым камням, а если б фениксов было столько, сколько голубей, кто стал бы о них говорить? Мне хотелось бы о себе сказать, что я в своей жизни не терял даром ни одного дня, а сколько их потеряно! Если сосчитать — это будут годы! Я знал, что каждый день дорог, но не знал, что ему нет цены. Не знал именно тогда, когда это знание было бы для меня так важно и полезно. Да, мне неведома была настоящая цена времени. Я стремился беречь тело от усталости, разум от перенапряжения, вел счет деньгам — а время всегда было для меня на последнем месте. И только теперь я вижу, что оно должно было стоять на первом. Усталость можно снять отдыхом, истраченные деньги вернуть, а время не возвращается...»

Каждая минута стала для Петрарки драгоценностью. Он выделил на сон шесть часов, но и тут всячески старался ограничить себя. На житейские дела он расходовал в день два часа, но и их старался уплотнить. Причесываясь и бреясь, он одновременно или диктовал секретарю письмо, или же просил его почитать вслух. То же самое во время еды, если ел один. На столе всегда были письменные принадлежности, и в задумчивости он не раз макал перо в вино вместо чернил. Среди тарелок на пюпитре возвышалась раскрытая книга. На подоконнике он работал не хуже, чем за столом, с утренней и послеобеденной прогулки возвращался с сонетом, с посланием в стихах или в прозе. Часто он просыпался ночью, хватал перо и бумагу, которые всегда были под рукой, и если свеча уже погасла, в темноте записывал возникшие мысли.

После шестидесяти он стал спешить. «Я, брат,— писал он другу ранней молодости Сократу, то есть Людовику из Кемпена,— уже собираю пожитки и, как это делают перед дорогой, смотрю, что взять с собой, что раздать друзьям, а что бросить в огонь. Я не накопил ничего и все же вижу, что я богаче, вернее, у меня больше груза, чем я предполагал. Дома у меня бесконечное количество произведений разных жанров, начатых и брошенных. Я открыл запыленные ящики и извлек из них покрытые плесенью рукописи. Из-под моих рук удирали мыши, моль и пауки. При виде этой бесформенной груды литер и бумаги я готов был уже предать все это огню, чтобы избавиться от лишней и малоприятной работы. Но потом задумался. «Что мне мешает,— сказал я себе,— взглянуть как бы сверху на измученного длинной дорогой путника и, оглянувшись назад, бросить взгляд на заботы моей юности».

Эти груды бумаг были черновиками и копиями писем, число которых так поразило Петрарку. Оригиналы разошлись по свету, мно-

гие из них погибли, некоторые, потрепанные и изорванные, вернулись к автору, ибо он просил, чтоб ему их вернули, так как имел намерение привести их в порядок и, собрав вместе, издать. Не все из них предназначались им для потомков, многие он сжег, и в первую очередь написанные по-итальянски, из которых не сохранилось ни одного, и мы теперь не знаем итальянской прозы Петрарки. Из писем, написанных по-латыни, после внимательного изучения их тематики, стиля, языка также многие были отброшены. Петрарка считал, что потомки будут более требовательными к нему, чем современники, и хотел предстать перед ними в праздничном наряде.

Он изменил самую форму писем. Исключил все титулы сановников, все церемониальные обращения, устранил весь этикет, которого требовало тогдашнее письмо. Вместо vos — «вы» ввел tu — «ты», что было обычным для классической античности. Эта на первый взгляд как будто мелочь на самом деле была эпохальным событием, закрывшим эру средневековой эпистолографии и открывшим эру гуманистическую. Сначала немногие осмеливались подражать Петрарке, но в следующем веке уже казалось смешным писать иначе. Последователями его, разумеется, были только одни литераторы, а во всех канцеляриях господствовал прежний, высокопарный стиль. Это было одно из тех нововведений, которое, стоило лишь стряхнуть с него вековую пыль, засияло своим очарованием. Местоимение «ты» очищало человека от шелухи омертвевших иерархических оболочек, делало смешными поклоны, подметание пола шляпой, возвращало человеческой личности право мыслить по-своему, свободу жестов, слов, сказанных не от порога, а лицом к лицу, в том человеческом равенстве, с которым все мы рождены. В этих двух буквах вмещалось больше гуманизма, нежели могли понять современники Петрарки.

Уничтожая итальянские письма, он избавлялся не только от лишнего балласта в своей «ладье бессмертия», но и от нежелательных свидетелей. Эти письма были более непосредственными, чем латинские, более злободневными, со множеством нередко излишних подробностей, и их переделка не окупилась бы. В латинской корреспонденции он затушевывал слишком яркую действительность, отбирал у адресатов их имена и либо вводил древние прозвища — Сократ, Лелий, Олимпий, Симонид,— либо так латинизировал их, что они почти не отличались от древних. Рассказывая о современности, он передавал лишь самую суть событий, как бы философское их содержание, и, утратив злободневность, они словно бы приобретали непреходящее значение. Осторожно приоткрывая двери на голос своего времени, он тотчас же их закрывал, если звуки его переходили в слишком громкие крики.

Такой осторожности научил поэта Цицерон, вернее, история с его письмами, найденными в Вероне, явившаяся незабываемым предостережением. Более прозорливый, чем Цицерон, более предусмотрительный, чем многие позднейшие писатели, у которых смерть вырывала не одну сокровенную тайну, он сам устранил все лишнее и оставил в своей корреспонденции только то, что сам хотел сделать достоянием потомков. У него не было ни малейшего желания предстать перед зеркалом истории нагим или полуодетым. А если он и позволял себе быть обнаженным, то это была нагота героическая, нагота изваяний великих людей античности. Петрарка старался передать свой истинный портрет, но без унижающих его подробностей. Впрочем, утаивать ему приходилось немногое, речь шла скорее о том, чтобы подчеркнуть те свои особенности, на которые он мог сослаться с гордостью.

В основном это был портрет писателя и ученого за работой, среди занятий и забот творческого труда, писателя, проводившего свои дни в неустанном стремлении к совершенствованию. То он в знаменитой своей епанче сидит за пюпитром, то в крестьянской одежде прогуливается среди полей и лесов. Он никогда не бывает один, его всегда окружают тени великих людей, которых он призывает в свидетели своих слов и дел. Поэты, философы, мудрецы стоят наготове, чтобы в нужную минуту подсказать ему подходящую идею или удачный оборот, подбадривают его дружеским словом или жестом. Каждой фразе точно эхо вторит цитата, голос псалмопевца сливается с голосом Горация, и всякий раз на их голоса откликается Вергилий, Цицерон или Сенека. Этот последний следит за содержанием и композицией писем, приподымая свободную беседу Туллия до высот своих нравственных идеалов.

Это были не обыкновенные письма — сообщаемые быстрым пером сведения или беседа с отсутствующим другом, хотя некоторые из них и казались такими. Петрарка часто говорит, что пишет в спешке, бросает горсть новостей и словно нехотя вставляет какую-нибудь мысль, разматывает нить прерванных размышлений. Не будем легковерными: сохранившиеся черновики свидетельствуют, что из-под его пера ничто не выходило необдуманно, без внимательного отбора слов и утонченного завершения мысли. При последней редакции весь труд подвергался тщательной отделке. Выправлялись отдельные обороты, особенно если они повторялись в ранее написанных письмах, устранялись отдельные цитаты или добавлялись новые. Их обилие вызывало удивление и восхищало современников. Для себя и для них он зачастую открывал мысли забытые или незамеченные на протяжении веков, они воскресали из заплесневелого пергамента — свежие, юные и радостные, словно заново родившиеся.

Петрарка писал обо всем: о воспитании, об обязанностях солдата и воина, о мире, о творческом труде, о стиле, о Цицероне, о Риме, о врачах, о собаках. Его перу не были чужды все моральные проблемы: добродетель, зависть, дружба. Каждую из них он трактовал с большой личной заинтересованностью, наматывая на местоимение «ego», как на веретено. Начинал он обычно с какого-нибудь то ли пустякового, то ли серьезного события своей собственной жизни. Иногда речь шла о настроении или о погоде. По его письмам, пожалуй, можно было бы составить календарь прекрасных дней, дождей и морозов, так же как на основе его писем можно было воссоздать все пейзажи, на которые он смотрел, работая над своими произведениями.

Петрарка не был ни проповедником, ни профессором — он был эссеистом. За двести лет до Монтеня он описал историю своих сомнений, колебаний, раздумий, попеременно обращаясь то к античным авторам, то заглядывая в собственную душу и не спуская глаз с картины жизни, какой он ее себе представлял, повседневно общаясь с людьми многих стран и народов. Обладая большим запасом аксиом и веры, менее скептический, чем Монтень, но с такой же, а может и большей, эрудицией гуманиста и более широким эмоциональным опытом, в котором нашлось место и для природы, и для искусства, столь чуждых Монтеню, Петрарка в своих письмах был первым писателем нового времени, который умел о себе говорить так, точно говорил о всей своей эпохе.

В сущности, это была огромная автобиография. Составляемая на протяжении полувека, она оказалась столь полной, что равной ей тогда не нашлось в литературе. В этих письмах было что-то и от дневника, и от мемуаров. Они знакомят нас с поэтом на всем про-

тяжении его жизни, начиная с ранней юности, даже с детства, вплоть до последних дней семидесятилетнего старца. Он рисует свой внешний облик, мы узнаем все о его здоровье и недомоганиях, об одежде, образе жизни, о домах, в которых он живет, о пейзажах, которые его восхищают или утомляют, видим его в окружении близких и чужих людей, среди книг, о содержании, происхождении и дате приобретения которых он также сообщает; он дает нам возможность увидеть его за столом и в спальне, на коне и под парусами и всегда находит время, чтоб украдкой поведать нам о какой-нибудь своей сердечной тайне. Латынь его никогда не подводила. Она стала послушным орудием его мыслей, столь отличающихся от тех, каким служила во времена античности. Он приучил латынь к выражению таких новых понятий, отношений, раздумий, впечатлений, размышлений и порывов, с какими этот язык никогда не сталкивался. Позднее у некоторых авторов латынь была более чистой, более классической, но ни у одного из них она не была такой живой, такой непосредственной и спонтанной. Позднейшие гуманисты упрекали Петрарку в варваризмах, выискивали даже грамматические ошибки, но не смогли поколебать его славу писателя, положившего конец окостенелой латыни средневековья и создавшего новую, проникнутую жаром сердца и яркостью красок его таланта. Он не был педантом и нередко употреблял слова, которых Цицерон избегал или не знал, быть может, даже гнушался, как, например, moderni scriptores[1], а для Петрарки они были хороши, ибо он находил их и у отцов церкви, в том горячем потоке, в котором латынь из-под развалин языческого мира влилась в мир христианский. На этом языке он смеялся и шутил, беседовал и думал вслух, восхищался красотой мира, учил и порицал, плакал и проклинал, одинаково способный и к серьезности, и к чувствительности, к боевой трубе и к флейте. Письма, расходившиеся по всей Европе, в Лондон, Париж, в Прагу, не говоря уже об итальянских городах, ко всеобщему восторгу и удивлению, несли вместе с новыми понятиями, новым образом мышления и эмоциями и это новое мастерство.

Петрарка оставил три сборника писем. Самый большой, за которым он сам следил, называется «De rebus familiaribus» («Домашние дела»), другой получил название — «Variae» («Разное»), третий, «Seniles»[2], охватывал корреспонденцию последнего периода его жизни. Зная день его смерти, мы с болью читаем последние слова, которые он писал при свече, в ожидании рассвета.

Работая над упорядочением своей корреспонденции, Петрарка стал создавать еще одну автобиографию. Его «Триумфы» явились как бы поэтической версией тех триумфов, которыми Джотто украсил базилику в Ассизе, изображая триумф Чистоты, Бедности, Послушания, святого Франциска, а также триумфа Смерти, созданного Орканья на Кампо Санто в Пизе. В этих стихах Петрарки, как и на фресках, запечатлено множество людей — боги, герои, знаменитые люди, множество близких и преданных поэту лиц, с которыми он общался всю жизнь и решил теперь еще раз собрать их всех вместе на праздник своего духа.

Он отмечал его ежегодно, 6 апреля, в тот незабываемый день, когда впервые встретил Лауру. И вот снизошел на него у истоков Сорга сон, и во сне явился ему Амур на триумфальной колеснице в окружении знаменитых избранников истории и легенд, взял поэта в неволю и повел на Кипр. Так в шести триумфах — Любви, Целомудрия, Смерти, Славы, Времени и Вечности — среди меняющихся

[1] Современные писатели *(лат.)*.

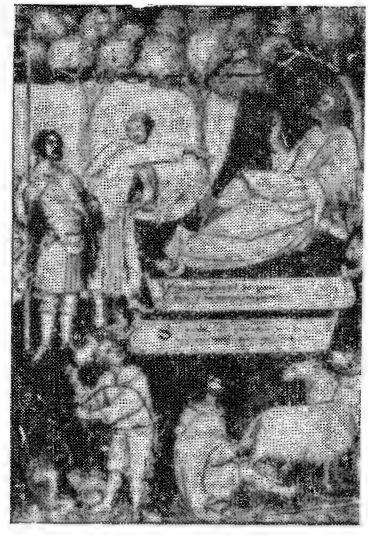
[2] «Зрелое» *(лат.)*.

пейзажей, картин, аллегорий, символов изобразил он свою жизнь, показав то, что для него было важнее всего: свои стремления к совершенству, свои борения с телом и непокорным духом, всю ту человеческую сущность, сквозь которую passa'l pensier si come sole in vetro — «мысль проходит, как солнце сквозь стекло», свою любовь и ненасытную тоску. Говоря дантовскими терцинами о себе, он вместе с тем говорит как бы о каждом человеке, и бесчисленные тысячи душ увидели в этом зеркале чернокнижника свое отражение. Но, не зная об этом, поэт восклицает перед лицом всемогущего и разрушительного Времени: «Может, напрасно я рассеиваю свои слова...»

И позднее длинной вереницей проходят перед нами сквозь все века и все страны Европы имена художников и скульпторов, великих и малых, которые своим искусством стремились подняться на высоту слов поэта. На кладбищах, в церквах, в залах дворцов фрески, аррасы, витражи, скульптуры несли мысли Петрарки в будущие времена и отдаленные страны. Точно так же и для поэтов его «Триумфы» были постоянным источником вдохновения. В эпоху Ренессанса их ценили больше творений Данте.

Петрарка воплотил в них все свое мастерство и все богатство своей души. Они были венцом его клонившейся к закату жизни.

Однажды холодным и ветреным вечером в домике возле собора святого Амвросия он изумлялся волнующей простоте строк: «Stamani era un fanciullo ed or son vecchio» — «Сегодня утром я был ребенком, и вот я уже старик».



Вергилиев кодекс. Миниатюра Симоне Мартини.

Riva degli Schiavoni

В вергилиевом кодексе на первой странице по соседству с пожелтевшей и сморщенной от старости обложкой, в самом низу, во главе эпитафий, которыми Петрарка прощался с близкими ему умершими, пять рядов букв безупречного рисунка гласят следующее: «Наш Джованни, рожденный на мое горе и муки, человек, который,

пока жил, приносил мне тяжкие и неустанные огорчения, а умирая, доставил глубокое горе, изведав немного веселых дней в своей жизни, умер в лето господне 1361, в возрасте двадцати пяти лет, 10 июля или 9, в ночь с пятницы на субботу. Весть об этом пришла ко мне в Падую 14 того же месяца, под вечер. Он умер в Милане, во время повальной эпидемии чумы, только теперь посетившей этот город, который до сих пор такие несчастья обходили стороной».

Так простился Петрарка со своим сыном. Некоторые слова и выражения этой записи повторяются в его письмах к друзьям, написанных после получения грустной вести. Повторяются слова, но не повторяется имя. Говоря о нем, Петрарка употреблял выражения «наш мальчик», «наш юноша». Понятная стыдливость отца внебрачного сына вынуждала его к такой сдержанности. Он писал о нем часто и много не только близким друзьям, но и учителям, которым поочередно поручал его воспитание. Неудовлетворенный то окружением, то успехами в науке («Книги боится, как змеи»), забирал его у одного, чтобы передать другому, переводил из города в город, пока Джованни учился в школах, но также и тогда, когда тот уже дорос до церковного сана.

Не отец был тому виною, а сын. Он должен был бы наследовать его славу, состояние и книги, но вовсе не стремился к наукам, был равнодушен к славе, его интересовало только состояние, к которому он причислял и книги. Несколько раз, когда в дом проникали воры, неуловимые и необнаруженные, Петрарка стал подозревать сына, а после одного из таких случаев просто выгнал его. Но у Джованни были заступники как при жизни, так и после смерти. Внешне он был очень похож на отца и унаследовал также его горячий, бурный темперамент, но, вместо того чтобы повторить добродетели старого поэта, обнаружил неудержную склонность к повторению грехов его молодости.

Петрарке удалось бежать от чумы, вовремя перебравшись из Милана в Падую. Будучи каноником падуанским, он и прежде нередко наведывался сюда. Падуя, город Ливия, всегда привлекала его. Ему казалось, что здесь он будет ближе к любимому писателю, на могилу которого смотрел из монастыря бенедиктинцев, сочиняя письмо о великой тени. На надгробном камне было высечено имя Ливия, но не историка, а какого-то вольноотпущенника. В Падуе Петрарка считал себя гостем Ливия в той же мере, как и гостем сеньоров ди Каррара, с которыми его связывала старая дружба. В истории рода Каррара, как и у Висконти, было немало кровавых страниц. Одного из них, милого сердцу Петрарки Джакопо, убили его же родственники. Преемник его, Франческо Старый, ранний образчик князей эпохи Ренессанса, покровитель искусства и наук, мечтал о том, чтобы переманить Петрарку к себе и сделать гостем в своем доме. Дом его, состоявший из нескольких дворцов, окруженных парком, принадлежал к великолепнейшим во всей Италии. Залы были украшены фресками, а в одном из них висели портреты великих людей, и портрет Петрарки как бы замыкал шествие славы.

Получив известие, что поэт приезжает в Падую, князь отправился встречать его к городским воротам. Но встреча не состоялась, ибо Петрарка опаздывал, а тем временем разразился ливень. Князь вернулся во дворец, оставив у ворот своих придворных. Была уже поздняя ночь, когда Петрарку ввели в приготовленные для него апартаменты и внесли туда присланные князем подарки. Когда был подан ужин, явился и сам князь, не уходивший до поздней ночи. На другой день Петрарка без обиняков принялся укорять князя за плохое состояние города: на улицах ухабы, мусор, в грязных лужах ва-

ляются свиньи. Раздражали его и варварские обычаи на похоронах, когда за гробом покойного шли специально нанятые плакальщицы, оглашавшие улицы душераздирающим плачем и криками. Князь давал любые обещания, лишь бы задержать поэта в Падуе.

Но Петрарка ничего еще не решил и вернулся даже на какое-то время в Милан, откуда чума уже ушла. Его приглашал к себе папа, звал и император. От приглашения Авиньона он отказался, но к императору решил поехать. Война в Пьемонте вернула его с дороги, и Франческо Старый снова мог наслаждаться его обществом.

В Падуе Петрарка получил странное письмо. Боккаччо писал ему, что несколько дней тому назад его посетил некий монах из Сиены будто бы по поручению недавно умершего in odore sanctitatus[1] картезианца Пьетро Перрони. Час смерти близок, говорил он, и пора забыть о суете, оставить литературные труды, иначе ему не избежать вечных мук. Он советовал Боккаччо передать это и своему приятелю Петрарке. Боккаччо писал, что он готов сжечь все рукописи, отречься от науки и остаток жизни полностью посвятить религии, а напоследок спрашивал, не купит ли Петрарка его библиотеку, если, конечно, сам не послушается данного свыше знака.

«Откуда тебе известно,— успокаивал Петрарка встревоженного друга,— что это был голос неба? Это мог быть обман, хоть и с добрыми намерениями, или экзальтация несдержанного разума. Я хотел бы его увидеть и познакомиться с ним. Хотел бы знать, сколько ему лет, как он выглядит, как держится. Я взглянул бы ему в глаза, в лицо и по голосу, по манере речи, по способу выражения им своих чувств заключил бы, заслуживает ли он доверия. Если он говорит, что наша жизнь коротка, а час смерти неизвестен, то об этом знают даже дети. Если советует оставить науку и поэзию, то в этом нет ничего, кроме давнего недоверия недоброжелательных к нашей культуре невежд и простаков. Надлежит думать о смерти, быть готовым к ней и делать все, чтобы обеспечить спасение души. Но для этого не нужно отказываться от умственного труда — опоры и утешения нашей старости. Может, это и правда, что простак превосходит образованного человека набожностью, однако набожность просвещенного человека стоит гораздо выше и более достославна... Если ты действительно решил избавиться от своих книг, мне приятно сознавать, что ты предпочел, чтоб приобрел их я, а не кто-нибудь другой. Ты верно говоришь, что я жаден до книг, и если б я стал отрицать это, мои труды свидетельствовали бы против меня. Покупая новую книгу, я всегда считаю, что приобретаю принадлежащее мне. Что касается тебя, то я не хотел бы, чтобы библиотека такого человека, как ты, была разграблена и попала в несведущие руки. Отдаленные физически, душою мы всегда вместе, и я так же страстно желаю, чтобы наши собрания объединились после нашей смерти. Если бог выслушает мою просьбу, наша библиотека в целостности и сохранности обретет покой в каком-нибудь святом месте, где о нас всегда будут помнить. Так я решил, когда умер тот, в ком я надеялся иметь когда-нибудь преемника моих исследований. Что же касается стоимости того, что так любезно ты мне предлагаешь, то я не могу ее определить, не зная ни названий, ни количества, ни ценности книг. Пришли мне точный список в следующем письме. Так вот, если ты решишь исполнить мое давнее стремление и собственное обещание провести остаток нашей несчастной жизни вместе, тебя встретят у меня твои книги, перемешанные с моими, и ты поймешь, что не только ничего не потерял, но что-то еще и приобрел».

---

[1] В ореоле святости *(лат.)*.

Боккаччо принял содержавшиеся в письме Петрарки слова утешения, но не принял помощи. Вероятно, избавившись от тревоги, навеянной угрозами монаха, он решил не расставаться с библиотекой. Вместо того чтобы искать приют в доме Петрарки, он поддался уговорам и уехал в Неаполь. Город его юности обладал для Боккаччо неотразимой прелестью, и он надеялся, что фортуна будет к нему благосклонна. Но его ожидало разочарование. Ему предоставили маленькую комнатку в каком-то зловонном доме, кормили скверно, морочили голову туманными обещаниями, а по существу никто им не занимался. Боккаччо вернулся в свое убогое Чертальдо, прославившееся выращиванием лука, словно послушав совета той девушки, которая прогнала старика поклонника со словами: «Оставь, Джованни, женщин, ухаживай за луком».

Петрарка, снова спасаясь от чумы, которая на сей раз посетила Падую, перебрался в Венецию. Едва он ступил на ее мостовую, прозрачную и скользкую, точно из жемчужных раковин, едва вдохнул соленый воздух моря, ее лагун и каналов, едва почувствовал ласку вольного простора, окрыленного тысячью ветрил, как тут же поклялся, что никуда не двинется отсюда, потому что нигде не может быть места прекраснее. «Благороднейший город. Венеция — ныне единственный дом свободы, мира и справедливости, единственное убежище для честных людей, единственная пристань, к которой направляются потрепанные бурей плоты всех тех, кто стремится жить преуспевая и спасается от военных бедствий и тирании,— город, богатый золотом, но еще более богатый славою, великий своими запасами, но еще более великий своими добродетелями, основанный на мраморе, но также и на более прочном фундаменте гражданского единения...»

Он был очарован собором святого Марка («прекраснее святыни нет во всем мире»,— писал он Пьетро из Болоньи) и целыми часами просиживал в его золотистом, красочном полумраке, а когда выходил на Пьяцетту и смотрел на Моло, ему казалось, что он стоит на носу гигантской галеры, которая вот-вот сорвет швартовы и двинется к неведомым островам. Ему снился наяву Кипр, который появлялся в его видениях из «Триумфов», а когда он возвращался к действительности, она также была сказкой: на улице отмечался какой-то праздник и все было охвачено умопомрачительным весельем.

Однако жить в этом городе богатства и роскоши, если ты не привез с собой мешок с золотом, было нелегко. Патрициям, которые приходили, чтобы отдать ему дань уважения и еще раз сказать, какой великой чести он их удостоил тем, что живет в их городе, и в голову не приходило, что такой знаменитый человек может не иметь денег. А поэту их очень не хватало, ибо из-за войны и неурядиц он не мог рассчитывать на регулярное поступление бенефиций. Деньги то пропадали в пути, то их вообще не высылали в ожидании более спокойных времен. Петрарка в обмен на дом и содержание решил отдать Венеции свою библиотеку.

Сенат тотчас же согласился: библиотека до конца жизни оставалась безраздельной собственностью Петрарки, а после смерти должна была войти в другие собрания и образовать, как он того хотел, большую публичную библиотеку, основанную по образцу античных. В качестве жилья Петрарка получил двухбашенный дворец на Рива дельи Скьявони. Из его окон были видны корабли со спущенными парусами, направлявшиеся к Риальто, и те корабли, паруса которых наполнял ветер на пути в Египет, Сирию, Грецию, Константинополь. Петрарка ждал оттуда новых даров от Сигероса, который несколько лет тому назад прислал ему Гомера.

Рукопись эта была у него всегда под рукою, и он открывал ее и закрывал, тяжело вздыхая. «Твой Гомер,— писал он Сигеросу,— у меня немой, или, вернее, я возле него глухой. Но один только вид его уже для меня радость, и часто я беру его в руки, повторяя со вздохом: «О великий поэт, как жадно я бы тебя слушал!» Петрарка писал и самому Гомеру и на пальцах перечел ему тех людей в Италии, которые, возможно, знали греческий язык. На самом же деле никто из них не знал его лучше Петрарки, который собственными силами не мог как следует прочитать даже нескольких строк.

Но вот нашелся человек, словно ниспосланный самой судьбой,— Леон, или Леонтий Пилат. Родом из Калабрии, он выдавал себя за настоящего грека не то из Фессалии, не то из Фессалоники, впрочем, всегда говорил об этом по-разному, плел всевозможные небылицы о своих предках, которые будто происходили от богов и героев, и так чудесно описывал свою неизвестную отчизну, что можно было бы забыть обо всем на свете, если не задавать ему, как это делал Петрарка, вопросов, касавшихся географии и доводивших Леона до бешенства. Несдержанный в словах, он ругал своего хозяина, проклинал судьбу, которая забросила его на изъеденную червями, зловонную итальянскую землю. А сам выглядел дикарем — с черными растрепанными волосами, с кудлатой бородой, в которой застревали остатки пищи, нетерпимый в общении — magna belua — ужасное животное, как его называл Петрарка. Петрарка держал его у себя в доме три месяца.

Леонтий ел, пил, спал и писал всякую чушь на своем убогом латинском языке. Но время от времени говорил по-гречески, ибо заметил, что у Петрарки и Боккаччо это вызывает немое восхищение, а иногда брал в руки том Гомера и пробовал его переводить. Петрарка снабдил его всем необходимым на дорогу и взял с него обещание, что он переведет весь том Гомера целиком. Боккаччо должен был присмотреть за ним во Флоренции. Он и на самом деле привел калабрийца в Студию, то есть во Флорентийский университет, и сам был его первым учеником.

Петрарка засыпал их письмами, беспокоясь, что работа не будет сделана надлежащим образом, не советовал переводить слово в слово, напоминал предостережение святого Иеронима, что в литературном переводе «даже самый красноречивый поэт становится заикой». Он не тешил себя надеждой, что перевод Леонтия даст возможность действительно познакомиться с гением Гомера, «пусть, по крайней мере, сохранится аромат и вкус», выражал недовольство, что работа подвигается так медленно, выходил из терпения и сердился. «Неужто я буду ждать так же долго, как ждала Пенелопа Одиссея?» — сетовал он. Но в деньгах не отказывал. А что касается Боккаччо, тот героически выносил более чем обременительное общество калабрийца. Во Флоренции шутили, что его «замучает Леонтий Пилат». Наконец грек закончил перевод и тут же исчез — Боккаччо не верил своему двойному счастью.

Семь лет ждал Петрарка латинского Гомера и немедленно дал его переписывать лучшему из своих секретарей. Получилось два тома на прекрасном пергаменте, которые ныне можно увидеть в Париже. Все страницы «Илиады» пестрят замечаниями Петрарки, а «Одиссею», как видно, таким образом он до конца не проштудировал. Какие же героические усилия потребовались, чтобы в этом, весьма далеком от совершенства прозаическом переводе, в этой чаще ошибок и недоразумений услышать голос Гомера! Петрарка вооружается всеми своими знаниями, ищет союзников среди латинских авторов, у которых вылавливает малейшие цитаты из Гомера, призывает на помощь рассу-

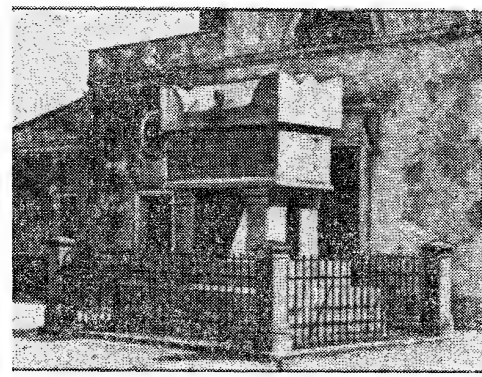
док и поэтическую интуицию, которая действует безошибочно, подсказывая верные образы и сравнения; даже военные реалии он понимает лучше переводчика, превосходит его в знании мифологии, географии. Он изменяет, поправляет текст переводчика, ссорится с ним, и иногда нам кажется, что мы слышим, как Петрарка громко захлопывает книгу, отодвигает кресло и направляется к выходу, но у дверей останавливается и, крадучись, на цыпочках, возвращается к столу, бережно раскрывает книгу, надевает очки, и пергаментные страницы вновь шелестят под его пальцами.

Остановимся на минуту. Во всей Европе, за исключением византийской окраины на востоке, эта единственная пара глаз, измученная шестьюдесятью годами труда, читает Гомера. На юге Италии, в Калабрии, были, правда, базилианские монастыри, где монахи говорили и писали по-гречески, а в Отранто даже нотариусы знали этот язык и применяли его в своих документах, но в Гомера никто из них никогда не заглядывал, а быть может, даже не слыхал о нем. От имени всего латинского Запада один только этот старый человек с юношеской энергией отправляется на поиски утраченного времени, чтобы найти и вернуть себе и своей отчизне потерянную несколько веков тому назад общность и родство культур Греции и Рима. Он стремится, думает, предвидит, во многом предвосхищая весь Ренессанс, заря которого только еще занималась. Старый человек сидит на школьной скамье, как в седую старину Катон, но только более возвышенный, более патетичный и более волнующий, ибо он — один.

На Рива дельи Скьявони собирается толпа, слышны крики. Петрарка высовывается из окна и спрашивает, что произошло. Каждый кричит что-то свое, но у всех на языке слова о разбитом корабле. Откуда он шел? Из Константинополя. Может, это тот, на котором должен был вернуться Леонтий и привезти ему новые рукописи — Платона, Гесиода, Еврипида? Да, тот самый. Леонтий не вернулся: он погиб во время бури на потерпевшем крушение корабле. Петрарка посылает своих людей на поиски книг на разбитом корабле. То, что удалось найти, он отослал во Флоренцию к Боккаччо.

В каждый из городов, которые Петрарке довелось посетить, он поначалу был смертельно влюблен, а потом покидал их с отвращением. Венеция его времени была такой же прекрасной и так же дразнила своей необыкновенной красотой, как и ныне. Петрарка был подобен человеку, который страстно влюбился в сирену, а через шесть лет почувствовал, что она ему вконец опротивела своей рыбьей чешуей и соленым запахом. Ему надоело все, что некогда приводило в восторг,— и сверкающий трепет вод, и меняющиеся, точно шея голубки, краски вечеров, и нагруженные фруктами и овощами плоты, снующие по зеленому Каналу Гранде, точно сон про золотой век. Он не мог больше выносить бульканья воды у дома, в котором жил, а на гондолу, привязанную у дверей, смотрел, как на злую собаку.

Петрарка мечтал о коне, а единственные кони, которые здесь были, позванивали своей зеленой бронзой над фасадом Сан-Марко. Он мечтал о полях и садах, но после нескольких часов странствий по улочкам и мостам встречал лишь робкую улыбку цветущих олеандров либо веселый взгляд перголы, перевитой виноградом. Высокая суровая колокольня в Торчелло, на которую он смотрел ежедневно, напоминала ему тюремные башни Авиньона и Рима. «Нигде на свете я не чувствую себя хорошо и, где бы ни склонил свое измученное тело, всюду нахожу лишь тернии и камни. Быть может, пора мне уже перенестись в иную жизнь — не знаю, моя ли это вина, что мне здесь плохо, или вина этих мест, людей или того и другого вместе». И Петрарка вернулся в Падую.



Аркуа.
Гробница Петрарки.

Аркуа

Как в юные годы Бенедикту XII, в годы зрелости Клименту VI, так теперь, в старости, новому папе Урбану V Петрарка писал о том, что столицей апостолов должен снова по праву стать Рим. Он угрожал папе небесным судом: «Что ты ответишь святому Петру, когда он тебе скажет: «Я бежал из Рима от гнева Нерона, господь рассердился на меня, и я вернулся, чтобы умереть в Риме,— а ты? Какой Нерон или Домициан изгнал тебя из Рима? Или ты в день Страшного суда предпочитаешь воскреснуть не рядом с Петром и Павлом, а в толпе авиньонских грешников?»

Петрарке казалось, что его слова снова брошены на ветер. Но вот свершилось — Урбан V возвратился в Рим. В последний день апреля 1367 года, оставив в Авиньоне пять кардиналов, папа с остальной частью коллегии, со свитой епископов, аббатов, сановников курии, духовенства и многих знаменитых лиц, горевших желанием сопровождать его в столь необыкновенном путешествии, двинулся из Авиньона в Марсель. Здесь его ожидала огромная флотилия из шестидесяти галер, присланных Неаполем, Венецией, Генуей и Пизой. По пути флотилия папы заходила в Геную, Пизу, Корнето. Папа везде останавливался на несколько дней.

Со всех сторон тянулись толпы паломников, государства и города снаряжали своих представителей, а некоторые даже весьма многочисленные посольства. Боккаччо, перенося настоящие муки на коне из-за своей полноты, возглавлял представителей Флоренции. В портах строили мостки, по которым папа сходил с корабля на берег, в городах — триумфальные арки, улицы были устланы коврами и усыпаны цветами, балконы задрапированы шелком, на котором была вышита цифра папы — V, на некоторых балконах стояли женщины в необыкновенных нарядах, словно живое олицетворение триумфа Италии. Затем путешествие продолжалось по суше через Витербо, где ожидали императора, но тщетно; в Рим папа прибыл лишь 16 октября, в один из тех погожих дней, которые делают этот осенний месяц похожим на весну.

Весь город вышел встречать папу с хоругвями, со штандартами, с пальмовыми ветвями, с букетами цветов. В облаках кадильного дыма, под пение духовенства Урбан V ехал на белом коне, которого вели удельные князья, а над его головой реяла хоругвь церковного государства. Собралось около двух тысяч епископов, аббатов, приоров, каноников. Перед собором святого Петра папа слез с коня и после короткой молитвы взошел на ступени трона, по которым на протяжении последних шестидесяти трех лет не ступал ни один из пап.

И только один человек отсутствовал в Риме в тот день — Петрарка. А ведь это был его день, день, которого он так долго, так на-

стойчиво, так горячо и безнадежно добивался. Урбан V жаловался на его отсутствие, со дня на день ожидал его и наконец спустя год обратился к нему с собственноручным письмом.

Письмо это не застало Петрарку в Падуе. Он был в Тичино, где обычно проводил летние месяцы. В эти дни он дежурил у постели больного внука. Маленький Франческо, лежа в колыбели, держал его руку в своих крохотных горячих ладонях и слушал сказки. У Петрарки было в запасе их не очень много, и поэтому он рассказывал о реальных событиях, выбирая из истории то, что могло занять трехлетнего ребенка: о Ромуле и Реме, о капитолийских гусях. При упоминании о Капитолии мальчик попросил, чтобы дедушка рассказал, как его увенчали лавровым венком. Он знал об этом уже на память, но всегда слушал с большим вниманием. На этот раз после первых же слов малыш заснул и во сне издал глубокий вздох. Петрарка вздрогнул, чувствуя, как ладони, которые до сих пор были такими горячими, вдруг холодеют. В его возрасте уже не плачут, но, быть может, для сердца нет более горестной и непостижимой тайны, чем смерть ребенка.

После похорон Петрарка решил вернуться в Падую. Он был так удручен, что даже не заметил войск, расположившихся биваком по обоим берегам По, даже не слышал грохота аркебузов — нового и страшного оружия. Его лодку задержали. Но при известии, кто едет, воцарилось как бы перемирие, и отряды обеих враждующих сторон с почестями вывели лодку за пределы боевой линии. Петрарка чувствовал себя неважно и, отправляясь в Рим, составил завещание.

Урбан V напрасно ожидал Петрарку в Риме. Тяжелая болезнь задержала поэта в Ферраре. Вскоре распространился слух, что он умер, и в правдивость этого настолько уверовали, что бенефиции, которыми он владел в разных городах, раздали другим. С тех пор поэт с горечью думал, что есть люди, которых его выздоровление разочаровало. «Пусть утешатся. Я не буду слишком долго испытывать их терпения». Урбан V вскоре умер, а его преемник снова поселился в Авиньоне. Петрарка уже не надеялся дожить до возвращения апостольской столицы в Рим.

У него не было прежних сил, к тому же, приводя в отчаяние медиков, он вел прежний образ жизни: спал мало, питался скромно — ел фрукты, овощи, хлеб, пил только воду. Время от времени его снова лихорадило, иногда он чувствовал неожиданную слабость, но каждый раз как-то справлялся с этим. Бывали случаи, когда медики, не надеявшиеся с вечера, что он переживет ночь, утром заставали поэта за работой. Неукротимого странника все еще манили бегущие вдаль дороги. Он проводил князя Франческо до Болоньи, но когда после этого сам направился в Перуджу, не смог уже удержаться в седле. Наступила тяжкая година — пришло время проститься с дорогой, с ветром полей, с далями, со всеми городами, в которых он еще не успел побывать и которых уже никогда ему не суждено было увидеть. Но все же он позволил отвезти себя в Венецию, где произнес страстную речь перед Сенатом. С тех пор далекие дороги уже сами стремились к нему, принося неожиданных гостей — среди них был и английский поэт Чосер.

Петрарка завершил некоторые работы: «De sui iptsus et multorum ignorantia»[1], направленную против дерзких аверроистов, которые досадили ему в Венеции, «De remediis utriusque fortunae», или «О средствах против удачи и неудачи». Он начал их писать давно, предназначая для своего друга Аццо да Корреджо, жизнь которого явилась

[1] «О невежестве своем собственном и многих других людей» *(лат.)*.

ярким подтверждением непостоянства судьбы. От этого дидактического трактата, состоящего из нескольких сот коротких диалогов, веет терпкой горечью утраченных иллюзий и угасших надежд. В первой книге Радость и Надежда беседуют с Рассудком, который готов развенчать любую из даруемых нам жизнью радостей, а во второй тот же Рассудок отражает нападки Боли и Страха, но при этом оставляет человеку одно лишь Отречение. «Только тот свободен, кто умер; могила — скала, неприступная для каких бы то ни было прихотей судьбы». Петрарка с облегчением закрыл эту книгу, над которой работал много лет, и подобно тем, кто ищет отдохновения в цветущем саду, вернулся к итальянским стихам.

О своей итальянской поэзии он всегда отзывался с пренебрежением, а по существу с вниманием и нежностью склонялся над каждой строкой. И Петрарка и Боккаччо долгие годы обманывали себя: клялись, что давно охладели к простонародным куплетам, а на самом деле продолжали писать стихи. Петрарка просматривал все ранее написанное, кое-что поправлял и изменял. Попадались ему пожелтевшие, помятые и разрозненные страницы, на которых была только строфа или даже строка, «память тысячелетней давности», как он однажды выразился. Над таким обрывком он порой раздумывал часами, вызывая в памяти время года, которое его породило, день, утро или вечер; воспоминания теснились, принося картины мест, людей и его собственный образ в пору зрелой молодости. Неожиданно к нему возвращалось творческое настроение, и засохшее стихотворение снова расцветало, словно иерихонская роза под плодотворной росою.

Иногда достаточно было лишь переписать какой-нибудь брошенный черновик. «Удивительная вещь! — записывал Петрарка на полях.— Этот сонет я когда-то перечеркнул и выбросил, а сейчас, спустя много лет, случайно прочитал и помиловал. Переписал и вставил в надлежащее ему по времени место: 22 июня, пятница, 23 часа». Но все свои черновики он снабжал заметками по-латыни, так что даже здесь, в тетрадях итальянских стихов, мы лишены возможности услышать звучание его итальянской прозы. Ища для этих возрожденных сонетов «надлежащего им места», он вставляет написанные после смерти Лауры среди тех, которые писал при ее жизни, и сам удивляется в одном из «Триумфов», что con la stanca penna — усталым пером стремится за золотой мечтой юности.

Из таких заметок на черновиках можно было бы составить настоящую хронику его жизни, так много в них подробностей. «1368, пятница, 19 мая, среди ночи. После долгой бессонницы встаю наконец с кровати, и этот сонет, очень старый, через пятнадцать лет попадается мне на глаза». Или: «Среда, 9 июня, после захода солнца я хотел взяться за эту рукопись, но меня зовут ужинать. Вернусь к ней завтра с самого утра».

Это внучка Элетта прибежала в его кабинет. Она одна имела право входить туда в любое время. Это была уже большая девочка, очень похожая на деда. Она носила имя матери Петрарки и напоминала ему собственное детство. Тот же голос, та же улыбка и живость, те же светлые волосы и быстрые глаза. Когда зять Франческино да Броссано или дочь хотели о чем-нибудь его попросить, то сперва посылали к нему Элетту.

Последние годы жил он в Аркуа, небольшом городишке возле Падуи, среди Евганейских холмов, дымившихся горячими источниками, кое-где переходившими в трясины и болота, что портило красоту этой местности, столь же привлекательной, как и Воклюз. Устно и в письмах Петрарка уговаривал герцога падуанского осушить их и был даже готов понести часть расходов. Но не сумел склонить его к это-

му, о таких вещах думать было рано: мысль Петрарки осуществилась лишь в XIX веке.

У него был небольшой деревянный дом с каменным фундаментом, несколько комнат внизу занимала дочка с мужем и Элеттой, наверху жил он сам, да и для секретарей нашлись в доме комнатушки. Дом стоял в саду, переходившем далее в виноградник, немного поодаль серебрилась оливковая роща. Не было более радостного зрелища, чем Элетта, стряхивающая с дерева оливки. Кожа у девочки была цвета спелой оливки, такая же была и у него в ее годы. Да и сама она была как молодое оливковое деревцо.

Вскоре найдется кто-нибудь, кто захочет увести ее к себе, в свой дом. Приданого у нее нет, но дед наверняка сидит на золоте — все так говорят. Нечего обольщаться: люди считают его скупцом и будут удивлены, когда прочтут завещание. Но у Элетты все-таки будет приданое. Она получит его в виде единственного сокровища, которое хранится в этом доме,— библиотеки. Петрарка поглаживает подбородок и щеки, словно желая стереть улыбку, которая может его выдать. Какое счастье, что он не оставил библиотеку в Венеции! Какая предусмотрительность, что он никому ее не отказал. Она достанется в наследство почтенному Броссано вместе с этим домом и садом, вместе с виноградником и оливковой рощей, которая всех их переживет. У Элетты будет приданое.

Из тайника в пюпитре он извлекает завещание, написанное в памятном году, когда Урбан V вернулся в Рим. Прочитав первую страницу, поэт задумался над этим перечнем городов и церквей, где хотел бы быть похороненным, не ведая, куда занесет его судьба. Была там и Венеция со святым Марком, был и Милан со святым Амвросием, и Рим с Санта-Мария Маджоре, и Парма с кафедральным собором, где в течение многих лет он был архидьяконом, «бесполезным и почти всегда отсутствующим», был, наконец, Аркуа, где решил он построить себе часовню. Не было только сельского затишья над «чистыми, сладкими, свежими водами», где некогда мечтал он умереть под деревом, о которое опиралась Лаура: это только молодость ищет себе могилу в живой идиллии.

Затем он еще раз просматривает, кому что завещано. Двести дукатов для собора в Падуе, двадцать дукатов для той церкви, где он будет похоронен, сто дукатов для раздачи нищим. «Упомянутому уже герцогу падуанскому, у которого милостью божьей всего предостаточно,— читал он далее,— я, не имея ничего, что могло бы быть для него достойным даром, записываю мою картину, то есть икону Пресвятой Девы Марии, работы выдающегося художника Джотто, подаренную мне моим другом флорентийцем Микеле Ванни. Произведение это такой красоты, коей не в силах понять невежды, а знатоки искусства стоят перед ней в изумлении... Магистру Донато да Прато, старому учителю грамматики, который живет в Венеции, если он мне что-то должен, а сколько это могло бы быть, я не помню, я прощаю долг и не хочу, чтобы по этой причине он имел какие-нибудь обязательства перед моими наследниками».

Далее следовало перечисление сумм, которые Петрарка сам был должен другу Ломбардо да Серико, но это были счета с 1370 года, ныне потерявшие силу. Он уже взялся за перо, чтобы эти цифры изменить, но вовремя спохватился, ведь он не имеет права вносить какие-либо изменения в текст завещания без засвидетельствования нотариусом, и махнул рукой: «Сами разберутся».

И читал далее: «Моих коней, если б я их имел в момент кончины, пусть поделят между собою по жребию мои падуанские сограждане

Бонцумелло ди Вигонча и Ломбардо да Серико... Тому же Ломбардо я оставляю еще свой малый кубок, круглый, серебряный, позолоченный: пусть пьет из него воду, которую он любит куда больше, чем вино; хранителю нашей церкви пресвитеру Джованни да Бокета я завещаю мой большой требник, который я купил в Венеции за сто лир. Этот дар я делаю с оговоркой. После его смерти требник должен остаться в ризнице падуанской церкви для вечного употребления священниками, которые будут молиться за меня.

Джованни ди Чертальдо, то есть Боккаччо, я записываю пятьдесят золотых флоринов, чтоб купил себе зимнюю епанчу для ночной работы,— мне стыдно, что я так мало даю такому великому человеку».

Петрарку охватили невеселые мысли. Из Чертальдо поступали дурные вести. Бедный Боккаччо уже не выходил из дому, прервал свои лекции о «Божественной комедии», тяжелая болезнь приковала его к кровати. Но самое худшее то, что он вверился жестоким врачам. Петрарка вздрогнул при мысли о тех мучениях, которым подвергает его друга эта свора глупцов. Живьем режут его бритвами! Кто из нас окажется долговечнее? Он вздохнул и читал дальше.

«Маэстро Томазо Бомбазио из Феррары записываю мою чудесную лютню, чтоб она играла у него не для суеты бренной жизни, а во имя вечной славы божией. Пусть упомянутые здесь друзья обвиняют в скудости моих даров не меня, а фортуну, если она существует. По этой же причине я называю напоследок того, кто должен быть первым, а именно: маэстро Джованни дель Орододжо, врача, которому я записываю пятьдесят дукатов, чтобы купил себе перстень и носил его на пальце в память обо мне.

Что касается моих домашних, то воля моя такова. Бартоломео ди Сиена, называемый Панкальдо, получит двадцать дукатов, только бы он их не проиграл. Моему слуге Джилио да Фиоренца, кроме того, что ему надлежит за службу, двадцать дукатов, то же самое и другим слугам, буду ли я иметь их меньше или больше,— сверх положенного по двадцать флоринов. Из остальной челяди каждому по два дуката, точно так же и повару. Если кто-нибудь из друзей или слуг умрет раньше меня, предназначенное ему возвращается моему наследнику.

Единственным наследником всего моего движимого и недвижимого имущества, которым я владею или буду владеть, где бы оно ни находилось, я назначаю Франческо да Броссано, а его самого прошу не только как наследника, но и как самого дорогого сына, чтобы деньги, которые у меня найдутся, он разделил на две части и одну оставил себе, а другую раздал тем, о ком знает, что я хотел бы им дать.

Прежде чем закончу это письмо, я должен сказать еще о двух вещах. Во-первых: я хотел бы, чтобы принадлежащий мне клочок земли за горами в местечке Воклюз, в епархии Кавайон, поскольку не окупились бы затраты на дорогу туда, стал бы приютом для бедных, а если это по причине какого-либо закона или распоряжения окажется невозможным, то пусть он перейдет в собственность двух братьев Джованни и Пьетро, сыновей покойного Раймона Моне, который был моим преданнейшим слугою. А если упомянутые братья оба или один из них умерли, пусть это перейдет к их сыновьям или внукам в память о том Моне.

Во-вторых: все мое недвижимое имущество, которым я владею или в будущем владеть буду в Падуе или на территории Падуи, пусть вместе с остальным достоянием станет собственностью моего наследника, но с тою оговоркою, что он ни сам, ни через какое-нибудь другое лицо не может передать другим это недвижимое имущество ни путем продажи, ни дарственной, ни сдачей в вечную аренду, ни каким-либо

иным способом, ни даже заложить в течение двадцати лет после моей смерти. Делаю я это в интересах моего наследника, который, из-за незнания всех обстоятельств, мог бы понести убытки, ибо, когда он узнает все досконально, ни за что не захочет от него избавиться. Если б вдруг, поскольку каждый из нас смертен, Франческо да Броссано, сохрани его бог от этого, умер раньше меня, пусть моим наследником будет упомянутый выше Ломбардо да Серико, который знает все мои мысли и был мне преданным при жизни, каким, надеюсь, он останется и после моей смерти.

Добавлю еще одно: пусть после моей кончины мой наследник тотчас же напишет моему брату, монаху из монастыря в Монтре возле Марселя, и пусть оставит ему право выбора, что он предпочитает — сто золотых флоринов сразу или ежегодно по пять или десять, как ему больше нравится.

Это написал я, Франческо Петрарка; я составил бы иное завещание, если бы был таким богатым, каким считает меня бездумное простонародье».

Ни слова о библиотеке. Правильное ли было принято решение? Что лучше: оставить ли ее в одном месте в полной зависимости от меняющихся опекунов, из которых один будет просвещенным и заботливым, другой — невеждой и беспечным, или разместить среди людей, у которых каждая из его книг будет в почете? Петрарка засмеялся при мысли о том, как будут увиваться книжники вокруг бедного Броссано и выпрашивать у него хоть что-то из этих бесценных сокровищ. Хотел бы он знать, к кому попадет его Вергилий, его Цицерон, его Гомер. Кто будет корпеть над комментарием, который он писал на полях? Перед его глазами вставали лица друзей, далеких и близких, старых и новых — князей, кардиналов, епископов, ученых, поэтов.

Мы бы хотели нарушить одиночество поэта и рассеять его сомнения, говоря: «Ты не спускаешь глаз с этой книги Вергилия, которая была с тобой всю жизнь,— не опасайся: она не пропадет. Сперва окажется в доме твоего друга Донди дель Ороложо, позднее станет собственностью Висконти, а когда в 1500 году их собрание будет разрознено, она, переходя из рук в руки, попадет в Рим, где ее купит ученый епископ Таррагонский, Антонио Августин, а через сто лет некий неизвестный священник отдаст ее кардиналу Боромео. Тот определит ее судьбу, поместив в Амброзианской библиотеке в Милане, где до сих пор с волнением склоняются над нею исследователи твоих произведений и жизни».

Уже несколько месяцев лежал на полке рядом с Вергилием толстый том, присланный ему Боккаччо. Из письма Петрарка знал, что это «Декамерон», переписанный рукою автора. Сколько вложил труда бедный Боккаччо, сколько денег стоили ему пергамент и оправа! И вот со смирением просит он принять запоздалый дар. Поистине запоздалый, хотя и не в том смысле, как это сказано в письме друга. Боккаччо этим словом как бы оправдывал те двадцать лет, что прошли от завершения книги, а для Петрарки это означало: слишком поздно, мой друг! Где найти время на чтение такой толстой книги?

Со вздохом он протянул к ней руку. Ах, эта итальянская проза — какой безнадежный труд! Однако вступление с описанием чумы он прочитал не переводя дыхания. Далее только перелистывал страницу за страницей — фривольные дамочки с их легкомысленными похождениями мелькали у него перед глазами. Но только одна история — история Гризельды — привлекла его внимание, и он прочитал ее до конца.

Вот чем еще одарит он друга, которому так мало отказал в заве-

щании. Боккаччо получит от него нечто такое, что будет дороже самого богатого дара. Он переведет «Гризельду» на латынь. Обеспечит этому отрывку из «Декамерона» бессмертие и спасет все произведение от забвения. Петрарка с энтузиазмом взялся за работу. Элетта никак не могла допроситься, чтобы он вовремя спускался к обеду. Склоняясь над книгой и видя, что она написана по-итальянски, девушка настойчиво просила деда, чтоб он прочитал ей что-нибудь. «Нет, дитя мое, это творение юных лет мессира Боккаччо не подходяще для твоих юных лет». Внучка уходила от него, надув губы, но, о чудо, вместо того чтобы исчезнуть за дверью, пряталась на этих страницах сперва в образе самой Гризельды, а потом ее дочери, провесницей которой была.

Готовый перевод «Гризельды» Петрарка велел красиво переписать и послать во Флоренцию вместе с письмом. «Я солгал бы,— писал он,— если б сказал тебе, что прочитал всю твою книгу, потому что она очень большая, да и предназначена для народа — написана по-итальянски, работы же у меня много, а времени мало». Это было последнее его письмо, он решил больше уже никому не писать. Valete amici, valete epistolae![1]

Его ждала «Одиссея». С пером в руке он продирался сквозь текст несчастного Леонтиоса, ища «аромата и вкуса» великой поэзии. В открытое окно глядела усыпанная звездами июльская ночь. Кваканье лягушек сливалось с гомоном веча на Итаке. Как раз начинал свою речь Лейокритос, сын Эвенора, когда перо выпало из рук Петрарки и тоненькой полоской начертило на белом листе бумаги свой последний путь.

Так нашли Петрарку на следующий день, 19 июля 1374 года, в канун его семидесятилетия — голова поэта лежала на раскрытой книге. Это было мечтой всей его жизни — умереть над книгою с пером в руке. Vivendi scribendique finis.[2]

Некоторых не устраивала такая тихая смерть в одиночестве. Рассказывали, что Петрарка умер в окружении семьи и друзей, держа обеими руками руку верного Ломбардо да Серико. В тот момент, когда он закрыл глаза, присутствующие заметили, как из-под балдахина ложа вылетело прозрачное облачко, выскользнуло из комнаты, село на крышу дома, снова поднялось и наконец исчезло в воздухе.

Никому не ведомо было еще завещание Петрарки, в котором он просил, чтоб его похоронили «без всякой пышности, возможно скромнее», и герцог падуанский, не зная, что нарушает этим волю покойного, приехал в Аркуа со всем двором. Поэт лежал в дубовом гробу, одетый в пурпурный плащ, полученный им от короля Роберта во время капитолийских торжеств. Элетта надела ему на голову лавровый венок, который сплела сама, как это делала ежегодно в день его рождения. Похороны состоялись 24 июля.

Траурную процессию возглавил епископ Падуи в сопровождении епископов Вероны, Виченцы и Тревизо. За ними следовал весь падуанский клир, было много монахов с аббатами и приорами. Над гробом несли парчовый балдахин, сам гроб был покрыт черным сукном с золотой бахромой. Несли его шестнадцать докторов права, и следом шел весь Падуанский университет. Надгробную речь произнес фра Бонавентура да Перага из ордена эремитов, впоследствии кардинал. Гроб поставили в склепе церкви в Аркуа, откуда через шесть лет перенесли в построенную Броссано гробницу из красного мрамора на площади перед церковью.

---

[1] Прощайте, друзья, прощайте, письма *(лат.)*.

[2] Кончить писать и жить в один миг *(лат.)*.

В мае 1630 года какой-то монах, фра Томмазо Мартинелли, отбил одну стенку саркофага и украл правую руку Петрарки. На процессе он признался, что хотел подарить ее Флоренции, которая так страдала от того, что прах обоих великих поэтов-флорентийцев — Данте и Петрарки — покоится на чужбине. Украденная реликвия неведомыми путями очутилась в Мадриде и, закрытая в мраморной урне, хранится в музее. Спустя триста лет после фра Томмазо ученые вскрыли саркофаг. Исследования скелета показали, что Петрарка был высокого роста — 1,83—1,84 метра, правая нога его оказалась на один сантиметр короче левой, у него был крупный нос и большой череп, по-видимому, мозг его намного превышал средний вес.

Но Петрарка мечтал, чтобы неразлучная его спутница Слава говорила всем, кто придет к нему на могилу: «Здесь его нет, ищите его среди живых, среди тех, кто почитает его имя».

От автора[1]

В феврале 1945 года, когда я уже точно знал, что от моей варшавской квартиры не осталось ничего, кроме пепла, который ветер разнесет по Фильтровой, я, живя в деревне на Люблинщине и вспоминая об утраченном, много размышлял о будущем. Я не связывал его ни с каким-нибудь домом или с вещами, оно не было связано ни с какими-нибудь записями или рукописями. Все надо было начинать сначала. А пока у меня не было даже собственной ручки, но, как известно, отсутствие ручки не стало неодолимым препятствием ни для одного писателя. Думая лишь о самом труде, я не заботился о его орудии и знал, что трудиться придется в несколько иных условиях.

Навсегда покинули меня книги, которые я собирал с юных лет, с тем чтобы рассчитывать на их помощь в любой работе. Отныне не будет тысяч томов в моем кабинете и в соседней, уставленной длинными рядами полок комнате, моя мастерская будет там, где найдется хоть какой-нибудь стол, купленная в лавчонке тетрадка, ручка или карандаш. И голова, свободная от дат, фактов, имен, за исключением тех, которые придумаю сам. Я принял твердое решение — не занимать своего воображения какими-либо образами или эпохой, для освещения которых понадобятся различные исторические и научные источники. И находил в этом великое облегчение.

Но вскоре многое изменилось. Я стал профессором университета, получил кафедру сравнительных литератур, ту самую, которую некогда занимал Ян Каспрович. Снова появились груды книг и заметок. Первый свой курс лекций я решил посвятить гуманизму. Я не видел ни более подходящей, ни более срочной темы, чем та, которая из юдоли скорби, бесчестья и преступлений вела к свету, к тем людям, которые мыслью и словом создавали нового человека, боролись за его благородство, внедряли и прививали любовь ко всему человеческому. Я сам жаждал этих чистых истоков, и точно так же стремились к ним мои слушатели. В этом я убедился на первой же лекции, когда на основе этимологии и истории старался дать логическое определение гуманизма. И хотя лекция была построена не на пафосе, а на строго документированном материале, отдельные ее страницы звучали, как отрывок из какого-то давно забытого евангелия человечности.

Записи своих лекций я вел в черновой тетрадке из желтой бумаги, в потертой картонной обложке, когда — подробно, когда — в виде тезисов, а поля тетрадки постепенно обрастали все новыми сведениями и цитатами.

[1] Передано автором редакции журнала «Иностранная литература» в связи с публикацией русского перевода «Петрарки».

Первой фигурой, появившейся в моих предварительных набросках к лекции о гуманизме, был Петрарка. Согласно записи в черновике, датированной 10 октября 1945 года, начало лекции звучит примерно следующим образом: «В монастыре святого Аполлинария во Флоренции есть картина, на которой Андреа дель Кастаньо изобразил молодого мужчину с благородными чертами лица. Особенно запоминаются безупречные дуги бровей, ласковый взгляд и тонкие губы. Одетый в длинное строгое одеяние, напоминающее монашескую рясу, в левой руке он держит книгу, а правой ладонью жестикулирует, словно бы участвует в дискуссии. Подпись гласит: «Франческо Петрарка». Это описание я сделал по памяти, именно таким оно хранилось в ней в течение девятнадцати лет, с того памятного октябрьского дня, когда я рассматривал эту картину в благоухающей сбором винограда Флоренции.

Однако моя первая встреча с Петраркой относится к более давним годам и произошла также под итальянским небом, во время моего первого путешествия по Италии. Мне было тогда восемнадцать лет, и я заметил, что молодые щеголи вместо платочков носят в кармане пиджаков маленький изящный томик в сафьяновом переплете с золотым обрезом. Я немедленно купил себе такой же. Это были сонеты Петрарки. Я заглядывал в них каждую свободную минуту — в холле гостиницы, на вокзале, в трамвае. Подобно тому, как флорентийские улицы запоминаются по установленным на их углах мраморным доскам с терцинами «Божественной комедии», различные площади и улицы Милана или Болоньи в моей памяти ассоциируются со стихами Петрарки, которые я там читал. Из рук снобов ко мне попали стихи, с которыми я не расставался несколько месяцев. А по существу не расставался с ними никогда. Со свойственной юности точностью память сохранила целые строфы, и нередко во время лекций они всплывали в моей памяти раньше, чем мне удавалось отыскать их в пострадавшем от времени и небрежного обращения экземпляре издания Леопарди, взятом из университетской библиотеки.

Прошло восемь лет. Однажды, приводя в порядок свои записи и удивляясь, что их накопилось так много, взяв в руки потрепанную тетрадь с моими лекциями о гуманизме, я задумался: «Ты снова по старинке ведешь свое хозяйство — небрежно и легкомысленно,—говорил я себе с горечью.—Вот так же некогда лежали в запустении в шкафах и ящиках письменного стола материалы, заметки, наброски неоконченных работ, пока огонь не освободил тебя от них». После этих речей на следующий же день я заключил договор на книгу о Петрарке, ибо ничто так не выводит из состояния колебаний и сомнений, как подписанный договор. Это наш писательский вариант: alea jacta est [1].

Начало пошло легко, как несущаяся в весеннее утро под треугольным парусом ладья. Я взял новую тетрадь, на первой странице вывел дату: 14 февраля 1953 г. и название «Петрарка, или Заря гуманизма». Пользуясь своими лекциями и подчас более богатыми заметками на полях черновика, я писал, как говорится, на одном дыхании. Через два дня первая глава была готова. Глава? Нет, не будет никаких глав. Будет, как у Бальзака, цельное, непрерывное повествование, пусть даже на двести страниц. Но это намерение все же не удалось выполнить. Через несколько недель целое стало распадаться на части. Поначалу их было столько же, сколько муз — счастливое число,— потом количество глав стало приближаться к числу месяцев, но и этого, видимо, оказалось мало, если вскоре стала вырисовываться и тринадцатая глава. Эти перемены произошли почти одновременно с другими, значительно более важными. Я все меньше стал полагаться на свои черновые записи и на память и не успел оглянуться, как на моем столе водрузились толстые тома писем Петрарки в различных изданиях, а выходя на первую весеннюю прогулку, сунул в карман томик сонетов, который с тех пор стал верным спутником моих прогулок среди цветущей сирени и каштанов, вызывая в памяти ту далекую итальянскую весну, когда я впервые читал их, и ту, совсем еще недавнюю холодную, сырую люблинскую осень, когда искал в них материал для лекций. До неузнаваемости изменился и мой рабочий стол. Еще в феврале выглядел он весьма беззаботно: слева — черновики лекций, справа — тетрадь и быстро бегущее перо. Но вот появилась папка с надписью: «Петрарка», старая папка, где раньше хранилась писчая бумага «Акрополис», разбухала с каждым днем от листков и клочков бумаги,

[1] Жребий брошен *(лат.)*.

старых конвертов, различных квитанций, на обороте которых были сделаны бесчисленные записи и заметки...

С того времени число их беспрерывно растет. Они заключают в себе новые и новые подробности, проверенные и упорядоченные даты, фрагменты признаний Петрарки, силуэты лиц его эпохи и окружения, характеристики его произведений, путевые дневники бесчисленных путешествий поэта. Только что я вложил в папку листок, на котором отмечено: «25.I в Вероне — 13.III в Парме.— Потом, возможно, в Ферраре.— 25.III в пути, возможно, обратном из Феррары, где-то возле По.— 6.IV в Вероне.— 10.IV в Парме.— 19.V в Парме, сентябрь на Капри, потом в Падуе». Как видите, я гонялся за Петраркой, который в эти месяцы, о чем свидетельствуют его письма, буквально не слезал с коня, непрестанно посещал разные города, но нигде не задерживался на длительный срок. Это был год 1348-й, год ужасной эпидемии, которая косила людей по всей Европе. Чума унесла и Лауру. Петрарка узнал об этом в Вероне, запись о своем горе он сделал в кодексе Вергилия, которому нередко доверял свои печали.

Эта рукопись мне была известна по научным описаниям, я сделал выписки из наиболее важных заметок Петрарки, прочитанных неоценимым Пьеро ди Нольяком. Но вот наконец, благодаря любезности университетской библиотеки во Вроцлаве, я получил возможность познакомиться с фототипическим изданием кодекса. Это поистине удивительное достижение техники репродуцирования настолько точно повторяет оригинал, его размер, вес, качество пергамента, краски титульной миниатюры, инициалы, различного рода чернила, воспроизводя даже загибы страниц, пятна, следы рук, листавших этот кодекс,— что создается впечатление, будто имеешь дело с тем, настоящим памятником старины, что покоится в миланской Амброзиане.

С того дня как в мои руки попала копия кодекса, мне стало казаться, что я получил возможность непосредственного общения с самим Петраркой. До сих пор его образ возникал передо мной из рассказов о нем, как моих собственных, так и чужих, здесь же поэт был запечатлен в бесчисленных ситуациях, его можно как бы воочию увидеть и даже коснуться. Сколько раз открывал я ту или иную страницу и с увеличительным стеклом странствовал среди гущи рассеянных на полях записей, сделанных его мелким почерком! Истинной реликвией является первая страница, на которой Петрарка записал даты смерти всех своих близких. Среди них одна, о смерти Филиппа де Витри, как оказалось впоследствии, была основана на ложном слухе, он вскоре стал кардиналом и жил еще долгие годы, пользуясь дружеским расположением Петрарки.

На обороте этой страницы знаменательная запись о первой встрече и о смерти Лауры, а ниже приведены слова из молитвы в день обращения святого Павла, воздающие хвалу Вергилию. Впрочем, в этой рукописи нет ничего незначащего, даже каждая пометка, выделяющая какое-нибудь слово Вергилия или его комментатора, представляет собой большой интерес, как свидетельство о раздумьях Петрарки.

Таким образом, моя творческая лаборатория настолько изменилась, что я уже не мог работать над книгой за пределами дома. Я убедился в этом летом. Отправляясь в Оливу, я втайне надеялся, что вернусь если не с законченной книгой, то, по крайней мере, с несколькими готовыми главами. Но меня постигло горькое разочарование! Чуть ли не на следующий день я обнаружил, что, второпях укладывая книги, забыл многие необходимые мне материалы. Сперва я попытался как-то «обойти» эти пробелы, а потом, как говорят актеры, попробовал «маркировать» некоторые разделы с тем, чтобы завершить их дома, но оказалось, что я так работать не умею. Каждая фраза у меня зависит от предыдущей, и в их расположении ничто не может быть доверено случаю, иначе не только та или иная страница «рассыплется» и ее нужно будет потом переделать, но и вся глава не получит необходимого завершения. После нескольких дней бессильной злости я переключился на другие занятия.

Среди этих забот я все больше отдалялся от того февральского дня, когда начал писать свою книгу, и от того июньского дня, который по первоначальному замыслу должен был стать днем ее завершения, а вскоре миновал и тот ноябрь, когда рукопись должна была лечь на стол издателя. Повторилось обычное для меня положение — я не могу управиться с книгой в срок меньше года. Более того, я понял, что, если б у меня была такая возможность, я бы непременно занялся дальнейшими разысканиями и даже снова посетил те места, которые некогда были свидетелями жизни Петрарки.

Мне могут сказать, что я преувеличиваю,— возможно, но такова уж моя писательская манера: чем больше я сживаюсь с образом какой-нибудь творческой личности, тем ревностнее отношусь к каждому факту ее биографии, к каждому прожитому ею дню, к каждому ее творению. С большим трудом и сожалением решаюсь я прибегнуть к собственным домыслам, чтобы заполнить пробелы в достоверных сведениях о его жизни, и, пока есть надежда, стараюсь учесть каждое даже самое беглое указание. Я глубоко уверен, что всегда следует поступать именно так, и испытываю настоящую неприязнь к авторам, которые, пренебрегая источниками и датами, лихо резвятся на доморощенной лошадке своей фантазии по чьей-то достойной уважительного отношения творческой биографии. Точно так же сторонюсь я и ученых, старающихся соединить разорванные нити биографических фактов своими гипотезами, не предупреждая об этом читателя. Сколько ошибок из-за этого наследуют грядущие поколения! С Петраркой это случалось, пожалуй, чаще, чем с другими. Мы знаем ряд его биографий, которым недостает лишь темперамента и повествовательного таланта, чтобы быть отнесенными к жанру биографического романа. Я боялся их, как проказы, и вообще избегал готовых монографий. В своей работе я старался учитывать лишь непосредственные свидетельства жизни поэта — его письма и документы его эпохи.

Некоторые читатели могут задать вопрос: а чем отличается труд ученого-литературоведа от труда писателя? Первое, что бросается в глаза даже при поверхностном взгляде на внешний облик книги писателя,— это отсутствие примечаний и библиографии, которыми обычно богато снабжены труды ученых. Однако надо отметить, что не каждый ученый ищет славу и признание в этом отнюдь не привлекательном орнаменте. Более существенное, но менее очевидное отличие заключается в самой трактовке предмета: там, где писателю достаточно одной фразы, ученый, если он добросовестен, не сможет отказаться от целой страницы. Особенно при разборе сомнительных дат или отдельных исторических фактов, а также при оценке произведений и их интерпретации. Все это ученый выявляет, писатель же прячет, и где один цитирует различные мнения по спорным проблемам, прежде чем высказать собственное суждение, другой дает готовое решение в ходе единого, непрерывного повествования. Как в каждом творении искусства, после того как писатель полностью овладел фактами и создал в своем представлении цельный, ясный и живой образ героя со всеми его отличительными чертами, основной его заботой становится сама структура повествования, непрерывный ее поток, определяющий и строение фразы, и конструкцию страницы, и композицию каждой главы. Структура целого занимает его больше всего с момента, когда он овладел фактами и создал для себя изображаемый образ героя в его отличительных чертах — цельным, ясным, понятным, живым.

Создавая вымышленного героя, писатель как бы добавляет новую личность к числу граждан своей страны, а воссоздавая историческую личность, стремится сделать из нее соучастника своей эпохи. Случается, что эпоха не готова принять эту личность, может даже отречься от нее или равнодушно пройти мимо. Чаще всего это происходит именно тогда, когда избранной писателем личности нечего сказать современникам писателя, когда ее жизнь, взгляды, творения, интеллект и характер представляют узкоограниченный интерес.

Петрарка никогда и нигде не был чужаком и стал неотъемлемой частью всей культуры человечества. Немногие поэты так сильно и прочно вросли в литературу всех европейских народов. Его назвали «первым человеком нового времени». И я надеюсь, что, рисуя облик Петрарки на основе исторических фактов его биографии и богатого литературного наследия, прежде всего его писем, я выполнил определенный долг. И я был бы счастлив, если б, подобно тому как некогда говорилось: «наш друг Марон», современный читатель мог сказать: «наш друг Петрарка».

■

РОМУЛО ГАЛЬЕГОС

Земля под ногами

РОМАН

Перевод с испанского В. КРЫЛОВОЙ

Вторая пора

I. Треволнения в муниципалитете

Далеко внизу осталась мичоаканская «жаркая» земля с ее шипастыми деревьями уисаче и парным, тяжело плывущим воздухом. Тишину раннего трудового утра оживляли трели щеглов и синсонтлей [1] над маисовыми полями, где наливались соком початки, и крутая дорога, местами сжимавшаяся в тропинку меж цветущих кустарников, уже подбиралась к вершине горы, к торжественно-спокойным сосновым рощам, как вдруг от ближнего поля донеслось громкое, не очень мелодичное пение:

Кто не слышал про Лихо-Горе
и коня его пегой масти...

Народная баллада, рожденная в тропиках долин, поднялась и сюда, в горы, и вот кто-то приветствует ею всадника на пегой лошади.

Всадник молод и хорош собой, статен, широк в плечах и гибок в поясе, привлекательно его смуглое, с чертами метиса лицо. Он улыбнулся, услышав песню, однако на лбу не разгладилась хмурая складка — похоже, от бессонной, разгульной ночи.

Он молча, не повернувшись на голос, миновал маисовое поле, и работавший на поле крестьянин проговорил ему вслед:

— Лихо-Горе! Острослов, задира, всем попойкам голова. И в перестрелках отчаянней его не сыщешь. Быть сегодня в городе пальбе, раз туда Лихо-Горе пожаловал.

Дорога, сбросив убор из цветущих кустарников и превратившись в мостовую, влилась в городок.

Старые дома с широкими, крытыми, мощенными кирпичом подходами с улицы к парадной двери, с окнами почти на уровне тротуаров, тоже кирпичных, с крыластыми навесами замшелых крыш. Утопающие в цветах и зелени патио, виднеющиеся сквозь проемы распахнутых дверей. Колокольный перезвон, оглушительная трескотня петард. Праздник святого, Сантьяго, покровителя городка.

Окончание. Начало в № 5.

[1] Синсонтле — певчая птица, искусно подражает пению других пернатых.

Известие распространилось молниеносно. Горожане, и без того настроенные празднично, оживились, и президент муниципального совета, верховный блюститель порядка, поспешил за подмогой к начальнику гарнизона военного округа.

— Слышали, майор Регулес? Лихо-Горе среди нас!

Сильвио Серено, глава муниципалитета, кожа да кости, обладал нервной системой, далеко не во всех случаях жизни с честью соответствовавшей его фамилии [1]. Майор же, добродушный толстяк, был склонен к шутке и не упускал возможности позабавиться насчет ближнего, а заодно и блеснуть самообладанием в решительный момент.

— Среди нас, дон Сильвио? Что-то я не вижу его между мной и вами.

— Я хотел сказать — в городе, майор. Вы ведь знаете, какой это опасный дебошир. Недаром у него такое прозвище — Лихо-Горе!

— Кое-что слышал, дон Сильвио. И, признаюсь, рад новости. Давно хочу взглянуть на столь известного соотечественника. Интересно, верно ли о нем поется в балладе:

Задает он лихие попойки,
и молва их потом восхваляет...

Правда, есть и другие стихи:

Но уж коль перестрелку затеет,
тут все люди лишатся покоя.

И майор, презрев неизбежность астматического удушья, всегда следовавшего за смехом, воскликнул весело:

— А, понимаю, отчего неспокоен сеньор Спокойный. Говорили мне, будто в Апатсингане этот парень побился с вами об заклад, что испортит престольный праздник у вас под носом.

Президент муниципалитета, как ни тщедушен был телом, неуважения к своей личности не допускал; правда, на случай откровенных колкостей майора Регулеса у него имелся запас терпения, и сейчас он прибегнул к этому резерву:

— Ах, майор! Язык у вас без костей. Спор, действительно, имел место. Однако примите во внимание: личное личным, но я по долгу службы обязан пресечь нарушение общественного порядка, если будет пальба из револьверов, которую замышляют Лихо-Горе и его шайка головорезов, чтобы сорвать наш религиозный праздник. И, да будет вам известно, я получил полномочия от дона Сантьяго поступать согласно обстановке.

— Успели заручиться согласием своего политического шефа?

— Да, майор. Но ввиду нехватки полицейских для подавления беспорядков — а они могут возникнуть, когда на площади, где горожане преклонят колена для молитвы, Лихо-Горе откроет пальбу, это его обычный способ досаждать сеньору епископу, находящемуся, кстати, у нас в городе,— я вынужден просить поддержки у гарнизона федеральных частей под вашим достойным командованием.

— Ладно уж, рассчитывайте на мою помощь, сеньор Серено. Я и до вас знал о приезде Лихо-Горе, но, заметьте, одного, без головорезов. К вашему сведению, я по роду своей деятельности не имею права зевать. Люди только собираются поехать, а я уже возвращаюсь.

Разговор представителей власти происходил в портике дома на главной площади, неподалеку от церкви.

Не успел майор Регулес договорить последнюю фразу, как люди, гулявшие на площади, подняли шум, увидев Лихо-Горе. Площадь за-

[1] Sereno *(исп.)* — спокойный.

бурлила, все бросились занимать места на тротуаре вдоль улицы, в которую направлялся грозный гость — всадник на пегой лошади, и майор, усмехаясь, спросил заерзавшего на месте главу муниципалитета:

— Где же шайка головорезов, сеньор Спокойный? Я вижу одного Лихо-Горе.

Недреманный страж местного благоденствия, почувствовав себя задетым за живое, выпятил грудь и произнес как мог внушительно:

— Хорошо, майор. Сейчас вы увидите: я один с ним справлюсь.

Он вышел из портика на середину улицы наперерез всаднику и, когда тот приблизился, сказал, возвысив голос:

— Я президент поч. муниципального совета. Вы задержаны.

Всадник усмехнулся и, лениво потянув поводья, остановил лошадь.

— Как вы сказали? «Почти»?

— «Поч». Сокращенное от «почтенного». Повторяю, вы задержаны.

— Задержался. Чтобы не покалечить вас, сокращенно почтенный. Но если вы имеете в виду полицейский арест...

— Совершенно справедливо. Полицейский арест. Справедливо.

Всадник зло засмеялся:

— Не валите все в одну кучу. Полицейский арест — это одно, а справедливость — совсем другое. Настоящий случай тому пример. Вы не можете лишить меня свободы по трем причинам. Назову лишь одну — я не совершил проступка, за который полагается арест.

В толпе послышался одобрительный гомон, и главе муниципалитета пришлось посильнее нажать на глотку:

— А если, во исполнение предоставленных мне полномочий и по мотивам, которые не обязан объяснять, я прикажу вам сдаться?

С лица всадника сползла улыбка, хмурая складка на лбу углубилась:

— Тогда я выдвину вторую причину и попрошу вас, пока еще вежливо, пересмотреть свое решение. Ввиду того что у меня есть охранная грамота на случай произвола полицейских властей.

Глава муниципалитета, не отличавшийся здоровым цветом лица, побледнел еще более:

— Грамота! Лишнее доказательство вашего намерения расстроить религиозное празднество. Такое вы учиняете повсюду. Печально известный обычай Лихо-Горе.

Голосом холодным и размеренным, как бывало перед взрывом хмельной ярости, всадник сказал, подчеркивая каждое слово:

— Вы обязаны называть меня по имени и фамилии, сеньор президент муниципалитета. Даже если вы почти... почтенный. Меня зовут Эмилиано Грасиан. Эмилиано Грасиан Экиуа.

Над толпой прокатился гул. Муниципальный столп сделался еще белее и, задыхаясь от уязвленного начальственного самолюбия, продолжал все же стоять на своем:

— Одна ваша дурная репутация уже дает мне право, по соображениям предосторожности, лишить вас свободы на время празднеств у нас в городе. Об этом я предупреждаю не только как представитель власти, но и как мужчина.

Всадник опять усмехнулся, на этот раз иронически:

— Тогда выход один: раскрыть третью причину. Вернее, мотив, но достаточно веский, чтобы вы отказались брать меня под стражу, пусть даже из предосторожности. Вы хотите, чтобы я видел в вас мужчину? Отлично. Поединок двух мужчин. Взгляните на своего про-

тивника. Так. Теперь на себя. Да нет, со стороны!.. Ну, ясно, почему вам не стоит принимать опрометчивых решений?

Люди на тротуаре захохотали — в городе недолюбливали президента муниципалитета,— и он ради спасения престижа уже приказал было окружившим его полицейским схватить зачинщика скандала, но в эту минуту подошел майор Регулес и взял Сильвио Серено за локоть:

— С вашего разрешения, сеньор президент, дон Сантьяго ждет вас у телефона. Пойдемте.

И увел его от позора.

Всадник поехал дальше сквозь восхищенно гудевшую толпу, под возгласы:

— Эмилиано Грасиан! Что за человек!

II. Занимательная беседа

Сестры Ариса — две старые девы, вместе им перевалило уже далеко за сотню,— пахнущие ладаном после торжественной мессы, которую вел сам епископ, восседали на плетеных, обтянутых кожей стульях во внешней галерее своего старинного дома, при настежь распахнутых высоких входных дверях и молчали, погрузившись в мысли, как вдруг перед ними, на узкой улице, показался всадник на пегой лошади.

— Это он! — уверенно воскликнули разом обе сестры, хоть догадка их основывалась только на масти лошади, описанной в известной балладе, а самого всадника они и в глаза не видывали.

Поднявшись со стульев, они засеменили по кирпичной дорожке к выходу на улицу так быстро, как позволяли ноги и тяжелые, черного сукна длинные юбки, надетые в честь престольного праздника, и окликнули проезжего:

— Эмилиано!

Всадник остановился, посмотрел на двух одинаковых, незнакомых женщин.

— Зайди на минутку, Эмилиано! Дай на тебя поглядеть! Когда-то мы были дружны с твоим отцом. Ужас как дружны!

Всадник подъехал ближе:

— С кем имею удовольствие?

— Сестры Ариса мы, Эмилиано,— ответила одна, по виду старшая.— Я — Амелия, моя сестра — Амалия. Имена, как видишь, похожие, чтобы собеседник скорее забыл, которая из двух бухнула глупость.

— Зайди,— поддержала младшая.— Хочется вспомнить добрые времена. В этом доме бывал твой отец, незабвенный Чано Грасиан. Тогда мы были незамужними. Впрочем, теперь тоже.

Эмилиано улыбнулся:

— Между Чано Грасианом и его сыном Лихо-Горе, который сейчас говорит с вами, огромная разница. Но я охотно доставлю вам удовольствие, тем более что в этом доме, как видно, живет не только добрая память, приятная и для меня, хоть я и не стою отца, но и веселый нрав.

Он спешился, вошел в дом. Сестры Ариса указали на стулья, где только что сидели сами.

Он остался стоять, разглядывая внутренность дома: длинную, с кирпичным полом галерею, просторное патио, так густо заросшее деревьями, кустарниками, разной зеленью, что казалось настоящим лесом в четырех стенах — даже со стен свешивались, вперемежку с

оленьими рогами — вешалками для шляп,— разлапистые папоротники.

Любуясь этой свежей зеленью, он медленно втягивал носом воздух, как бы принюхиваясь, и Амалия поинтересовалась:

— Чем пахнет? Полем, лесом, правда?

— Да, сеньорита. И еще домом, где живет семья. Не знаю почему, но я всегда ловлю этот запах, придя впервые в дом такого рода.

— Такого рода! — притворилась оскорбленной Амалия. — Здесь живут женщины с безупречной репутацией, сеньор! Хотя, правду сказать, когда-то они не стыдились принимать мужчину, который... пользовался дурной славой. Ужас какой дурной!

Она засмеялась, показывая, что говорит в шутку.

— Не мешай человеку, пусть нюхает на здоровье,— заметила Амелия.— Может, учует запах одной знакомой ему особы?

— Чано Грасиана? Отдаю должное вашей проницательности, сеньорита. Но с тех пор, как он бывал здесь, прошло столько лет. Да я и не за тем сюда приехал.

— Речь не о нем. Мы же видим — воспоминания причиняют тебе боль, зачем же омрачать знакомство. Я говорю о другой особе. Так получилось — она сейчас здесь и наверняка будет рада встрече с тобой.

Эмилиано удивленно посмотрел на Амелию, и вдруг резкая, мрачная складка легла на лоб.

— Кто эта особа?

— М-м... видишь ли,— замялась Амалия.— Господи, что с твоим лицом? Ты так смотришь, что отвечать страшно.

— Послушай, Эмилиано,— поспешила перевести разговор Амелия.— Расскажи-ка лучше о своей знаменитой проделке... Ах, что же это мы? Называем тебя на «ты», словно знаем с детства. Но уж раз начала... О своей знаменитой проделке — похищении у сабинов.

— Вы имеете в виду похищение сабинянок? — Лицо Эмилиано так же внезапно просветлело.— Было такое. Но в Древнем Риме и... без меня, к сожалению.

— Не валяй дурака. Твоя была проделка. В одном мичоаканском городке, названия не помню, есть купальня, и в той купальне мужчины и женщины купаются порознь, в разные дни — так велел священник...

— Деваться некуда,— сдался Эмилиано.— Расскажу, если вам приятно мое общество. Как-то ехал я в этот городок по делам — истинный бог, по делам! — и дорогой встретил компанию... веселых девиц. А если прибегнуть к более точному определению, то...

— Нет, нет,— перебила Амелия.— Оставь как есть. Веселых. Все ясно.

— Хорошо, когда слушатели догадливы. Итак, опускаю второстепенные детали — пригласил я девиц в знаменитую купальню понырять, зная, что тот день был отведен для мужчин.

— И вместе с девицами нырял ты сам, назло священнику?

— Ни-ни! Я оставил их в купальне, а сам поехал в городок — оповестить приятелей, что в голубой воде можно выудить сирену, и даже хорошенькую, если сперва оглядеться.

— И эти бесстыдники помчались туда?

— Был их день, они имели право пользоваться тем, что находилось в бассейне. Я говорю о голубой воде.

— Да? О воде в таких выражениях не говорят.

— Каждый толкует, как ему приятнее, сеньорита. Я же излагаю голый факт. Но тут случилось непредвиденное. Поскольку я остался в городке и, каюсь, сболтнул лишнего, то жены и невесты купальщи-

ков узнали новость и тут же снарядили экспедицию в купальню — не только вернуть утраченное, но и покарать. Они выловили своих супругов и суженых, не дав им одеться — нет, трусы все же на них были,— мокрых погнали, каждая своего, домой и, как говорится, вернули их в сладкий плен. Вот и все. Сабины[1] же — это деревья, что растут вокруг купальни. От них и пошло — «похищение у сабинов».

Сестры Ариса слышали об этой истории и все же с удовольствием посмеялись еще раз: им, старым девам, особенно нравилось, когда мужчин выставляли в невыгодном свете, к тому же Лихо-Горе, для многих грозный Лихо-Горе, оказался на редкость симпатичным парнем и веселым рассказчиком. Успокоившись, Амелия сказала:

— Значит, сладкий плен? Точно определил. А вот в балладе о твоих похождениях ни слова, ни намека — сдавался ли ты сам в этот плен. По годам-то вполне для пленника подходишь. Двадцать или сколько тебе?

— Кладите все тридцать, лишек не велик будет. Мне не так-то легко попасть в плен, сеньорита. Нужно, чтобы я, человек рассеянный, столкнулся с женщиной, которая не только выбрала бы ту же самую дорогу, но и... притворилась рассеянной.

— Ты сам-то не притворяйся. Сдается, сегодня ты совсем не по рассеянности очутился в нашем горо...

Амелия замерла с открытым ртом, глядя на улицу, а сестра успела шепнуть:

— Падре Мартинес. Ну, держись, Эмилиано!

III. Священный гнев и понятное замешательство

Падре Мартинес, священник прихода апостола Сантьяго, белый как лунь и легонький телом старец с неуверенной походкой и почти невидящими глазами, которые, однако же, в эту минуту сверкали гневом, был школьным учителем Эмилиано в Такамбаро.

Из-за слабости ног и зрения он шел в сопровождении двух прихожанок, приятельниц дома Ариса. Амелия и Амалия выбежали навстречу старцу, приговаривая в один голос:

— Падре Мартинес! Какая честь — видеть в доме такого гостя!

На что он, всегда очень добрый к сестрам, особам, уважаемым в городе, набожным и благочестивым, ответил, бушуя от негодования:

— Честь! Не о чести речь. Где этот нечестивец?... Да, нечестивец!

— Проходите, падре! — хлопотала Амелия.— Осторожно, не наступите. Здесь лошадиный... здесь стоит знаменитый пегий конь.

Амалия шепталась с прихожанками:

— Мы с вами останемся здесь. Разговор предстоит тяжелый. Ужас какой тяжелый!

Священник, стоя перед галереей, гневно вопрошал:

— Где ты там прячешься, каторжная твоя душа? Против света не вижу, богохульник!

— Здесь я, падре Мартинес,— отозвался Эмилиано, хмуря брови и улыбаясь.— Не могу сказать, как я счастлив видеть моего школьного учителя.

— Учителя! Не пытайся умиротворить нежными воспоминаниями справедливый гнев, пылающий в моем сердце.

---

[1] Народное название разновидности кипариса.

— Вижу, падре. Изливайте душу. У меня тоже немало всего накопилось.

— Бросаешь вызов?

— Нет, сеньор. Приглашаю вас сесть — вот стул. Я сяду рядом. Дайте я помогу, учитывая определенную высоту, сесть не так-то просто.

— О какой высоте ты болтаешь? О высоте моего возраста? Грубиян! Насмешник! Непочтительный юнец!

Эмилиано не уловил, как с каждым эпитетом ярость старого падре заметно убывала, а последний был произнесен почти нежным тоном.

— Зачем так много слов? — возразил он.— Раз грубиян — все другое само собой разумеется.

— Прав, разбойник! — засмеялся падре Мартинес.— Таким ты и в школе был... э, почему я смеюсь?

— Потому что и вы не изменились с тех пор. Садитесь же, падре, я придержу стул, не подкосился бы.

— Мда... Стулья в этом доме — не дай бог. Скрипят, шатаются, того и гляди, мимо угодишь. Но ты не воображай, мой гнев не иссяк при виде твоего симпатичного лица после стольких лет разлуки. Нет, нет. Я здесь не ради нежных воспоминаний, а чтобы задать тебе головомойку. Отвечай, как ты обходишься с христианской верой, которую я посеял в твоем сердце?.. Впрочем, еще раньше ее посеяла твоя добрая мать. Атсимба. Истая христианка.

Опять глубокая мрачная складка на лбу и слова, казалось бы, не подходящие к случаю:

— Дочь Приссилиано Экиуа, тоже истого христианина. Вы его знали, падре Мартинес? Вам известно, что кристерос вздернули его на земляничном дереве?

— Разумеется. К чему твой вопрос? Или, думаешь, этот... бесчеловечный акт был совершен с моего ведома? Но постой, что я хотел сказать? Да. Ты рос хорошим мальчиком, Эмилиано. Умным, благопристойным. Искренне верил в бога и, если мне память не изменяет, хотел стать священнослужителем.

Откинувшись на спинку стула и засунув большие пальцы за ремень с револьвером, Эмилиано сказал с иронической усмешкой:

— Точно! У падре Мартинеса все еще ясная память. Иногда я просыпался с мечтой о святости. Но как-то меня подучили ворваться во главе маленьких негодяев, моих соучеников, в дом к одному сеньору в Такамбаро, у которого в тот день собрались друзья.

— Помню. Это было собрание масонов. Я сам подал тебе мысль разогнать это сборище.

— Я успешно — отбросим скромность — справился с заданием, но с тех пор желание мое раздвоилось. То хотелось сделаться святым, то разбойником.

Падре Мартинес, опять загораясь гневом, угрожающе подался к собеседнику:

— Упреки? Выходит, по моему злому наущению ты стал Лихо-Горе, нечестивцем, оскорбляющим религиозное чувство своего народа? По моей вине возникли порочные качества, за которые ты получил прозвище, недостойное сына Чано Грасиана? Ведь подумать только, что ты вытворяешь! В церкви воду не даешь освятить. Люди в простой и чистой вере своей ждут от святой воды защиты от скорбей телесных, от гибели в грозе посевов своих. И что же? Едва в церкви поставили ведра с водой, как явился Лихо-Горе и — раз! раз! — поопрокидывал ведра ногами. Равно и со скотом — коровками, ягнятками, козлятками,— когда его святят на паперти. Только священник руку

воздел, откуда ни возьмись — Лихо-Горе. Верхом на лошади, в руке револьвер — и пошел стрелять, людей и скот распугивать.

Эмилиано, повеселев, остановил поток красноречия возмущенного падре:

— С водой было детское озорство. Ну, а второе — тут юная кровь бурлила. Двадцать лет, горячий конь, револьвер... Да здравствует Мексика!

— А нынешние выходки, когда тебе уже давно за двадцать? Сегодня, к примеру, зачем сюда пожаловал?

— Да вроде бы решить спор. Как-то в шутку я побился об заклад с президентом муниципалитета. Тщедушный мужичонка, а чванлив, так и норовит подмять.

Эмилиано перешел на серьезный тон:

— Хочу кое-что объяснить вам, падре Мартинес. Не злодействам своим обязан я прозвищем и не людям. Сам себе его дал. Послушайте, как все получилось. Когда я увидел отца и деда, вздернутых на сук, и под ногами у них сомбреро с землей, я бросился бежать. Всю ночь я брел не зная куда, а рядом как будто двигались два трупа, уже окоченевших, и стоило мне споткнуться на темной дороге, как они ударялись об меня, и я леденел от ужаса. К рассвету силы мои кончились — их поглотила дорога, иссушила буря, завывавшая в моем сердце. Я упал на краю тропки, в дубовой роще, и сквозь забытье услышал голос: «Не годится спать в лесу, паренек. Чей будешь, как зовут?» Передо мной стоял старик — приехал в лес за дровами, тут же и ослик, и кучка хвороста заготовлена. Я огрызнулся: «Какое ваше дело, кто я и как зовут? Имя мое осталось в сомбреро с землей, на которую падают капли крови». Крестьянин уставился на меня, словно на лунатика, покачал головой: «Дурной сон тебе, верно, приснился, парень. Ах ты лихо-горе!»

Эмилиано помолчал, прежде чем закончить свою историю:

— И запало мне в душу это «лихо-горе», падре Мартинес. Бывает же так. «Вот вы и нашли мне имя,— сказал я старику.— Лихо-Горе меня звать».

Падре Мартинес уже без тени гнева в доброй душе хотел что-то сказать, но нужные слова не находились, и пока он их подыскивал, к нему кто-то подошел и почтительно поздоровался.

Он попытался разглядеть и узнать, но не смог и спросил:

— Кто ты, дочь моя?

И услышал в ответ:

— Валентина Ороско.

IV. Посыльная призрака

Сестры Ариса увели падре Мартинеса, а Эмилиано как встал, так и стоял перед Валентиной, присевшей на стул после священника. В густой зелени патио щебетали птицы, и взгляд Эмилиано, вспомнившего отцовскую фразу пятнадцатилетней давности, скользил по волосам Валентины в поисках «цвета темного золота, как трава на холме под вечерним солнцем».

Темного золота уже не было, а серебряные нити проглядывали. Мягкий серый цвет одежды без украшений и следов кокетства свидетельствовал о взыскательном вкусе. Высокий воротничок доходил до подбородка, длинные, до запястий, рукава скрывали руки. Во всем облике, в манере держаться не было и намека на озорную веселость юных лет, когда своевольная девчонка вонзала зубы в черствый характер отца «до самого мякиша». Теперь она выглядела спокойной и

серьезной, и лишь минутами серьезность теплела от печальной нежности.

— Садись, Эмилиано. Не удивляйся, что я говорю тебе «ты», хотя мы видимся впервые.

Эмилиано Грасиан, никогда не терявший дара речи при знакомстве с молодыми женщинами, тут почему-то едва нашелся:

— Наши отцы были близкими друзьями, так что же удивительного, если и дети будут друг с другом запросто?

Она улыбнулась, подтянув повыше воротничок блузки, словно опасаясь, как бы не приоткрылись плечи.

— Конечно, если только им удастся избежать риска ежеминутных ссор, которыми была знаменита дружба отца и дяди Чано.

— Вы зовете его... Прости. Ты зовешь его дядей?

— Я ждала, что же изменится в Эмилиано Грасиане при упоминании о Чано Грасиане. И вот — исчезла хмурая складка на лбу.

— Не советую верить внезапным переменам, сеньорита Ороско. Над чем потрудилась сама жизнь, то не просто изменить. Хотя, признаюсь, это не мешает мне наслаждаться беседой с...

Он улыбнулся и докончил:

— ...с той, у кого волосы цвета темного золота, как трава на холме под вечерним солнцем.

— Откуда это? — удивленно спросила Валентина, и матовые щеки ее чуть порозовели.

— Так Чано Грасиан описывал мне дочь своего лучшего друга.

Смеясь над самим собой, он продолжал:

— Я никогда в жизни не выбираю дорог, пускаюсь в путь по первой, какая выпадет, и в тот вечер — мне было пятнадцать,— услышав слова отца, я страстно влюбился в Валентину Ороско, которую ни разу не видел.

Она снова потянулась к воротничку, опустила глаза:

— Хорошая у тебя память. А вот о моем письме, оставшемся, кстати, без ответа, не вспомнишь.

И опять лоб Эмилиано пересекла резкая морщина — обычный признак мрачных мыслей, если не тяжелого похмелья,— и он, глядя в сторону, пробормотал:

— Послание призрака.

— Да. Последние слова моего брата: «Если когда-нибудь встретишься с Эмилиано Грасианом, скажи ему, что здесь прошел призрак Кальпулеке».

Эмилиано, хмуро уставясь в пол, долго молчал, а когда заговорил, голос его звучал до странности глухо:

— Я получил письмо. И хотя оно состояло из одной этой фразы, без единого слова приписки, я сразу понял, с каким намерением оно было послано. Фелисиано Ороско, с которым я не пожелал знакомиться, сын латифундиста, выступил в роли призрака Эмилиано Сапаты, Кальпулеке — под этим прозвищем выступал, кстати, и Чано Грасиан,— чтобы заставить пеонов Энсинара Ороско, пусть хоть из чувства суеверия, потребовать от хозяина полагающиеся им земли, и за это он, сын латифундиста, поплатился жизнью. В то время как сын аграриста Чано Грасиана, погибшего за свою идею, забавляется пальбой из револьвера, учиняет дебоши и вообще прожигает жизнь без пользы для себя и окружающих.

— Мой бедный брат,— сказала Валентина,— так и не постиг науки делать добро по-настоящему. Впрочем, останься он жить, возможно, было бы то же самое. Для добрых дел нужен закаленный дух, а он был слаб и безволен. Но я чувствовала себя обязанной перепра-

вить послание призрака тому, кто обучался тогда ремеслу разбоя и кого я не могла повидать лично.

— Побольше уважения, сеньорита Ороско! — воскликнул Эмилиано, повеселев.— Подмастерье уже давно стал мастером, и даже стихи про него сочиняют. Правда, не очень складные...

И вдруг помрачнел:

— Да будет известно посыльной призрака — хотя я приехал в этот город с единственной, как мне казалось, целью учинить обещанную местному начальству смуту, на самом деле я надеялся на случайную встречу с той, у кого волосы цвета темного золота, как трава на холме под вечерним солнцем.

— У посыльной призрака теперь другой цвет волос,— едва дождавшись конца фразы, словно она причиняла ей боль, проговорила Валентина, не глядя на собеседника и машинально перебирая ворот блузки.

— Со мной часто так бывает,— продолжал свое Эмилиано.— Делаю одно, а достигаю другого, к чему вроде бы еще и не готовился. Наверно, оттого, что нет у меня ясной цели. Пускаюсь в путь и знать не знаю, что он собой представляет. Любой встречный может увести меня за собой.

— Значит, победа в споре достанется президенту муниципалитета?

— Терять не жалко, если выигрываешь. Разве я не сказал, что давно влюблен — заочно, со слов?

Бледные щеки Валентины опять тронул нежный румянец, но в тоне и словах чувствовалось завидное умение владеть собой:

— Спокойно, спокойно, малыш! Так я говорю моим ученикам в сельской школе.

— Ах, вот как? Интересующие меня сведения сами плывут в руки. Прекрасная возможность узнать, где искать.

— О!.. Даже не спросив, приемлемо ли это для другой стороны?

— Человек предполагает, бог располагает — гласит народная мудрость.

— Как ты ведешь себя, Эмилиано!

— Отвратительно. Пойдем к твоему отцу, хочу его видеть.

— Ты даже не спросил, жив ли мой отец.

— О школе я тоже не спрашивал.

Она опустила глаза и, поглаживая воротничок, сказала мягко:

— Да, мой отец жив, если это можно назвать жизнью. Но наш дом не здесь, а в небольшом поселке, расположенном на бывшей территории Энсинара. Недалеко отсюда.

— Тогда в путь. Моя лошадь выдержит двоих.

— Знаешь, как это истолкуют злые языки? Лихо-Горе похитил дочку дона Начо Ороско, они ехали вдвоем в седле, у всех на виду белым днем.

— Наоборот! Посыльная призрака увезла Лихо-Горе, чтобы не дать ему схлестнуться с президентом муниципалитета.

Она внимательно посмотрела на него, как бы принимая важное решение.

— За это не жалко заплатить любую цену. Сегодня в городе не должно быть стрельбы. А взваливать на знаменитого Пегого двойной груз нет нужды — моя лошадь здесь. Я в этот дом частенько наведываюсь, особенно по праздникам, когда моя маленькая школа закрыта. Да, ты прав. Рискованную мысль лучше претворять в дело сразу, пока не исчезло настроение. Итак, в путь. Я только переоденусь в костюм для верховой езды.

И она пошла в комнаты, расположенные в глубине дома.

V. «Укус койота»

Не успела Валентина скрыться за дверью, как на ее месте уже сидела младшая Ариса. Этой по существу не вредной женщине нравилось создавать конфликтные ситуации, и делала она это единственно из желания посмотреть, как ее жертвы будут выпутываться из щекотливого положения.

— Ну, что Валентина? Мила, правда? Хотя, конечно, от лучших времен осталось одно воспоминание. Нет, я не хочу сказать, что она некрасива. И поведения безупречного. Как говорится, золото в пыли. Святая!

Эмилиано Грасиан переживал, пожалуй, самый приятный момент в жизни, ему хотелось побыть одному и, не исследуя своих чувств, отдаться им — пусть ведут его куда угодно. Он был не просто влюблен в приятную, изящную, духовно чуткую женщину, он снова обрел часть самого себя, утраченную в день трагической гибели отца.

Но приходилось терпеть присутствие этого непостижимого существа — Амалии Арисы; придвинувшись к Эмилиано, она принялась шушукать тоном заговорщицы:

— Ты обратил внимание, как она старательно закрывает плечи?

— Не заметил.

— Вот они, мужчины! Битый час просидят с красивой женщиной, а спроси, во что была одета,— не заметил.

— Зато вы, женщины, первым делом смотрите на тряпки. Человек вас мало интересует.

— Не о тряпках речь. Об укусах... Ай, проговорилась!

— Выкладывайте, что задумали.

Амалия придвинулась вплотную, зашептала:

— Это случилось вскоре после смерти Фелисианито. Тебе небось известно, какой смертью он помер — застрелился. Так вот, на седьмой день... Или на восьмой? Точно, на восьмой. Мы с сестрой отправились в Энсинар — землю там уже делили — с траурным визитом к дону Начо. Вид у него был страшный. Ужас какой страшный! Голова опущена, борода уткнулась в грудь, и так дни и ночи напролет, несчастный отец. А ведь злые языки пустили слух, будто Фелисианито убил себя, не стерпев отцовского упрека в предательстве. Ах, Эмилиано, от людей ничего не скроешь... Так о чем я начала-то? Да. Значит, приехали мы с сестрой Амелией выразить дону Начо соболезнование. Валентины в тот момент не было, вышла в сад побродить. Бедняжка! В сад, что растет вокруг Большого дома. Рос, точнее сказать. Теперь там от прошлой роскоши и следа не осталось. Ты бывал в Энсинаре, Эмилиано?

— Нет, сеньорита. Терпеливо жду, когда вы кончите свой рассказ.

— Ах, Эмилиано! И вспоминать не хочется.

— Тогда не утруждайтесь.

— Как можно! Это было таким потрясением для нас, сестер Ариса. Слышим: выстрелы в саду. И тут же в дом вбегает Валентина — в слезах, стонет, рыдает, плечи искусаны койотом...

— Койотом? Плечи?

— Его убил брат. Это он стрелял в саду.

И едва уловимым шепотом:

— Сантьяго Архимирес Старший убил Сантьяго Младшего.

Эмилиано вскочил со стула:

— Сеньорита, оставьте меня одного на минуту... Извините, я грубо сказал. С вашего разрешения я отлучусь на минуту к Пегому. Видите, он качает головой — зовет меня, что-то хочет сказать.

— Ах, прости! Я не придала этому значения.

Амалия Ариса не прилгала в рассказе. Когда Валентина дошла до четырех памятных кипарисов в глубине сада, посаженных доном Начо на том месте, где, стоя босыми ногами на покрытой градом земле, начала безнадежно леденеть Сомнамбула, на нее набросился Сантьяго Младший. Брызжа пьяной слюной и рыча от вожделения, он разорвал на ней блузку и стал целовать и кусать ее плечи, стараясь повалить девушку на землю. В эту минуту на помощь ей подоспел Сантьяго Старший. Не добившись своего, Младший выпустил жертву и рванул из-за пояса револьвер. Два выстрела раздались почти одновременно. Сантьяго Младший схватился за грудь и, падая, пробормотал:

— Твой верх... Оставляю ее тебе меченой.

И сейчас, в отведенной ей комнате в доме Ариса, Валентина Ороско, скинув блузку, рассматривала и ощупывала голые плечи, отыскивая следы укусов койота.

Шрамы давно исчезли, но много лет они были отчетливо видны; с тех пор она носила закрытые блузки, и всякий раз воспоминание о пережитом насилии глубоко ранило ее целомудренную натуру.

Со временем исчезла и привычка ощупывать плечи, но сейчас ей, почти тридцатилетней, недвусмысленно признался в любви хороший человек, и в памяти снова всплыли предсмертные слова насильника: «Оставляю ее тебе меченой».

VI. Рискованный шаг

Дорога, пролегавшая через поля, увела всадников уже порядочно от города, когда Эмилиано сказал:

— Вот и ушли в прошлое уисаче жаркой земли. Знаешь песню?

Не виновен уисаче,
что родился на равнине.
Не вини и ты меня,
что нашел тебя лишь ныне.

— Заурядная любовная песенка с претензией на чувство.

— А если последние две строчки переделать?

Ты поведай, Лихо-Горе,
что начнешь искать отныне?

— Так лучше,— одобрила Валентина.— И ответ есть: он начнет искать дорогу, с которой когда-то свернул и потому заблудился.

— Свернул у земляничного дерева с двумя повешенными.

— Какая польза травить себя воспоминаниями? Лучше оглянись вокруг, порадуйся. Вот они, претворенные, вопреки всем трудностям, мечты Чано Грасиана, Аграриста. Смотри: крестьянские наделы там, где была латифундия моего отца.

Обнесенные каменными оградами или изгородями из колючей проволоки плантации маиса, предвещавшие добрый урожай, покрывали упругим зеленым ковром волнистую долину вплоть до холмов с тихими, стройноствольными сосновыми рощами на вершинах. Среди посевов там и тут выглядывали дощатые дома на толстых, прочной древесины бревнах, положенных, в свою очередь, на врытые в землю огромные валуны, с крышами из дранки, с одним удлиненным в виде навеса скатом, под которым среди горшков с цветами обитатели жилищ или занимались разными хозяйственными делами, или отдыхали от домашней сутолоки. Сейчас, как обычно, под навесами хло-

потали женщины и, завидев сеньориту Ороско, почтительно здоровались с ней.

Всадники пустили лошадей галопом, и, когда снова перевели их на шаг, Эмилиано сказал:

— Посыльная призрака отлично держится в седле.

— Научилась, пока была принцессой Эрендирой. Глупое, безоблачное, счастливое детство. У принцессы Эрендиры была белая лошадь, как та, на которой выезжал мой бедный брат, изображая призрак Кальпулеке.

После короткой паузы она продолжала:

— Я часто езжу верхом. Беру у отца его лошадь и уезжаю. Работа у меня малоподвижная, вот и приходится исчезать в поля, на воздух, на простор. Открывать клапан котла, чтобы он не взорвался от дурного желания броситься очертя голову по первому подвернувшемуся пути. Как сегодняшний, например,— в обществе человека, с которым только что познакомилась.

— Разве не святая обязанность педагога — помочь человеку сойти с ложного пути? Разумеется, это только начало. Чтение по складам коротеньких слов на букву «а».

— Привыкай быть точным, малыш. Чтению по складам тебя наверняка учили и раньше, хотя знаменитая баллада об этом умалчивает. Посмотри, какой отличный маис уродился в этом году. Может быть, тебе не нравится ехать шагом? Тогда пришпорим коней.

— Спешить сейчас не в моих интересах. Полюбуемся полями, этой мирной землей, а лошади пусть идут как и куда хотят.

— Мирная земля! — вздохнула Валентина.— Наверно, так и не сойдет на нее мир, пока остается в силе частная собственность, крупная или мелкая, все равно. Вон из-за той ограды стреляли в члена земельной общины, работавшего на своем участке. И убили. Сейчас я тебе покажу брошенные наделы, заросшие диким кустарником,— предмет вражды двух семейств.

Эмилиано скосил глаза на свою спутницу:

— Это говорит дочь латифундиста, лишенного своих владений?

— Нет. Правда, в старом Энсинаре Ороско не было убийств и подобных тяжб. Но не было и людей в истинном смысле слова. Над всеми природными свойствами человека преобладали смирение и покорность. Сдернутое с головы сомбреро в руке, склоненная голова — только так разговаривали с сеньором. Теперь же люди стали людьми. При всех своих недостатках это — люди.

Эмилиано удовлетворенно слушал ее рассуждения.

— А ты сам разве не сторонник общинной собственности на землю? Ты, сын женщины, чья раса вообще не признает иной формы владения землей?

— Что тебе ответить? Ты прикоснулась к старой ране. Возможно, мои извечные колебания — сегодня это, завтра противоположное — берут начало как раз в двойственном отношении к собственности и вообще к жизни. Во мне до сих пор как бы живут два существа. Один твердит: «я, мое», другой настаивает на древнем «мы, наше». Я много работал. Возделывал сахарный тростник в Уэтамо, выращивал кунжут в Уакане и в Таретане, был пастухом, затем владельцем скотоводческой фермы в Апатсингане. У меня водились деньги. Но всегда недоставало желания сохранить их, накопить побольше. «Я, мое» уступало в силе своему антиподу «мы, наше». Словно кто-то подбивал: «Расстанься с тем, что по справедливости тебе не принадлежит».

Он громко расхохотался:

— Хороший автопортрет я нарисовал?

— Кто же из двух существ кажется тебе смешным? — спросила Валентина, недовольная тем, что он прервал свои признания.

— Оба. Как только я обратил их в слова, они бросились наутек и растворились в воздухе.

— Слова! — опять вздохнула она.— Как безжалостно они разрушают иногда жизнь.

Эмилиано, обведя взглядом поля, по которым вилась дорога в хайме чилакайотов [1], сказал, то ли спрашивая, то ли утверждая:

— И вся эта земля была Энсинаром Ороско, твердыней древнего высокомерия и еще более древней покорности.

— Теперь здесь два эхидос и мелкая помещичья собственность, пришедшая в упадок, потому что папа... мой отец совсем сдал, Эмилиано. От былого величия остались руины. Не знаю, как он тебя примет, одно скажу — он стал капризен. Я стараюсь этого не замечать. Моя жизнь посвящена ему, заботам о его старости. Ребенком я любила злить его, чтобы добиться исполнения своих прихотей. Как сказал когда-то дядя Чано, вонзать зубы в хлеб с твердой коркой до самого мякиша. Отцу пришлось подчиниться закону об экспроприации земельных излишков, но в душе он не смирился и в знак протеста забросил свое хозяйство. Вернее, передал его в чужие, корыстные руки, что еще хуже. После смерти Фелисианито он не смог вынести второго удара — позора экспроприации, и мы перебрались в Мехико, где прожили три года. Но и там, вдали от земли, где родился и состарился, он тоже не мог жить, а потому вернулся в Большой дом, к полному одиночеству среди полей, ему не принадлежащих, и его собственных, пустующих. Я осталась в Мехико заканчивать курс подготовки сельских учителей. И теперь я — учительница сельской школы.

Она улыбнулась:

— Вот чем кончила девочка, воображавшая себя принцессой Эрендирой.

Оба молчали. Потом Эмилиано, искоса следя за лицом Валентины, спросил:

— А что Сантьяго Архимирес?

— Мы подъезжаем к его ранчо. Вон те дома. Из бывших владений отца Архимирес прибрал к рукам земли этого ранчо и все сосновые рощи. Видишь — сидит, окруженный телохранителями. Не смотри туда, не давай повода для приветствий. Теперь он по существу владелец Энсинара и заправила округа. Президент муниципалитета, не рискнувший арестовать тебя сегодня, послушное орудие в его руках. Все мои старания избежать слежки Архимиреса оказались тщетными. Сейчас он, должно быть, недоумевает: сеньорита Ороско в обществе незнакомого мужчины?

Валентина ехала, не поворачивая головы, но Эмилиано посмотрел в сторону ранчо, и оттуда донесся голос Архимиреса:

— Добро пожаловать, Лихо-Горе! Соскучились мы без ваших выдумок и проделок.

Эмилиано не ответил на двусмысленное приветствие. Валентина попросила:

— Пожалуйста, не обращай на него внимания. У нас зовут его «человеком, восседающим на плодах своих деяний». Надеюсь, ты догадываешься, какие деяния люди имеют в виду.

— Он убил своего брата, я слышал.

Валентина обошла эти слова молчанием, и тогда он спросил:

— Ты ездишь в город этой дорогой?

---

[1] Дикорастущее ползучее растение с большими желтыми цветами.

— Да. Сестры Ариса мои добрые приятельницы, и я их часто навещаю.

— Верхом? Одна?

— И одна, и не одна. За мной на расстоянии всегда следует провожатый. Оглянись назад.

Обернувшись, Эмилиано увидел в отдалении всадника.

— Отец — единственный, кто мог бы составить мне компанию, да нет второй лошади. Но, как видишь, ко мне приставлены телохранители, так что будь осторожен, малыш.

Эмилиано, улыбнувшись, задал еще один вопрос:

— А этот, «восседающий на плодах своих деяний», так всегда и сидит, наблюдая за дорогой?

— Да, большую часть времени он проводит в ранчо. Удалился от политики, как он говорит.

Последние фразы они произносили, не глядя друг на друга. Но вдруг Валентина резко повернулась к собеседнику:

— Что еще тебе нужно узнать?

По-прежнему не глядя на нее, он сказал:

— Ничего. Я впервые на этой дороге. И если задаю какие-то вопросы, то лишь потому, что нельзя же ехать молча.

— Дорога кончается. Мы приближаемся к цели нашего путешествия.

Перед ними было селение с немощеной улицей-аллеей из высоких, с пышными кронами ясеней.

Перед въездом, на краю маисового поля, обилием початков сулившего хороший урожай, стояло несколько крестьян в пончо.

— Сеньорита Валентина с посредником,— произнес один из них.

— Слышал, Эмилиано? — спросила она.

— Меня приняли за посредника. Не знаю почему.

— А я знаю. Недавно, в который уже раз, вспыхнула смертельная вражда между двумя здешними земельными общинами, и кто-то сказал, будто для наведения порядка должен прибыть уполномоченный правительства штата. Приступ вражды начался из-за пустого спора между двумя женщинами, не поделившими урожай с одного участка. Но взаимной ненависти в обеих общинах накопилось столько, что любая мелочь может послужить поводом для кровопролития.

— Постой! — воскликнул Эмилиано, вмиг загораясь от внезапной шальной мысли.— А что, если я выдам себя за уполномоченного? Ты не поверишь, но мне не раз удавалось предотвращать назревавшие потасовки.

— Прекрасное завершение рискованной поездки — примирительная миссия,— поддержала идею Валентина.— Но в таком случае нам придется расстаться здесь. Если в поселке увидят, что ты приехал со мной, тебя могут заподозрить в самозванстве. Вон, видишь, старый дом? Там мы с отцом и проживаем. Я поеду напрямик через поле. До свидания, сеньор посредник. Желаю удачи!

Они остановились и протянули друг другу руки. Эмилиано, удерживая ее руку в своей, сказал:

— Мне нужны еще кое-какие сведения, посыльная. Как зовут тех двух женщин?

— Кажется, Матильда и Эрменехильда. Советую остановиться на постоялом дворе при въезде в селение, чтобы люди не увидели Пегого, также воспетого в балладе о подвигах того, кто учился ремеслу разбоя.

— Что ты мне еще посоветуешь?

— Отпустить мою руку,— мягко улыбнулась она.— Иначе нам не расстаться.

— Верно,— засмеялся он.— До меня только сейчас дошло, что эта поездка где-то должна кончиться.

Валентина свернула на тропку и полями поехала к дому. Эмилиано смотрел ей вслед, пока она не скрылась за зеленой стеной маиса.

— Валентина Ороско! Бесподобная женщина эта посыльная призрака. Вперед, Пегий! На этот раз мы с тобой, кажется, не ради пустых забав пустились в дорогу.

VII. Посредник

Он заехал на постоялый двор Толстяка — хозяин его дон Рефухио, больной водянкой, возможно, когда-то и оправдывавший эту кличку, сейчас походил скорее на мешок с костями, если не считать вздутого живота, где все еще держалась болезнь. У коновязи поставил Пегого, живую улику в принадлежности к определенной личности, и подробно разузнал у хозяина обстановку в поселке.

— Обратите внимание,— сказал дон Рефухио, провожая высокого гостя до улицы.— Эта широкая прямая улица делит селение пополам. И не только селение, но и жителей его. По обе стороны этого водораздела давно кипят страсти, из-за них уже погибло несколько человек. По ту сторону — люди Фортунато Пеньи, по эту — дона Сантьяго Архимиреса. Оба шуруют, конечно, чужими руками. Улица зовется Широкая, но взгляните, никто не выходит на середину, не пересекает ее. Вражда зародилась вместе с самим селением, когда на бывших землях Энсинара создались две общины. Нынче обстановка обострилась до предела, еще малость — и засвистят пули. А из-за чего? Две женщины не договорятся, кому собирать початки с одного участка, хотя урожая еще ждать и ждать. Словом, бабья свара грозит вылиться в схватку не на жизнь, а на смерть. Вон уже мужчины собираются по обе стороны улицы. Закутались, будто от холода, и руки спрятали...

— Поближе к револьверам,— договорил Эмилиано.— А местные власти что же, и в ус не дуют?

— Больше того, сеньор. Местная власть вообще уехала. Полицейский начальник, как вызвал его дон Сантьяго к себе нынче утром, так еще и не возвращался. Если позволите, я бы посоветовал вам, когда пойдете к этим людям для переговоров...

— Держаться середины улицы, ничейной полосы?

— Да, сеньор. Видно, у вас большой опыт в посреднических делах.— Дон Рефухио передохнул и спустя некоторое время добавил: — Хоть вы и на пегой лошади.

Последних слов Эмилиано не расслышал: он уже шагал по середине улицы Широкой, под щебет птиц в листве могучих ясеней.

Он остановился, дойдя до закутанных в сарапе людей, стоявших двумя группами через улицу — среди мужчин виднелись и женщины,— и, не слишком возвышая голос, потому что оба лагеря настороженно молчали, объявил:

— Прошу подойти ко мне женщин, замешанных в споре. Сеньору Матильду и сеньору Эрменехильду.

От каждой группы отделилось по женщине. Одна — в годах, дородная, в темной шали, руки сложены на груди. Вторая — городской внешности, с крашеными волосами и густо нарумяненными щеками, явно и упорно молодящаяся. Эта, пока шла до нейтральной полосы, то и дело вскидывала голову, что придавало ей вид гордой независи-

мости, а главное, помогало скрыть напряжение, с каким она передвигалась по каменистой земле на высоченных модных каблуках.

— Назовите, пожалуйста, свои имена,— попросил Эмилиано.

— Альмарала,— ответила крашеная.

Сдерживая смех, Эмилиано заметил:

— И все? Вы находите, этого достаточно? Можно подумать, что ваше имя всемирно известно.

— В нашем поселке нет другой Альмаралы, сеньор... Лихо-Горе.

— О! — едва не подскочил Эмилиано, но тут же отразил удар: — Подумать только, столкнулись две знаменитости!

И повернулся к другой женщине:

— А вас как зовут, сеньора?

— Гертрудис Руис, компаньеро. А не Матильда, как вы меня окрестили.

Альмарала, рискуя остаться без краски, тряхнула головой:

— Все-таки «компаньеро»?

Крестьянка в шали шагнула к противнице:

— А что, сын великого Чано Грасиана, Аграриста, не может быть посредником?

— Будет вам,— примиряюще улыбнулся Эмилиано.— Раз уж все обо мне знаете, чего толковать.

— Ай, Эмилиано! — сказала Гертрудис.— У нас ведь как? Приезжий лишь показался в селении, а уж всем известно, кто он да что он. А только я желаю заявить отвод: эта сеньорита... фуфыра — назовем так — не имеет никакого права выступать на нашем аграрном собрании, совсем не с ней у меня вышло несогласие, а вон с той, с Эрменехильдой.

— Ее представляю я, сеньор посредник,— вызывающе тряхнула головой Альмарала.— Эрменехильда не умеет выражаться.

— Здесь не театральное представление, сеньорита,— возразил Эмилиано.— Требуется личное присутствие, а потому будьте добры, оставьте нас и пошлите сюда непосредственно заинтересованную сторону.

Альмарала приподнялась на своих высоких каблуках и пошла в атаку:

— Предупреждаю, сеньор посредник, я выполняю приказ дона Сантьяго Архимиреса.

— Считайте, что вы его уже выполнили. Пусть подойдет сеньора Эрменехильда. А вы, сеньорита Альмарала, будьте любезны удалиться.

На улице Широкой загудели — по одну сторону одобрительно, по другую недовольно,— и Эмилиано, обращаясь ко всем, сказал громко:

— Я пришел восстановить мир, а не раздувать ссору. Но имейте в виду, я сумею заставить уважать себя.

Мужчины, сжимая рукоятки револьверов, обменялись между собой взглядами, и от группы справа отделилась и пошла на середину замызганная бабенка, босая, с тяжелыми, приплюснутыми ступнями, как у всех ее землячек, из века в век ходивших по земле босиком.

У бабенки было тупое лицо и придурковато-кроткая улыбка. Она привычным движением согнулась в коленях перед Эмилиано и тоненьким детским голоском назвала себя:

— Эрменехильда я, сеньор. Сама пахала-сеяла. Думала, моя землица. Скажи, сеньорита Альма...

Но Альмарала уже кончала преодолевать обратный путь через улицу, вдвойне трудный теперь, когда нужно было, хоть тресни, сохранить гордый вид, и Гертрудис, упершись кулаками в свои мощные крестьянские бедра, сказала Эрменехильде с издевкой:

— Нету больше твоей адвокатки!

— Она в ней не нуждается,— укоризненно посмотрел на Гертрудис Эмилиано.— Не будем заносчивы, сеньора Гертрудис. Скромность Эрменехильды выглядит куда похвальнее. Продолжайте, Эрменехильда.

— Так эта... Мне ведь как было сказано, сеньор Милиано... И маис уродился, кабы вы, сеньор, видели. Потому, я же вам толкую... мне говорили, мол...

Гертрудис, лидер аграрной общины, благоразумно последовав наставлению сына Чано Грасиана, память о котором свято чтил крестьянский люд, пришла на помощь косноязычной противнице:

— Прошу слова, сеньор посредник.

— Предоставляю вам слово.

— Дело тут такое. Аграрный департамент дал моему мужу, а вернее будет сказать, отцу моих детей — теперь уж он на том свете — два участка земли. То есть один размером в два.

— Так,— сказал Эмилиано.

— А у моего так называемого мужа был родной племянник, он же муж сеньоры Эрменехильды, и этому сродственничку мой возьми да и продай один участок. Без разрешения департамента, потому — общинная собственность, ее по закону, вы знаете, нельзя продавать, да вдобавок еще без моего супружеского согласия. Ну, а когда мужья померли, как помрем в свое время и мы, жены, когда по велению бога или законов природы — это кто во что верит, потому...

— Короче, сеньора Гертрудис,— напомнил Эмилиано.— Солнце припекает, того и гляди, расплавится наше собрание.

На улице раздался смех: с одной стороны — громкий, с другой — послабее, не такой охотный. Гертрудис, ничуть не смутившись, продолжала:

— Перехожу к заключению. Сеньора Эрменехильда пахала и засевала этот участок два сезона, и я терпела. Но ей и нынешний урожай подавай. По какому праву?

— А вы разве не знаете, Гертрудис? Вы, активистка, насколько я могу судить по вашей речи.

— Знаю, Эмилиано Грасиан. И признаю. Естественное и революционное право: кто землю возделывает, того и урожай. Но дело в том, что...

Она оборвала себя на полуслове и, толкнув локтем Эмилиано, сказала тихо:

— Взгляните, кто идет.

Вдоль улицы, погоняя четырех грязных, тощих свиней, двигался старик с белыми волосами и бородой, чей господский костюм и надменный вид до нелепости не вязались с его занятием.

— Дон Начо Ороско с боровками! — блаженно пропела Эрменехильда.

Эмилиано, сдвинув брови, молча смотрел на странного свинопаса, а тот, подойдя к нему почти вплотную, но глядя прямо перед собой в пространство, проговорил торжественно:

— Вот какой мир, какое согласие царят в Мексике, сеньор посредник! С тех пор как у законных владельцев отняли землю и раздали ее безответственным крестьянам, каждый стал сам себе хозяин и господин — что хочу, то и делаю.

— Вчера вершилось, нынче сказывается,— прошептала Гертрудис.— Справедливая кара революции. Так, Эмилиано Грасиан?

Он промолчал. Лицо его выражало душевную боль.

Ответила Эрменехильда — оправдывая и сочувствуя:

— Так ведь дон Начо слаб головой, сеньора Гертрудис.

VIII. Человек, восседающий на плодах своих деяний

Политическая карьера Сантьяго Архимиреса складывалась почти беспрепятственно не только благодаря его умению искусственно создавать ситуации, помогавшие предстать в наивыгоднейшем свете перед нужными людьми — как, например, перед доном Начо, когда тот спросил: «Чем вы меня привлекаете?» — но и благодаря времени, в которое ему довелось жить.

Правда, в самом начале вышла, по его выражению, «спотычка»— убийство брата, но на допросе он показал, что они не были братьями и что убил он в целях самообороны. При этом имя Валентины не упоминалось — такое решение он принял сразу же после происшествия, о чем и заявил дону Начо:

— Кроме вас, дон Начо, и сеньориты, никто не узнает истинной причины столкновения. Я скажу, что оборонялся, а поскольку свидетелей нет, то имя вашей дочери вообще не будет произнесено в суде, если он состоится. В свое время при одобрении Макарио Балабона я ударил Сантьяго Младшего, и этот факт послужит мотивировкой его нападения на меня в саду. Пусть только сеньорита сама не щебечет, а уж из моих уст, будьте спокойны, не вырвется ни единого слова, бросающего на нее тень.

Ссылка на вынужденную самооборону, подтвержденная объективным фактом — следствие установило, что Сантьяго Младший действительно стрелял в тот момент из своего револьвера,— и кругленькая сумма, которую дон Начо отвалил адвокату, помогли Архимиресу после суда выйти на свободу.

В ту пору земельная община из верных и преданных владельцу Энсинара пеонов уже была пущена в ход, и с согласия дона Начо, благодарного ему за достойное поведение на суде, Архимирес встал у ее кормила.

Он возглавил общинный комиссариат, учрежденный вслед за экспроприацией земельных излишков Энсинара и превращением пеонов имения в членов эхидо, которых он тут же легко подчинил своей воле и сделал орудием в своих руках.

Мир заметно менялся. Терял свое значение Большой дом — твердыня могущества и спеси, исчезали лачуги — приют нищеты и смирения. В домах, выраставших вдоль улицы Широкой, селились уже не рабы, а народ — земельный надел был хоть и скромным, но все же средством к существованию, а кроме того, он вселял в людей уверенность и достоинство, возможные, лишь когда человек чувствует под ногами собственную землю.

И все же простое перераспределение собственности не могло повлечь мгновенной ломки уродливых черт — врожденной тупости или привычной лености у одних, корыстной и хитрой изворотливости у других,— как не могло оно дать немедленных положительных результатов и в плане экономическом, поскольку было явлением обособленным и протекало в рамках той же социальной системы, которая в свое время способствовала возникновению и процветанию гигантских латифундий.

В революционной спешке, с какой претворялся в жизнь аграрный закон, никто не оформлял документов на предоставляемую собственность, поэтому крестьянин, получив надел, не чувствовал себя полновластным его хозяином и не испытывал к своей земле той терпеливой любви, при которой пахарю и тяжкий труд в радость. А тут еще эхидальный банк, наводненный бюрократами, если не заведомыми хапугами, отказывал или тянул с кредитами в пору сева, заботясь больше

о гарантиях на просимую сумму, чем о своевременной поддержке остро нуждающихся в средствах земельных общин. Когда же наступало время продавать часть урожая, на крестьян давили сговорившиеся между собой перекупщики. Вот тут-то, в самые безвыходные для эхидатариос моменты, и объявлялся со своими кредитами Сантьяго Архимирес и без труда и затрат становился эксплуататором и угнетателем поверивших ему людей.

Он держал в кулаке голоса этих людей на выборах, с их помощью он приобрел политический вес, стал президентом муниципального совета, а затем окружным депутатом, значительно укрепив свои позиции политического касика. Многие его откровенно боялись, зная, как небрезглив он в выборе средств, когда приходит время ринуться камнем вниз и долбить клювом вставшего поперек пути недруга. Его называли «человеком, восседающим на плодах своих деяний» — так он сам сказал о себе в одной из предвыборных речей, баллотируясь в окружные депутаты. А большинство его деяний и не пахло добродетелью.

Годы не убавили в нем завидной бравой силы, жил он по-прежнему холостяком, и люди поговаривали, будто в подвале дома, как раз под креслом-качалкой, в котором он выслушивает донесения о состоянии дел в своей политической вотчине, погребены останки какого-то чересчур назойливого его противника.

Единоличный, если не считать самих отца и дочери Ороско, обладатель тайны пережитого Валентиной насилия, он питал к ней уважение, вставшее стеной перед его не знающими удержу хотениями касика, и, конечно, не случайно оказывался в воскресные дни там, откуда как на ладони была видна дорога, по которой ехала верхом на лошади Валентина к сестрам Ариса и обратно. Она не смотрела в его сторону, избегая приветствий, и он, в свою очередь, ни разу не позволил себе как бы ненароком встретиться с ней, хотя дом его стоял рядом с дорогой. Сантьяго Архимиресу довольно было одного сознания, одного ощущения, что эта женщина находится в пределах его досягаемости.

Былое влечение к дочери дона Начо, наследнице огромного богатства — влечение алчного честолюбца,— быть может, и переросло бы в любовное и даже доброе чувство, если бы не укусы койота.

Он тоже не мог забыть предсмертных слов Сантьяго Младшего: «Оставляю ее тебе меченой».

Женщину, которой коснулся другой, он не хотел себе в жены; и все же ему было необходимо видеть Валентину — о том, что она едет, он заранее знал через соглядатаев, приставленных следить за ней; и все же он не мог отказаться от привычки провожать ее взглядом, проговорив про себя:

— Гордячка! Помнишь, как ты заставила меня снять сомбреро и дожидаться на скамье у дверей Большого дома? А чем кончила? Сельская учителка! Небось воображаешь, что я влюблен и потому хочу тебя видеть.

Но в тот день он недолго оставался на своем наблюдательном посту: произошли события, о которых Сильвио Серено, человек Архимиреса в муниципалитете, поспешил лично доложить шефу.

Ранчо начиналось у самой дороги, и попасть на его территорию можно было лишь через проход между двумя первыми домами, где неотлучно дежурили два помощника касика, его телохранители. К этим здоровенным хриплоголосым детинам с крупнокалиберными револьверами без кобуры у пояса и обратился Сильвио Серено:

— У себя?

— Сдается, вас-то он и ждет.

— Будьте любезны, доложите — я пришел за указаниями.

— Подождите здесь.

Детина ушел и спустя некоторое время вернулся со словами:

— Можете пройти.

Миновав большой дощатый амбар, крытый дранкой, Сильвио подошел к дому, опоясанному узкой галереей с высокими резными перилами и бесчисленными горшками с геранью. Двери в дом, как всегда закрытые, охранял еще один вооруженный детина.

Детина встал перед ним и сказал:

— Идите со мной.

Они прошли две комнаты — пустые, без мебели; перед дверью в третью сидел человек преклонных лет, с которым Сильвио приветливо поздоровался:

— Как поживаете, Макарио?

— Ничего,— коротко бросил тот.— Входите.

Но гость знал, что и этот порог нельзя переступать без разрешения:

— Можно?

— Можно,— ответил из глубины комнаты голос Сантьяго Архимереса, прозвучавший, как показалось Сильвио Серено, невнятно, с каким-то неопределимым выражением.

Хозяин сидел в качалке грубой работы, поближе к углу просторной комнаты, рядом с небольшим сосновым столом, на котором стоял телефонный аппарат, дополнявший более чем скромное убранство. Во время прежних своих визитов к политическому начальнику Сильвио мог сесть на стул, сейчас же стула не было, и он, поняв, что придется стоять в течение всего разговора, забеспокоился от недобрых предчувствий.

Не в привычках Сантьяго Архимереса было напускать на себя в беседах грозный вид, напротив, он держался внешне очень просто и даже радушно, поэтому создавалось впечатление, что перед вами не политический заправила, «восседающий на плодах» своих чудовищных деяний, а обычный человек, удобно расположившийся в кресле-качалке в углу комнаты.

Едва Сильвио Серено открыл рот, как Архимирес заговорил сам:

— Слышал, слышал! Вы оказались на высоте положения. Чуть ли не схватили за уздечку лошадь Лихо-Горе.

— Уже хотел было, сеньор, да...

— Я и говорю: «Чуть ли».

Президент муниципалитета похолодел от мысли, что, не сумев сделать того, что ему сейчас намеренно приписывают, он может потерять доверие политического начальника, и забормотал:

— Но... прежде чем доложить вам, как положено, о новостях, разрешите принести поздравление по случаю именин. Сегодня день апостола Сантьяго.

— У меня с апостолом сходства мало, я тому Сантьяго не пара,— возразил улыбаясь Архимирес.— Да и поздравление ваше я уже получил — письменное, вместе с дорогим подарком, рано утром, едва взошло солнце. Рассказывайте лучше, по какому делу пришли.

— Сообщить вам, сеньор, что упомянутый Лихо-Горе...

— Эмилиано Грасиан. Сын великого Чано Грасиана, Аграриста, как называли Чано мы, его поклонники.

Сильвио Серено затоптался на месте, словно не находил, куда поставить ногу в этом просторном помещении с чистым плиточным полом.

— Недавно он проехал по дороге с сеньоритой Ороско,— продолжал Архимирес.— С сельской учительницей, которой возглавляемый вами муниципалитет регулярно выплачивает жалованье.

— Согласно вашему любезному распоряжению, сеньор.

— Так.— подтвердил Архимирес и уточнил: — Так было.

Сантьяго Архимирес любил загадочность, но Сильвио Серено давно наловчился разгадывать его мысли. Подобно многим, он полагал, что касик неравнодушен к сеньорите Ороско — ведь именно он, касик, приказал назначить ее учительницей в местную школу,— и по этому «так было», и по фразе о том, что сеньорита ехала вместе с Эмилиано Грасианом, а также по небывалому восхвалению Аграриста изворотливый ум приспешника, словно по путеводным вехам, пробрался сквозь лабиринт замысла касика прямо к спасительному выходу:

— Вы правы, сеньор, школа действует не в самом подходящем для учебного заведения помещении. Точнее сказать, в самом неподходящем.

— На что я всегда и указывал,— подтвердил Архимирес ход мыслей собеседника.— Доброе дело, плохо сделанное,— плохое дело.

— И пусть лучше его совсем не будет, правда?

— Мое мнение здесь ни при чем, сеньор президент муниципалитета. Я теперь свободен от ответственности за общественную, а тем более политическую жизнь округа и занимаюсь только своим хозяйством. Собственных забот хватает. Вон тусы [1] все поля подземными ходами изрыли, не иначе подкоп под меня готовят.

— Скажите! Негодные твари. Они похожи на кротов, кажется?

— Почти одно и то же.

— Но под дона Сантьяго не так-то просто подкопаться... каким-то тусам.

Сильвио Серено очень надеялся, что шеф оценит его услужливую проницательность. Он уже подумывал, как бы поудобнее убраться восвояси, но в дверь заглянул Макарио с бумагой в руках.

Архимирес взял бумагу, стал читать, помрачнел на короткое мгновение, потом вернул себе обычный вид полнейшей невозмутимости и, разорвав бумагу, сказал:

— Видите, дон Сильвио, как хорошо, что вы не арестовали Лихо-Горе. Эмилиано Грасиан, прибывший к нам с учительницей сельской школы, действующей, как вы сказали, в самом неподходящем помещении, только что предотвратил кровавую драку между крестьянами бывшего Энсинара Ороско. Для этого он незаконно присвоил полномочия посредника, направленного сюда правительством штата, чтобы утихомирить двух женщин, не поделивших будущий урожай. Выполни вы свой служебный долг, арестуй Лихо-Горе — и Эмилиано Грасиан не смог бы оказать нам такой услуги. Выходит, скромная сельская учительница тоже может способствовать благоприятному ходу событий, даже если ее школа и помещается в неподобающем месте.

Но Сильвио Серено не нуждался в дополнительных намеках, он и так все понял и приготовился действовать.

— Будут еще приказания, сеньор? — спросил он.

— Больше ничего.

— Тогда с вашего разрешения...

— Можете идти.

Гость удалился. «Человек, восседающий на плодах своих деяний» еще долго покачивался в кресле.

---

[1] Род грызунов.

IX. Улица Широкая

Эмилиано вернулся на постоялый двор Толстяка, примирив враждовавших Гертрудис и Эрменехильду и уговорив разойтись закутанных в сарапе мужчин, готовых в любой миг доверить злобу револьверам. И насмотревшись на тягостную сцену: дон Начо Ороско — погонщик свиней. Он собрался ехать к Валентине поделиться впечатлениями, но хозяин постоялого двора сказал, что его, Эмилиано, хочет видеть Фортунато Пенья, вожак противников Архимиреса.

Мужчина лет за сорок, крепкого сложения, не внушающий с первого взгляда особого расположения, но и не возбуждающий неприязни, пожимая руку Эмилиано, начал так:

— Я в долгу перед вашим отцом, царство ему небесное. Он научил меня расстаться с окровавленной рубахой.

— Простите, не понимаю.

— Был случай в моей жизни,— улыбнулся Фортунато.— Когда-нибудь расскажу подробно. Сейчас я пришел поблагодарить вас...

Эмилиано молча ждал, когда за этими, кажется, искренними словами последует объяснение настоящей цели визита, но не дождавшись, спросил:

— Если я правильно понимаю, Гертрудис, которую я не поддержал в ее споре с Эрменехильдой, принадлежит к эхидатариос, возглавляемым вами?

— Прежде чем ответить, разрешите сказать следующее: вы не тот, кому правительство штата поручило разобраться в нашем споре.

— Да,— спокойно признал Эмилиано.— Я действовал на свой страх и риск.

— И именно так Эмилиано Грасиан поступает не впервые, верно?

— Да. Но почему вы не назвали меня Лихо-Горе? Эта кличка вертится у вас на языке.

— Ваше имя и ваше прозвище означают для меня одно — сын Чано Грасиана, человека, вот уже дважды заставляющего меня опомниться и исправить ошибку. Сеньора Гертрудис была не права, но я ее поддерживал: за ее противницей, Эрменехильдой, стоит Сантьяго Архимирес. И отец-наставник — он же предатель революции, ее кровный враг.

Фортунато Пенья подавил волнение, нахлынувшее с последними словами, и повел свой рассказ дальше:

— Если откровенно, Эмилиано Грасиан, то между теми, кто с той стороны улицы Широкой — как живущие здесь называют меня и моих единомышленников,— дела тоже идут не совсем гладко. Можно сказать, улица Широкая делит всю Мексику на два лагеря, о которых справедливо говорилось как будто покойным генералом Обрегоном[1]: «Революционеры и те, кто примазался к революции». Даже меня, руководителя эхидального комиссариата, было занесло. В ростовщика, в спекулянта превратился! Богател за счет своих же односельчан. Я не скупал их наделы, не приобретал в собственность — это запрещено аграрным кодексом. Я просто ссужал деньгами членов эхидо, которые не хотят либо не умеют извлечь пользу из своей земли и своего труда. Но выходило так — семена для сева человек приобрел, а урожай должен отдать мне.

Он вдруг попросил:

— Разрешите сесть?

— Конечно, Фортунато. Простите, я должен был сам догадаться.

---

[1] Альваро Обрегон — президент Мексики в 1920—1924 годах. Избранный вновь президентом, убит клерикалами в 1928 году.

— Спасибо,— поблагодарил Фортунато, присаживаясь на стул.— Когда экспроприировали дона Начо, мне нарезали участок по ту сторону улицы Широкой — тогда самой улицы не было. Но я сею и снимаю урожай еще на нескольких наделах, чужих, арендованных мною,— их владельцы к работе не рвутся, скорее до пива охотники.

— Видел я таких нерадивых хозяев в жарких землях,— вставил Эмилиано.— Людей сама природа мастерит по-разному: один — усерден и проворен, другой — туповат или просто ленив.

Фортунато, не устояв перед желанием показать сыну Чано Грасиана свою осведомленность в революционной теории, возразил:

— Да, но дело тут не только в природной лени и тупости. Наша... экономическая система выгодна лишь крупному собственнику — вот еще что. Не подумайте, будто я хвастаюсь: гляди, мол, какой ученый. Это все между прочим. А главное — я хочу сказать вам большое спасибо. Сегодня вы заставили меня задуматься...

— Фортунато,— взволнованно произнес Эмилиано.— Ваша мужественная искренность обязывает и меня к откровенному признанию. Долгие годы меня тоже заносило, начисто сбился с пути, заплутал в жизни. Ведь и сегодняшняя роль посредника вначале была не более как шальная забава Лихо-Горе. Но я рад, что она дала мне возможность познакомиться с вами. Пусть наша дружба послужит общей цели — окончательно вернуться на нужный путь.

Фортунато, не менее взволнованный, встал со стула:

— Можете на меня положиться в любом деле. И во имя дружбы примите совет — опасайтесь Сантьяго Архимереса. Этот человек, не дрогнув, уберет со своего пути любого. Так он разделался даже с братом.

X. Сельская учительница

Она сидела за учительским столом, опершись о него локтями и уткнув лицо в ладони. Шум ребячьих голосов утих, все разошлись, а она так и не двинулась с места.

Но вот скрипнула парта под тяжестью непривычно большого тела, и учительница, оторвавшись от своих мыслей, подняла голову:

— Ты? И давно ты здесь сидишь?

— Лет эдак с пятнадцати. Заметь, в балладе о похождениях Лихо-Горе нет ни слова о его любви к женщинам.

— Опять?

— Впервые. И навсегда.

— Повторяю — привыкай быть точным и правдивым, малыш. Но поговорим серьезно. Я знаю, как успешно справился вчера с ролью терпеливого, мудрого судьи прославленный повеса — человек, склонный к внезапным переменам и резким контрастам в настроении. Я знаю, что ты видел моего отца. Он сам рассказал и даже повторил фразу, которую тогда произнес.

— Да, картина потрясающая. Дон Начо Ороско, высокомерный феодал, каким я помнил его по описаниям Чано Грасиана, и вдруг — свинопас!

— Не совсем так,— с мягкой грустью заметила Валентина.— Это очередная его выдумка. Стоит ему прослышать о приезде человека, знавшего, каким был раньше дон Начо Ороско, едва ли не самый богатый землевладелец в округе, он тут же выпускает на улицу своих свиней, чисто декоративных — иначе не назовешь,— и выступает в образе воплощенной жертвы революции. От прежнего Энсинара ему оставили достаточно земли, притом лучшей. Он не желает сам зани-

маться ею, сдает в аренду и к полученным деньгам не прикасается. Живем мы на мое учительское жалованье.

Валентина задумчиво помолчала, затем вернулась к своей теме:

— Эти спектакли не только признак старческого слабоумия. Оно, безусловно, дает себя знать, но многое идет и от «я — человек с плотным, литым нутром». Слышал это выражение?

— Да. Опять же от отца. Но, признаться, не понимаю, как ты, благоразумная женщина, с трезвым умом и твердым характером, не прекратишь это безобразие? Ведь кажется, будто ты сама погоняешь этих свиней, прикидываясь нищей.

Валентина молча, немного удивленно посмотрела на Эмилиано.

— Или ты тоже — «человек с литым нутром»? — спросил он нежнее.

Она вдруг с отчетливой остротой почувствовала, как непоправимо исковеркана ее жизнь, и лицо ее стало совсем печальным.

— Представь себе, нет. В этой убогой школе я пасу моих маленьких поросят, ребятишек из простых семей, не для того, чтобы выставить себя несчастной и бедной. Надо же на что-то расходовать сердце. Ту его часть, которая не принадлежит вынужденно моему отцу. Но в моем сердце что-то надломилось, когда мне было четырнадцать лет, и временами рана дает о себе знать.

Эмилиано нахмурился, вспомнив рассказ Амалии Арисы, и невольно скользнул взглядом по плечам Валентины, как всегда закрытым. Она с проницательностью, усиленной многолетними опасениями за сохранность позорной тайны, уловила этот взгляд, и бессознательно, вопреки укоренившейся привычке, приоткрыв воротничок, сказала:

— Ты обо всем узнаешь от меня самой.

Два последних слова она произнесла подчеркнуто, давая понять, что подозревает кое-кого в разглашении ее секрета.

Эмилиано, встав из-за парты, подошел к ней:

— Кажется, я тебе уже говорил — наверно, говорил, эти слова часто приходят мне в голову,— я никогда не спрашиваю у дороги, куда она меня поведет. И все же сейчас мне очень хотелось бы видеть твоего отца.

— С какой целью, Эмилиано? — спросила она, сохраняя полное самообладание.

— Познакомиться. Чано Грасиан был его лучшим другом — естественно, сын Чано Грасиана хотел бы продолжить знаменитую дружбу.— И, легко перейдя к шутливому тону: — Отец рассказывал о фиктивной продаже ему доном Начо земель эхидо Экиуа. К сожалению, дальше обещаний дело не пошло — по известной причине.

— Эти земли в руках Сантьяго Архимидеса.

— Знаю. Эхидо Экиуа тоже давно не существует. Но дон Начо остается, и я хочу возобновить традицию дружеских стычек. Унаследовал же я хоть малую толику от Чано Грасиана? Ведь это он помог вчера Эрменехильде выиграть бой за поле маиса.

Валентина слушала с явным удовольствием.

— Хочу тебя предупредить,— сказала она.— Папа задумал поставить на широкую ногу разведение породистых свиней и уже строит планы с учетом твоего опыта в свиноводстве. Спрашивать, есть ли у тебя такой опыт, он считает излишним. Сейчас он, должно быть, в Большом доме. Дом сохраняется, хотя никто в нем не живет. Поезжай, это недалеко.

— Я знаю дорогу.

— А к ужину жду вас обоих дома.

— Согласен. Мы друг друга видим.

XI. Путаница в мыслях

Эмилиано нашел его у Большого дома. Если когда-то перед Чано Грасианом, Аграристом, Начо Ороско явил статую пешую, надменно подбоченившуюся, со вздыбленной ветром бородой, то теперь это была конная статуя. Дон Начо смотрел вдаль, на конусы потухших вулканов и нагромождения окаменелой лавы, вздымавшиеся к небу от зеленой долины,— на эти огненные пасти, почему-то не извергнувшие до сих пор гибель и опустошение на посевы эхидатариос — узурпаторов священного права собственности.

Большой дом давно перестал быть пышной цитаделью феодального господства. Не хватало плит из полированного камня во внешней облицовке стен — то ли они сами выпали, то ли были выбиты и использованы бог весть где на отделку других хором, возвысившихся за счет попранной чужой гордости. Оголенные стены поросли травой и лесной повиликой. Исчезли нарядные колонны перед парадным въездом, а роскошный цветник потонул в зарослях дикого кустарника — прибежище мелкого зверья.

— Зачем приехал? — раздался глухой голос дона Начо.— Полюбоваться моим разорением и потом расписывать на потеху дружкам твоего отца?

— Нет, сеньор. Познакомиться с вами и сказать: если я вам нужен, то я здесь.

— Ты агроном? За аграристом должен был следовать агроном.

— Нет. И не только по собственной вине...

— Какая разница? Поздно явился. Тебя здесь не ждали. Ущерб, причиненный нашей стране, уже ничем не исправить.

Длинная белая борода клином, заостренные худобой энергичные черты лица, не поддающаяся годам и бедам прямая фигура человека, сидевшего прочно, будто влитой, на лошади, тоже державшей голову высоко из-за натянутых поводьев, и, наконец, торжественный тон и устремленный в пространство взгляд — все это внушало уважение, какое люди испытывают к памятникам прошлого, но одновременно и сострадание.

Неожиданно это подобие конной статуи повернулось к созерцавшему ее человеку, внимательно посмотрело и изрекло:

— Внешне похож. Неизвестно, похож ли нутром.

— Стараюсь подражать, дон Начо. Потому и приехал познакомиться.

— А вчера ты меня разве не видел? Я пас свиней, они теперь— вся моя собственность.

— Да, сеньор,— уступчиво поддакнул Эмилиано.— Откровенно говоря, худоваты они у вас.

— Ты умеешь откармливать свиней?

— Я умею все понемногу, в том числе и это.

— Я их тебе дарю. Они — твои.

— Спасибо, дон Начо.

— Валентина рассказывала, как вы встретились. Ты показался ей толковым малым. Валентина посвятила жизнь мне, глупому старику, и больно видеть, как она вянет год от году, а бросить меня не хочет... Моя бедная дочь — жертва насилия, развязанного революцией.

Вдруг он перешел почти на крик:

— За что у меня отняли сына? Это бумаги твоего отца привели его к мятежу против меня, к предательству. Сам бы он не додумался подстрекать пеонов и воспользоваться для своей затеи суеверными россказнями о призраке Эмилиано Сапаты.

— Ваш сын, дон Начо, возможно...

— Что ты знаешь о моем сыне? — перебил дон Начо.— Да я горжусь своим сыном! Он принес себя в жертву убеждениям! Пусть кто-нибудь посмеет упрекнуть Ороско, что у них в роду не было идеалистов.

Эмилиано понимал, что с головой у старика не все в порядке, и все же такое он не ожидал услышать и с трудом скрыл удивление.

— Значит, не только бумаги моего отца были причиной...

— Конечно нет! Мы, Ороско, всегда проявляли устойчивость к влияниям извне, мы всегда жили своим умом.— Он перевел дыхание и после паузы продолжал медленно, глухим голосом: — Я всю жизнь был человеком с литым нутром, раз принятое решение оставалось во мне навсегда. В моем характере не было щелей и пустот, из-за которых могла бы подломиться и рухнуть воля. Послушай мой голос. Ты думаешь, теперь он исходит из пустого склепа? Как бы не так, ошибаешься! Из всех земель Энсинара мне отвели вот этот небольшой надел. Но я поклялся не возделывать ее, не пахать, не сеять. Не хочу вносить вклад в благополучие Мексики, допустившей революцию.

— Однако же ваши земли не совсем заброшены.

— Заброшены не заброшены, а возделываются скверно. Их арендует Сантьяго Архимирес, порождение революции. Он выплачивает ренту, но я ее не трогаю. Живем на то, что получает Валентина за работу в школе. Бедная моя дочка! Несчастная жертва революционного насилия. Она рассказала, откуда у нее рубцы на плечах? Нет? Об этом она не говорит. Но я тебе объясню. Поедем со мной, по дороге расскажу. Чтоб ты не вообразил чего-нибудь другого.

— Дон Начо... Я бы предпочел говорить о другом...

— Нет! Будешь слушать.

— Прошу вас, не надо.

Дон Начо, вспыхнув, рванул поводья:

— Ну и черт с тобой! Какой ты сын Чано Грасиана? С ним у меня никогда не было размолвок. Поехали! Хочу послушать, как разводят породистых свиней. А то все привыкли считать, что если в Мичоакане и есть хорошие свиньи, то лишь в селении Пьедад.

XII. Под звездами

За столом никто из троих не касался личных тем. Дон Начо говорил — в этот раз достаточно связно — на тему, не истощимую для него: ликвидация крупных поместий нанесла непоправимый вред Мексике. Выйдя из-за стола, он тут же удалился к себе в комнату, повинуясь давно устоявшейся привычке рано отходить ко сну, хотя вставать с зарей теперь не было нужды — разве только убедиться, что его четыре свиньи не околели за ночь,— и Валентина с гостем вышли поболтать в маленькое патио, где бушевали в цвету азалии и герань самых прихотливых оттенков и где вместо фонтана стояла каменная чаша, бывшая когда-то крестильной купелью в храме, нынче уже не существующем. Высоко в небе висели яркие звезды, вечер был теплым и спокойным.

— Каким ты нашел папу? — спросила она, садясь на один из стульев, которые они захватили с собой из дома, скупо обставленного старой мебелью.

— Днем он путался в мыслях, а сейчас выглядит вполне здравомыслящим человеком. Излишне горячился, но тут уж виноват предмет разговора.

— Жизнь, ставшая бесполезной,— тихо сказала Валентина.— Но эта жизнь оправдывает мое существование. Что потом... кто знает?

Впрочем, я бы не могла, даже наполовину, доверить судьбу первой, какая выпадет, дороге.

— Понимаю и намек, и упрек,— усмехнулся Эмилиано.— Однако тот, кто доставил послание, обязан позаботиться, чтобы оно не пропало впустую.

— Это время не было потеряно впустую, я уверена. Хотя если воля у человека такова, что сегодня он просыпается с одним желанием, а завтра с противоположным...

— Такую волю надо еще испытать?

— О чем мы говорим, Эмилиано?

— Действительно, о чем? Пожалуй, лучше сделать вид, будто не знаем. Вон звезды, хитрюги, подмигивают. Они-то знают, что происходит тут, внизу.

— Знают, что мы с тобой влюблены?

— Что я слышу? Правда? А ты уверена, что не звезды тебя так настроили? Они все могут — чего только не насмотрелись с высоты. Прошу тебя, не будем произносить обязывающих слов, пусть они, невысказанные, направляют нашу жизнь. Зачем спрашивать у дороги, куда она поведет, если мы это уже знаем?

Валентина задумалась, глядя на цветущие азалии, потом подняла глаза на Эмилиано:

— Видишь ли, Эмилиано. И в детстве, и в юные годы рядом со мной не было никого, кому бы я могла открыть свое сердце. Ни подруг, ни матери. А когда нет возможности изливать сокровенные чувства, то погружаешься в себя. И теперь мне трудно, очень трудно всплыть на поверхность. Да это и к лучшему. Неприятно видеть на водах иллюзий утопленника, плавающий труп.

— Ты становишься мелодраматичной. По-моему, ты хочешь объяснить происхождение шрамов у тебя на плечах. Амалия Ариса говорила мне об укусах койота.

— Я так и чувствовала, что-то она тебе рассказала. Да, хочу объяснить. Обязана объяснить. Смотри!

Распахнув ворот блузки, она приоткрыла плечи.

— Вот здесь и здесь я долго носила шрамы. Следы клыков... койота.

— По имени Архимирес, Сантьяго Младший. Продолжение этого рассказа меня не интересует.

— Зато я заинтересована рассказать до конца. Самое главное и самое отвратительное как раз в конце. Именно это тебе и важно знать.

— Ты замолчишь? — вскипел Эмилиано.— Амалия Ариса достаточно ясно дала понять, что там произошло. Похотливое и грубое животное внезапно набросилось на тебя и стало кусать. Но появился Сантьяго Старший, раздались выстрелы, и Младший упал замертво. Эпизод из истории Архимиресов, но не из твоей. А ты упорно приписываешь его себе, словно находишь в этом удовольствие. Это история всеобщего насилия, разразившегося в стране.

— Да, конечно,— согласилась Валентина.— Из-за него и ты стал Лихо-Горе. Но ты не знаешь, что сказал перед смертью насильник, а для меня особенно важно, чтобы ты это знал.

Она помолчала, собираясь с духом:

— «Твой верх. Оставляю ее тебе меченой».

Эмилиано, рывком встав со стула, зашагал взад-вперед среди цветущих азалий и герани. Валентина молча следила за ним взглядом.

Внезапно он остановился перед ней, как бы собираясь говорить, но, так и не раскрыв рта, долго смотрел ей в лицо, затем так же внезапно разразился смехом.

— Что с тобой? — удивилась Валентина.

— Чуть было не бросился целовать твои плечи — с таким же святым чувством, с каким в детстве целовал Христовы раны на распятии. Нахлынуло — словно опять проснулся в религиозном экстазе. Вот мое отношение к пережитому тобой насилию. Но сейчас надо думать о другом — как изменить невыносимую моральную атмосферу у вас в доме. Атмосферу, созданную искусственно, видимость нищеты, которой на самом деле не существует, и подчинение воле Сантьяго Архимиреса, в чем ты и твой отец находите чуть ли не наслаждение. Он устраивает спектакли с отощавшими свиньями, будучи законным владельцем имения, ты же ведешь себя так, словно в лице ненавистного Сантьяго Архимиреса над тобой довлеет всесильный рок. Примирилась со слежкой, которую он установил за тобой, как будто ты его собственность!

— Кто тебе все это сказал? — возразила она, и лицо ее ожило от прилива уверенности в себе.

— Это явствует из твоего рассказа. А теперь вот что скажет Лихо-Горе посыльной призрака. Завтра же снять и больше не носить этих блузок, закрытых до самого подбородка!

— Даже так? — весело улыбнулась она.— Откуда такая властность?

— Следствие послания, заставившего Эмилиано Грасиана свернуть с плохой дороги. На сегодня все, Валентина Ороско. Оставляю тебя под звездами. Смотри, как хитро они подмигивают.

Валентина, оставшись одна среди азалий, долго, с улыбкой смотрела на звезды.

XIII. Возможность расходовать сердце

Не в возрасте — уже около тридцати лет — брала начало сдержанная серьезность, под которой была погребена память о пережитом насилии. Она возникла в переломный момент, когда беспечная девочка превращалась в размышляющую женщину. Но как в плоде, сорванном до времени и помягчавшем от ударов, в нежной сладости этой женщины остался терпковатый привкус кислоты.

Посвятив жизнь заботам об отце, утешению его в горестях, она выработала в себе спокойствие, а решив отдавать одному ему всю свою любовь, она, как ей казалось, навсегда избавилась от унизительной необходимости объяснять происхождение былых ран на плечах мужчине, которого в других обстоятельствах могла бы выбрать себе в мужья.

Но так случилось — признание было сделано, она вздохнула свободно, дав волю долго подавляемым чувствам, и в ее сердце поселилось истинное, глубокое, а не поверхностное спокойствие. Впервые она испытывала любовь к мужчине — немного поздно, чтобы уснащать ее радостными иллюзиями, и еще слишком рано, чтобы с холодной расчетливостью оценивать, насколько приемлем брак, потому что нежная сладость стала избавляться от привкуса кислоты.

Она проснулась позже обычного, освеженная глубоким сном, быстро приняла душ, наспех позавтракала, так как опаздывала в школу, где у запертых дверей ее уже дожидались, наверно, сидя на тротуаре, ученики.

Но, выходя из дома, она столкнулась в дверях с каким-то незнакомым человеком — с Сильвио Серено ранее она не встречалась.

— Сеньорита Ороско,— сказал он, слегка поклонившись.— Прези-

дент муниципалитета у ваших ног. Я был в школе и, признаюсь, устал ждать вас. Неаккуратность, достойная сожаления, сеньорита.

— Сегодняшний случай — исключение.

— Мне очень неприятно, сеньорита, но обстоятельства вынуждают сообщить вам... Разрешите присесть, сеньорита?

— Да, да, конечно. Извините.

— Не стоит извинений, сеньорита. Так вот, повторяю, мне в высшей степени огорчительно сообщить вам, что поч. муниципальный совет, который я имею честь возглавлять, распорядился закрыть с сего дня вверенную вам окружную муниципальную школу.

— Да?

— Такая мера, сеньорита, продиктована тем, что помещение школы не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к такого рода заведениям — как в плане санитарном, так и педагогическом.

Валентина горько усмехнулась:

— Послушайте, сеньор поч... президент. Поч... поч... это должно означать «почтенный», не так ли?

— Какие нежные укусы, сеньорита Ороско!

— Я прошу выслушать. Странно, что ваш совет...

— С кем, сеньорита?

— Вы позорите себя, сеньор президент, вопросом о советчиках. Все знают, как тесно связаны вы с доном Сантьяго Архимиресом, и все же ваш высокий пост обязывает сохранять хотя бы личину независимости.

— Сеньорита, вы несколько преувеличиваете.

— Едва ли. Увидев вас, я сразу почувствовала — а мое чутье никогда меня не обманывает,— что вас прислал Архимирес.

— Дон Сантьяго — человек могущественный, сеньорита.

— Вам ли не знать!

— Итак, сеньорита, вы хотели что-то сказать по поводу решения муниципального совета, если не ошибаюсь.

— Не ошибаетесь. Очень странно, что ваш совет решил оздоровить школу столь оригинальным способом. Я все сказала. Вот ключ от школы.

— Вам не нужно забрать оттуда личные вещи?

— Нет, сеньор. Ключ у вас, можете идти.

— Хорошо. Вам причитается часть месячного жалованья, я перешлю ее незамедлительно и с удовольствием.

— Не трудитесь. Вручите ее дону Сантьяго Архимиресу. Я дарю ему эти деньги. И пусть выкинет из головы, что в этом доме люди, осажденные голодом, сдадутся на милость врага.

— О! Боюсь, я не заслужил такого доверительного признания, сеньорита.

— Вы правы. Но что сказано, то сказано. Выйдя на улицу, можете пустить мое признание в оборот.

Это было отмщение, бунт личности, долгие годы находившейся под гнетом жизненных обстоятельств, в том числе — воли Сантьяго Архимиреса, обладавшего ее тайной, державшего в руках ее честь, поскольку именно ему оставили «меченую» женщину. К этим обстоятельствам относились и деньги, аренда за земли Энсинара, выплата которой неизменно сопровождалась всяческими хитростями и уловками. То Архимирес как бы по ошибке присылал больше положенного — а вдруг Ороско присвоят лишек и будут чувствовать себя обязанными за нечаянную милость; то задерживал деньги — пусть попросят, нужда не считается с гордостью. И наконец школа, маленькая убогая школа, дававшая возможность расходовать сердце в ежедневном общении с доверчивыми и ласковыми деревенскими ребятишка-

ми и получать — опять же! — деньги из рук тех, кем Архимирес вертел как хотел в муниципальном совете.

Это было стремительное избавление от всех сомнений и колебаний и даже от недоверчивой осторожности, обостренной боязнью клеветы и злословия, которые неотвратимо последовали бы за разглашением тайны. Но в словах: «Выйдя на улицу, можете пустить мое признание в оборот» было еще и раздражение усталости, то самое, что заставило ее сказать тогда Эмилиано с намерением излечить его от любовного влечения к ней: «Неприятно видеть на водах иллюзий утопленника, плавающий труп».

Она сбросила уличное платье, оделась в домашнее, легла на кровать и уставилась в потолок. Потолок едва держался, как и весь старый, ветхий домишко с осевшим из-за непрочности грунта фундаментом. И вдруг она увидела на пороге комнаты, выходившей в патио, своих учеников, детей крестьян из окрестных эхидос. Они стояли молча, сбившись кучкой, и смотрели на нее.

— Вы здесь? — спросила она.

Маленькая индеяночка-тараска с милым, смышленым лицом ответила за всех:

— Да, учительничка. Мы уже пришли. Нам сказали, у тебя отняли школу. Нам сказал один добрый, добрый сеньор.

Валентина встала с кровати:

— Это правда, Салусита. У меня отняли возможность расходовать сердце. Меня уволили, отобрали школу.

Салусита умоляюще сложила ладошки:

— Сделай школку тут, учительничка! Мы хотим учить уроки. В твоем доме.

Валентина подошла к детям, погладила по щеке забавную индеяночку:

— Спасибо, Салусита. Ты подала мне хорошую мысль. До сих пор сельская школа была возможностью расходовать сердце и получать жалованье. Отныне остается только первое — расходовать сердце. Как бы я жила без этого, не знаю. Входите! Шагайте в столовую. Сегодня школа будет там. Затем устроимся поудобнее.

Пока все собирались в просторной столовой, Салусита шептала друзьям:

— Ну, что я вам говорила?

XIV. Непредвиденное отступление

Президент муниципалитета дословно передал своему шефу сказанное в запальчивости Валентиной.

— Сеньорите Ороско гордости не занимать,— улыбнулся Архимирес.— Ладно, пусть потешит себя. Пришлите мне эти деньги — сколько ей причитается за отработанные в этом месяце дни? И счет — я подпишу. Сами же отправляйтесь немедленно к себе в округ, там, как мне кажется, назревают события, требующие вашего присутствия в муниципалитете. Держите меня в курсе всех дел.

— По телефону, сеньор?

— В зависимости от обстановки.

Давно прошли времена, когда Архимирес вожделенно мечтал о дочке дона Начо как о наследнице богатого поместья. Он достиг богатства благодаря себе, «своим деяниям» и теперь мог спокойно «восседать на их плодах».

В ту давнюю пору, поглядывая на милую, прелестную девочку, в которой угадывалась обаятельная женщина, он, подобно многим,

поднятым революцией на поверхность жизни, испытывал, конечно, грубое желание обладать нежным белым телом недоступной прежде аристократки; но Сантьяго Архимирес никогда не терял головы из-за женщин. Он довольствовался предлагавшими себя и по достоинству их оплачивал.

В заключение разговора с президентом муниципалитета он сказал:

— Остерегайтесь болтать и приплетать лишнее к словам сеньориты Ороско. Я отношусь к ней с искренним уважением.

У Сантьяго Архимиреса вошло в привычку, с годами глубоко укоренившуюся, время от времени сбивать с толку людей, чьими действиями он управлял. Президенту муниципалитета было доподлинно известно, что Архимирес потребовал назначить Валентину Ороско именно в эту убогую школу, препятствовал ее переходу в другие учебные заведения, повыше рангом, и даже не разрешил перевести местную школу в более подходящее помещение. Поэтому, выходя после разговора из кабинета, он, личный подданный всевластного касика, чувствовал себя потерянным:

— Вот и думай как хочешь. Нет, никогда не поймешь до конца, что у него на уме.

Если до сих пор Сантьяго Архимиреса интересовала Валентина не сама по себе, а только как бывшая обладательница богатства, теперь прибранного им к рукам, и гордости, теперь сломленной им — правда, когда перевалило за пятьдесят, ему стало чего-то не хватать в неуютном доме, где одни мужчины, и он порой вспоминал об этой женщине,— то в последние дни его внимание привлекали странные перемены в ее жизни, ввиду чего ему захотелось попрочнее усесться на «плодах своих деяний».

Он позвал секретаря, ведавшего той частью его деятельности, которая фиксировалась в бумагах.

— Где там у вас контракт на аренду земель дона Начо Ороско, принесите.

— Позволю себе заметить, дон Сантьяго,— вставил любивший точность секретарь,— последний срок действия контракта истекает.

— Давайте его сюда и захватите карандаш. Красный.

Он взял документ, пробежал его взглядом и собственноручно вывел красным карандашом ниже текста: «Аннулирую настоящий контракт и добровольно отказываюсь от всех предусмотренных им доходов в мою пользу. Что касается посевов, то считаю, что урожай уже собран мною».

Он поставил подпись с витиеватым росчерком и протянул бумагу секретарю:

— Отнесите дону Начо. Если его не окажется, вручите дочери, сеньорите Валентине,— с полным к ней моим уважением. Последнее передайте слово в слово.

Валентина приняла документ и задумалась — что могли означать этот отказ от договорных прав и эти почтительные слова, с особым ударением произнесенные секретарем?

XV. Предвыборная политика

Низкие лучи раннего солнца едва коснулись башен Морелии[1], изящной и спокойной в розовом свете, когда Эмилиано вышел из автобуса.

[1] Главный город штата Мичоакан.

Наскоро выпив чашку кофе, Эмилиано отправился во дворец правительства штата, где его, не заставив ни минуты ждать, принял секретарь, лиценциат Мануэль Рамирес.

— Дружище! — воскликнул Мануэль, распахивая объятия. — Знаю-знаю, как превосходно ты справился с обязанностями добровольного посредника.

И, по мексиканскому обычаю после объятий пожимая гостю руку, добавил:

— Но твой приезд не совсем кстати, Эмилиано. У меня к тебе есть поручение, я уже собрался звонить по телефону.

— Опять ссора двух бедных женщин из-за четырех початков маиса?

— Не угадал. Сейчас изложу. Присядем да поведай, пожалуйста, как это так — вдруг Лихо-Горе прекратил свои веселые рейды по тылам. Не далее как третьего дня кое-кто опасался перестрелки.

— Будет время — расскажу историю моего перерождения.

— Значит, всерьез? Мы, твои друзья, можем только приветствовать такую перемену.

— Смело вкладывай деньги в празднество, не зря израсходуешь.

— Ты представить себе не можешь, как я рад, что ты перестанешь попусту растрачивать свои недюжинные способности.

Эмилиано заговорил о цели приезда:

— Скажи лучше, дружище, до каких пор вы, отвечающие за порядки в штате, собираетесь терпеть людей, подобных Сантьяго Архимиресу?

Рамирес усмехнулся:

— До сих пор мы терпели и твои набеги на города и веси.

— Не в такой степени. В меня подчас и пули летели. А Сантьяго Архимирес неприкосновенен.

— Не в такой степени, повторю я твои слова. И вот об этом-то я хочу с тобой потолковать. Губернатор и я, его помощник и единомышленник, прекрасно понимаем: пока на пути революционных преобразований стоят архимиресы, действительной пользы от наших дел мало, а урон огромен. Мы теряем доверие народа — оплот правительственного престижа, мы не можем навести должный административный порядок на местах. Но, Эмилиано, трудности эпохи нельзя преодолеть в несколько дней. И мы полагали за лучшее терпеть архимиресов — а их в стране легион,— используя их в качестве пахотных быков на нашем поле.

— Два лагеря, о которых говорил генерал Обрегон?

— Совершенно верно. Так или иначе, мы должны были использовать примазавшихся к революции. Опять же, время не ждет, нужно действовать, пусть не все гладко получается. Например, вручать крестьянам землю, хотя нет еще четкой структуры новой формы землепользования. И более того — не сформировалось соответствующее мышление.

— Ты прав, одна из вчерашних спорщиц — активистка крестьянского эхидо, язык как у заправского оратора: «Мне предоставлено слово, компаньеро». А против кого вела тяжбу? Против женщины ее же класса, да еще нечестно, с намерением воспользоваться плодами чужого труда.

— Вот видишь. Разве это не благодатная почва для махинаций касика Архимиреса?

— Согласен, но не принимаю. Или наоборот, как угодно.

Секретарь улыбнулся и тут же спросил:

— А что представляет собой Альмарала, «адвокат» противницы Гертрудис?

— Женщина критического возраста. Как мне потом объяснили, орудие некоего отца-наставника, он частенько наведывается в селение.

— Верно. Клин, ловко вбитый реакционными клерикалами в ряды самого касика, для них — этого творения революции. Два фронта, два врага в нашей борьбе.

— Вымести весь этот мусор поганой метлой — и баста! Почему Архимиресу разрешают хозяйничать в округе?

— Мы бы легко справились, будь это единичный случай. Но, повторяю, таких, как Архимирес, в стране легион, и они нам нужны для победы на выборах. Будем откровенны, Эмилиано. Они сейчас нужны, чтобы реакция не вырвала у нас из рук власть и не вернула страну ко временам дона Порфирио [1]. За это мы готовы платить любую цену. Вот почему революционное правительство терпит махинации касиков. Правде, даже самой горькой, надо уметь смотреть в глаза. И конечно же бороться со злом.

— Последнее очень приятно слышать, Мануэль.

— И я приятно удивлен твоим визитом. Просто не верится — сидим рядом, беседуем. Хотя я всегда верил: Лихо-Горе — только оболочка, внутри живет сын Чано Грасиана, целый и невредимый. Именно такой человек нам нужен, чтобы дать бой Сантьяго Архимиресу. Ты готов выставить свою кандидатуру на выборах депутата от твоего округа?

— Ну знаешь! Лихо-Горе еще недостаточно слинял, чтобы исчезнуть из памяти.

— Эмилиано Грасиан официально никогда не значился правонарушителем. Кроме того, ты будешь выступать не в качестве правительственного кандидата, а как рядовой гражданин республики, уроженец данного округа, не подвергавшийся capitis diminutio [2].

— Гм! Моя латынь, когда я был служкой, обычно путала порядок мессы.

Оба весело расхохотались.

— Как кандидат, ты удовлетворяешь всем требованиям закона,— продолжал секретарь уже серьезно.— К тому же ожидавшаяся третьего дня перестрелка не состоялась, и о Лихо-Горе можно говорить как о раскаявшемся. А ты же знаешь, у нас в народе раскаявшиеся пользуются особой симпатией.

— Все предусмотрел, Мануэль. Одного не учел — хочу ли я стать депутатом. А я не хочу, меня это не привлекает.

— Конечно, перспектива не из легких. Пришлось бы в открытую схлестнуться с Архимиресом. Он пока в силе и непременно выставит своего кандидата. Но...

— Стоп, дружище! Ты задел меня за живое. Я согласен баллотироваться.

— Такой реакции я и ждал,— хитро улыбнулся секретарь.— Тебе ли, истому мексиканцу, увиливать от схватки лицом к лицу с врагом. Но не обольщайся, Эмилиано, случай не простой. Скрутить Сантьяго Архимиреса — не проблема, достаточно ордера на арест и судебного процесса, на котором он будет изобличен; но в Мичоакане народ на твоей стороне, Эмилиано, и мы хотим при твоей поддержке дать Архимиресу открытый бой.

Секретарь встал:

---

[1] Речь идет о диктаторе Мексики генерале Порфирио Диасе, свергнутом революцией.

[2] Ограничению или лишению гражданских прав. *(лат.).*

— Сеньор губернатор даст тебе подробные инструкции, какие сочтет нужным. Сейчас я взгляну, приехал ли он.

Эмилиано остался в кабинете один. Озадаченный свалившимся на него предложением, он мысленно рассуждал: «Возможно ли? Вот уж что Лихо-Горе и в голову бы не пришло. И Эмилиано Грасиану тоже. А ведь, честно говоря, это здорово — дать бой Сантьяго Архимиресу!»

XVI. Критический возраст

Отец-наставник был красивый, видный мужчина и образованный человек. Его распирало здоровье, а также высокомерие, приправленное для отвода глаз пряностями обходительности и перцем едкого остроумия.

Поле деятельности было обширным, и отцу-наставнику приходилось быть все время в движении, чтобы отстоять тысячи верующих душ от искушающего демона революции, уже завладевшего плотью и кровью мексиканских крестьян. В дополнение к прочим достоинствам отец-наставник был напорист и, безусловно, смел, даже, пожалуй, излишне смел.

— Но у него такой приятный смех! — говорила Альмарала за спиной у отца-наставника.— Так в тебя и входит, так и входит, чувствуешь, будто тебя щекочут изнутри.

При этом Альмарала то сладостно замирала, то вздрагивала. А еще больше разнеживалась она в его присутствии, под каскадами звучного хохота. Отцу-наставнику — надо отдать ему должное — не нравилось такое состояние Альмаралы. Возможно, вид этого зрелища оскорблял его целомудрие или достаточно тонкий вкус — скорее, второе, потому что Альмарала в таких случаях выглядела действительно несколько вульгарно.

— Ради бога, успокойтесь, дочь моя. Я здесь не для того, чтобы разжигать в вас любовь.

— Падре! Что вы сказали!

И Альмарала испуганно крестилась. Но разговор не кончала.

— Это выше моих сил,— оправдывалась она, и ее дыхание становилось шумным и прерывистым.

Однако целомудренная миссия наставника обязывала красивого, видного мужчину использовать для гарантии успеха и личное обаяние — ведь Альмарала была шляпкой гвоздя, который он старательно загонял в определенные слои крестьянства,— поэтому он не только терпел эту женщину, но и умело восхвалял.

— Помнится, Альмарала, вы подарили мне прелестную скатерть, сотканную лично вами. Тончайшая работа! Когда это было?

Никогда. По самой простой и самой убедительной причине: Альмарала не умела ткать.

— Какой вкусный у вас получается мармелад, Альмарала. Помните, вы меня угощали мармеладом из айвы — да, из айвы. Постойте, где это было?

Нигде. Потому что Альмарала сроду не варивала мармеладов — ни из айвы, ни из чего другого.

Оба вопроса были заданы при людях, на торжественном обеде в доме приходского священника, устроенном наставническим легионом в честь отца-наставника, и Альмарала не устояла перед соблазном принять незаслуженную похвалу, правда, не без жеманства показной скромности:

— Ай, падре! Вы преувеличиваете по доброте своей.

Впрочем, если бы в тот момент можно было покопаться в ее памяти, там наверняка нашлись бы ясные и точные воспоминания и о скатерти, и о мармеладе.

Альмарала не занималась собственно наставнической деятельностью не потому лишь, что в ее религиозных убеждениях было слишком мало от христианской доктрины,— и отец-наставник это знал,— а главным образом потому, что ее проникновение в духовно-религиозную сферу было бы морально опасно для верующих, тем более для отведенной ей возрастной категории — молоденьких девушек из семей эхидатариос и рабочих селения, проводивших досуг в Доме юности, деятельностью которого руководил отец-наставник через Альмаралу.

Ее размалеванное черной тушью и кармином лицо, крашеные волосы, неудержимое колыхание груди при виде красивого, видного мужчины едва ли могли служить образцом благопристойности.

— Марианита, красотка, как тебе идет перманент. Много взяли за прическу?

— Какое милое, нарядное платьице, Лупита!

Альмарала готова была заискивать перед крестьянскими и рабочими девчонками, лишь бы войти к ним в доверие, и, видя, как упорно она при этом молодится, забывая, что счастливая пора юности давным-давно миновала, отец-наставник обрушивал на нее раскаты хохота, действовавшего подобно ударам молотка по вбиваемому гвоздю.

Но в тот день отец-наставник выглядел обеспокоенным и на обеде, когда встали из-за торжественного стола, сказал своей подручной:

— Нужно поговорить, Альмарала.

— Ах, как хорошо! — воскликнула она, впадая в блаженно-сладостное состояние.

— Первое. Вы заслуживаете самого серьезного порицания за то, что вздумали защищать женщину, засеявшую чужое поле. Мы не должны выглядеть в глазах окружающих, как...

Конец фразы Альмарала не дослушала. Отец-наставник сказал «мы», показав пальцем на нее и на себя, и теперь внутри у нее все пело: «Он и я!.. Я и он!»

— Второе. Очень занятное обстоятельство. Чрезвычайно занятное. Только что получено сообщение — всем известный дебошир и повеса Лихо-Горе будет объявлен правительственным кандидатом в депутаты, будет представительствовать в верховном органе штата.

— Лихо-Горе? Эмилиано Грасиан... тот самый?

— Именно. Пресловутый посредник, перед которым вы третьего дня выставили себя на посмешище. Так вот, мобилизуйте все свои личные боевые средства, чтобы нанести поражение этой кандидатуре.

Так отец-наставник с ней еще ни разу не разговаривал, и в ее душе неожиданно возникло смятение. Внезапное, бурное смятение чувств и образов, и в нем, как в нелепом, туманном сне, ей померещилось, будто в ризницу святого храма въехал всадник, статный парень, весельчак и гуляка, с удалой песней на устах:

> Кто не слышал про Лихо-Горе и
> коня его пегой масти...

Недаром же тогда утром, на улице Широкой, нечто похожее на слезы увлажнило подведенные глаза Альмаралы. Досада, уязвленное самолюбие уступили место такой разнеженности, даже умилению, что потом целый день она смаковала это чувство. Быть может, именно в тот момент она впервые признала необходимость проститься с

молодостью? Да, этот прославленный Лихо-Горе — одно загляденье. И мужчина что надо!

— Мои личные боевые средства? — переспросила она.— Вы хотите сказать — средства политической борьбы?

Горький тон этих слов означал крах иллюзий женщины, считавшей себя до сих пор привлекательной.

Но отец-наставник был глуховат к душевным тонкостям.

— Да, женщина. Средства политической борьбы — девушки нашего Дома юности. Я тебе помогу, буду все время рядом.

Впервые он обратился к ней на «ты». Все же он был приятный мужчина.

— Хорошо. Можете располагать мною. Располагайте мною!

XVII. Всепокоряющая молодость

Прошел слух, будто Эмилиано Грасиан вернулся из Морелии, обласканный властями штата и получивший их благословение на предвыборную схватку, и будто прибыл он в оплаченном казначейством крытом автомобиле, дабы способнее было разъезжать по селениям округа, а поскольку к тому же уверяли, что начнет он с улицы Широкой, где впервые проявил себя как политический деятель, то Альмарала, согласно указаниям отца-наставника, спешно мобилизовала личный состав Дома юности и вывела свои боевые порядки на позиции.

— Ну, девушки, не подведите! Устроим ему такую шумную встречу — думать забудет, как выдвигать кандидатуры против нашей партии.

Альмарала согласилась с ролью лидера — раз уж ей выпала такая судьба,— хотя считала это не женским делом. Но отец-наставник был рядом, и от его близости она чувствовала себя женщиной, способной вдохновляться при виде мужчины.

Девушки из Дома юности стояли заградительной цепью по обе стороны улицы Широкой, с запасом гнилых помидоров и тухлых яиц, собранных дома на помойках.

Щеки Альмаралы, давно потерявшие былую гладкость, пылали от воодушевления — и от кармина, конечно, тоже,— и она, прохаживаясь вдоль цепи, давала последние наставления:

— Как условились, девушки. Едва кандидат покажется на улице, вы бросаетесь к машине и пускаете в ход свои снаряды.

Но то ли никакого автомобиля у Эмилиано не было, то ли он не захотел его использовать для визита к дону Начо, жившему на другом конце поселка, а предпочел ехать на своей лошади, остававшейся на постоялом дворе как недостаточно быстрое средство передвижения, пока он отлучался в Морелию,— так или иначе, но на улице Широкой, занятой боевыми порядками Альмаралы, он появился верхом на знаменитом Пегом.

Том самом Пегом, который вместе с ним попал в баллады тропической земли, повествующие о веселых похождениях Лихо-Горе, знакомые наизусть всем простым девушкам поселка и распеваемые ими, порой даже с чувством любовного восхищения.

На легендарном коне, шедшем красивой иноходью, сидел в свободной, чуть надменной позе статный, обаятельный парень, отчаянный смельчак и любитель риска, покоритель чужих невест, сумевший, однако, остаться не покоренным любовью. Неуемный выдумщик и заводила, устроивший «похищение у сабинов», с нежной благодарностью встреченное всеми женами и возлюбленными, зачинщик опас-

ных стычек с полицейскими, в которых, как утверждает молва, он стрелял обычно пулями из мыла, хотя в него летели свинцовые. Настоящий мужчина, истый мичоаканец, такого и пуля боится.

Все женское, сколько его еще было в женщине, командовавшей ныне политической борьбой, мгновенно вырвалось наружу, и Альмарала забыла о существовании отца-наставника.

А принарядившиеся девушки, работницы и крестьянки, с порозовевшими смуглыми лицами и блестящими от восторга глазами вообще не видели вокруг ничего, кроме Лихо-Горе на горячем коне, и бурными рукоплесканиями приветствовали кандидата.

XVIII. Муниципальные противоречия

С того дня, как президент муниципалитета узнал о новом кандидате, у него голова шла кругом. Все его старания повидаться с Архимиресом, чтобы выяснить, какой же тактики придерживаться, оказались тщетными: касик восседал «на плодах своих деяний» в полном одиночестве, и телохранители наотрез отказывались докладывать ему о посетителе.

Не впервые Сантьяго Архимирес исчезал из поля зрения окружающих, едва становилось известно об определенных намерениях правительства штата; он любил проявлять свою власть лишь в подходящий для этого момент и потому запрещал своим подчиненным — хотя им, государственным служащим, и не полагалось находиться у него в подчинении — являться некстати к нему за советом. Но времена резко менялись, возможно, и часы господства касика были уже сочтены — ведь неспроста же выбор властей пал на человека, осмелившегося, по сути дела, бросить Архимиресу вызов на глазах у всех жителей поселка, на улице Широкой,— поэтому президент муниципалитета решил проявить инициативу, которая, как он полагал, наверняка зачтется ему, если кандидатура Эмилиано Грасиана победит на выборах, и отправился к Ороско.

В школе, теперь частной, помещавшейся в прихожей старого дома, недавно уволенная учительница вела урок, когда снаружи, перед входом, послышались шаги президента-хитреца.

Остановившись в дверях, он растроганно запе́л:

— Очень славно! Превосходно! Здесь условия для учебного заведения гораздо лучше. Осмелюсь заверить: муниципалитет, принимая во внимание столь бескорыстное служение делу народного просвещения, увеличит ассигнования на вашу школу.

Валентина не рассмеялась ему в лицо только потому, что не хотела подавать ученикам пример неуважения к представителю законной власти — этот шаг она отложила для более подходящего случая,— но от насмешливой улыбки не удержалась:

— Вот как? А я слышала, сеньор президент, что муниципалитет постановил закрыть и эту школу — мою, в моем доме.

— Потому что в поселке снова откроется та школа, в которой вы работали.

— Так вы говорите сейчас.

— Вас неправильно информировали, сеньорита. По крайней мере в отношении меня, возглавляющего муниципальный совет. Я хочу, чтобы вы это знали. То есть помнили, что я лично пришел к вам с доброй вестью, которую уже имел удовольствие сообщить вам. Мы увеличим ассигнования с... Ах, ведь есть еще одна хорошая новость для вас и дона Начо! Прошел слух, что лиценциат Эмилиано Грасиан

вернулся из Морелии, облеченный доверием сеньора губернатора штата, и будет депутатом от нашего округа. Вы, конечно, знаете — мы накануне выборов. Но не буду злоупотреблять вашим ценным временем, сеньорита Ороско. С вашего разрешения.

— Не спешите, сеньор. Я еще не изложила своих впечатлений от услышанного. Я передам моему пациенту Эмилиано Грасиану, что вы любезно присвоили ему титул лиценциата. Уверена, он сумеет вас отблагодарить. Но знайте, я не желаю принимать от вашего муниципалитета ни бóльших ассигнований, ни прежнего жалованья. Эта школа — моя, сеньор. Меня уполномочили возглавлять ее сами дети — вон та маленькая девочка, видите, ее так и подмывает рассмеяться.

— Сеньорита! Вы все ставите с ног на голову.

— Ошибаетесь, сеньор. Это у вас голова идет кругом, и я догадываюсь почему. Можете идти.

Огорченный чиновник удалился, и Валентина вернулась к занятиям.

Но тут лукаво улыбающаяся Салусита, чьей настойчивости школа была обязана существованием, встав, вежливо спросила:

— Сеньорита учительничка, а теперь можно мы подсмеемся над сеньором президентом?

— Посмеемся,— поправила Валентина, сама едва сдерживаясь.

Маленькая индеянка поняла это как разрешение.

— Ух-хо! — выдохнула она.— Сеньорита учительничка поставила на голову сеньора президента.

И старый дом задрожал от звонкого хохота.

XIX. Восседающий человек

Некоторое время спустя усердный чиновник стоял у дверей дома Сантьяго Архимереса. На этот раз телохранитель, исполнявший обязанности привратника, сказал:

— Вовремя прибыли, сеньор президент. Вас ждут.

Президент поспешил внутрь дома, далеко не всегда ему доступного, миновал галерею, пустые комнаты и наконец остановился, в томлении и тревоге, перед невозмутимо спокойным, опасно спокойным «человеком, восседающим на плодах своих деяний».

— Как я слышал, вы сегодня уже не раз успели побывать здесь.

— Так точно, дон Сантьяго. Имел намерение получить лично из ваших уст, а не через посредников или письменно — это лишний след — указания, какие вам будет желательно дать в соответствии с последней новостью.

Касик улыбнулся:

— Вы плохо спали, сеньор президент? Как я могу давать вам указания, если вы не подчинены мне? Указаний попросите у сеньора губернатора штата, когда он потребует вас к себе для разговора.

— Для меня, сеньор, вы...

— Лучший друг. Что правда, то правда.

— И, следовательно, я должен обмениваться мнением с вами, сеньор.

— Я не меняюсь во мнениях, сеньор президент. Я всегда восседаю на плодах своих деяний.

Чиновник содрогнулся и, как было не однажды, величайшим усилием воли не позволил себе взглянуть на то место на полу, где стояло кресло-качалка с касиком.

— Знаю, сеньор,— проговорил он, чувствуя, как заплетается язык.— Но позвольте пояснить: обменяться мнением относительно человека, который, по слухам, будет официальным кандидатом в депутаты от нашего округа. Поскольку у нас в муниципалитете нет четкой линии... я попрошу, сеньор... наметьте нам линию. Страшно сделать ложный шаг.

— Не понимаю, о чем вы говорите, сеньор президент. Разве не для того мы, революционеры, шли на смертельный риск, совершали революцию, чтобы установить свободные выборы? Насколько я понимаю, сеньор губернатор позволил себе не больше, чем могли бы позволить вы, я, любой гражданин республики,— высказался положительно об одном из кандидатов, о частном лице. Решать будут избиратели. Конечно, этот молодой человек, симпатичный губернатору, может не нравиться мне, например. Я бы, вероятно, остановил свой выбор на другом.

— Именно! Человек с репутацией злодея, одна кличка чего стоит: Лихо-Горе.

— Это не так,— возразил касик подчеркнуто великодушно, как бы призывая к беспристрастному суду.— Он не злодей, и сеньор губернатор знает, что делает, отмечая благосклонным вниманием человека из хорошей семьи, сына настоящего революционера.

Молниеносно, как порой возникают и созревают в более или менее развитом человеческом мозгу суждения, обычно требующие многих слов и известной доли времени, мелькнула в голове президента муниципалитета мысль о том, что он поступил дальновидно, нанеся визит Валентине Ороско, представительнице той же самой хорошей семьи. Но он не только подумал, а сказал:

— Сеньорита Ороско устроила очень удобную школу у себя дома. И поскольку у нас теперь нет оснований лишать ее жалованья...

— У нас? Кого вы имеете в виду?

— Нас, членов поч. муниципального совета.

— Так. Следовательно, поч. взял на себя смелость закрыть школу?

— После того как вы, дон Сантьяго, велели запретить сеньору Ороско ходить по улице со свиньями, я... Но ошибка уже исправлена. Сегодня же я соберу совет, и мы изменим предыдущее решение. Вы говорили о кандидатуре, я нечаянно перебил...

— Да, сеньор. Я говорил, что моим кандидатом был бы другой. Вы.

— Дон Сантьяго!

— Что с вами? Почему вы так побледнели? Или вы мне не друг?

— Конечно, сеньор! Наипреданнейший друг. Но, учитывая, что я президент муниципалитета, вам не кажется, что мне следовало бы в таком случае уйти со своего поста и вообще из муниципалитета?

— Если вы так решили, действуйте! Мы, люди дела, должны осуществлять свои намерения без проволочки, иначе они начнут гнить у нас внутри, а это вредно для политического здоровья. Можете уходить. Отсюда тоже.

Президент повиновался. Уходил он, теряясь в догадках: сказал касик, что он, Сильвио Серено, будет его кандидатом, или не сказал?

Одно было несомненно: ему велели покинуть пост президента муниципалитета. Это подтверждало и замиравшее от тревоги сердце.

Тем временем «человек, восседающий на плодах своих деяний», медленно покачиваясь в кресле, размышлял наедине с собой: «Все складывается отлично. Лучшего и желать нельзя. С этим губернаторским кандидатом, певцом баллад, я легко расправлюсь в предвыборной драчке. А там посмотрим...»

XX. Они были довольны

Красивый выдался денек. Простые, обычные вещи, облитые нежным светом, как бы в благодарность дневному светилу представали в своих самых чистых красках. В густой зелени — маис на просторных полях, в прозрачной голубизне — далекие горы; ярко белели азалии, пламенела герань в тесном патио старого дома.

По давно заведенной привычке, после школьных уроков Валентина отдыхала в патио за чтением романа, в который автор, желая придать любовной истории интригующий характер, намешал всякой всячины — и святой наивности, и трезвого расчета, и коварного злодейства. Она так углубилась в перипетии надуманного сюжета, что не заметила подошедшего Эмилиано.

— Ну, какие события?

Это было его обычное приветствие, но Валентина, все еще не очнувшись от чтения, отнесла этот вопрос к событиям, назревавшим в романе, и сказала:

— Пока не известно, решится ли он...— Но тут же спохватилась: — Нет, какова, а? Я ведь подумала, ты спрашиваешь о книге.

Эмилиано сел на плетеный стул, словно в ожидании его стоявший напротив.

— Будь уверена, он не изменил своего мнения. Не знаю, кто он — не читал этой книжки,— но я за него ручаюсь.

Она поспешила увести разговор от предложенной темы:

— Говорят, ты теперь официальный кандидат в депутаты от нашего округа?

— Официальный — это слишком громко. Но я готов дать бой на выборах и надеюсь победить — в строго законных рамках. Есть ответственность, которой человек не имеет права...

— Манкировать?

— Точно. В этом специальном языке я еще слабоват, но, думаю, одолею.

Он любовно посмотрел на нее, и она машинально подняла до подбородка воротничок блузки — простой, домашней и тем не менее изящной. Уловив этот жест, кандидат заговорил чуть торопливее, чем обычно:

— Стану депутатом — я им там, в конгрессе штата, задам работы. Послушай, какая у меня программа. Я потребую проселочных дорог, да не узких, без покрытия, а широких, асфальтированных, как настоящие шоссейные. Потребую водопровода — пусть в каждом доме низвергается водопадом питьевая вода. Школ — их должно быть много, для всех детей. И еще я потребую... слушай, чего я еще потребую самым категорическим образом... чтобы умным, образованным женщинам запретили глупо вести себя — закрывать наглухо ворот и прятать плечи.

Валентина, порозовев, отняла руки от воротничка:

— Я сразу поняла — ты говоришь несерьезно.

— Еще как серьезно! Тебе действительно надо избавиться от этих фальшивых терзаний. Комплексов — так, кажется, их называют.

— Вы только посмотрите! — воскликнула она, смеясь и еще гуще порозовев от его обнажающе правдивого замечания.— Какой безапелляционный тон! Неужели кандидатство так ударило в голову?

— А почему бы нет? Тому, кто еще вчера обучался ремеслу разбоя, сегодня в этом селении воздавали почести.

— Я не вижу конфетти на твоей одежде — признака восторженной встречи, оказанной девушками. У нас такая традиция.

— Я отряхнулся у входа, чтобы не возбуждать у тебя ревности.

— Этого недоставало! — сказала Валентина, скрывая за улыбкой смущение.

— Меня приветствовали самые красивые, самые миловидные девушки селения. И среди них — Альмарала.

— Нет, ты серьезно? Неужели Альмарала? Правая рука отца-наставника.

— Правая или левая, не знаю. Но размалеванная Альмарала вышла на манифестацию вместе с Домом юности. Я, знаешь, согласен мести любой метлой и всеми сразу.

— Архимиресом тоже?

После упоминания этого имени разговор уже не мог продолжаться в шутливом тоне. Валентина проговорила озабоченно:

— Сантьяго Архимирес отказался от аренды земель Энсинара.

Она передала, что произошло утром, и добавила:

— Я попыталась убедить отца отказаться от этой... подачки Архимиреса, от урожая, который он уступает нам, но отец считает, что Архимирес украл у него гораздо больше...

— Правильно считает.

— Но ты же понимаешь, этот злонамеренный человек преследует какую-то цель этим своим шагом.

— Все может быть,— сказал Эмилиано внешне безразлично.

— Я посоветовала отцу продать земли и уехать отсюда совсем, но он и слушать не желает. Он хочет умереть там, где родился, в Большом доме Энсинара. Хотя там уже ничто не напоминает о прошлом. Теперь он тешит себя надеждой — с твоей квалифицированной помощью превратить оставшиеся от имения сто гектаров в образцовые культурные земли.

Эмилиано, подумав немного, сказал:

— Мне нравится эта мысль о помощи. Правда, мои знания в агрономии ниже всякой критики.

— Да, забыла тебе сообщить — меня уволили из школы. Я занимаюсь с детишками здесь, бесплатно.

— Так сильна тяга к преподаванию?

— Возможность расходовать сердце.

— Удивительно! — воскликнул Эмилиано. И, захваченный внезапно пришедшей мыслью: — А если школу для детей эхидатариос открыть в Большом доме?

В эту минуту во внутренних комнатах раздались крики, почти вопли старого Ороско:

— Валентина!.. Валентина!..

— Я здесь, папа.

Старик, дрожа от возбуждения, вбежал в патио и, не замечая гостя, бросился к дочери:

— Дочка, как ты меня напугала!

— Что случилось, папа?

— Ищу, ищу, весь дом обошел и...

— Не весь дом, старина,— поправил Эмилиано.— В патио не заглянули.

— А, ты здесь? Когда пришел? Почему я тебя не видел?

— Мы столкнулись в дверях.

— Возможно. Лошадь твоя стоит у дома. Что со мной происходит?

— Надо носить очки, папа, а ты упрямишься,— с мягкой укоризной заметила Валентина, уступая отцу место.

— Вы ошибаетесь, сеньорита,— вставил Эмилиано, поддразнивая.— Над Ороско годы не властны.

— Твое мнение никого не интересует,— ворчливо-добродушно отрезал старик.— Уступи место, а себе принеси другой стул.

— Вот же стул, папа, садись.

— На твой не хочу. Пусть этот проныра уступит.

— Проныра может и на земле посидеть,— продолжал весело Эмилиано.— Вот так. И ходить никуда не надо.

Старик, еще не совсем оправившийся от пережитого испуга — наверняка ему пришло в голову, что Сантьяго Архимирес похитил Валентину,— глядя ласково на дочь, проговорил вполголоса:

— Какая же ты у меня хорошенькая!

— Самая красивая! — опять вставил Эмилиано.

— Твое мнение никого не интересует, я уже сказал.

— Будет тебе, папа,— смеясь остановила его Валентина.— Расскажи лучше, как там?

— А, глаза бы мои не глядели. Все брошено на произвол судьбы. Маис растет, как трава в поле.

— Растительная автономия, дон Начо. Проблема в масштабах всей Мексики. Вот в других странах...

— Автономия! — раздраженно прервал его Ороско.— Нарочно вызываешь меня на разговор о муниципальной автономии? Пожалуйста: тебя выберут в депутаты потому, что так захотелось этому выскочке, губернатору... О чем я тебе рассказывал, дочка? Да. Вошел я в Большой дом и ахнул. Разруха и запустение. Мыши перечитали мою библиотеку от корки до корки — всю сожрали. От парадной гостиной, где в добрые времена империи Ороско так долго прождали визита Максимилиана и Карлоты [1], тоже ни хрена не осталось.

— А был ли хрен-то? Небось их величества пронюхали, что хрена к столу нет, вот и пришлось Ороско ждать впустую.

Валентина залилась смехом, старик набросился на нее:

— Над кем смеешься, сопливка? Над императорами, а может, над своими предками — Ороско?

— Над теми и другими, папа!

— А мне смешны Ороско. Дурни этакие! Простофили! Верно, Чано? То есть Эмилиано.

— Воздержусь высказывать свое мнение, дон Начо.

— И то дело. Сам-то немного стоишь. В агрономии ничего не смыслишь.

— Почему? Хрен в наших местах знатный может родиться.

— Ну то-то! — не то одобряюще, не то угрожающе произнес старик.— Всем нам весело, все довольны. Хорошо... Но как запущена моя земля! Сунул я в нее палец, а вытащить не могу.

— Корни пустил?

— Скажи пожалуйста, он даже это знает. Ох, давно я так не смеялся. Помнишь, Эрендира?.. Посмотри на нее, Эмилиано, сейчас она серьезная да строгая. А знал бы ты, какой это был в детстве бесенок. Годочков около шести ей было — подходит как-то ко мне и лепечет: «Ты, папа, открой свою печень, пусть оттуда поскорее вся злость выйдет». Каково, а, Эмилиано?

— Бесенок не плохо разбирался в медицине.

— А, иди к черту! В медицине. Как ты — в агрономии. Будешь учиться у меня, как только переберемся в Энсинар. Ладно, не сердись, это все шутки. Я хочу поговорить с тобой на серьезную тему,

[1] Речь идет об австрийском эрцгерцоге Максимилиане Габсбурге, провозглашенном в 1864 году, во время иностранной интервенции в Мексике, мексиканским «императором». В 1867 году взят в плен республиканцами и расстрелян. Карлота — дочь бельгийского короля и жена Максимилиана, была «императрицей» Мексики; с молодости психически больная, умерла в Бельгии в 1927 году.

Эмилиано. Пойдем в комнаты, потолкуем. Здесь к вечеру свежо становится.

Молодые люди выразительно посмотрели друг на друга, и Эмилиано последовал за довольным стариком внутрь дома.

Валентина, оставшись одна среди белых азалий и пурпурной герани, долго любовалась первыми вечерними звездами, нежно мерцавшими на чистом небосклоне. На ее жизнь, лишенную сладких иллюзий, впервые — хотя и слишком поздно, чтобы долго молчавшее сердце воспламенилось бурной радостью,— пролился тихий свет целомудренной любви.

XXI. Наседка и ее цыпленок

В тот вечер все трое пришли к решению не откладывая переселяться в Большой дом, покинутый семейством Ороско с началом экспроприации земель, но не сданный в аренду Сантьяго Архимиресу, и Эмилиано согласился побыть там несколько дней до официального открытия предвыборной кампании, когда начнутся его поездки по деревням и поселкам округа.

Валентина сочла неудобным просить его об этом, зато дон Начо предложил без обиняков и в присущей ему манере:

— Вот тебе возможность показать, насколько ты разбираешься в сельском хозяйстве. Даю два месяца сроку.

— Не много ли, старина? Неосведомленность можно проявить и в более короткий срок.

— Согласен на три. Располагайся в комнатах, где останавливался твой отец, приезжая в Энсинар ссориться со мной. Кое-что я не успел высказать аграристу, теперь пусть послушает агроном.

Для дона Начо и Валентины переселение в этот огромный, полуразрушенный дом, затерявшийся в глуши среди сотни гектаров полей, составлявших земельные угодья имения, было сопряжено с известной опасностью. Но старик упрямо твердил, что хочет умереть на исконной земле Ороско, и Валентина, не желая перечить отцу, согласилась на переезд, хотя и со страхом в душе, все время думая о подозрительном отказе Сантьяго Архимиреса от аренды. Эмилиано, со своей стороны, настаивал на устройстве в Большом доме школы для детей эхидатариос.

— Организацию школы я возьму на себя,— сказал он Валентине.— Для этого мне нужно побыть в вашем доме несколько дней.

С ним Валентина держалась иначе, не скрывала тревоги.

— В тебе говорит Лихо-Горе, это он подбивает испытать судьбу в смертельной перестрелке. Так ведь?

— Допустим. Но в опыте лихого парня есть кое-что пригодное и для достойного дела. Между Сантьяго Архимиресом и мной уже идет игра. Жребий брошен. И ставкой в этой игре не только женщина (прости, что я так), но и роль касика округа — касика другого, противоположного архимиресовскому толка. Видишь, где бы я ни находился, риска мне не избежать.

Картина показалась ему мрачноватой, и он добавил немного юмора:

— Наконец, должен же нетитулованный агроном, сидевший столько лет в Лихо-Горе, принять вызов старика. Доказать ему, что у агронома хлеб будет расти не как попало, а как надо. Пока не настал час пожинать голоса избирателей, я посею исконный маис на исконной земле.

— По-твоему, я ничего в этом не смыслю? Я тоже знаю, как сеют маис.

— Уверен — так оно и есть. И пусть кто-нибудь посмеет сказать, что в семье Ороско едят хлеб, выращенный чужими руками.

— Можно подумать, что в роду Грасианов не было тунеядцев.

— Были. Но существовал еще род Экиуа.

— Здесь ты, пожалуй, прав.

— И Лихо-Горе несправедливо сбрасывать со счетов. В перерывах между пением баллад и стрельбой из револьвера он как-никак пахал и сеял.

Переселение в Большой дом все же означало, хотя бы на первых порах, отказ от школы, от учеников, в которых было вложено столько любви и нежности, особенно в забавную Салуситу.

— Ай! — воскликнули они с обескураженным видом, когда Валентина сообщила им новость.

Но в смышленой головке Салуситы бил неистощимый родник находчивости:

— Сеньорита учительничка, а я помещусь в этом Большом доме? У вас есть там самый-самый маленький уголок?

Так была поставлена деликатная проблема внушительных размеров.

Салусита, круглая сирота, дочь умерших рыбака и рыбачки с Ханитсио [1], жила у крестной матери в поселке — женщины, обремененной детьми и нуждой... Салусита была индеянка-тараска, подобно Атсимбе, матери Эмилиано... Салусита — понятливая, ласковая, милая девочка... Ах, что тут раздумывать! Салусита уже вошла в ее сердце.

XXII. Аграрное собрание

Гертрудис Руис, подчинившись решению посредника, уступила Эрменехильде полоску маиса, бывшую причиной раздора. Теперь Гертрудис хотелось сгладить неприятное впечатление о себе, наверняка оставшееся у посредника, доказать ему, что она все-таки не отсталая крестьянка старого типа, а женщина современная, активистка, и с этой целью она устроила собрание членов эхидо «Роза», пригласив на него Эмилиано Грасиана — как недавнего посредника и кандидата в депутаты, которому небезынтересно услышать пожелания и жалобы крестьян своего округа.

Помещением для собраний служило старое, сильно разрушенное здание, расположенное на окраине нынешнего поселка, на площади, где когда-то толпились дома, а нынче доживали свой век — по обе стороны от этого здания — всего два уцелевших фасада с каменными колоннами да наглухо закрытыми дверьми торговавших в былые времена лавок. Окрест лежали заброшенные поля — в сезон дождей они уходили под воду, в сухое время года зарастали сорняком. И все это — рукой подать от поселка с его разобщающей улицей Широкой.

Под колоннами уже толпился народ, и, едва показался Эмилиано, Гертрудис приступила к роли современной, передовой женщины:

— Компаньерос, проходите в зал, рассаживайтесь! Компаньеро Грасиан прибыл, начинаем собрание.

Все уселись. Присутствовали в основном мужчины. Огрубевшие, дубленные солнцем лица, торжественно-угрюмые от постоянного созерцания величия земли; спокойно-сосредоточенные взгляды хлебо-

[1] Остров на озере Патскуаро.

пащев, приученных самой природой терпеливо дожидаться, когда взойдут и созреют брошенные в землю семена.

Морщинистые лица, похожие на поле в глубоких бороздах. Настороженные, замкнутые лица, похожие на засеянное поле, ревниво сохраняющее принятые чревом семена.

Выражение хмурого недоверия усиливалось оттого, что лица были небриты: компаньера Гертрудис созвала всех в срочном порядке, и многие не успели привести себя в должный вид, как делали обычно перед собранием в воскресное утро. От человеческих тел исходил запах рабочего пота, ветерок успел осушить влагу, но терпкий дух остался. Там и тут по рядам виднелись взлохмаченные патлы. Но не было ни одного человека в отрепьях, не было босых ног, не было в глазах униженной, крестьянской безропотности прежних лет, когда земля принадлежала надменным сеньорам. Замечалась, напротив, резковатость в словах и движениях, некоторая задиристость, но этому было свое объяснение: люди еще не научились вести себя со спокойным достоинством.

Пришли и женщины, в чистых, новых, иные даже в шелковых шалях — ребосо; среди них были крепкие, стройные молодицы с грудными детьми, завернутыми в ребосо. К удивлению Эмилиано, тут же оказалась и Эрменехильда, и не в рванье, хотя, возможно, по-прежнему босиком — такие тяжелые, корявые ступни едва ли втиснешь в туфли. Да, Эрменехильда сидела как равная среди равных, смотрела прямо на него, Эмилиано, и улыбалась — одними глазами, широко открытыми глазами, жившими как бы обособленно от ее глуповатого лица.

Эмилиано, наклонившись к Гертрудис, восседавшей рядом с ним в пахучем президиуме, спросил шепотом:

— Эрменехильда принадлежит к архимиресовскому лагерю, враждующему с вашим эхидо. Почему же она здесь?

— Перешла к нам,— так же тихо ответила Гертрудис.— Ваша заслуга, компаньеро.

Встав за столом, она произнесла громко и уверенно, тоном руководителя:

— Компаньерос!.. Обращаюсь ко всем разом — и к мужчинам, и к женщинам, потому как здесь мы все одинаковы — труженики земли мексиканской. Среди нас присутствует компаньеро Эмилиано Грасиан, кандидат в депутаты от нашего округа. Он пришел послушать про крестьянские нужды и про некоторые имеющиеся жалобы. Объявляю собрание открытым, и кто желает взять слово... Слово предоставляется компаньере Эрменехильде — пусть даст объяснение, каким путем-дорогой она пришла к нам.

Соблюдая официальный стиль, Гертрудис приготовилась записывать выступление — во всем сквозил обдуманный план.

— Эрменехильда! — подбодрила она соседку, видя ее замешательство.— Собрание ждет.

Женщина, преодолевая остатки крестьянской робости, повозилась на месте, и все услышали ее голос — по-детски тонкий голос:

— Эта... Грасиан, если позволит так называть его сеньор Эмилиано...

— Конечно, Эрменехильда,— сказал улыбаясь Эмилиано.— Я не обладаю монополией на произношение моей фамилии.

По рядам прошел сдержанный смешок, но Гертрудис вернула собрание в нужное русло:

— Компаньера, вас просили дать объяснение.

— Эта...

— Встаньте, чтобы все видели выступающего.

— И то правда,— послушно согласилась Эрменехильда, вставая.— Прошу прощения у сеньора Эмилиано. Мы ведь в крестьянстве как? Всю жизнь стояли, а потому уж коли сядем... Ну, ладно. А на эту сторону я подалась, потому на той стороне улицы Широкой меня использовали супротив честности. Меня... извиняюсь на грубом слове... ввели в заблуждение. Сеньорита Альмарала присоветовала — вроде бы она имела разговор с сеньором Архимиресом — и присоветовала мне: ты, мол, паши и засевай полоску-то, на которую сеньора Гертрудис зарится... Ведь у нас в крестьянстве как? Землицу пожаловали, а доказать не докажешь, что твоя это земля, законом даденная, потому по сей час не сподобились мы бумагу получить, где про собственность земельную прописано, какую мужчинам и женщинам выдали, а еще лучше сеньора Гертрудис сказала — труженикам земли, которым землю любить положено, раз она у них своя под ногами, потому как ради землицы-то сколько «мокрых спин» и «мексиканских кроликов»[1] по ту сторону границы мыкаются. Правда, сеньор Грасиан? Слышала я, вы вроде тоже в «кроликах» хаживали?

— Верно, Эрменехильда, хаживал и я. Продолжайте.

— А то нет? Когда бывало, чтобы такая, как я, слово перед обществом держала? Так вот я и говорю, сунешься бумагу просить, а тебе в ответ: потерпи да повремени, дескать, у сеньоры Бюрократии в конторе дел невпроворот. И вот из-за этой сеньоры да еще из-за кредитного банка, который ни богу свечка ни черту кочерга, и попадает эхидатарио в кабалу к заимодавцу, а не желаешь в кабалу — оставайся без семян, потому как и у нас тут широко расселась сеньора Бюрократия, и ни пешком, ни верхом ее не объедешь, хоть ты тресни!..

Смехом и шумом одобрения сопровождали слушатели слова Эрменехильды, а она, поворачиваясь из стороны в сторону, улыбалась в искренней наивности своей. Эмилиано слушал заинтересованно и удовлетворенно, поражаясь драматизму того, что вырисовывалось за словами этой крестьянки, казавшейся глуповатой и вот, поди ж ты, сумевшей так естественно, так революционно сказать о крестьянских горестях, а в свое время отстоявшей с его помощью тоже естественное и революционное право собрать выращенный ею урожай. Глубоко взволнованный этим корявым красноречием, он сказал Эрменехильде:

— Продолжайте, пожалуйста!

— Так эта... С чего я начала-то, сеньор Эмилиано?

— Вы говорили, что вас ввели в заблуждение.

— А, да! Премного благодарна, сеньор Эмилиано. Меня ввели в это самое... подговорили, чтоб я вспахала и засеяла участок, из-за которого потом мы с сеньорой Гертрудис повздорили, а для чего подговорили — а для того, чтобы наша бабья свара на мужчин перекинулась, как говорится, от бабьих уст да к мужским рукам, потому как мужчины — они чуть что, сразу за ножи да за револьверы хватаются, а уж коли промеж эхидатариос война пойдет, то, стало быть, какой прок в общев... общественном землепользовании. В ту пору невдомек мне был злой умысел сеньориты Альмаралы, которая есть правая рука отца-наставника, а может, левая — кто их разберет,— и я вспахала и засеяла... Я так понимаю, сеньор Эмилиано, революция дала нам землю не для того, чтобы мы ходили в отрепьях да, прости господи, сверкали голыми задницами...

---

[1] Имеются в виду мексиканские батраки, в поисках заработка нелегально переходящие границу США (часть границы, как известно, проходит по реке Рио-Гранде-дель-Норте).

Зал и вместе с ним президиум содрогнулись от хохота. Эрменехильда подождала, пока восстановится тишина, и снова заговорила, пользуясь предоставленным ей словом:

— ...и не для того, чтобы мы нежили свою лень, запускали поля, а тем временем сеньор Архимирес с той стороны и сеньор Фортунато Пенья с этой прибирали к рукам осиротевшую землицу.

— Верно говорит! — крикнули несколько человек, в том числе те, кто пришли на собрание небритые и хмурые, прямо с поля.

Один сказал с места:

— Поддерживаю! Компаньера Эрменехильда — человек у нас новый, а в самую точку метит. Предлагаю вызвать сюда компаньеро Фортунато Пенью, комиссара нашего эхидо, пусть доложит собранию, как он исполняет свои обязанности.

Присутствующие зашумели, раздались голоса «за» и «против» предложения, и Эмилиано встал, намереваясь рассказать о своей беседе с Фортунато Пеньей и заступиться за него. Но начал он с другого:

— Друзья мои! Сознаюсь, я пришел на ваше собрание отчасти из личных интересов — в надежде, что здесь будет выдвинута моя кандидатура в депутаты округа. Но, прослушав мужественное выступление сеньоры Эрменехильды — будем называть вещи их именами,— я решил говорить не о себе. Хочу предупредить вас — крестьянские организации не смогут отстоять революционные завоевания, если в своей деятельности будут полагаться только на помощь правительства.

И снова зал дрогнул от рукоплесканий — отменных, по-крестьянски звучных, но вдруг все затихли, увидев щуплого мужичонку под хмельком, пробиравшегося от входной двери к столу президиума.

— Где моя гитара? — вопил пьяный.— У меня пропала гитара марьячи...[1]

По рядам прошел удивленно-укоризненный гул.

— Послушайте, дружище,— обратился Эмилиано к нарушителю порядка.— Мы решаем серьезные вопросы, у нас нет времени разыскивать вашу гитару.

— Вот как? — поспешил прицепиться тот.— И это говорите вы? Да если бы не наши гитары, под которые поют песни, никто бы и не знал о вас.

Это оказался провокатор, подосланный Сантьяго Архимиресом.

Несколько эхидатариос бросились к пьянчужке, но их опередил показавшийся на пороге Фортунато Пенья. Здоровый, сильный, он поднял мужичонку за плечи в воздух и вышвырнул на улицу.

Затем сказал, подойдя к президиуму:

— Сеньор Грасиан, будьте добры удалиться на несколько минут. Я должен очистить совесть перед товарищами по классу, как и обещал вам, а вы, я знаю, стали бы меня защищать.

Эмилиано, покинув собрание, направился к тому месту, где в тени сабинов оставил свою лошадь. Тут, сидя на поваленном дереве, его дожидалась Валентина, задумчиво созерцая воды обширного болота.

Пустив лошадей шагом, они возвращались в Большой дом. Эмилиано рассказал о происшествии на собрании.

— Изнанка громкой славы Лихо-Горе,— определила случившееся Валентина.— Сантьяго Архимирес не мог упустить такой возможности.

Он признался с чувством глубокого раскаяния:

---

[1] Марьячи — народная музыка, исполнители народной музыки.

— Что посеял, то и пожнешь. Сегодня я собрал этот урожай.

Она быстро возразила:

— Были и добрые семена, из них тоже кое-что выросло: доверие Эрменехильды, возвращение на верный путь комиссара, который сейчас держит ответ перед своими товарищами.

Утро и даже небо над болотом были прекрасны.

XXIII. Воскресные размышления

Удар о землю выброшенного из зала собрания провокатора, хоть и легкого по весу мужичонки, потряс основы архимиризма. Фортунато Пенья покаялся перед эхидатариос и беспрекословно принял заслуженное наказание. А так как он сказал, что к решению предстать с повинной перед эхидо он пришел несколько дней назад в беседе с Эмилиано Грасианом, показавшим пример возвращения на правильный путь, и так как незаконченное выступление самого Эмилиано произвело хорошее впечатление, то все согласились выдвинуть его кандидатуру для предстоящих выборов.

Сантьяго Архимирес, узнав от Сильвио Серено о собрании, покачался немного в своем удобном кресле, затем сказал:

— Составьте мне этот пресловутый документ — ходатайство о предоставлении защиты.

— Вы боитесь, дон Сантьяго, как бы судья не вынес решение об аресте? — захотел уточнить Сильвио.

— Я ничего не боюсь. Исполняйте. Особо подчеркните, что в опасности находится моя свобода и моя жизнь.

— Слушаюсь, сеньор. Так обычно и формулируется это ходатайство.

— Заодно накропайте от моего имени ответ сеньору губернатору на его письмишко. Скажите, мол, непременно и с удовольствием явлюсь... лично поприветствовать его, как только оправлюсь от недомогания. С большим уважением, ваш преданный слуга, искренний друг и прочая.

— Да, сеньор. Как обычно.

Непонятно почему резанула по сердцу Сантьяго Архимереса последняя фраза Сильвио Серено, и, оставшись один, он несколько раз повторил ее в виде вопроса:

— Как обычно?

Вслед за этим — и опять непонятно и неожиданно для него — губы прошептали:

— Похоже, и вправду счастье дается судьбой взаймы на короткий срок.

Но он прогнал эту мысль:

— Нет, я не то хотел сказать. Другое — люди, подобные мне, умеют предчувствовать надвигающиеся события, а потому нас невозможно застать врасплох.

Вернулся Сильвио Серено. Он вошел в кабинет, перечитывая на ходу составленный им документ, не глядя под ноги, так как в силу приобретенного в долгой практике автоматизма подсознательно чувствовал, где нужно остановиться на пути от двери до кресла касика, а когда остановился, то увидел, что в кресле никого нет. Он взглянул на документ у себя в руках — ходатайство о предоставлении защиты,— и в его подчиненном мозгу мысль о возможном бегстве того, кто просил помощи, потонула в приливе тошнотворного страха за себя, оставшегося кругом беззащитным.

Но Сильвио Серено ошибался. Сантьяго Архимирес пока еще ничем не напоминал беглеца. Выходя из дома — один, без телохранителей — и седлая коня, он мысленно говорил: «Сейчас мы посмотрим тебе в глаза, герой на пегом коне. Ты наверняка в Большом доме Энсинара».

И вот он приближается к цели.

У въезда в дом на каменной скамье сидели Валентина и Салусита. Валентина рассказывала девочке сказку про волшебницу.

— Добрый день, сеньорита Ороско! — произнес незаметно подъехавший Архимирес.

— О! — только и смогла воскликнуть она испуганно.

Глядя с высоты седла на видневшееся через распахнутые двери патио великолепных, несмотря на запущенность, барских хором, Архимирес, любезно улыбаясь, спросил:

— Сеньорита Ороско, помните ли вы, как несколько лет назад в этом патио одна юная барышня заставила меня снять сомбреро?

— Вспоминаю.

— И выпроводила меня вот сюда, на скамью, дожидаться, пока дон Начо соизволит меня принять?

— Да. Что теперь вас привело сюда, сеньор Архимирес?

— Захотелось воскресить в памяти былые времена. К старости человек становится... Прошу извинить, вам подобные чувства неведомы.

— Вы очень любезны, сеньор.

— Знали бы вы, сеньорита Ороско, какого труда стоит плебею вести себя как кабальеро. Тем паче, если он вынужден разговаривать с дамой, сидя в седле, потому что его не пригласили спешиться.

— Надеюсь, это сделает мой отец. Салусита, иди скажи дону Начо, что к нему приехал дон Сантьяго Архимирес.

Но Салусита голько теснее прижалась к своей покровительнице:

— Нет, сеньорита. Я тебя не оставлю. Этот сеньор нехороший.

— Дурная примета — не нравиться детям,— улыбнулся Архимирес.— Говорят, это приносит несчастье. Не беспокойте дона Начо, он, наверно, отдыхает после обеда. Я приехал полюбоваться этим патио, да еще в надежде, если выпадет случай, познакомиться со знаменитым Эмилиано Грасианом.

— Его здесь нет.

— Искренне сожалею, сеньорита. Я хотел поставить его в известность, что на выборах буду поддерживать его кандидатуру. Не стану больше мешать вам, сеньорита. За все пятнадцать лет я впервые приблизился к вам, а ведь люди небось говорят, будто я имею на вас виды.

— Прошу вас, сеньор...

— Не надо просить, я уезжаю, сеньорита Ороско. До свидания, Салусита. Не смотри такими глазами — это может принести мне несчастье.

Вернувшись домой, он спросил у заждавшегося Сильвио Серено:

— Подготовили бумагу?

— Да, сеньор, вам осталось подписать.

— Давайте сюда.

Он взял из рук Сильвио ходатайство, разорвал его на мелкие клочки и сказал:

— Сожгите обрывки. Чтобы ни единой буквы не уцелело! У Сантьяго Архимиреса нет нужды просить закон о защите. Завтра же доведите до сведения всех моих друзей — моих людей, вернее,— следующую инструкцию: голосовать за Эмилиано Грасиана.

Он сел в кресло-качалку, впервые не ощущая успокаивающего груза прочной власти.

— Тридцать Пять! — позвал он самого сильного и угрюмого из своих телохранителей, чтобы тот отстегнул шпоры.

Детина, приученный к холопским обязанностям, наклонился к ногам хозяина. Сильвио Серено, глядя на эту сцену, ждал, когда можно будет без свидетелей высказать соображения относительно полученного приказа.

Но Архимирес, повернувшись к нему, сказал:

— Можете идти. Сегодня воскресенье, вы тоже имеете право отдохнуть.

XXIV. Гость не ко времени

Валентина решила скрыть от отца и Эмилиано визит Архимиреса, но не тут-то было. Салусита во всех подробностях расписала его Грасиану.

Внешне Эмилиано не придал значения случившемуся, однако в тот же вечер он отправился в ранчо.

— Передайте сеньору Архимиресу,— сказал он телохранителю-привратнику,— что Эмилиано Грасиан хочет его видеть.

Касик уже собирался раздеться и лечь в постель, но тут быстро сел в кресло-качалку — в нем он принимал людей, перед которыми нужно было выглядеть особенно внушительно,— и приказал ввести нежданного гостя.

Эмилиано, оставив позади мрачный лабиринт комнат и войдя в кабинет, остановился в нескольких шагах от кресла:

— Я пришел с ответным визитом, дон Сантьяго.

— Несколько не вовремя,— заметил почти любезно Архимирес.

— Что поделаешь,— сказал Эмилиано, садясь на стул напротив кресла.— Таков мой обычай — совесть не даст уснуть, если знаю, что человек приходил повидать меня и не застал.

— Похвальный обычай, молодой человек. И верьте слову, вы доставили мне истинное удовольствие. Приятно познакомиться лично со знаменитым Лихо-Горе, который мог стать моим противником на выборах депутата от моего округа.

Эмилиано усмехнулся:

— Вы говорите так, будто округ и в самом деле ваша собственность.

— До сих пор так и было. В силу необходимости. Интересы нашей славной революции, еще не завершенной полностью, требовали, чтобы в каждом районе страны ответственный человек держал в руках голоса избирателей, дабы антиреволюционные элементы — а они не дремлют! — не вернули себе то, за что мы заплатили реками пролитой в боях крови,— землю крестьянских эхидос.

— И дабы местные касики могли прибирать к рукам эту эхидальную землю, превращаясь таким образом в латифундистов?

— Бойкий на язык молодой человек. Но разве вам не передали — все голоса, контролируемые мною, будут отданы за вашу кандидатуру?

— Я знаю, сеньор. И с этим связана цель моего визита. Хочу заявить, что мне не нужна победа, достигнутая с помощью ваших подарков.

В кресле восседала сама невозмутимость — ровным, улыбающимся голосом она произнесла:

— Думаете, я собираюсь поставить условие: будете депутатом, но у меня на поводу? Заблуждение, молодой человек. Я устал от политики, одна морока с ней. Постарайтесь мне поверить.

— Буду бороться изо всех сил, дон Сантьяго,— несколько насмешливо сказал Эмилиано, одновременно отдавая себе отчет в том, что бессилен подавить в себе непонятную тягу к общению с этим человеком.

— И боритесь, Эмилиано Грасиан,— одобрил Архимирес, словно не замечая насмешки.— Боритесь всеми силами. Беседа двух таких людей, как мы с вами — настоящих мужчин,— дорого стоит. И далеко не каждый день бывает такая беседа.

— Настоящим мужчиной, в том смысле, какой вы имеете в виду, я перестал быть, дон Сантьяго.

— Вот уж не верю! И доказывать бесполезно — все равно не смогу убедить себя. В мой дом, в поздний час да еще в такой день, как сегодня, едва ли рискнет войти человек робкого десятка. Для этого штаны должны быть туго подпоясаны.

Эмилиано как бы издали изучающе посмотрел на собеседника:

— Но ведь я мог прийти сюда и не для бахвальства своей мужской порядочностью, а чтобы мирными, разумными средствами добиться взаимопонимания с тем, кто, как я надеюсь, тоже способен внять голосу рассудка.

— М-да,— неопределенно произнес Архимирес.— Видно, вам понравилась роль посредника. В то утро вы приняли поистине соломоново решение. Не менее мудрое, чем предложение разрубить ребенка пополам. Но с Эрменехильдой будьте осторожны, она умеет провоцировать. Да, да! С виду — дохлая муха, воды не замутит, на деле же настоящий провокатор.

— А человек, разыскивавший на собрании утром гитару,— его вы как охарактеризуете, дон Сантьяго?

— Я уже всыпал этому пьянчужке.

Эмилиано, не прерывая паузы, пристально смотрел на касика, и тот произнес:

— Есть у сеньора кандидата еще вопросы?

— Нет. Я получил то, чего хотел,— познакомился с вами. Лицом к лицу.

— И один на один. В Мексике это все еще имеет значение, Эмилиано Грасиан. Это говорит вам человек, восседающий на плодах своих деяний.

Видя, что Эмилиано встает, он добавил:

— А на прощание ...так вот, не хотел бы я, чтобы ушли вы, не услышав этих моих слов... На прощание скажу — давно я не имел удовольствия беседовать по душам с таким человеком, как вы. Я учту, что Эмилиано Грасиан не задумываясь отвечает на визит, даже если он не состоялся.

XXV. Последняя ставка

На маисовых полях налились початки, урожай был обеспечен, и по почину Фортунато Пеньи в одном из селений округа назначили гулянье и бой быков в честь признанного народом кандидата в депутаты.

Путь до арены — на окраине селения,— где на исходе дня начнется бой быков, надо было пройти пешком. Он пролегал через все селение по крутой улице. По улице с кустиками зеленой от под-

земных родников травы, прораставшей между булыжниками. По улице, стиснутой двумя рядами домов с навесами и низкими — чуть не на уровне тротуаров — окнами, старых домов с заросшими деревьями патио.

Жители, и мал и стар, высыпали на улицу. В глазах рябило от праздничных одежд молоденьких индеянок — от их ярких блузок, разноцветных лент в черных длинных косах, от бус и браслетов на смуглых шеях и запястьях, от ожерелий из фруктов, от бутылей с вином, которые они держали наготове в руках.

Девушкам предстояло возложить на почетных гостей яркие фруктовые ожерелья и угостить разными напитками из бутылок.

— Ну, друг, держись! — предупредил Фортунато Грасиана.— Специально для тебя нанизали на веревку кокосовых орехов из Апатсингана — в память о твоем пребывании в жарких землях. Да и пить придется не одну лишь тростниковую водку, а кое-что покрепче.

Черноволосые, белозубые, с зардевшимися щеками, смеясь и толкаясь, девушки-тараски увешивали гирляндами главного гостя и его сопровождающих. Эмилиано уже сгибался под тяжестью гроздьев техокоте, чабакано, связок абрикосов, гуайябы [1], апельсинов и успел отхлебнуть из нескольких бутылок разных спиртных напитков — от местных текили и мескаля до привозного коньяка.

Люди шли по улице к арене, многие на ходу исполняли индейский танец канакуас под музыку, под взрывы смеха и выкрики на языке тарасков.

Кто-то из толпы пробился к Фортунато:

— Компаньеро, последи, чтобы Эмилиано ничего не пил. Власти задержали одного пьянчугу — хотел всучить девушкам бутылку коньяку для угощения Эмилиано. Бутылку у этого прохвоста отобрали, но кто поручится, что она единственная и что нет другой такой же в других руках?

— Что за человек? — спросил Фортунато.

— Нездешний. Его посадили. Между прочим, предложили ему отпить из этой бутылки — наотрез отказался.

— Думается мне, что...— начал было делиться мыслями вслух Фортунато. И тут же подойдя к Эмилиано, шепнул ему: — Ни одного глотка больше! Кто бы ни предлагал, Эмилиано. Дело серьезное. Потом все объясню.

— Знаю, чего ты боишься,— сказал Эмилиано.— Успокойся, я умею делать вид, что пью из горлышка бутылки, а в рот ни капли не попадает.

Фортунато повернулся к предупредившему его человеку:

— Следуйте за Эмилиано, компаньеро. Хочу посмотреть на этого выпивоху — не та ли это птица...

Веселое шествие, миновав улицу, приблизилось к арене боя быков, где встречали надсмотрщики-майорали — теперь чисто декоративные персонажи народного празднества. Люди поспешили занять места, а девушки, успев запастись полированными плошками из половинок высушенной тыквы, наполненными фруктами и цветами, встали в круг на арене, готовясь исполнить танец с чашами.

Бывая на таких представлениях, Эмилиано — сын Атсимбы, первой красавицы-плясуньи, души индейских ритуальных торжеств,— невольно искал ее образ среди стройных девичьих фигур с чашами на голове, в начале танца величественно и плавно сближавшихся двумя

[1] Техокоте, чабакано, гуайяба — плоды одноименных тропических фруктовых деревьев.

рядами, ритмично переступая мелкими шажками, отчего казалось, будто девушки идут по цветущему лугу и ногам их мешают стебли диких подсолнухов и бессмертников, которыми октябрь украшает мичоаканскую землю.

Вот чаши опущены наземь, и теперь танец разворачивается вокруг них. Изящны сдержанные движения танцовщиц, стройны и грациозны их тела, торжественны лица, словно взору вдруг открылась древняя старина, былое величие расы, поклонявшейся солнцу, и запели золотые дудки — сиринги в лад священному действу.

Пленяющее зрелище окончилось, вот-вот должна была начаться кровавая коррида — бой быков, как на арене внезапно появился Фортунато.

— Компаньерос! — воскликнул он громко. — Только что установлено, что агент, направляемый преступной рукой Сантьяго Архимиреса, пытался отравить Эмилиано Грасиана, сорвать наш сегодняшний праздник.

Вопль удивления и гнева прокатился громом по ближайшим к арене рядам. Коррида не состоялась.

На следующее утро к Сантьяго Архимиресу явились представители властей с ордером на арест. Но Архимирес успел выскочить из дома, прыгнуть на лошадь и скрыться.

Полицейские, посвященные в слухи о зловещей тайне, погребенной в подвале кабинета бывшего касика, взломали пол под креслом-качалкой, вскопали землю и действительно обнаружили человеческий скелет. Все убедились, на плодах каких деяний восседал Сантьяго Архимирес.

Тем временем он, покинув селение, сумел к вечеру под покровом темноты пробраться в горы, в сосновые рощи. А еще через день его нашли мертвым — револьвер в руке, последний раз в жизни схватившейся за оружие,— в самой глухомани, где когда-то он промышлял чужой лес.

По-видимому, сразу, со всего маху рухнул он на землю, которая уже не могла носить его дольше.

XXVI. Вкус земли

Эмилиано Грасиан вступил в обязанности представителя народа в конгрессе штата, когда октябрь осыпал отдыхающую землю полевыми, нежной красоты цветами.

Среди угодий, возвращенных Сантьяго Архимиресом, был небольшой, пустовавший участочек, заросший сорняками, меж которых выделялись высохшие стебли маиса, и дон Начо Ороско, торопясь под конец жизни, надумал засеять его пшеницей.

— Не стоит здесь сеять,— увещевал его Эмилиано.— Клочок, что на нем вырастет? Горсть колосьев?

Но дон Начо упорствовал в своем нетерпении:

— Хоть бы и горсть, зато выращенная моими собственными руками. Первая горсть хлеба, добытая моим трудом. Хочу перед смертью подержать рукоятки плуга и пригоршню зерна в ладонях. Чтобы люди не говорили, что в роду Ороско не было сеятелей.

— Оставь его, не надо мешать,— сказала Валентина.

Участок был очищен от сорняков, и запоздавший сеятель, сжимая рукоятки плуга, шел вслед за упряжкой волов, прокладывая борозду за бороздой. На краю поля, в тени техокоте, сидели Валентина и Салусита — болтали, лакомились упавшими с дерева спелыми плодами.

— Это правда, сеньорита, что он никогда-никогда не посеял зернышка?

— Думаю, правда. Но сейчас ты увидишь — он будет сеять их полными горстями.

Увидели же они совсем другое. Сеятель покачнулся и вдруг упал на развороченную плугом землю.

Они бросились к нему. Валентина вытерла отцу перепачканное землей лицо, послала Салуситу позвать кого-нибудь — пусть помогут поднять упавшего.

У дона Начо хватило сил приподняться:

— Ничего. Это обморок... все поплыло перед глазами.

Он провел языком по губам, улыбнулся:

— Вкусная земля в Энсинаре.

— Я виновата,— сокрушалась Валентина.— Не надо было уступать тебе.

— Все хорошо, дочка! Теперь я умру спокойно: мои руки тоже держали плуг.

Он еще раз облизал припорошенные пылью губы, посмаковал землю и, собрав остаток сил, сказал:

— Как же вкусна земля, доченька. Как она вкусна!

Коллапс повторился позже, когда больного перенесли в дом и уложили в постель. Придя в себя, дон Начо прошептал, глядя на Валентину и Эмилиано, стоявших у постели:

— Ну, вот и все. Кому конец, а кому венец. Но прежде, чем вы меня завернете в саван, хочу видеть вас... вместе навеки... Подойдите ко мне...

Последняя воля дона Начо была исполнена. Несколько часов спустя глаза его навсегда закрылись.

■

ЗНАКОМЬТЕСЬ— ЖУРНАЛ «ВСЕСВИТ»

Журнал «Всесвит» («Весь мир») издается в Киеве на украинском языке. Основан он в 1958 году, хотя под таким же названием иллюстрированный украинский журнал издавался еще в двадцатые годы. Цель «Всесвита» — публикация произведений прогрессивных современных зарубежных писателей, а также критических материалов, в которых осмысляется мировой литературный процесс нашего столетия. Существенное место в журнале занимают публицистика, культурная хроника и фоторепортажи на самые различные темы — так называемая «Панорама «Всесвита».

При отборе произведений для перевода на украинский язык журнал стремится не дублировать того, что помещает «Иностранная литература», расширяя тем самым возможности наших читателей, критиков и литературоведов знакомиться с современной зарубежной литературой.

Статьи, которые мы предлагаем вниманию читателей «Иностранной литературы», были опубликованы в журнале «Всесвит» в прошлом, 1973 году. Они дают представление о направлении и уровне работы соответствующих разделов издания. Однако наиболее популярный раздел журнала — художественная литература. За последние два года в нем были напечатаны романы Мирославы Томановой «Серебряная равнина» (ЧССР), Славко Яневского «Деревня у семи ясеней» (СФРЮ), Питера Абрахамса «На зов свободы» (ЮАР), Курцио Малапарте «Капут» (Италия), Мишеля Батая «Рождественская елка» (Франция), Томаса Вулфа «Тебе не вернуться домой» (США); повести Ивана Давыдкова «Ломоть хлеба для путника» (НРБ), Неджати Джумалы «Засушливое лето» (Турция), Яна Парандовского «Петрарка» (ПНР); пьесы Макса Фриша «Китайская стена» (Швейцария), Джорджа Риги «Индеец» (Канада). На страницах «Всесвита» появились обширные подборки стихов Поля Элюара, Владислава Броневского, Иоганнеса Бобровского, Федерико Гарсиа Лорки, Гийома Аполлинера, Пабло Неруды, Ивана Скалы, Вислявы Шимборской, Лацо Новомеского, Леопольда Седара Сенгора. Разумеется, я называю только наши самые значительные и интересные публикации.

Один из номеров «Всесвита» был целиком посвящен современной финской литературе. Все поколения мастеров слова Финляндии приняли в нем участие. Были напечатаны подготовленные финскими авторами специально для украинского журнала статьи и очерки, из которых читатель немало может узнать об истории, музыке, архитектуре, экономике страны, о жизни трудолюбивого финского народа.

Ободренные успехом финского номера, планируем в будущем посвятить номер журнала литературам Индии.

В первых номерах текущего года «Всесвит» напечатал роман одного из видных современных болгарских писателей Ивайло Петрова «Беспорядочный дневник». Произведение волнует острой постановкой морально-этических проблем.

В только что опубликованном романе Р. Мерля «Мальвиль», написанном в характерном для автора фантастико-утопическом жанре, ставится вопрос о будущем человечества. Готовим к изданию книгу Бранко Чопича «Восьмое наступление», посвященную проблемам борьбы с современным мещанством и мелкобуржуазными пережитками в социалистическом обществе.

В четвертом номере современную польскую новеллу представляют: Ярослав Ивашкевич, Ян Парандовский, Казимеж Труханович, Юлиан Кавалец, Ежи Анджеевский, Казимеж Брандыс, Корнель Филипович, Тадеуш Новак, Генрик Ворцель, Тадеуш Ружевич, Богдан Гамера.

Из произведений писателей Латинской Америки «Всесвит» в этом году познакомит читателей с новым романом Жоржи Амаду «Тереса Батиста, уставшая воевать».

Кроме того, «Всесвит» опубликует романы Юдоры Уэлти «Дочь оптимиста» (США), Мартина Вальзера «Браки в Филиппсбурге» (ФРГ).

Наиболее удачные поэтические публикации этого года — переводы стихов Бертольта Брехта, Пабло Неруды, Ярослава Ивашкевича, Роберта Фроста, а также произведений поэтов африканских стран, освобождающихся от португальского колониального ига.

В разделе публицистики «Всесвита» печатаются «Письма из Парижа» члена редколлегии Виктора Коптилова, находящегося во Франции в длительной командировке. Они посвящены жизни французской молодежи и художественно-литературным новостям страны.

Интерес представят обзорные статьи по современной итальянской, польской, английской, французской литературе, которые должны появиться во «Всесвите» в ближайшее время. Надеемся, они найдут читателей не только среди специалистов, преподавателей и студентов филологических факультетов, но и среди людей самых различных профессий.

Международный обмен литературными достижениями в условиях выдвинутой XXIV съездом КПСС и успешно реализуемой программы мира будет постоянно расширяться. Но разрядка международной напряженности сопровождается обострением идеологической борьбы, атаками поборников «холодной войны» на мир социализма. Пропагандируя успехи мирной политики Советского Союза, «Всесвит» стремится давать отпор ее врагам. Под прицельным огнем публицистических выступлений журнала будет и дальше находиться разрушительная античеловеческая идеология маоизма, антикоммунизм и прежде всего антисоветские измышления недобитков украинских буржуазных националистов, нашедших приют в некоторых западных странах.

Публикуя произведения современной зарубежной литературы, «Всесвит» знакомит своих читателей с жизнью в странах социалистического содружества, освещает борьбу народов Азии, Африки и Латинской Америки против колониализма и его последствий, стремится вскрывать сущность классовых противоречий, все глубже раскалывающих и разрушающих капиталистическое общество. Иначе говоря, задача «Всесвита» — представить читателю правдивую картину современности. Поскольку эта картина создается художественными средствами, в ней господствуют живые люди, неповторимые образы и характеры — люди, в духовном мире которых мы улавливаем главные приметы нашей эпохи — социалистические идеалы, объединяющие сегодня прогрессивное человечество.

ДМИТРО ПАВЛЫЧКО, главный редактор журнала «Всесвит»

ВАЛЕРИЯ ВЕДИНА

ТВОРЧЕСКОЕ СЧАСТЬЕ ЮЛИАНА КАВАЛЬЦА

Уже дважды журнал «Всесвит» обращался к творчеству известного польского писателя Юлиана Кавальца. В 1967 году была напечатана его повесть «Танцующий ястреб» [1], в прошлом году читатели могли познакомиться с его романом «Зов».

Писательская судьба Юлиана Кавальца (род. в 1916 г.) сложилась счастливо. Он вступил в литературу, имея за плечами сорокалетний жизненный опыт, и сразу же был замечен критикой и широкой читательской общественностью как в Польше, так и за ее пределами. Повести и романы писателя неоднократно отмечались литературными премиями.

В напечатанной недавно статье, посвященной Кавальцу, главный редактор журнала «Литература на свете» Вацлав Садковский так определяет круг проблем, которые интересуют писателя: «Крупные миграционные движения — с востока на запад, из сел в города, и прежде всего динамичная социальная перестройка, которая выдвинула огромные человеческие массы, некогда лишенные возможности активно участвовать в судьбах страны, на позиции ее хозяев, все эти сложные, а порой и драматически противоречивые социальные процессы поставили писателя перед лицом совершенно новых, исключительно смелых творческих задач, перед проблемами, для художественного решения которых не было ни прецедентов, ни прямых образцов».

Огромным подспорьем в писательской работе являются для Кавальца тесные узы, связывающие его с деревней вчерашнего и сегодняшнего дня. «Я считаю себя сторонником реализма в литературе,— отмечал Кавалец,— поскольку в своих произведениях стараюсь правдиво показать среду, которая меня как писателя интересует, а

[1] В журнале «Иностранная литература» были опубликованы повести Ю Кавальца «К земле приписанный» (№ 6, 1964) и «Танцующий ястреб» (№№ 1—2, 1969).

именно: сказать правду о жизни современной польской деревни, при этом я стремлюсь, чтобы эта правдивая картина жизни служила на благо людям».

От книги к книге возрастает интерес писателя к морально-этическим проблемам, ко всему тому, что обусловливает и определяет выбор человеком своего места в жизни, интерес к остро конфликтным, часто трагическим ситуациям, к широко понимаемой проблеме «человек и общество».

Важной вехой на творческом пути Юлиана Кавальца был сборник рассказов «Поваленный вяз» (1962), в которых повествуется о некоторых примечательных изменениях в психологии крестьянина, вызванных революционными преобразованиями в польской деревне, о столкновении привычных, традиционных понятий с новыми веяниями, которые несет с собой социалистическая эпоха. Довольно значительное место в этих рассказах, как и в последующих произведениях, Кавалец отводит конфликту, часто подспудному, спрятанному на дно души, конфликту, возникающему иногда между родителями, оставшимися жить и трудиться в деревне, и детьми, которые уезжают учиться и работать в город. Речь идет не о внешнем, заметном каждому факте — нехватке молодых рук в деревне в связи с процессом урбанизации. Писатель стремится исследовать некоторые внутренние, не зафиксированные статистикой явления, сказывающиеся в нюансах человеческих отношений, в удивительных и нелогичных, на первый взгляд, поступках.

Показательна в этом плане повесть Кавальца «К земле приписанный» (1962). Преступления героя повести крестьянина Войцеха Трепы, два совершенных им убийства объясняются давлением внешних, враждебных ему обстоятельств, которым он не в силах был противостоять. Еще молодым парнем убил он жениха сестры, потребовавшего в приданое почти весь земельный участок семьи, и впоследствии, уже в условиях народно-демократического строя, Трепа убил человека, который мог подозревать его в первом убийстве. «Судьба многих поколений,— пишет Кавалец,— готовила его к двум преступлениям, и он неуклонно приближался к тем дням, когда совершил их». В произведении раскрывается страшная, именно своей обыденностью, картина власти земли над человеком.

Необычна художественная форма произведения. Кавалец не придерживается хронологической последовательности событий, модифицирует традиционную повествовательную форму, то скупо сообщая о поступках своего героя, то обращаясь к нему с вопросами, то полностью передавая слово рассказчику, который помогает осмыслить некоторые неизвестные еще читателю события. Темп повествования замедленный. События разворачиваются словно по спирали, внимание читателя все время сосредоточивается на определенных моментах. Отдельные ситуации, многократно воссозданные, рассмотренные с разных сторон, выступают не только в своем непосредственном значении, но и приобретают ярко выраженное переносное звучание, эмоционально насыщенный колорит.

Произведение построено в форме размышлений областного прокурора над судебным делом Войцеха Трепы.

Сам Трепа непосредственно не выступает в произведении, не он выдвигает аргументы, смягчающие его вину. Все это делает за Трепу, которому не под силу определить общественно-моральные причины своего преступления, душевно тонкий и образованный человек — прокурор. Именно прокурор, по происхождению тоже крестьянин, благодаря народной власти получивший образование, по мнению автора повести, имеет моральное право судить Трепу не только как официальное лицо, но и как собрат по классу.

Но раздумывая в тиши кабинета над делом Войцеха Трепы, прокурор приходит к выводу, что ему трудно осудить человека за поступок, совершить который его заставили обстоятельства. Сравнивая свою прежнюю жизнь с жизнью обвиняемого, прокурор обнаруживает очень много общего: и его родные задыхались от малоземелья, и его дед, как дед Войцеха, потерял из-за девальвации тяжким трудом заработанные деньги, и сам он в детстве пас гусей и уток, носил огромнейшие, «на вырост», сапоги, и его могла постичь не менее тяжкая участь...

К земле приписанным, таким образом, оказывается не только обвиняемый, но и прокурор. Он, крестьянский сын, получивший образование, что раньше для него было бы совершенно невозможно, не порывает со своим прошлым, не перечеркивает его, как это сделает герой следующей повести Кавальца «Танцующий ястреб». Счастье, которое выпало на его долю, заставляет его быть чутким и предельно внимательным к другим людям.

Одним из высших художественных достижений Юлиана Кавальца некоторые польские критики считают его повесть «На солнце» (1963), поскольку в ней ярко воплотилось всегда свойственное писателю умение «выразить невысказанное». «Речь идет,— писал Генрик Береза, — о выражении тех чувств, о которых простые люди, а крестьяне в особенности, вслух не говорят, а если даже и говорят, то слова их не вмещают всего, что за ними скрывается... Кавалец как будто создает литературные гипотезы на тему внутреннего мира, на тему чувств и мыслей простых людей, не привыкших анализировать свою внутреннюю жизнь».

Особая роль принадлежит в повести рассказчику, который является одновременно действующим лицом произведения, выразителем авторской точки зрения. Это он спасает старого крестьянина, пытавшегося утопиться, это он выслушивает и впоследствии излагает историю его жизни. С другой стороны, основным тематическим стержнем повести является рассказ Старика о себе.

Начинается повесть, собственно говоря, с конца. Известна развязка трагедии, рас-

сматриваются и осмысляются ее возможные истоки и причины. Далеко не все остается договоренным, далеко не все получает в произведении исчерпывающее освещение. Вместе с тем все понятно. В этом «выражении невысказанного», в этой многозначительной недоговоренности, когда отдельные реконструированные в памяти и воображении картины создают вполне реалистический облик послевоенной польской деревни, возможно, наиболее полно проявился талант писателя.

Не претендуя на универсальность и безошибочность суждений, писатель сосредоточивает внимание на отдельной человеческой трагедии.

Случилось так, что человек, безгранично влюбленный в землю, не представляющий себе существования без каждодневного труда на земле, без деревни, садов, деревенского воздуха, вынужден переселиться в городскую квартиру сына. На том месте, где когда-то была деревня, где стоял дом, построенный еще прадедом, проложили дорогу, вырос город. Старик мучается из-за вынужденного безделья, своей, как ему представляется, непригодности. Когда-то он выполнял тяжелые полевые работы, а теперь все его общение с землей сводится к поливке цветов в квартире сына.

Довольно часто своеобразным ключом к раскрытию основной идеи произведения выступает у Кавальца какой-нибудь символический образ, многозначительная деталь, возникающие в книге вновь и вновь. Символичны по-своему цветы на окнах городской квартиры сына, воплощающие теперь в глазах Старика мир природы, с которым он сроднился и без которого не мыслит жизни. Символичен и образ танцующего ястреба, давший заглавие следующей повести Ю. Кавальца «Танцующий ястреб» (1964). Танцующего ястреба напоминал несчастный крестьянин из богадельни, сошедший с ума от счастья, узнав о том, что земельная реформа принесла ему землю, о которой он раньше и мечтать не мог. В порыве безумной, несказанной радости он начал есть эту землю, танцевать на ней свой чудовищный танец.

Рассказчик несколько раз возвращается к этой картине запоздалого счастья, рисуя судьбу центрального героя произведения Михала Топорного — директора крупного промышленного предприятия. Тот тоже потерял голову от счастья, которое ему, сыну бедняка, принесла народно-демократическая власть, захлебнулся теми благами, которые ему были предоставлены. Он утратил чувство меры, отказался от семьи и прошлого, от той социальной среды, которая его вскормила и выдвинула. Исчезло чувство ответственности за поступки, Топорный превратился в карьериста, человека беспринципного и черствого. И как в случае с нищим крестьянином, ожидаемое многими поколениями счастье обернулось для него личным несчастьем и трагедией.

В повести «Танцующий ястреб» читатель с самого начала знает о том, что произошло, и ждет ответа на вопрос, как это могло случиться.

Молодой способный крестьянин едет учиться в город, в деревне остаются его жена и сын. Как в дальнейшем сложатся отношения между ними, как повлияет на выходца из деревни городская жизнь, самая возможность приобщения к трудовой интеллигенции? Характер решения этих вопросов в повести Кавальца высоко оценивается критикой. Януш Рогозинский, в частности, писал: «Если проблематика общественного продвижения крестьянина в идеологических и социологических категориях интеллектуально нами освоена, то другая сторона этого продвижения, а именно психологическая и моральная, приобретающая особенно важное значение тогда, когда самая проблема продвижения была окончательно и бесповоротно решена историей, впервые раскрывается перед нами с такой точностью и остротой Юлианом Кавальцем».

В романе «Зов» (1968) расширяется круг наблюдений по сравнению с предыдущими книгами Кавальца. Вместе с тем в этом произведении появляются новые мотивы, обращается внимание на некоторые моменты, рассматривавшиеся ранее лишь в общих чертах.

Снова в центре произведения — семейная трагедия, выходящая по своему значению за рамки конкретного случая. При таинственных обстоятельствах погиб в болоте Стефан, старший сын крестьянина Войцеха Завады. Что привело к трагедии, кто виновен и причастен к ней? Нелегкую миссию своеобразного следователя берет на себя старый учитель, хорошо знавший эту семью. Постепенно, более или менее точно, воссоздаются те события, которые произошли или могли произойти,— при этом, как всегда у Кавальца, важная роль принадлежит рассказчику.

И читатель снова отмечает неповторимое мастерство польского писателя, его своеобразный стиль.

Здесь и прямые обращения к Ядвиге, матери Стефана, и ее близким, здесь и поражающие своими реалистическими подробностями описания, и лиризм, и гневный сарказм, и стилизация под народную притчу — причем все это предстает в едином сплаве и необычной конденсации.

Красавец Стефек, как его называли в деревне за красоту, не тянулся к земле, не интересовался работой в городе. Целыми днями вырезал он из дерева какие-то удивительные фигуры людей. Занятие, которому молодой человек полностью отдается, забывая о своих обязанностях по хозяйству, нарушает издавна сложившиеся и привычные представления о подлинном крестьянском призвании («Сколько полезных вещей могли бы сделать эти сильные руки!») и в конце концов становится основной причиной конфликта, а затем и трагедии в этой семье.

По проблематике роману «Зов» близок рассказ Кавальца «Именины» из сборника «Черный свет» (1965). В нем рассказывается о трагической истории «блаженного Яся» — одного из сыновей старого крестьянина Балая. Четверо взрослых сыновей Балая — инженер, учитель, военный и ученый, приехав к отцу в деревню на именины, коснулись в разговоре судьбы своего давно умершего брата, мальчика очень впечатлительного и одаренного, который не хотел или, скорее, не мог целиком отдаться будничным хозяйственным делам. Еще до войны будущий инженер и будущий учитель попытались как-то насильно заставить Яся работать — нагружать и возить навоз. Кони были взяты напрокат, нельзя было терять ни минуты, Ясь, однако, попытался удрать, и за это отец ударил его тяжелой цепью от плуга по голове. Мальчик погиб. Трагедия произошла давно, повинны в ней, по мнению автора, и жестокие условия жизни, и ограниченность темного крестьянина, для которого вечные хозяйственные хлопоты заслонили мир.

В романе «Зов» действие происходит уже в условиях демократического строя. Однако старые представления, еще живущие в сознании крестьянина, иронически-насмешливое, нетерпимое отношение окружающих к увлечению мальчика, к его «ковырянию» в дереве, пассивность самого Стефана приводят историю деревенского скульптора к драматическому завершению.

Много места в романе уделено отцу погибшего Стефека — Войцеху. «Святой заработок и святая земля» — этим, собственно, и ограничивается в понимании Войцеха счастье человека. Казалось бы, новый строй открыл перед ним новые возможности. Но духовный мир Войцеха сформировался еще в старые времена. И Кавалец опытной рукой художника рисует противоречивые черты характера этого человека, труженика и собственника, в чем-то великого и вместе с тем жалкого и опасного.

Однако еще опаснее, когда потребительские настроения, мелкособственническое отношение к действительности проявляют представители того поколения, которое выросло уже в социалистической Польше. В остро сатирических тонах обрисован в произведении младший сын Войцеха Завады, Станислав. Именно его, как становится ясно из повествования, можно считать главным виновником гибели Стефека.

У младшего Завады много общих черт с героем повести «Танцующий ястреб». И он сполна воспользовался теми привилегиями, которые предоставил новый строй выходцам из бедноты,— получил высшее образование, стал инженером. И, подобно своему литературному собрату Михалу Топорному, тоже захлебнулся дарованным ему счастьем, стал эгоистом и корыстолюбцем.

Всепоглощающий эгоизм, полное неумение и нежелание учитывать так называемые нематериальные ценности младший Завада мастерски прикрывает стремлением к порядку и полной ясности во всем, что его окружает. Любовь Стефека к искусству не только не понятна Станиславу, она мешает ему жить: «Все было бы просто и легко, если бы не он. Он нарушает порядок мира и вносит путаницу в мысли, лишает людей покоя, нарушает покой брата. Брат должен о нем поневоле думать». Успешная карьера может кое-кому вскружить голову, благоприятные условия для жизненного и служебного старта порождают порой чрезмерную самоуверенность и ощущение собственной непогрешимости. Только честное, требовательное отношение к себе и своим обязанностям, исключающее жестокость, алчность и самовлюбленность, способствует созданию здоровых отношений между людьми, убеждает нас рассказчик, сурово и справедливо, трезво и самокритично оценивая обстоятельства драматической истории красавца Стефека.

«Хвала рукам» (1969) — так назвал Юлиан Кавалец книгу своих статей и репортажных зарисовок. К последнему роману польского писателя «Переплывешь реку» (1973) название «Хвала рукам» могло бы служить подзаголовком. Это книга о героическом, самоотверженном труде строителей Новой Гуты под Краковом.

В отличие от предыдущих произведений в романе нет резонерствующего повествователя, излагающего и во многом домысливающего историю жизни центрального героя. Здесь рассказчик и герой слиты в одном лице. Крестьянский паренек, прибывший на большую стройку, вспоминает через двадцать лет незабываемые дни своей молодости. Дистанция во времени позволяет подняться до объективных, проверенных опытом оценок, волнующий рассказ непосредственного участника событий помогает воссоздать правдивую, объемную, полную реалистических подробностей и тонких наблюдений картину недавнего прошлого.

Далеко не всегда прямым и безмятежным был путь безымянного героя произведения. Наряду со счастьем переживания «святых часов» и «святых минут» вдохновенного, самоотверженного труда были личные обиды и тяжкие испытания, горечь столкновения с теми, для которых полноту счастья все еще определяло удовлетворение карьеристских устремлений и «святой заработок».

Как всегда у Кавальца, важная общественная проблема, характерные для определенного исторического периода конфликты преломляются через индивидуальный жизненный опыт и призму восприятия человека, вышедшего из деревни. Хотя герой и покидает навсегда родные места, становится рабочим, связь с деревней у него не обрывается. Продолжает жить любовь к земле, болью в сердце отзывается необходимость уничтожить посевы на полях, превращенных в строительную площадку. Гордость строителя и воспитанные веками ощущения крестьянина-хлебопашца сливаются воедино.

Кавалец, воссоздавая жизненный путь и переживания своего героя-рабочего, весомо и отчетливо, не обходя острых углов и

трудных ситуаций, рисует отдельные приметы суровой действительности первых послевоенных лет — лопата и кирка, кладка стен вручную, барак с нарами, бутылка самогона в торжественных случаях и складной нож как средство защиты и своеобразно понятого самоутверждения... На дне рва, где приступают к рытью котлована, начинает герой свой жизненный и профессиональный путь. Здесь он встретил свою единственную любовь, здесь же потерял сына и сам был тяжело ранен мелким, мстительным, ревнивым человеком. Привычная с детства земля, но уже в новом обличье, выступает своеобразным символом важных, определяющих вех в жизни героя, в становлении его сознания, в формировании личности.

Отношение к труду — вот мерило, с которым герой романа «Переплывешь реку» подходит к себе, к товарищам, ко всем тем, кто его окружает. «Родители не могли оставить детям в наследство ничего другого, кроме трудолюбия,— отметил однажды Кавалец.— Речь идет о лучшем виде трудолюбия, таком, которое требует не только работы мышц, но и вовлекает — порой целиком — все чувства человека в выполнение этой работы. Благодаря этому хорошо проделанная работа становится не только обязанностью, но и своеобразным творчеством, приносящим внутреннее удовлетворение. И вот такое именно отношение к труду, нашедшее великолепное выражение в первых послевоенных стройках, порождает моральные и этические последствия, целую жизненную философию».

Наибольшую ценность в глазах героя имеет труд — честный, самоотверженный и прекрасный. Отсюда симпатия и уважение к партийному руководителю, который «пришел ночью, в непогоду, в дождь и этим нас покорил: то, что он взял лопату и проработал с нами ночь, то, что мы видели его за тяжелым трудом в котловане, и то, что он утром тихо, не хвастаясь, ушел, значило больше, чем если бы он целый месяц говорил и распылял слова». Подлинным гимном труду звучит сцена рекордной кладки кирпича. Редко можно встретить в литературе столь тонкую и сдержанную по своей лирической тональности поэтизацию тяжелого физического труда, столь глубокое проникновение в сущность того, что отделяет обычное выполнение работы от свершения трудового подвига. Писателю удается найти необыкновенно емкие и точные слова для характеристики тех, кто «добровольно идет туда, где тяжелее всего», «удивительных, настойчивых молодых людей со значком Союза Польской молодежи, которые присягнули великой стройке во имя ее самой». Трезвый крестьянский ум научился производить отсчет нематериальным ценностям, воспитанная веками нужды привычка к накоплению под влиянием общей атмосферы энтузиазма и трудовой активности отступает.

Свойственная обычно Юлиану Кавальцу морализаторская тенденция в последнем его романе вполне уместна и художественно оправдана. Ведь повествование идет от имени пожилого человека, решившего подытожить важный и драматический период своей жизни. Многие страницы воспринимаются как своего рода исповедь, как волнующий отчет о пережитом никогда не виденному им сыну, как обращение к сегодняшним ровесникам сына — поколению двадцатилетней молодежи, которой он бы хотел передать в дар огонь творческого труда своих сверстников. От высказываний героя не веет, однако, тоской прописных истин, нравоучение не превращается в самоцель. Книга от первой до последней страницы наполнена трепетным дыханием подлинной жизни во всей ее красоте и сложности, в неожиданном, нередко трагическом повороте судеб. Непосредственности и естественности изложения способствует разговорное построение фразы, размышления и отступления, свободное, индивидуально окрашенное течение мыслей, характер ассоциативных рядов.

По единодушному мнению критики, Кавалец создал одно из своих лучших произведений. Особенно отмечается динамически представленный в романе процесс становления личности героя под влиянием трудового коллектива, грандиозность совершенного народом подвига.

В романе «Переплывешь реку» налицо то общечеловеческое и то конкретно-историческое содержание, которое дает представление о польской действительности середины XX века не менее полно и объемно, чем документально точный, богатый фактами материал.

ТАТЬЯНА ЯКИМОВИЧ

«Самая большая авария французской драматургии»

Трудно сказать, было ли случайностью, что Эжен Ионеско стал членом Французской Академии именно в январе 1970 года. Возможно, это явилось тогда своеобразным актом «коронации» наиболее «безопасной», демонстративно отказывавшейся от вмешательства в общест-

венные конфликты сферы искусства. Однако «триумф» Ионеско не способствовал возрождению «антитеатра», который начал утрачивать популярность уже в середине 60-х годов. Во Франции и раньше не было фундаментальных апологетических трудов о «театре абсурда». Как известно, международное «паблисити» создали ему иностранцы: англичанин Мартин Эсслин и его последователи. На пороге 70-х годов французская критика, которую майские события 1968 года научили прямоте и резкости социологических суждений, давала драматургам этого направления уничижительные оценки (следует подчеркнуть — критика разных оттенков).

Бывший сотрудник журнала «Театр популер» Жан Дювиньо в монографии «Спектакль и общество» (1970) говорит о «театре абсурда» как о «мертвой точке искусства», уже не подлежащей обсуждению. Театральный обозреватель газеты «Монд» Пуаро-Дельпеш упоминает теперь последние домайские постановки пьес Беккета, Вотье, Виана как доказательство «отмирания» целого этапа драматургии, как свидетельство конца «маниакального» театра, сделавшего «безумие» и «ожидание смерти» центральной темой искусства.

С другой стороны, подчеркивается «выдающееся значение» «антитеатра» для 50—60-х годов. Больше того, произведения Ионеско, Беккета, Жене издаются в серии «Классики французской литературы». Однако официальное признание имеет и свою оборотную сторону. Для многих оно означало, что перечисленных авторов отныне следует воспринимать в аспекте «прошлого», как представителей отжившей традиции. «Театр абсурда» перестал, по сути, быть «антитеатром» и тем более «театром авангарда». Симптоматично, что журнал «Кайе дю театр» в специальном номере, посвященном проблемам сценического авангарда (№ 6, 1971), исключает из этого понятия группу Ионеско.

Новая ситуация «театра абсурда» мотивирована исторически. Его кредо — разобществленное, асоциальное искусство, содержанием и формой подтверждающее отчуждение человека, искусство, не стремящееся быть понятым,— в условиях послемайской Франции быстро утрачивало смысл. Начиная с «весны 68-го» большинство мыслящих французов, независимо от их убеждений, тяготеет скорее к «коллегиальности», к объединению вокруг определенных идей. В соответствии с этим и на сцене французского театра возникают азартные, хоть и не всегда плодотворные мысли.

Можно допустить, что именно чувством оторванности от времени объясняется длительное творческое молчание наиболее «лирических» «антидраматургов» — Беккета и Жене. Так или иначе, конечный этап истории «антитеатра» требует серьезного разговора. С этим согласны все. Споры идут только о том, кто из «триумвирата» 50—60-х годов сохраняет сегодня большее значение.

«Радикальная» критика выделяет Жана Жене как драматурга, якобы ближе других стоящего к исканиям современного молодежного театра. В этом есть доля правды. Вопреки духовной пассивности, свойственной большинству персонажей «антитеатра», герои Жене наделены эмоциональной одержимостью, бурными страстями, которые порождают странные, порой патологические, но всегда острые сюжетные конфликты. «Театр Жене» — это по-своему театр эпический, в котором хотя и крайне субъективно, но достаточно прозрачно отражаются общественные процессы. Это драматургия динамического, эффектно-красочного действия, массовых сцен, словесного экстаза («Балкон», «Негры», «Ширмы»). Это театр скандала и мистификации — но не искусство холодной, как у Ионеско, или мертвенно-пессимистической, как у Беккета, «деструкции мира». Культ «спектакля-праздника», программа возврата к древним ритуальным торжествам — тезисы, предложенные некогда Жене,— постоянно встречаются сегодня в эстетических декларациях «левых» театральных деятелей.

В 1972 году во Франции вышел большой сборник, посвященный творчеству Жене и постановкам его пьес. Распространяются слухи, будто бы автор «Ширм» бросил писать, так как он отдает все свое время движению «черных пантер» в США. Но пока Жене-драматург молчит, его наследие остается законсервированной художественной сферой, музейным экспонатом этой антиклассической «классики XX века», объектом произвольных аналитических трактовок.

Во Франции принято говорить, что Сэмюел Беккет представляет «королевскую дорогу» «театра абсурда», его морально-философскую вершину. При этом, естественно, далеко не все критики склонны замалчивать патологический смысл его творческой программы. Так, профессор Сорбонны Жак Рабише недавно писал, имея в виду прежде всего автора «В ожидании Годо»: «...драматурги навязывают зрителям кошмары отчужденности, раздавленности, животного страха смерти. Если мы поверим подобным авторам, то станем беспомощными людьми, отданными во власть бредовых идей». Другой французский критик отмечал архаичность подобных пьес, так как зритель ищет теперь в каждом значительном спектакле отзвуков «митинга на стадионе Шарлети в майские дни 1968 года».

Награждение Беккета Нобелевской премией 1969 года вызвало поток новых работ о его романах и пьесах. Небогатую, в сущности, смысловыми нюансами философию Беккета критика окружила радиальной сетью комментариев, соотносящих ее с самыми различными сферами современной западной идеологии. Однако автор «В ожидании Годо» по-прежнему утвер-

ждает: «Мне нечего сказать, и только я один могу сказать, до какой степени мне нечего сказать». Эта идея теперь, по-видимому, все больше овладевает писателем. Уже в первой своей пьесе Беккет лишил логики мысли и поступки Владимира и Эстрагона. В «Конце игры», «Счастливых днях», «Комедии» он обрекает человека на неподвижность. Изобретает диалог, состоящий «из слов и молчания» («Последняя лента Крэппа»). Теперь Беккет лишает своих бездействующих «героев» даже языка. Само слово «драма» становится при этом ненужным, и французская критика предлагает для его произведений специальный уменьшительный термин «dramaticule». «Dramaticules» Беккета 1967—1970 годов («Пролог», «Вздох») длятся на сцене лишь несколько десятков секунд. Действие заменено в них зрелищем груды обнаженных человеческих тел, каких-то обломков, освещенных мигающим светом, шорохами, шелестом, вздохами.

Анонимный автор статьи в польском журнале «Диалог» (№ 2, 1970) писал: «Здесь изображается драматическая картина мира, каким видит его Беккет. Мира гнетущей тоски и безмерных разочарований». Такую же «модель» мира писатель-модернист воспроизвел в прозаическом фрагменте «Le Dépeupleur» (1970) — необычайно выразительном пластически и чудовищном по идее описании немой человеческой толпы, бессмысленно мечущейся в замкнутом пространстве и обреченной на неизбежную гибель.

Ужасающей тоской веет со страниц новой публикации Беккета. Может быть, эта образная проекция «массовой смерти» является некой реакцией Сэмюела Беккета на кровавую разрушительную стихию империалистических войн и духовную пустыню буржуазного образа жизни? Как бы там ни было, но ракурс художественного видения действительности неисправимо искривлен у него идеалистической «абсурдистской» позицией.

Сегодня Сэмюел Беккет — фигура «монументальная», но обращенная в прошлое. Это памятник целой эпохи искусства, ставшей уже днем вчерашним.

В новых исторических условиях еще более резко обнаруживается различие темпераментов двух лидеров «антитеатра». Эжен Ионеско в последнее время стал еще более многословно-агрессивным в публицистике, мемуарах, в псевдоэпической драме и эстетических декларациях. После пьесы «Жажда и голод» (1965), открывшей ему двери «Комеди франсэз», Ионеско в значительной мере утратил поддержку той части «левых» интеллектуальных кругов, которые увлекались когда-то его ранними одноактными пьесами и «Носорогом». Избрание в Академию вызвало насмешки и нарекания со всех сторон. Ионеско обвиняли в обыкновенном мещанском чванстве, в корыстолюбии, в заискивании перед «буржуазией», в том, что он пытается пролезть в «авангард бомонда», обслуживать своих новых клиентов с помощью «высокого стиля», «возвышенных сантиментов», «христианского гуманизма». Ионеско утратил какое бы то ни было чувство меры, ему не хватает газет, чтобы в своем бешенстве мелкого буржуа шельмовать все подряд: Брехта, профессоров, театр, политику, прогрессивную интеллигенцию, «май 68-го». Он позволяет себе расистские выпады на уровне самых грязных листков, утверждал французский театровед Жиль Сандье в книге «Театр и борьба» (1970). Сандье еще в конце 1969 года предсказывал Ионеско творческий крах как литератору, для которого не существует «ни истории, ни общества, которым владеет паника и злоба затравленного зверя». Критик называл феномен Ионеско «самой большой аварией французской драматургии».

Во второй половине 60-х годов Ионеско в Париже ставили не слишком часто. В сезоне 1968/69 годов, помимо неизменных «Лысой певицы» и «Урока» (театр «Ла Юшетт»), тут можно было увидеть пьесы «Амедей, или Как от него избавиться» (театр «Де Пош»), «Король умирает» («Атеней»), «Убийца не для заработка» (театр марионеток), «Картина» на летней сцене «Вье Коломбье» и некоторые другие повторные спектакли, тонувшие в репертуарном потоке столицы.

Ионеско снова обратил на себя внимание международной театральной общественности пьесой «Игры в убийство». По желанию автора премьера состоялась в Дюссельдорфе (1970), где в предыдущие годы с успехом демонстрировались «Носорог», «Воздушный пешеход», «Жажда и голод». Той же осенью «Игры в убийство» увидели и парижане.

Пьеса неожиданна для «антитеатра» по структуре. Она динамична, многофигурна, насыщена действием и состоит из 18 коротких эпизодов-«микродрам». Тут есть также хореографические вставки и «хоральные» массовые сцены. Это уже вовсе не «камерный», а, так сказать, «эпический» Ионеско, что с необыкновенной изобретательностью использовали талантливые режиссеры немецкого и французского спектаклей. Характерно, что именно «экстратекст», то есть внешний сценографический комплекс спектаклей, прежде всего привлекал критику и публику. Рецензенты писали: «Чудовищное величие», «потрясающее зрелище». Что касается оценки авторского литературного текста, то наряду с нестройным хором официальных комплиментов драматургу-академику звучали и ядовитые сольные реплики: «Уровень Ионеско ниже какой бы то ни было философии», «убогий текст», «монотонная игра марионеток».

На первый взгляд, единственная тема «Игр в убийство» — неизбежность смерти. Тема, бесконечное число раз повторявшаяся в мировом фольклоре и литературе.

Сам Ионеско обращался к ней начиная с «Урока», где старый Учитель вспарывает живот Ученице, доведенной до беспамятства потоком его нелепых вопросов. Затем были загадочный труп в «Амедее», бессмысленная смерть героя пьесы «Убийца не для заработка» и абсурдистский «психоанализ» агонии («Король умирает»). Но до 1970 года разговор о смерти вуалировался у Ионеско параболическими ситуациями, традиционными для «антитеатра» поисками фантастического в обыденном. К тому же речь шла всего лишь о судьбе индивида. В новой пьесе автор делает попытку осветить преследующую его тему в более широком плане.

В каком-то городе, в какой-то момент вспыхивает эпидемия. Люди умирают в постелях, на улицах, в учреждениях. Смерть безжалостно косит детей, взрослых, стариков — людей всех классов, профессий, взглядов, темпераментов, слабых и сильных, бедных и богатых. Это наглядно демонстрируют на сцене несколько десятков персонажей. Ионеско не скупится на «душераздирающие» эффекты. Последняя реплика спектакля: «Мы все попали в капкан, как крысы!» Затем следует сцена грандиозного, испепеляющего все на своем пути пожара. Причем в специальной ремарке автор предлагает создать с помощью прожекторов впечатление, что пламя охватывает зрительный зал и все выходы из него...

«Игры в убийство», как и «Le Dépeupleur»,— произведение о современности. И обращение двух «великих» «антидраматургов» к этой теме симптоматично для всей «школы». Но все же разница между ними очень заметна.

Метафизическая тоска Беккета перед лицом непонятной ему действительности — выражение распада буржуазной идеологии, и даже в самых уродливых метафорах драматурга ощущается болезненный душевный надлом.

Ионеско в своем зловещем нигилизме не только циничен, но и особенно опасен в силу заметного идеологического нажима на зрителя. Разговоры о безыдейности «антитеатра» всегда были мифом. Но если прежде Ионеско предлагал зрителю позицию мнимой «асоциальности», то теперь он явно тяготеет к навязчивой политической морализации.

Ганс Швоб-Фелиш — один из первых исследователей и популяризаторов французской «антидрамы» в ФРГ, рецензируя дюссельдорфскую премьеру, называл философию новой пьесы Ионеско банальной, а его политические рассуждения по меньшей мере наивными. Хеннинг Ришбитер разглядел идейную реакционность «Игр в убийство» и позволил себе отметить вредность «политической глупости» их автора. Французский театральный обозреватель Клод Оливье усматривает в новой пьесе Ионеско злостную профанацию проблем человеческого существования и общественной жизни.

Но следует отдать должное «театральному инстинкту» первооткрывателя «антидрамы». Идейно убогий, гораздо более блеклый и монотонный, чем в ранних пьесах, текст «Игр» все же подогревал сценографическое воображение. Наблюдательный Пуаро-Дельпеш иронически писал по этому поводу: «Казалось бы, о смерти уже давным-давно все сказано. Но благодаря экстравагантности и прирожденной театральности своих навязчивых идей Ионеско «совершил чудо». Обыденной трагедии умирания человека он сумел придать привкус сенсационности, эффектности, скандала!»

Не случайно в некоторых отзывах о спектакле подчеркивается его холодная гротескность. «Танец смерти» Ионеско обыгрывается явно саркастически. Многие диалоги, реплики, каламбуры, ситуации некстати воскрешают ранние «абсурдистские» клоунады. Вот один из примеров. Эпизод пятый — разговор двух прохожих на улице:

«ПЕРВЫЙ ПРОХОЖИЙ: Когда я выходил из дома своих друзей, их было двое. Купив газету, я вернулся к ним и увидел на полу одиннадцать трупов.

ВТОРОЙ ПРОХОЖИЙ: Как же им удалось размножиться?

ПЕРВЫЙ ПРОХОЖИЙ: Вот это и нужно обязательно выяснить: размножились ли они еще при жизни или же уже после смерти? И, главное, это ведь произошло за каких-нибудь пять минут.

ВТОРОЙ ПРОХОЖИЙ: А может быть, они сделали это с помощью машины?»

Ионеско сознательно обезличивает и «кретинизирует» своих персонажей.

Уже в конце первого эпизода вся сцена, по замыслу автора, должна была быть усеяна трупами. И среди крика, гама, в сопровождении нелепых замечаний, абсурдных претензий, диких обвинений, чудовищных исповедей, идиотических реплик падают один за другим в страшных конвульсиях все актеры. Юмористический Апокалипсис. Комическая сцена Страшного суда. Для большей пикантности Ионеско вводит в эту инфернальную «оперу-буфф» загадочную фигуру «Черного Монаха», который появляется на сцене перед каждым новым актом смерти.

В целом, однако, произведение не имеет в себе ничего мистического. Более того — это, собственно, первая «злободневная» пьеса Ионеско. Внешней темой и ведущей интригой «Игр» остается рецидив хорошо известной докучной «философии» «театра абсурда»: «такова жизнь — человек умирает». Отсюда вытекает второй «классический» тезис «антитеатра»: бесцельность каких бы то ни было творческих и гражданских начинаний перед лицом смерти. Однако на этот раз Ионеско обрамляет «универсальной» темой смерти вполне конкретные проблемы действительности.

В пьесах 50—60-х годов драматург почти не касался общественных реалий, детер-

минирующих судьбу личности. В «Убийце не для заработка» их воплощал символический персонаж, в «Носороге» — анималистическая метафора. «Игры» переполнены ситуациями, спорами и намеками, в которых угадываются признаки социальной борьбы и духовного климата современной эпохи. Конечно, все это транскрибировано в обычном для автора «Лысой певицы», подчеркнуто-оглупленном, мнимо-наивном стилистическом ключе. Кстати, эта манера позволяет Ионеско в нужных случаях принижать насмешкой чужие мысли и поступки.

Два оратора разных политических лагерей обращаются в «Играх» через головы других актеров к публике с одинаково нелепыми лозунгами «за» и «против» существующего строя. Смерть настигает обоих. Политический узник-революционер, воспользовавшись эпидемией, бежал из своей камеры, чтобы продолжать борьбу, но сразу же утонул в тюремном рву и был съеден чумными крысами... Богачи считают, что эпидемия распространяется на город из голодных и грязных окраин, бедняки — что богачи мрут оттого, что слишком много едят и пьют. В заключительном эпизоде пьесы на сцене — возбужденная до безумия толпа. Люди ничего не понимают и сами не знают, чего хотят. Громкие возгласы: «Кто отвечает за нашу нищету? Виновато правительство! Виноваты мы сами! Нет виноватых! Захватим муниципалитет! Долой муниципалитет! Да здравствует муниципалитет!»

Позиция Ионеско вполне определенна. Это ясно из сцены в тюрьме, из эпизода с ораторами, из кадра с разгромом магазина городской беднотой, по выражению Ионеско — «грубыми и жестокими отбросами общества». Но это еще не все. Специально для парижского спектакля Ионеско написал дополнительную сцену — возмутительный пасквиль на народное движение. Несколько изголодавшихся женщин из «нижних» кварталов окружили чиновника муниципалитета и с угрозами требуют хлеба, сахара, мяса. Они единодушны в своей ненависти к богачам, присвоившим себе все. Чиновник спасается бегством. Тогда, ослепленные голодом и злобой, женщины набрасываются на грудного ребенка одной из своих товарок. Свифтовская тема, но чудовищно и преступно повернутая против народа... Ионеско недвусмысленно назвал эту вставку «Каннибалы». Стоит напомнить, что она полностью отвечает провокационным публицистическим оценкам «весны 68-го» в его книге «Прошлое и настоящее», в которой говорилось, что любая борьба за экономические и социальные права превращает человека в животное, в кретина и т. п.

Жиль Сандье оказался плохим пророком, предсказывая в 1969 году неизбежную творческую катастрофу Ионеско после его разрыва с «гуманистической темой Беранже». Изобретатель «Лысой певицы» принадлежит к литераторам, умеющим бороться за успех, к мастерам саморекламы. В ту пору, когда среди буржуазной интеллигенции Запада господствовала мода на некоммуникабельность и безыдейность, Ионеско создал канонизированную версию «антидрамы», сценическую реализацию «антиидеологии». Послемайская Франция не настраивает на отчуждение, и пьеса «Игры в убийство» показала, к какому из политических лагерей присоединился новоиспеченный «бессмертный».

Рецензент польского двухтомника сочинений Ионеско К. Волицкий проницательно заметил, что его драматургия становится своеобразным вариантом «поп-искусства» для «интеллигентного» обывателя Запада. Эту мысль великолепно демонстрирует и новая пьеса Ионеско «Макбетт» (1972).

В атмосфере всеобщей заинтересованности общественными проблемами Ионеско тоже перестает быть «драматургом вне времени». Знаменательная метаморфоза: писатель, прежде пытавшийся перечеркнуть всю театральную традицию, теперь обратился к шекспировской фабуле. А впрочем, для критиков это не было неожиданностью. Ведь Ионеско уже во второй половине 60-х годов пользовался уроками классического наследия. Средневековый сюжет отнюдь не мешает ультрасовременному замыслу Ионеско, а текст Шекспира, при отношении к делу автора «Макбетта» через два «т», тоже его не связывает. Прежде чем перейти к рассмотрению «Макбетта», нужно оговориться: здесь возможны не параллели, а только противопоставления. Шекспир остается великим гуманистом Возрождения, Ионеско — «интеллектуальным» циником XX столетия.

Впрочем, следует отметить, что Эжен Ионеско наконец открыто взялся за писание «проблемных» пьес. Во вступлении к программе спектакля в театре «Рив-Гош», где впервые играли «Макбетта», автор заявил, что в новом произведении он прежде всего анализирует преступную психологию политического честолюбия, стремления к власти.

Ионеско, видимо, сильно задевали упреки в вялости и недостаточной оригинальности его предшествующих пьес («Жажда и голод», «Игры в убийство»). Поэтому в «Макбетте» он снова обращается к «абсурдистским» диалогам, сомнительным каламбурам, нагромождает «пирамидальные нелепости». В результате — еще одна ионескианская травестия, галлюцинаторный фарс, точнее, кровавый водевиль с игровыми элементами мюзик-холла и кабаре. В некоторых случаях эти приемы «хитро» направлены на усиление авторской вывороченной наизнанку «историософии». В других — превращаются в обыкновенный дешевый балаган.

«Макбет» Шекспира — трагедия о борьбе добрых и злых начал в человеческой среде и в сознании отдельной личности.

Смысл и характер этой внутренней борьбы обусловлен жестокими нравами феодальной Англии.

В «Макбетте» Ионеско авантюризированная псевдоистория служит фоном для «универсальных» теоретических выкладок автора. История и современность, человек и общество — все представляется Ионеско бессмысленно жестоким, безнадежно абсурдным, достойным только насмешки и словесного оплевания. Добра не существует.

Ионеско не волнует внутренняя драма Макбета. Он включает его в разряд «мятежников», «революционеров», восстающих против деспотов, но с самого начала потенциально готовых стать в свою очередь тиранами.

«Народные» сцены написаны в манере комедийного мюзикла и выдержаны в духе всего представления. После разоблачения Макбетта вдовой короля Дункана (персонаж, вымышленный Ионеско) хор его гостей поет: «Да здравствует Макбетт! Долой Макбетта! Да здравствует Макбетт! Долой Макбетта! Да здравствует леди Дункан! Долой леди Дункан!» и т. п. Победителя Малькольма народ встречает бурными возгласами: «Да здравствует Малькольм! Долой Макбетта!» Но эти восторженные крики прерывает дикий рев нового монарха: «Молчите, глупцы, пока я не приказал солдатам избить вас дубинками, не натравил на вас псов!»

Война, смерть, жестокость... В пьесе Ионеско эта тема звучит беспрерывно. Она разрастается в уродливую гиперболу, имеющую, однако, не столько трагический, сколько абсурдный и саркастический подтекст. Дважды почти дословно повторяется монолог об «ужасах войны». Его по очереди произносят Макбетт и Банко, вспоминая о битвах с врагами:

«Острие моего меча красно от запекшейся крови. Целые дюжины их я убил собственной рукой. Двенадцать дюжин офицеров и солдат, которые не причинили мне никакого зла... Тысячи других погибли в пламени, когда я приказал поджечь леса, где они искали убежища. Десятки тысяч мужчин, женщин и детей задохнулись в подвалах, под руинами домов, взорванных по моему приказу. Сотни тысяч утонули в канале Ла-Манш, куда они бросились, пытаясь переплыть на другой берег. Миллионы погибли от испуга или наложили на себя руки. Десятки миллионов других умерли от злости, тоски или апоплексии. Уже не хватает земли, чтобы хоронить трупы. Распухшие тела утопленников выпили всю воду из озер, которые их поглотили. Нет больше воды... Не хватает и хищных птиц, которые освободили бы нас от трупов. Но еще не все наши враги уничтожены. Они и до сих пор оказывают сопротивление. Нужно, наконец, покончить с этим. Отрубленные головы наших врагов плюют на нас и нас проклинают. Руки, отсеченные до туловища, продолжают рубить мечами и стрелять из пистолетов. Оторванные ноги поддают нам в зад...» и т. п.

Один из рецензентов премьеры в театре «Рив-Гош» уместно противопоставлял этим двусмысленным, циническим тирадам гуманистическую мысль Жироду в его драме 1935 года «Троянской войны не будет», которая и сейчас остается украшением прогрессивного театра.

Гротескно-развлекательная тенденция пьесы-пародии Ионеско наиболее демонстративно воплощена в приключениях леди Макбетт, которая фигурирует также в ролях первой ведьмы и леди Дункан. Вырядившись в бикини, она сначала соблазняет генерала Макбетта, а потом — вместе с ним и Банко — убивает старого короля. В день свадьбы с Макбеттом «прекрасная дьяволица» снова превращается в страшную ведьму и улетает на шабаш.

Немало критиков, писавших о парижской премьере, отрицательно отнеслись не только к содержанию, но и к стилю пьесы. Они возмущались ее трафаретными, балаганными эффектами, высмеивали каламбуры, «заимствованные из старых календарей». «Идея» Ионеско никак не могла импонировать мыслящему зрителю. Что же касается формы, то уже давно прошли времена, когда черный юмор «антитеатра» поражал, а кое-кого и увлекал своей необычностью. К тому же сценическая фантазия Ионеско явно отстает от новейших вкусов в области «шокового» театра в духе Аррабаля и т. п., а с другой стороны — от бравурной сценографии и виртуозной изобретательности некоторых молодежных спектаклей.

Ионеско в новом амплуа академика и «классика» французской драматургии снова приобретает значительную популярность. Однако характер этой популярности отличается от того интеллектуального и эстетического интереса, который возбуждали в свое время «Стулья» или «Носорог». Теперь произведения Ионеско во Франции, наряду с боевиками «бульварной» бытовой комедии, становятся объектом выгодного театрального бизнеса. Их распространяет, например, известная коммерческая фирма «Гала Карсенти-Эбер», которая «прогуливает» прошлогодние столичные бестселлеры на периферии.

По глубине своего исторического, философского, социально-эстетического и психологического содержания шекспировский «Макбет» принадлежит к величайшим шедеврам мировой драматургии. Разнообразные адаптации и сценические трактовки «Макбета», так же как театральная «гамлетиана», стали материалом специальной отрасли научного шекспироведения. Незадолго до того, как Эжен Ионеско выступил со своей «версией», в английском журнале «Тиэтр квотерли» (июль — сентябрь 1971) появилась большая подборка статей, посвященных обработкам и инсценировкам «Макбета». Обзор начинался со спектаклей времен Реставрации и заканчивался 1970 годом. Казалось бы, тут представлены всевозможные идеологические версии, от гуманистической до фрейдистской, все художественные стили и сцено-

графические манеры, от ренессансной и классицистической до американских модернистских сенсаций. За триста лет своих сценических странствий «Макбет» интерпретировался и как историческая трагедия, и как детективный бестселлер, и как слезливая мелодрама. Но, как видим, изобретатель «антитеатра» избрал путь откровенного фальсификаторства.

История «театра абсурда» не может считаться законченной хотя бы потому, что плеяда его создателей и последователей не оставляет пера. Об этом говорит тот факт, что после Ионеско «Комеди франсэз» пригласила на свою сцену Робера Пенже, Рене де Обалдья и других. Определенное влияние тематики и поэтики «антитеатра» чувствуется порой даже в студенческом театре. Но движение «антитеатра» в целом, несомненно, исторически обречено.

ЖАК ФРЕМОНТЬЕ

Слово — рабочим «Рено»

Отрывки из книги «Рабочая крепость: «Рено»

В десяти минутах ходьбы от площади Звезды, как свидетельствует реклама, рассчитанная на счастливчиков с состоянием, начинается мир непривилегированных, мир «неудачников», которые говорят на особом языке, мир грязных рук — особый мир. Булонь-Бийянкур — единственная территория Франции, в чьем названии половина обращена к богачам, а другая — к беднякам. Первые живут в Булони, вторые работают в Бийянкуре. Соединительная черточка выполняет здесь разъединительную функцию.

Вокруг мэрии, на площади радиусом в несколько сот метров, собраны все «символы» нашего общества: частные отели с видом на лес, где четыре персоны (не считая слуг) занимают пятнадцать комнат, и ночлежки, где пятнадцать африканцев спят по очереди в одной комнате; элегантная клиника, в которой рождаются будущие генеральные директора-президенты, и кузнечный цех, в котором в 1969 году двенадцать рабочих умерли от переутомления.

Однако два мира остаются взаимонепроницаемыми; Булонь-Бийянкур живет по законам самого сурового апартеида. Ни один буржуа не решится появиться на авеню Эмиля Золя или улице Ив Кермен; ни один португалец, ни один алжирец не остановится возле неоновой вывески ультрамодерного кафе «Аркуэст».

Бантуленд — индейская резервация; гетто Бийянкура — так называют «Рено»: место наибольшей во Франции концентрации рабочих (38 000 человек на 1 073 500 кв. метров).

Муравейник оживает в определенные часы; к 6.15 там метро выталкивает толпы хмурых людей — жителей далеких окраин, трущоб, где обитают африканцы: утренняя смена. Через час — немного лучше одетые, менее измученные, не столь многочисленные, иногда за рулем собственного автомобиля — появляются полупривилегированные, те, которые работают «нормально», не меняя расписания. Еще через три четверти часа на работу следуют служащие, инженеры, техники.

В два часа дня негры сменяют негров, кабилы — кабилов, утренняя смена уходит, заступает вечерняя. 17.30: «полупривилегированные» добираются до своих муниципальных квартир. 18 часов: работники, получающие зарплату помесячно, садятся в свои автомобили. На заводе, где уже вспыхнули прожекторы, остаются одни только обездоленные, говорящие с иностранным акцентом. В ту минуту, когда закрываются кинотеатры, наконец пустеет Бийянкур. Пламя в печах поддерживают парии, которые скребут и моют,— последний круг, каста неприкасаемых.

В путеводителе вы прочитаете, что в изломе Сены возле самого Парижа расположен остров площадью 115 000 кв. метров. Вы, наверное, представите зеленый массив или водную станцию... Напрасно. Несколько десятилетий назад господин Луи Рено решил иначе. Там, где могли бы отдыхать тысячи детей, 10 тысяч рабочих трудятся на конвейере. Во времена Луи Рено это место называли «каторгой Сеген». Теперь говорят просто «остров».

Напротив острова, зажатая между двумя стоянками для автомобилей служащих,— частная дорога, ведущая к директорскому «дворцу»: неуклюжему строению в стиле начала века. (После разгрома фашистов Луи Рено был арестован как коллаборационист, а предприятие национализировано.)

Государственные заводы «Рено» — гигант-

ское предприятие: первое во Франции по своему торговому обороту (8,5 миллиарда франков без филиалов; 12 миллиардов в целом [1]), первое по объему экспорта (530 000 автомобилей), первое по числу работников (85 000 человек без филиалов, из них 38 000 в Бийянкуре; 111 700 в целом), здесь изготавливают ежегодно 1 009 000 автомобилей, что обеспечивает надежное восьмое место в мире. Но для автора главным является то, что «Рено» — всегда в авангарде борьбы рабочего класса за свои права. Это, так сказать, традиционная рабочая крепость. «Когда «Рено» чихает, Франция простуживается».

Почти 120 рабочих «Рено-Бийянкур» согласились ответить на вопросы моей анкеты. Невозможно, да и нет нужды, уточнять количество коллективных интервью: несколько фраз, мысль, высказанная в споре, могут оказаться более ценными и важными, чем двухчасовой монолог.

120 «героев» этой книги — 120 из 38 000— избраны не случайно. За каждым из них стоят сотни других. Тщательный отбор позволил воспроизвести почти полный портрет заводского труженика наших дней. В книге представлена огромная масса неорганизованных рабочих, а также члены самых разнообразных профсоюзов — от влиятельнейшей Всеобщей конфедерации труда до самого малочисленного «независимого». Читатель найдет здесь все оттенки политической радуги — от маоизма до голлизма, включая разнообразные левые группировки: от мощного отряда коммунистов до пестрой мешанины социалистической партии. Представители всех профессий, занятых на производстве — от чернорабочего до инженера — выпускника политехнического института, высказали свое мнение. Североафриканцы, негры, португальцы, испанцы представлены так же широко, как и французы... Есть все основания утверждать, что в Бийянкуре не найдется рабочего, который бы не узнал в книге своего «двойника».

Вероятно, кое-кто удивится, не найдя здесь образов, которые в последнее время составляют предмет особых забот социологов и журналистов. Рабочие-техники в белых халатах, расшифровывающие и вновь шифрующие, дающие задания умным машинам, составляют незначительное меньшинство; речь идет о традиционном заводе с многочисленным персоналом, в большинстве своем малоквалифицированным.

Однако не следует искать здесь и люмпен-пролетариев. Париж платит лучше, чем провинция, автомобиль стоит дороже, чем текстиль, «Рено» — благодаря национализации — платит больше, чем «Ситроен». Никто, по крайней мере в цехах, не зарабатывает меньше 1000 франков в месяц.

На протяжении последних двадцати пяти лет буржуазия стремится превратить Бийянкур в аванпост «нового общества»: она действует как при лесном пожаре, когда нарочно выжигают целые участки леса, чтобы остановить огонь.

...27 марта 1970 года профсоюзы подписали с дирекцией соглашение — важнейшее после освобождения от фашистской оккупации: постепенный перевод рабочих со сдельной на помесячную оплату, определенные гарантии ее покупательной способности, постепенное внедрение системы организованной переквалификации за счет администрации.

(В ответ на это соглашение буржуазная пресса вновь заговорила о коренной перестройке отношений между трудом и капиталом на предприятиях, о «новом обществе», способном соединить экономическую эффективность и социальную справедливость. Однако 1 декабря 1970 года два самых крупных профсоюзных центра страны — Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) и Французская демократическая конфедерация труда (ФДКТ), объединяющая главным образом рабочих и служащих — католиков, договорились о сотрудничестве на всех уровнях в борьбе за общие требования. Это знаменовало начало нового тура активной борьбы трудящихся за свои права.— **Ред.**)

Однажды мне пришлось видеть телепередачу, где ведущие — два студента-политехника — долго толковали зрителям о «равных возможностях».

Я предпочитаю цифры.

Из 1000 юношей и девушек, чьи родители — «люди свободных профессий и высокопоставленные чиновники»,— 570 учатся в вузах; из 1000 детей рабочих — только 34.

В 1963 году в лицеи поступило 11 процентов детей сельскохозяйственных рабочих, 16 процентов детей промышленных рабочих, остальные 75 процентов составляли дети высокооплачиваемых служащих, врачей, адвокатов и т. п.

Действующая во Франции система образования предполагает чрезвычайно раннее определение будущего социального положения человека — обреченность и социальную обусловленность жизненного пути будущих рабочих. К 11 годам ребенок заканчивает пять классов начальной школы. Далее — обучение в лицее или коллеже либо на дополнительных курсах при начальной школе. Первые во Франции именуются «буржуазным», вторые — «народным» образованием. По реформе Фуше, осуществленной в период V республики, около 30 процентов выпускников начальной школы должны завершать свое образование в учебных заведениях «практического цикла», овладевая «профессиями» чернорабочих и специализированных рабочих низшей квалификации. 40 процентов детей попадают в учебные заведения «короткого цикла» и станут специализированными рабочими, а если повезет, окончат технический коллеж и получат свидетельство о профессиональной подготовке

[1] Все приведенные в тексте статистические данные относятся к 1969 году.

квалифицированного рабочего, мастера или служащего. И «практический», и «короткий» циклы закрывают путь в высшую школу, куда могут поступать только те, кто в одиннадцатилетнем возрасте оказался в школе «полного цикла».

Однако не следует торопиться с выводом, будто рабочий класс ныне заперт в некоем культурном гетто. Достаточно, мол, разрушить стены гетто, «дать народу образование», чтобы освободить его от цепей. Подобные рассуждения — только попытка скрыть самую глубину отчуждения, утаить суть капитализма, которому нужны рабочие руки, приводящие в действие его машины, но не интеллект, оспаривающий его систему.

В действительности существует настоящая рабочая культура. Рабочие Бийянкура не читают Софокла, не знают «Общей теории» Кейнса, не посещают парижских театров. Но они очень часто владеют системой исторических и философских взглядов — лучше или хуже сформулированных,— которые дают им возможность анализировать окружающий мир, понимать суть повседневных событий, противопоставлять свои методы борьбы изощренной стратегии тех, кто их эксплуатирует.

Настоящая рабочая культура может родиться только в народе, и только народ может быть ее творцом. В буржуазном обществе она рискует выступить в качестве субпродукта империализма — субкультуры для отсталых детей.

Культурное отчуждение может преодолеть лишь борьба трудящихся, которые рассчитывают не на помощь благодетелей из буржуазной среды, а на свои собственные силы и свое собственное оружие.

Отчуждение знакомо им с детства. Большинство рабочих государственных заводов «Рено» никогда не учились. Завод — вот их единственная школа. Здесь они овладели азами своей профессии, здесь они борются сегодня за усовершенствование своего мастерства, повышение культурного уровня. Только среди молодежи встречаются счастливцы, посещавшие общеобразовательный коллеж или технический лицей. Но почти все они остановились на полпути.

«Я дошел до пятого класса. Мой отец — СР на «Рено». Когда мне исполнилось четырнадцать, я вынужден был пойти на завод учеником». (Р., 20 лет, КР, слесарь.)

(Квалифицированные рабочие (КР) и специализированные рабочие (СР) составляют две крупнейшие группы промышленного пролетариата.)

«До 14 лет я учился в техническом коллеже. Потом учился на «Рено». С тех пор работаю на заводе». (Ролан Ж., 28 лет, технический работник.)

Многие осознают социальную дискриминацию, вынуждающую людей бросать учебу.

«Так получилось. Нужно было работать. Вот почему я согласен со студентами, которые защищают право детей рабочих на образование... Был у нас паренек, изучал искусство и ремесла. Он тоже вынужден был уйти: на стипендию не проживешь. Фортуна всегда благосклонна к тем, кто не знает нужды». (Ф., 22 года, КР, электромеханик.)

Мартина И., шестнадцатилетняя машинистка-стенографистка, лучше других характеризует хорошо смазанный механизм, удерживающий детей рабочих в рамках социального класса их родителей:

«Мне всегда нравилось рисовать. Я хотела бы, к примеру, стать декоратором. Мой отец — слесарь на «Рено», мама — продавщица универмага. Я нашла школу, где учат на декораторов, но она слишком дорогая, я не смогла долго посещать ее.

У меня было свидетельство об окончании первого цикла обучения, и я хотела держать экзамены на аттестат зрелости. Но в лицее не оказалось места, потому что классы уменьшили. Мои документы переслали в другой лицей, а там все повторилось сначала. Итак, я не имела возможности ни продолжать занятия, ни вернуться в школу декораторов. Отец узнал, что на «Рено» есть учебные центры, и послал меня туда».

Таким образом, шестнадцатилетняя девушка, читавшая много хороших книг, более образованная и культурная, чем многие ее ровесники, оказалась за пишущей машинкой: 500 франков в месяц.

Некоторые рабочие Бийянкура окончили среднюю школу, однако двери университета оказались для них закрытыми. История Андре Шастеля кажется мне наиболее показательной:

«Я — дважды бакалавр. До армии два года учился на филологическом факультете. После демобилизации вынужден был перебиваться. У меня не было ни денег, ни одежды. Разыскал приятелей, которые согласились одолжить... Пока учился, где я только не работал! У отца, сельскохозяйственного рабочего, одиннадцать детей, на помощь рассчитывать не приходится. А вообще трудовую жизнь я начал еще шестилетним, когда пошел пасти коров. Стипендия? Да, я получал ее, только недолго, пока не сдал экзамены на степень бакалавра. Осточертела такая жизнь!»

Среди рабочих-иммигрантов, особенно политических, немало людей с университетским образованием. Бакар Д. из Мавритании недавно подтвердил свой диплом юриста; Мануэль, португалец, учился в индустриальном институте. Теперь они работают на конвейере.

Кое-кто, стремясь во что бы то ни стало получить какой-нибудь аттестат, работает сверх меры. Так, наладчик Луи Д. получил свое свидетельство в 30 лет. Вильям Л. много лет мечтает об аттестате начальной школы, хотя не в состоянии окончить ее.

Однако он не отступается: «Скорее издохну».

Многие иммигранты совершенно неграмотны.

«Я никогда не ходил в школу. После гражданской войны мне исполнилось шесть лет. Отец четыре года провел в тюрьме. Мать пристроила детей при монастыре: нас одевали и кормили. Вместо того чтобы учить нас грамоте, монахини учили нас молиться». (Хуан Х., 37 лет, испанец, КР.)

М. Д., сенегалец, квалифицированный рабочий, гордо заявляет: «Я научился читать и писать во Франции».

Секретарь профсоюза, отпечатав страничку на машинке, просит своего заместителя, имеющего среднее образование: «Исправь мои ошибки».

Я иногда получаю письма от интеллектуально развитых рабочих, которые пишут в газеты, а иногда даже пишут книги: они провалились бы на пустяковом диктанте в четвертом классе.

Это — последствия социальной дискриминации, на которой зиждется наша система образования. Классовое обучение формирует классовую культуру, классовый язык.

Однако очень многие из них, угнетенных, сражаются, чтобы преодолеть это отчуждение. Вопреки графикам, темпам, условиям труда, вопреки усталости они овладевают знаниями, отвоевывают культуру, в которой буржуазное общество отказывает им.

Уже знакомый нам Вильям Л.— один из самых отчаянных в этой битве: «Каждый вечер я занимаюсь математикой и французским».

Другие стараются прежде всего получить настоящую специальность. Преодолевая преграды, возводимые на их пути обществом, они настойчиво продолжают свои занятия.

«Свидетельство о профессиональной подготовке чертежника я получил, работая у Пежо. Учился после работы, вечерами. Но несмотря на свидетельство, на «Рено» меня взяли простым рабочим. Практически у меня не было ни одного шанса на повышение. Тогда я записался в вечернюю школу «Рено». Я учил математику пять или шесть лет. За деньги, разумеется. Но без этого я никогда бы не получил место чертежника». (Ж., 38 лет, чертежник.)

«Меня взяли в качестве столяра, но я сразу понял, что у столяра на автомобильном заводе перспектив никаких, и начал учиться по вечерам. Только через десять лет мне удалось получить свидетельство о квалификации чертежника. Все эти годы я едва сводил концы с концами». (Сени С., 48 лет, француз гвинейского происхождения, чертежник.)

Кое-кто капитулирует, сохраняя, однако, надежду на реванш.

«С учебой у меня ничего не получилось. Я работал в бригаде и не мог свободно распоряжаться своим временем. Теперь условия труда изменились. Хотел бы возобновить занятия. В будущем году запишусь в школу — изучать техническое черчение». (Мохаммед Т., тунисец, СР, токарь.)

Курсы заочного обучения привлекают еще больше народу. Соблазненные рекламой, которая обещает им «настоящую специальность» или просто быстрое продвижение по службе, рабочие записываются, платят и тщетно ждут, когда же осуществятся обещания.

«Я учусь заочно на курсах механиков... Мне сказали, что после их окончания я могу стать мастером или техническим агентом. Не слишком жирно. А пока что учение стоит мне 120 франков в месяц». (Ален Х., 19 лет, СР.)

По сути дела, переподготовки, профессионального усовершенствования на «Рено» не существует. Только рабочие цехов, которые закрываются или остановлены на ремонт, могут рассчитывать повысить квалификацию за счет завода.

Самые сознательные рабочие требуют настоящей переподготовки, которая позволила бы им быть в курсе технических новшеств.

«Наше предприятие — национализированное, дирекция обязана обеспечить профессиональное обучение по новой технике». (Р. Ш., 43 года, КР, слесарь-наладчик.)

Некоторые пытаются собственными силами добраться до вершин знаний, в которых им отказывает общество. Однако совершенно очевидно: чтобы по-настоящему преодолеть культурное отчуждение рабочего класса, необходимо гигантское усилие всего общества, необходимо, чтобы высшие учебные заведения изменили свой классовый характер, чтобы буржуазия отказалась от привилегий, необходимо, чтобы государственная власть перешла в другие руки.

Но разве сегодня культура сосредоточена в школе? В одной из телепередач американские психологи заявили, что 80 процентов знаний ребенок отныне получает в «параллельной школе»: на улице, из газет, радио, телепередач. Остается выяснить, может ли эта «наука» помочь рабочим Бийянкура преодолеть культурное отчуждение или же, напротив, только усилит его.

Цифры распространения прессы не вселяют оптимизма. «Паризьен либере» и «Пари-жур» составляют 78 процентов ежеутренней продажи. У меня есть большие сомнения относительно полезности этой интеллектуальной пищи для рабочих Бийянкура.

«Я читаю «Паризьен либере», газету консьержей. Иногда еще «Франс-суар». (Ризотто, 42 года, СР.)

«Я читаю газеты, но не очень внимательно. Кроме газет для автолюбителей читаю «Паризьен либере», преимущественно спортивные страницы. Я беру ее домой». (Даниэль О., 19 лет, СР.)

«Паризьен либере» встречает своего читателя чаще всего среди пожилых и наименее политически грамотных рабочих.

«Читаю «Паризьен», потому что там «Мики» и вообще всякая всячина». (Х., 62 года, сторож.)

На ту же «клиентуру» рассчитана «Паризур». Очень часто читателю все равно, какую именно из этих двух газет купить.

«Утром я читаю «Пари-жур» — чтобы убить время... Читаю также «Паризьен». (Жан Д., 46 лет, бригадир.)

Наиболее аполитичные читают ежедневную спортивную газету «Экип».

Многие покупают одновременно развлекательную газету и политическую, словно стараются уравновесить первое вторым.

Жан Р., слесарь, читает «Паризьен», «Пари-жур», «Монд» и «Юманите».

Немало и тех, кто не скрывает своего глубокого равнодушия к прессе, читает все, что попадет под руку.

«Я читаю почти все журналы. Покупаю «Орор» и «Юманите». Читаю «Фигаро», «Франс-суар», «Монд». Газеты покупаю, когда происходит какое-то важное событие — чтобы быть в курсе. У меня нет ни малейшего желания подписаться на какое-то одно издание». (Роже В., 41 год, чертежник.)

Радио и телевидение начали успешно конкурировать с прессой.

«Я не читаю газет. Всю необходимую информацию получаю по радио и телевидению». (Сени С., 48 лет, чертежник.)

Однако пресса отчуждения сегодня встречает все более яростный отпор со стороны самых сознательных рабочих.

«Я спорил с одним читателем «Паризур». Я сказал ему: «Ты льешь воду на мельницу наших врагов». Он ответил, что интересуется скачками и комиксами. «А что они дают для твоего воспитания?» — спросил я его.

«В этих газетах не найдешь ни одной строчки, которая бы звала к борьбе». (Жюль М., 56 лет, КР.)

«Франс-суар» иногда выносит на первую страницу заголовки, которые нас интересуют, а потом оказывается, что за ними не стоит ничего ценного». (Рашид Б., алжирец, 19 лет, СР.)

Следует отметить, что только Всеобщая конфедерация труда и Французская демократическая конфедерация труда воспитывают своих активистов в духе отпора буржуазной прессе: работа сложная, кропотливая, но без нее нечего и говорить об укреплении классового сознания.

Особое место занимает в Бийянкуре «Монд». Читающие ее делятся на две категории. Для одних она — символ социального прогресса, общественного продвижения, даже профсоюзной активности.

«Время от времени я читаю «Монд». Это очень интересно, но на чтение я трачу не менее двух часов. Слишком много! Хочется узнать обо всем, что происходит на свете, о событиях в Латинской Америке, ну, обо всем. Я интересуюсь также новостями искусства, читаю театральную критику». (Ж., чертежник, член ФДКТ.)

Но многие активисты настроены весьма критически к позиции этой газеты.

Приблизительно каждый четвертый активист каждое утро выкладывает 60 сантимов [1], чтобы приобрести орган своей партии — «Юманите». В киоск на Национальной площади газета Французской коммунистической партии попадает — среди своих утренних собратьев — предпоследней. Однако благодаря распространению на общественных началах, которое в зависимости от событий колеблется от 100 до 400 экземпляров, «Юма» наступает на пятки «Паризьен либере» и даже нередко обгоняет ее.

О своей верности единственной ежедневной рабочей газете Франции заявляют сотни, если не тысячи рабочих Бийянкура.

Редко от кого услышишь: «...никогда не читал «Юма».

Чтение «Юманите», как и «Монд», приобретает значение символа: ответить буржуазному журналисту, что ты читаешь «Юма», значит заявить о своем классовом сознании, противостоять влиянию прессы господствующих слоев.

Наиболее энергичные пропагандисты — среди самых старших.

Жюль М.: «Юманите» я начал читать в 46—47 году, когда включился в борьбу».

Ожи: «А я уже в 36 году читал «Юманите».

Берто: «Я начал сразу после съезда в Туре [2]. «Юманите» читал еще мой отец».

Самые убежденные просматривают всю партийную прессу.

«Я читаю «Юманите», газету моего класса. Покупаю «Ви увриер». Моя жена читает «Антуанетт». Товарищи дают мне «Нувель критик», «Франс нувель», «Экономи э политик», но этих изданий я не покупаю. Регулярно покупаю «Юманите диманш». (Бернар К., 36 лет, слесарь.)

Главным средством информации постепенно становится телевидение. Завтра оно, возможно, станет единственным инструментом культуры.

Многочисленнейший отряд телезрителей, бесспорно,— зрители пассивные, которые равнодушно заглатывают все, что им подсовывают.

«Я смотрю по телевизору все, что показывают. Программа идет, а я сижу перед экраном. Слушаю все, что им вздумается сказать...» (Х., 62 года, сторож, не член профсоюза.)

Никто никогда не определял позицию французского телезрителя точнее, чем этот старый сторож...

Чему же отдают предпочтение в этом вареве из картинок и звуков?

---

[1] Теперь, вследствие общего вздорожания, номер «Юманите» стоит один франк.

[2] Учредительный съезд ФКП (1920 год).

«Я смотрю спортивные передачи. Если их нет, ложусь спать». (Мишель К., 38 лет, КР, наладчик, не член профсоюза.)

«Меня интересует спорт, в частности футбол, на фильмах засыпаю». (Пьер М., 44 года, кузнец, член ВКТ.)

«Смотрю по телику все фильмы. И почти ничего больше. Нравятся передачи серии «Досье экрана». Когда жене хочется посмотреть развлекательную программу, присоединяюсь к ней». (Ж., 26 лет, технический работник, член ФДКТ.)

«Смотрю вестерны. К политическим передачам потерял интерес. Слишком хорошо известна оборотная сторона этих декораций». (Морис В., 48 лет, технический работник.)

Ежевечерне «перевариваемое» таким образом телевидение становится новым инструментом отчуждения, безотказной машиной для сбыта более или менее испорченных побочных продуктов буржуазной культуры. Сколько времени понадобится, чтобы возместить убытки?

Вот почему сегодня вокруг телевидения — жаркие споры. Одни пытаются вовсе перечеркнуть его. Кое-кто, на манер интеллектуалов 50-х годов, избрал своим оружием презрение «к проклятому экрану».

«ТВ меня не интересует. Это способ разъединения людей, инструмент отчуждения. Это просто ужасно! На заводе они говорят только о телепрограммах. Что видели накануне, что увидят завтра. Я всегда стараюсь перевести разговор в другое русло... Телевидение ведет к превращению трудящихся в роботов... Это уже не люди. Они питаются фальшивой культурой, пьют из искусственного источника». (Ж., 28 лет, чертежник, член ФДКТ.)

«Телевидение — это грандиозная мистификация, мошенничество, разновидность гран-гиньоля, где показывают все, что вздумается». (Ф., 22 года, КР, член ВКТ.)

Такое пренебрежение обрекает на неудачу усилия всех тех, кто стремится превратить телевидение в инструмент настоящей культуры.

Иную позицию занимают активисты ВКТ: они избрали «критический взгляд».

«Вечером я смотрю телевизор. Меня интересуют политические дебаты. К сожалению, таких передач теперь почти нет. Я смотрю все, имеющее отношение к научным исследованиям, а также программу «В вашей душе и совести». Передачи серии «Камера зондирует время» давали более полное представление о некоторых исторических событиях. Для таких, как мы, которые мало учились, это было полезно. Теперь этой программы нет. Хотелось бы также увидеть некоторые фильмы, пострадавшие от вмешательства цензуры. Вообще показывают очень много американских фильмов и очень мало картин из социалистических стран, в частности, о войне». (Бернар С., 36 лет, высококвалифицированный слесарь, член ВКТ.)

«Необходима представительная комиссия, которая бы определяла и выбирала телепрограммы». (Роже Б., 41 год, чертежник, не член профсоюза.)

Нет, телезрители не заслуживают пренебрежения, которое выказывают по отношению к ним некоторые редакторы программ. Я встречал немало рабочих «Рено», которые горячо и заинтересованно отстаивают «настоящее телевидение» — высококачественные передачи, проникнутые духом свободы.

Информация, которую получают сегодня в Бийянкуре, двулика: она отчуждает наиболее отчужденных и освобождает наиболее сознательных.

Пресса и телевидение отчуждения занимают в рабочей крепости господствующие высоты. Удивляться нечего: и первая и второе принадлежат господствующему классу. Задача профсоюзных и партийных активистов — изо дня в день бороться против их влияния, разоблачая лицемерие и ложь, развенчивая враждебную трудящимся пропаганду.

Войти в театральный зал или кинотеатр, открыть книгу, поставить пластинку — привычные действия, знакомые миллионам людей во всем мире. И недоступные для тысяч французов: тех, которые просыпаются на рассвете, изможденные, усталые, живут в нищете, не получили самых элементарных культурных навыков... Киносеть, развлечения, заводы пластинок, дома культуры — все это принадлежит торгашам... Один из рабочих «Рено» заметил: вопрос не только в том, как получить доступ к культуре, но и о какой культуре идет речь.

Пустеют театральные залы; только смехотворнейшая и низкопробнейшая «бульварщина» еще дает сборы. С 1952 по 1969 год французский кинематограф потерял более 150 миллионов зрителей (почти половину).

Большинство рабочих не ходило, не ходит и не собирается даже в отдаленном будущем пойти в театр.

Для них театр — один из ритуалов чужого мира. «Слишком дорого. И некогда». (Анри С., 39 лет, КР.)

В то же время ассоциация отдыха и культуры, действующая под эгидой комитета предприятия (комитеты предприятий были созданы в результате демократических реформ 1944—1947 годов, когда коммунисты имели представителя в правительстве и сохранялись определенные формы сотрудничества рабочих партий.— **Ред.**), прилагает немало усилий, чтобы заинтересовать трудящихся театром. Однако репертуар театров большей частью оставляет рабочих равнодушными.

Кино, как и театр, в значительной степени остается для трудящихся «вещью в себе».

«Я не был в кино лет пятнадцать»,— твердят в один голос квалифицированные рабочие Ролан К., 45 лет и мадам Д. К., 44 года.

«Никогда не хожу туда». (Луи Д., наладчик, 37 лет.)

Откуда это равнодушие? Прежде всего — билеты слишком дорогие: «На четверых — это мой дневной заработок». (Бернар К., 36 лет, высококвалифицированный слесарь.)

Другая причина — семейное рабство:

«Я никогда не бываю в кино. У меня трое малышей — пяти, четырех, трех лет. Вечером уйти из дому практически невозможно...» (Г., 26 лет, технический работник.)

Есть еще и телевизионное рабство: «Зачем идти в кино, если есть телевизор?» (Андре Ф., 40 лет, КР.)

Типичная позиция отчуждения: кинотеатр выдвигает требования выбора. То ли дело телевидение: смотришь на экран, будто по течению плывешь, погрузившись в полузабытье...

Впрочем, кино тоже постепенно превращается в неотъемлемую составную программу субботнего вечера. Едва живые от усталости после изнурительной рабочей недели, они идут неважно куда: обязательный семейный церемониал! Лишь бы развлечься, забыться.

«Я люблю веселые фильмы. Желательно, не слишком глупые. Фернандель, Бурвиль...» (Мишель Х., 38 лет, КР.)

«Практически я не бываю в кино. Последний фильм, который видел,— «Свинарня» Пазолини. Ужасная ерунда. Наверное, вы примете меня за идиота, если я скажу, что ничего не понял. Сперва, конечно, следовало бы почитать критику. Я прочел ее после просмотра фильма и был потрясен тем, что практически ничего не понял». (Ролан Г., 28 лет, технический работник.)

Однако мало-помалу и в Бийянкуре формируется сознательное отношение к кинематографу: фильмы перестают заглатывать, будто сладкую микстуру, начинают выбирать. Самые активные зрители дважды в месяц посещают рабочий киноклуб.

«Последний фильм, который я видел,— «Мавр». Очень люблю ленту «Голый остров». Некоторые парни, выходя из зала, сердились: «Не слишком они разговорчивы, там, в фильме...» Но какие приемы повествования!» (М., 36 лет, технический работник.)

«Показали «317-й участок», фильм о войне во Вьетнаме,— рассказывает генеральный секретарь ассоциации отдыха и культуры Гупиль.— После сеанса завязался спор. В конце концов пришли к выводу, что это милитаристский фильм. Нельзя игнорировать зрителя. Фильмы Годара, например, вызывают самую острую реакцию нашей аудитории».

Кино, как и телевидение, и в значительно большей степени, чем театр, может лечь в основу формирования рабочей культуры. Но стоит ли надеяться, что собственники кинофирм начнут заботиться о повышении уровня классового сознания рабочих? За настоящий боевой кинематограф еще воевать и воевать...

Читают ли рабочие Бийянкура? В последнее время книжный рынок затоплен преимущественно бестселлерами, часто весьма низкопробными.

В Бийянкуре я открыл безрадостный мир тех, кто вовсе не читает книг. Уставшие до отупения, они проводят вечера, углубившись бездумно в свою газету или застыв у телевизора. Они даже не догадываются, что книга могла бы дать им в руки оружие против хозяев.

«Я предпочитаю пинг-понг. Вкуса к чтению не имею, книга никогда не привлекала меня». (Р., 20 лет, КР.)

«Когда работаешь в бригаде и так устаешь, хочется какого-то другого отдыха». (Ф., 22 года, электромеханик.)

Кое-кто, однако, испытывает угрызения совести, вспоминая о золотых временах, когда еще можно было время от времени открыть книгу.

«Раньше я очень любил читать. Теперь мое чтение свелось к перелистыванию брошюрок профсоюзных изданий. Хочется отдохнуть, прийти в себя от усталости». (Г., 26 лет, технический работник.)

Другие читают мало и плохие книги, но они, по крайней мере, знают, что теряют.

Ризотто, секретарь «независимого профсоюза», колеблется, как же ответить на вопрос: «Вы читаете?»

«Да, главным образом о ковбоях. Задерган профсоюзными делами. Чтение для меня — разрядка. Читаю комиксы, романы «Черной серии».

«Книги? Беда с ними, и только! Начнешь и никогда не окончишь... Разве что легонькую какую...» (Ролан К., 45 лет, КР.)

«А мне лень читать. Читаю мало и не то, что следует, полицейские романы...» (Франсис Б., 50 лет, технический работник.)

«Читаю то, что можно прочесть быстро. Чаще всего журналы. Книгу начнешь, а закончить некогда... Я читаю все журналы, относящиеся к политэкономии, даже те, которые отстаивают враждебную нам позицию, чтобы понять, насколько может быть вредной пропаганда, и найти убедительные контраргументы». (Бернар С., 36 лет, КР.)

Кое-кого соблазняет реклама.

«Я читаю совсем мало, чаще всего романы. Прочитал «Горит ли Париж?» (Эдуард Х., 58 лет, мастер.)

«Откровенно говоря, времени для чтения у меня нет. Покупаю книги очень редко. Приобрел «Американский вызов», вокруг которого было много шума, начал, но так и не закончил». (Ж., 28 лет, чертежник.)

И все же немало и тех, кто вопреки усталости и телевизору время от времени открывают книгу.

«Я очень люблю читать, хотя удается мне это очень редко. Иногда вечером, перед сном...» (Мадам Д. С., 44 года, КР.)

«Время от времени мне случается прочесть книгу. Я записан в библиотеку. Но бригадная работа «съедает» весь день». (Анри С., 36 лет, СР.)

Встретил я в Бийянкуре и настоящих

читателей, «отравленных» чтением хороших книг.

«Чтение — это моя страсть. Имею библиотечку дома, беру книги на заводе». (Вильям Л., СР.)

В убогой комнатушке Рашида Б., алжирца, СР, 19 лет, стоит шкаф, полный книг. «Мемуары» Жака Дюкло соседствуют здесь с «Поэзией варваров».

Некоторых рабочих отличают такие глубокие знания, что им могли бы позавидовать образованнейшие буржуа.

«Я много читаю. Беру книги в разных библиотеках. На заводе у нас хорошая библиотека, много книг, в частности марксистской литературы. Прочел «Капитал». Откровенно говоря, это было трудновато. Хочу назвать еще одну книгу, полезную для тех, кто не понимает, не знает рабочей жизни: «Железная пята» Джека Лондона. Он рассказывает о капитализме в несколько романтической манере, но очень точно. Читал книги, посвященные Коммуне, о которой когда-то в школе нам говорили как об огромном бедствии. На самом же деле это была колоссальная демонстрация возможностей рабочей власти. Это было восстание парижан против капитала и пруссаков». (Роже Б., 41 год, чертежник.)

«Романов я не читаю, зато философские и политические труды — с удовольствием. Сейчас как раз перечитываю «Федералистский принцип» Прудона». (Б., 46 лет, СР.)

Шестнадцатилетняя машинистка-стенографистка Мартина И., мечтавшая стать декоратором, но не шагнувшая дальше свидетельства об окончании первого цикла обучения, рассказывает:

«Я прочитала гору книг. Среди них такие, как «Основы философии» Полицера, «Избранные труды» Маркса. Читала «Коммунистов» Арагона и его поэмы. И еще много другого. Жажда деятельности привела меня к чтению, а чтение — к деятельности».

Комитет предприятия прилагает немало усилий, чтобы поднять культурный уровень трудящихся. Библиотека на улице Пуэн дю Жур насчитывает 60 000 томов. Она приобретает ежегодно приблизительно 4000 новых изданий. Читателей обслуживают 11 библиотекарей.

Две передвижные библиотеки, прозванные «библиобусами» (хотя «бусов» и нет), ежедневно распространяют книги непосредственно на рабочих местах. Я провел полдня в таком «библиобусе» на авеню Эмиля Золя. Неуютная комната, открытая всем заводским шумам и сквознякам, оживает во время обеденного перерыва; сотни рабочих и служащих выбирают здесь книги, которые они возьмут домой. Две белокурые девушки дают советы, заполняют карточки, ведут подсчеты.

Среди читателей, пожалуй, больше всего специализированных рабочих, несмотря на то что условия труда у них наихудшие. Иностранцам библиотека предлагает учебники по грамматике, арифметике на родном языке. Они приходят сюда учиться. Новинка: родители берут книги для детей.

Наибольшим спросом пользуются книги исторические, в частности посвященные событиям первой и второй мировых войн и особенно — движению Сопротивления. Ежедневно библиотека выдает от 450 до 600 книг. Романы составляют 35—40 процентов общего количества.

Не много знаю я таких радостных, таких ободряющих зрелищ, как «библиобус» в момент наибольшего наплыва народа. Люди приходят сюда «за культурой», чтобы по возможности компенсировать необразованность, темноту, на которую их обрекло общество. Здесь нет мелкобуржуазного патернализма: рабочие-активисты сами занимаются воспитанием своих товарищей. Вот она, рабочая культура. Не та, которую так называемые интеллектуалы пытаются распространять «среди народа» в виде сладеньких пилюль: Возрождение под эгидой Армии спасения, пресловутый суп для бедных... Нет, культура, которая рождается в народе и создается народом, без посредничества, без высшего судьи, культура завоеванная, а не подаренная, без благотворительности, без снисходительности. Свобода, отрицающая всех Мальро на земле.

Музыка. Существует ли разновидность искусства более «привилегированная», в большей степени отданная на откуп буржуазии? С книгой знакомятся в начальной школе. Но даже в лицее не преподают основ музыкальной культуры. Тот, кто хочет понять Бетховена или Моцарта, кто хочет научиться играть на рояле или гитаре, должен платить из своего кармана.

Мало кто из рабочих Бийянкура «поддался» на разговор о музыке. Электропроигрыватели, пластинки стоят слишком дорого. Не говоря уже о парижских концертах...

Вспомним наладчика Луи Д.

«О! Если бы у меня было время! Это была бы настоящая музыка. Я ее не знаю, но люблю... А пока что мне не на что починить проигрыватель».

Только двое собеседников засвидетельствовали:

«В прошлом году я смотрел несколько балетов на конкретную музыку». (М., 37 лет, технический работник.)

«Я играю на пианино и обучаю этому своих детей». (Сени С., чертежник.)

Достойны всяческого уважения усилия комитета предприятия, направленные на то, чтобы приобщить рабочих завода к музыкальной культуре.

Я познакомился с Анной-Марией Дюма, ответственной за «клуб пластинок», в частности за один из передвижных его филиалов.

«Наш «дискобус»,— рассказывает Анна-Мария,— работает два дня в неделю. Он расположен за пределами завода, значит, женщины, дети, пенсионеры могут свободно приходить сюда. Клуб имеет три филиала, рассчитанные на разную аудиторию. Наш — главным образом для рабочих. Чаще всего они приходят во время обеденного перерыва, приходят очень нена-

долго, потому что в столовой им каждый раз приходится выдерживать настоящую войну за место.

Мы постоянно спорим,— продолжает мадам Дюма.— Мне говорят: «Надо идти навстречу запросам трудящихся». Я отвечаю: «Надо повышать уровень этих запросов». Мне пытались навязать пластинки Пьера Перре. Я сказала: «Пока я жива, здесь не будет Пьера Перре, Шейлы, Вартан и прочего хлама...» Любители танцев тоже уходят несколько разочарованными. Этот «ассортимент» у нас ограничен. Выдаем не больше двух пластинок на одного «любителя». Разве что на свадьбу...

Что же касается классики, то здесь наши фонды более обширны, об ограничении не может быть и речи...»

Судя по абонементным карточкам, вкусы некоторых рабочих Бийянкура достаточно изысканны. На первом месте, конечно, Бетховен, потом Моцарт, Бах, Брамс, Чайковский... Мойщик посуды из столовой взял пластинки с произведениями Брамса, Рахманинова, Альбинони; специализированный рабочий — знаменитые оперные хоры; слесарь — Вивальди, Альбинони, Моцарта и Баха; инженер — Вагнера...

Буржуазная школа, буржуазная информация, буржуазная культура — вот и все, что так скупо предлагает наше общество тем, кто создает его богатства.

Таким образом, не следует удивляться, что рабочий Бийянкура нередко чувствует себя чужаком в родной стране. Раздавленный непосильным трудом, обманутый обществом, наталкиваясь на непонимание или презрение со стороны «привилегированных», трудящийся «Рено» связывает все свои надежды с борьбой. Борьбой, которая объединяет его с товарищами.

Он смеется или пожимает плечами, когда пророки нашего времени предсказывают близкий конец рабочего класса.

Кое-кто упрекает меня за терминологию: «классовое сознание», «классовая борьба», «хозяйская эксплуатация» — такой, мол, ужас, где вы это разыскали, вы что, с луны свалились?! Я охотно отвечу им словами Роже Делия, члена ВКТ: «Явление действительности не перестанет существовать оттого только, что ему отказано в имени».

На протяжении двадцати лет я общался с интеллигенцией Левого берега [1]. Я знал все о рабочем классе. Все, кроме главного: я не знал, что он существует на самом деле. В заводском грохоте, толкучке столовой, спорах в «дискобусах» я открыл, впервые в жизни, иной мир: мир усталости и гнева, борьбы и надежды.

---

[1] Имеется в виду левый берег Сены, где находится Латинский квартал.

Перевод с французского
ЯРОСЛАВЫ СОБКО

Достижения научно-технической революции, относительное повышение жизненного уровня трудящихся в некоторых высокоразвитых странах капиталистического Запада буржуазная пропаганда пытается использовать для демагогических утверждений об исчезновении кардинальных социальных проблем, о преодолении капитализмом наиболее острых противоречий, о превращении антагонистического общества в такое общество, где якобы стираются экономические (а также и все другие) различия в жизни его граждан.

Современную буржуазную социологию представляет множество теорий, призванных, условно говоря, «оправдывать» капитализм, определять для него перспективы развития. Так возник миф о «трансформации» классовой структуры, «народном капитализме», теория «конвергенции», согласно которой капитализм и социализм хотя и развиваются разными путями, но в конце концов должны будто бы прийти к единому типу общества, и тому подобные концепции.

Отстаивая теорию «гомогенного» (однородного) общества, где, дескать, господствует классовая гармония и труд и капитал сотрудничают на равных началах, буржуазная социология заявляет об «исчезновении» рабочего класса как такового, о растворении его в общей массе населения, стремясь подвести таким образом к мысли об отсутствии в современном капиталистическом обществе предпосылок для классовой борьбы.

С другой стороны, идеологи псевдореволюционного движения «новых левых», идейным отцом которого стал Герберт Маркузе, твердят о том, что рабочий класс «обуржуазился», о том, что единственным революционным элементом в обществе являются «аутсайдеры», люди, по тем или иным причинам оказавшиеся вне общества, что рабочий класс утратил свою революционную сущность и является на нынешнем этапе истории консервативным и реакционным. Отсюда следуют и «пересмотр марксизма», и пропаганда так называемого «третьего пути» развития общества.

Согласно доктрине «массового общества», выдвигаемой реакционными социологами Запада, в современном капиталистическом обществе «доминируют массы». Господствует массовое, стандартизированное производство, проводится «массовая» политика, создается «массовая культура» как следствие «возвеличивания масс», происходит нивелирование личности в массе, подчинение элиты настроениям и вкусам необразованного, неквалифицированного» большинства. Таким образом, определяя некоторые кри-

зисные черты капиталистического общества, буржуазная социология старается объяснить их еще и этим «господством» масс в нашем столетии. При этом капитализм и социализм ставятся на одну доску, их провозглашают разновидностями «массового» общества.

Книга прогрессивного французского журналиста Жака Фремонтье «Рабочая крепость: «Рено» — достоверное свидетельство о подлинном положении рабочего класса во Франции, убедительно опровергающее тезисы об отсутствии в современном капиталистическом мире классовых противоречий и об «интеграции» рабочего класса.

Сто двадцать ответов на анкету, предложенную журналистом, еще раз показывают беспочвенность и искусственность этих теорий и свидетельствуют о неспособности буржуазной социологии оправдать капитализм, найти объективные причины морального и духовного кризиса капиталистического общества, глубокого правового и экономического неравенства разных слоев населения в странах капитала.

Автор затрагивает целый ряд важных вопросов, рассматривая жизнь рабочих в плане историческом, выделяя победы и поражения рабочего класса, останавливаясь на некогда утраченных и вновь обретаемых единстве и солидарности трудящихся. Фремонтье анализирует систему заработной платы рабочего на заводе «Рено», показывая, как люди, стоящие у власти и руководящие заводом, создали сложную, разработанную в деталях систему труда. Она предусматривает прежде всего ограничение прав рабочего и оказывается достаточно гибкой, если требуется снизить оплату, жестокой, если нужно наказать за какое-нибудь незначительное нарушение, чрезвычайно твердой, когда речь идет о повышении платы, о перспективе повышения работника по службе.

Одной из наиболее существенных проблем, поднятых в книге, является вопрос о личности рабочего, его индивидуальности. Фремонтье рассматривает развитие личности рабочего в соответствии с производством. На наших глазах терпит поражение миф о «рабочем в белом халате», который в век полной автоматизации или полуавтоматизации прохаживается возле машин, включая и выключая рубильники. Абсолютного люмпена сейчас нет, но нет и «белого халата» как системы. Структура производства в основе своей устарела, условия труда улучшаются крайне медленно. Фремонтье показывает, что отставание экономических структур неразрывно связано с отставанием социального развития. Общественные потребности давно опередили ту систему социальных связей, которая господствует сейчас во Франции.

Поэтому на первый план выступает проблема отчуждения человека, проблема отчуждения труда, как и не отделимая от нее проблема идентификации личности: стремление найти, познать себя, то есть возвращение человеку его «родовой» (по определению Маркса) сущности, отыскание чего-то утраченного в самом человеке.

Французский журналист рассматривает отчуждение в сфере искусств, проблему рабочей культуры, которая сегодня, особенно в связи с вопросами, возникающими при изучении явлений «массовой культуры», приобретает особенное значение.

В каких взаимосвязях находятся буржуазная культура капиталистического общества и рабочие, какое количество «благ цивилизованной культуры» приходится на долю трудящихся и как эта культура влияет на них? Социологическое исследование, выполненное Фремонтье, показывает, как способы массовой «коммуникации» обедняют и в конце концов нивелируют личность, прививая ей искусственные, не свойственные ей потребности и проблемы.

Уровень культуры рабочего-производственника специфичен и в большинстве случаев низок, так как, кроме всего прочего, ему физически не хватает времени на самообразование. Главное внимание рабочий уделяет повышению своей квалификации, старается окончить какие-нибудь курсы или школу при заводе и получить должность получше, зарплату побольше, словом, обеспечить себя экономически. Ведь подавляющее большинство опрашиваемых не имело возможности в свое время продолжить обучение, а квалификация — одно из условий продвижения по служебной лестнице. На это рабочие затрачивают долгие годы своей жизни. Где уж тут думать о каких-то культурных приобретениях.

Пресловутые «возможности» капиталистического мира, культ «здоровой» конкуренции и фальшивая «свобода» для каждого «достичь успеха» в действительности способствуют разъединению рабочего коллектива. Путь к социальному и моральному освобождению для трудящихся — в совместной борьбе за свои права, в сознательном повышении своего культурного уровня. Исследователь придает огромное значение рабочим передвижным библиотекам и фонотекам.

Фремонтье на себе испытал сложную эволюцию от типичного буржуазного журналиста до сотрудника «Юманите», и в книге ощущается его убежденность в необходимости для рабочих активно участвовать в социальной борьбе.

Последняя глава в книге так и называется «Борьба рабочих». В мае 1968 года, когда студенческое движение во Франции привело к баррикадам на улицах, рабочие «Рено» не поддержали студентов. Автор спрашивает: почему? По разным причинам, но прежде всего потому, что в выступлениях молодежи было немало псевдолевой терминологии и откровенно маоистских лозунгов. Рабочие не могли поддерживать эти игры в слова и лозунги. Они ждут своего часа и свое слово скажут решительно и серьезно.

ЮРИЙ ПОКАЛЬЧУК

ЮРИЙ КОСАЧ

Мышиная возня на «корабле дураков»

Почти 500 лет тому назад, точнее в 1494 году, из-под пера тихого писаря из ратуши в Страсбурге Себастьяна Бранта появилась стихотворная сатира — «Корабль дураков». Написанная красочным, отточенным народным языком, она беспощадно расправлялась с прогнившей феодальной системой позднего средневековья. Себастьян Брант посадил на корабль все отребье своего времени, беспощадно разоблачая, как и близкий ему по духу живописец Иероним Босх, хорошо знакомых алчных принцев и спесивых епископов, откормленных монахов и ловких торгашей, ландскнехтов и палачей, святош, проходимцев всех мастей...

Из ганзейских гаваней «корабль дураков» поплыл в туманную Балтику, в неизвестное будущее, и будто это его напутствовал римский поэт:

O navis referent in mare te novi
Fluctus . . . fortirer occupa portum[1].

Символика пережила века. Микрокосмос корабля — нынче трансатлантического лайнера — оказался удобным местом для наблюдения над разными видами отщепенцев нашей эпохи в романе американской писательницы Кэтрин Энн Портер, которая не побоялась даже позаимствовать у старого мастера заголовок — «Корабль дураков» («The ship of fools»).

Материал для украинского варианта подобного «Корабля дураков» мог бы в обилии предоставить украинский буржуазный национализм со всеми оттенками собирательных типов его адептов, с его босховско-брантовским букетом всевозможных бакалавров, святош, главарей, хлыщей, нудных пиитов, как говорится в «Энеиде», со всем разнообразием безмозглости и бессмысленности, бестолковости и бесчинств.

На этот раз не стройный галион и не стремительный казацкий байдак и не на волнах широких морей, а в затхлом пруду, заросшем жабьей тиной, качается суденышко-корыто, без руля и без ветрил, как и его предшественник — корабль Бранта, выискивая несуществующий Шларафенланд, где на вербах растут груши и где сбудутся мечты отрубленной головы о всяческих «исторических миссиях», «национальных революциях», «руководстве элиты нацией», «гегемонных позициях» и тому подобные бредовые идеи.

Националисты не осуществили до сих пор ни одной из своих пышных деклараций, за-то всем деяниям их сопутствуют пытки, кровь, пепелища. Аккомпанементом при этом служит болтовня о «национальной революции», но революция совершается народными массами, у которых украинский национализм никогда не имел поддержки, будучи порождением мещанской среды и региональной обособленности, сегодняшнюю Украину давно уже не представляющих. Мечты же претендентов о «гегемонных позициях» обернулись полной зависимостью от других зарубежных кандидатов в «гегемоны», более сильных, чем они, благодаря своим связям с международной реакцией и установившимся традициям захолустного политиканства.

Отдельные пассажиры украинского националистического «корабля дураков» сознают свое банкротство. Предоставим слово пользовавшемуся известностью в 30-е годы западноукраинскому националистическому деятелю:

«Теоретики националистического движения постоянно делали ударение на том, что «идея, как упырь, должна пить кровь своих собственных последователей». Они подчеркивали, что «нужно усеять всю Украину трупами... украсить виселицами...» «Теоретики национализма,— цитируем далее автора,— говорили нам, что трупы и виселицы видны издали и речь идет о том, чтобы пролить как можно больше нашей собственной крови, чтобы полить украинскую землю кровью...» Сами же они предпочитали выступать за границей в качестве администраторов всеукраинской похоронной конторы, как безусловно рентабельного торгового предприятия.

«Ныне на Украине,— читаем далее у того же автора,— название «ОУН» является символом вражеской интриги. ОУН связывают на Украине с тысячами замученных истинных представителей украинского народа... «Активисты» нынешней заграничной ОУН — это сбитые с толку отщепенцы со свалки истории. Они поступили бы куда лучше, если бы самоликвидировались. Это не значит, что я хочу, чтобы они сами себе затянули петлю на шее. Пусть живут и оправдываются перед собственной совестью, которая не дает им покоя. Нужно только, чтобы они перестали нагуливать жир за счет простодушных людей, чтобы не выманивали у людей деньги на свой псевдопатриотизм. ОУН умерла бесславной смертью в последней войне, и больше ее не будет. Выманивание денег у порядочных собратьев — вот чем наши авантюристы заняты за границей, дея-

[1] О корабль, относят в море тебя новые волны...
Лучше вернись в свою гавань.
(*Гораций. Ода «К республике»*)

ниями, достойными наказания. Приезжает такой авантюрист в украинскую общину, называет себя «представителем ОУН» и призывает людей давать деньги в «Фонд освобождения». Такие сборы ведутся уже четверть столетия, денег выманили миллионы, но ничего не «добились», никого не «освободили». Любопытно, куда деваются собранные деньги?.. Не упоминаем тут об обещанных высоких государственных должностях на Украине...» (Ю. Лисовый. Свет и тени подпольных движений. Лондон, 1972 г., на правах рукописи.)

А вот голос рядового представителя почти двухмиллионной массы украинцев Северной Америки, которому, очевидно, надоело быть «навозом» для «элитарных экспериментов».

«На всех заседаниях (одного центрального националистического учреждения в США) ставится главный вопрос,— пишет он,— как собрать побольше денег. Это стало самоцелью существования... Даже убогое проведение национальных праздников обдумывается как доходная акция...

А что касается борьбы за украинскую культуру в Америке, за... создание постоянного украинского театра, библиографического центра, центрального архива... музыкального фонда... проведения переписи всех украинцев в США, попечительства над молодежью, детьми... и т. д.— ко всем этим нуждам человеческим (упомянутое учреждение) остается глухим и слепым... Культурно-национальная жизнь в упадке...» (Ежемесячник «Украинская жизнь». Чикаго, 1972.)

Эти голоса, хоть они не одиноки, положения отнюдь не меняют.

Едва ли не главной оснасткой перманентных пассажиров «корабля дураков», в частности его рулевых, является антисоветизм. Стезя эта достаточно прибыльна, особенно удачливым она обеспечивает немало благ, оплаченных из кошельков частного капитала,— здесь и автомобили, и элегантные коттеджи, и многое другое. Чтобы получить возможность стричь купоны с акций антисоветизма, нужно засвидетельствовать свою полезность всевозможными сенсацийками. Далеко не всегда эта самодеятельность приносит ожидаемые плоды. Правда, в порядке профессионального сотрудничества и единого «идеологического направления» можно позаимствовать нужный товар у соседей-коллег, лондонско-польских «великих украинофилов», бывших владельцев латифундий на Украине, князей сапег и гедройцев или у — «тоже приятелей Украины» — нью-йоркского «общества бывших жителей г. Одессы», у власовско-посевских спецов по вопросам «диссидентизма» и т. д. В качестве новоиспеченного «заступника воюющей Украины» можно выпустить и этакого невзыскательного и двуликого «господина Анатоля».

Немалое число украинцев, живущих за рубежом, желает отмежеваться от «корабля дураков», приходит к выводу, что вся эта мышиная возня идет на пользу лишь врагам украинского народа и направлена против его интересов. Никакие упражнения в шутовской пиротехнике, никакой угар антисоветчины не могут заслонить от них действительности. Многие считают своим долгом выразить солидарность с достижениями украинской культуры, Украинской Советской Социалистической Республики и всего украинского народа, который с беспримерной энергией, энтузиазмом и патриотизмом совершает на своей земле то, чего и за тысячу лет не смогли бы добиться хваленые эмигрантские «президенты», «премьеры» и просто болтуны из так называемой «культурной элиты». Если представить себе, сколько труда вложено хотя бы в такие отрасли, как лексикография, составление словарей, украинское языкознание, переводы классиков и современных авторов иностранной литературы, полные издания отечественных классиков, история украинского искусства, история городов и сел Украины, историография вообще, археология, охрана памятников архитектуры и старины, музейное дело, не говоря уже о достижениях в области точных наук, технологии и т. д., включая благоустройство городов, жилищное строительство и общее повышение благосостояния населения республики, так тяжело израненной военным лихолетьем, то нужно обладать полнейшей безответственностью, если не простой наглостью, чтобы твердить об «упадке украинской культуры» и при этом еще претендовать на амплуа ее «защитников». Нет нужды, что сами претензии эти становятся фактами саморазоблачения вопиющего духовного убожества националистической украинской эмиграции, которыми изобилует ее бытие. Безграничное самовосхваление, откровенная бездарность — вот все, чем определяется пребывание националистического «творческого меньшинства» на чужбине.

На самой низкой ступени эпигонства усваиваются некие из приемов знаменитого «великого комбинатора» — мошенника Остапа Бендера. Тут и организация «энтузиазма народных масс», и торжественное составление протестов, и даже «моторизированная демонстрация» (как при этом не вспомнить известный автопробег «Антилопы-Гну»?). И такие клоунады имитаторы Бендера еще утрируют, опираясь на опыт своих нынешних «союзников» — сионистов из печально известной «лиги». Так же как и их наставники, украинские националистические «патриоты» в США учат своих детей, которые еще хуже, чем они, знают украинский язык и его нормы, отборным непристойностям и велят выкрикивать их по адресу советских дипломатов — таким образом «защищая украинскую культуру».

Крыс с шутовского корабля буржуазного национализма настигла эпоха великих социально-экономических преобразований, отбросив их на свои задворки. И когда в результате труда и усилий многих революционных поколений, на руинах старого мира, мира темноты, эксплуатации и национального угнетения, вырос и утвердился Советский Союз — первое в истории государство

осуществленного социализма,— в удел украинской реакции достались мышиная возня, жалкие попытки помешать закономерному историческому процессу.

Только «ветер с Украины», воспетый П. Тычиной, эхо величия Советской Украины, перелетевшее через океан, не дало многочисленным украинцам США и Канады — тем, кто оказался способным посмотреть фактам в лицо,— зачахнуть в чужом окружении, помогло им сохранить свою веру в украинский народ, свою любовь к родине. Всех честных украинцев на чужбине окрыляет гордость за Советскую Украину — эту могущественную индустриальную страну, которая вместе с другими республиками Советского Союза в одних рядах с передовыми странами мира неудержимо идет вперед.

Нью-Йорк

МАРТТИ ЛАРНИ

Украинским друзьям о Финляндии и финнах

В конце прошлого столетия в Центральной Финляндии гостил некий шведский исследователь народной культуры, собиравший материалы для научного издания. После поездки он опубликовал в одном из журналов объемистые путевые очерки, в которых следующим образом определил финский народный характер: «Финны на редкость немногословны и медлительны. Если спросишь у них что-либо сегодня, ответ можешь получить завтра. Но чаще ответа так и не получаешь...»

И все-таки немногословие финнов — это такой же миф, как и скупость шотландцев. Если бы упомянутый мною шведский фольклорист собирал материал в другом районе страны, а не только в Центральной Финляндии, он наверняка убедился бы в том, что финны иногда бывают и очень словоохотливы. Нельзя преувеличивать молчаливость финнов. В Финляндии действительно есть губерния Хяме, жители которой не слишком часто раскрывают рот. Только в двух местах уроженцы Хяме склонны к разговору: в бане и в кабаке. Но и там они ограничиваются словом-двумя: «добавь пару!» или «налей еще!»

У меня тяжелая наследственность. Дело в том, что мои родители — и мать и отец — немногословные уроженцы Хяме. И они привили мне склонность к монологу.

Писать это, видите ли, тоже своего рода монолог. У моей жены в обычае говорить, что я чаще беседую с пишущей машинкой, нежели с ней. Совсем недавно один из наших знакомых рассказал мне следующее. Несколько недель назад он встретил мою жену и поинтересовался состоянием моего здоровья. И на это якобы получил такой ответ: «Не могу сказать, как себя чувствует муж. Он уже четверо суток говорит лишь во сне, да и то шепотом».

Отвергнуть подобное обвинение можно, только сославшись на традиции, закрепленные веками: немногословный уроженец Хяме говорит лишь тогда, когда кивает головой. И все-таки следует сказать, что жители Хяме не могут исчерпывающе представлять финский народный характер. И в защиту их: в течение последних десятилетий и они научились разговаривать. В этом могли убедиться наши украинские друзья, гостившие в Тампере, городе — побратиме Киева, крупнейшем городе губернии Хяме.

Миф о финской медлительности и немногословности начинает понемногу умирать. Сейчас он живет лишь в анекдотах, пересказываемых за рубежом. В 1877—1878 годах финский батальон сражался в Болгарии против Турции. Прибывшее из далекой северной страны боевое подразделение болгары окрестили тогда «финским батальоном глухонемых». Я как-то поинтересовался у одного из своих болгарских друзей происхождением этого названия. Он ответил:

— Старое предание гласит, что финские солдаты не слышали ни грохота османских пушек, ни боевых кличей врага. Поэтому их считали глухими. Если вражеские солдаты кричали: «Руки вверх, сдавайтесь!» — то финны лишь кивали головой и продолжали сражаться. Поэтому их сочли и за немых. Так что нет ничего странного в том, что болгары начали говорить с «финском батальоне глухонемых»...

В анекдотах, которые ходят за границей, финнов изображают не только медлительными и молчаливыми, но и в дополнение к этому — сварливыми и драчливыми. Это тоже миф, и его давно бы пора поместить в музей древностей. В каждом народе есть забияки и драчуны, но, раз получив хорошую взбучку, они становятся кроткими и

миролюбивыми. Я не хочу этим сказать, что лишь после урока, данного второй мировой войной, финны встали на путь борьбы за мир и безопасность. Ведь Союз сторонников мира был создан в Финляндии еще в 1920 году. В последние годы в стране энергично выступали за мир, безопасность и добрососедство, и в этой деятельности участвуют все круги общества. Полную поддержку всех миролюбивых народов получила инициатива правительства Финляндии о созыве общеевропейского совещания по безопасности. И поэтому, дорогие друзья, когда услышите анекдоты о страсти финнов к сражениям, знайте, что под этим подразумевается сражение за мир.

В одном из журналов, выходящем за Атлантикой, была опубликована недавно статья, из которой я заимствую следующую фразу: «Финляндия — это не самостоятельная страна, она лишь вассал и слуга своего большого соседа». Если бы автором этого произведения был Марк Твен, я бы сразу сообразил, где прячется зерно юмора. Но коли автор пишет — возможно, сам того не заметив,— что был в Европе на службе ЦРУ, то простим ему его неведение. Блаженны те невежды, которые не знают, что говорят. В сто раз более блаженны жители Хяме, которые все знают, но молчат.

Финляндия — самостоятельное и независимое государство. От типичных капиталистических стран она выгодно отличается обилием национализированных предприятий. В 1948 году были национализированы все гидроресурсы. Государство является главным совладельцем многих крупных промышленных и производственных предприятий. Обширные лесные и земельные угодья являются государственной собственностью. В противовес частному предпринимательству высоко развита кооперация. В Финляндии имеется около четырехсот торговых кооперативов, которые владеют 7 560 магазинами и ресторанами. К концу 1972 года число членов кооперативов составило 1 144 000 человек, иначе говоря — почти половина всех финских семей имеет членские карточки того или иного кооператива. Центральные кооперативные объединения являются владельцами больших предприятий: мельниц, пекарен, швейных фабрик, прачечных, мясокомбинатов и строительных организаций. И прибыль, получаемая от них, идет не в карман какому-то частнику, а поступает в распоряжение народа. Кроме торговых кооперативов в Финляндии насчитывается 470 кооперативных банков, 13 кооперативных боен и 250 кооперативных маслозаводов. Киевлянам, наверное, будет интересно узнать, что кооперативная торговля зародилась в городе — побратиме Киева — Тампере, где 72 года тому назад малоимущие рабочие основали первый торговый кооператив.

Мой друг Михаил Шолохов как-то сказал, что финны холодны внешне, но горячи внутри. Более точной характеристики своих земляков я не слышал. Шолоховское определение подходит и к финну, и к черепахе: у обоих внешняя оболочка — это защитный панцирь, но под ним бьется горячее сердце. Правда, черепахи еще медлительнее, чем финны, хотя некоторые спортивные обозреватели во время Олимпийских игр в Саппоро и сравнивали финских лыжников с черепахой.

Мой отец обычно говорил, что есть три вещи, с помощью которых финны укорачивают свою жизнь: вино, баня и спорт. Аргументировал он это следующим образом: вино не только влияет на печень, но и заставляет людей ползать. В бане человек настолько устает, что вполне может сжечь себя, прислонившись к раскаленной печи. Спорт же мой папаша считал обременительным занятием. Он никак не мог понять, зачем многие мужчины пробегают десятки километров, когда намного быстрее можно доехать поездом, машиной или хотя бы на велосипеде. Я не осознал до сих пор, был ли мой отец циником или пессимистом, а может тем и другим одновременно. Во всяком случае он был типичный уроженец губернии Хяме, который говорит мало, но по делу.

Финны — спортивный народ. Им принадлежат многие мировые рекорды среди болельщиков. Искренне желаю, чтобы украинцы и финны организовали товарищеский матч болельщиков. С помощью современных приборов для измерения шума можно будет наверняка убедиться, что финны выиграют это соревнование по всем статьям.

Спортивная страсть все-таки не мешает финнам увлекаться другими областями культуры. Композиторы, писатели, актеры, художники, ученые и исследователи образуют свой хор, голос которого разносится дальше, чем крики болельщиков.

Финляндия — ведущая театральная страна на Севере. Свой театр либо драмкружок есть в каждом городе и селении. Как-то я сказал своему отцу, что у нас в стране действуют около полутысячи профессиональных и самодеятельных театров. На это он сухо буркнул:

— Это создает скверное представление о нашей стране. Теперь все иностранцы думают, что в Финляндии все живут как бы играя на сцене.

В последние годы так называемая поп-музыка обрела соперника, достойного внимания. Массовым стало увлечение традиционной народной финской музыкой. Каждое лето десятки тысяч музыкантов, певцов и танцоров собираются на фестивали народной музыки, которые длятся неделю. Финская народная музыка и танцы, хотя в них и нет такого огненного темперамента, как например в украинских, несмотря ни на что заставляют мурлыкать упрямую финскую публику, даже нога старика начинает отбивать такт. Традиции народной культуры имеют большое значение. Мы ведь и по опыту знаем, что хорошее национальное искусство является и международным искусством.

Финляндия — маленькая страна. И не так-то просто донести до большого мира куль-

турные достижения пяти миллионов жителей страны. В первую очередь это касается финской литературы, перед которой стоит языковой барьер. Если бы мастера художественного слова Финляндии писали свои произведения, к примеру, на русском, английском, французском языках или хотя бы по-украински, их голос звучал бы громче, чем сейчас. Но и языковой барьер можно преодолеть. Его можно разрушить при помощи дружбы и сотрудничества между народами. Следует, к стыду нашему, признаться, что мы очень слабо знаем украинскую литературу, занимающую почетное место в мировом искусстве. Финские литературоведы часто говорят о творчестве Шевченко, Вовчок, Мирного и Франко, но, к примеру, Рыльского, Гончара, Корнейчука, Бажана, Сосюру и Малышко знают лишь по именам. Чтобы этого нынешнего несоответствия не было, предлагаю быстрее приступить к переводу украинской литературы на финский язык и одновременно финской литературы на украинский. Следите, консулы, чтобы слова претворились в дела!

С помощью написанного и напечатанного слова народы наилучшим образом научатся узнавать друг друга и одновременно оценивать особые национальные черты, традиции и культурные достижения других. И когда в дополнение к напечатанному выступлению представляется возможность пожать руку и даже запечатлеть поцелуй на щеке, то тогда исчезают напрасные помехи и сухие протоколы. Я на самом деле необычайно рад, что «медлительные, немногословные и драчливые» финны завязали постоянные и доверительные дружеские связи с Украиной, с одним из суверенных членов братской семьи советских республик, которая бескорыстно стремится построить для будущих поколений безопасный и спокойный мир. Дайте руку, юноша и девушка Украины!

Перевод с финского В. СМИРНОВА

ЛАСЛО НЕМЕТ

ПУШКИН

Вступление В. ЛАКШИНА

Заветное имя, самая сильная и ревнивая любовь русского читателя — Пушкин. Трудно говорить о нем, опасно прикасаться к нему случайными, неточными словами. Потому что, если вообще русскому читателю свойственно числить любимых своих поэтов сокровенным личным достоянием, помещать их там, где, говоря по-старинному, обитают духи домашнего очага — лары, знать близкими людьми в своей семье или спутниками в минуту одиночества, то к Пушкину это можно отнести, как ни к кому другому.

Мы приучаемся знать его в своем доме с самого раннего слуха детства, со сказок о царе Салтане и о рыбаке и рыбке, с чудес Лукоморья, с кота ученого, с того волшебного видения зеленого дуба с златой цепью, что сливается с первыми младенческими снами. И потом, начиная жить с его стихами, узнавая поэмы, «Онегина», «Моцарта и Сальери», мы мало-помалу проникаемся чувством, что нам бесконечно важен и он сам: не только десять томов его сочинений, а вся его жизнь и личность. Важно, кто его жена и кто дети, и сюртук-«выползина», в котором он стрелялся, и пожелтевшая перчатка, и каждый дом, в каком он останавливался хоть мимоездом, и каждый его приятель, и любая книга, им читанная, и всякий клочок исписанной им бумаги, будь то какие-нибудь случаем сохранившиеся полторы строчки заброшенного в самом начале стихотворения:

Скажи мне, ночь, зачем твой тихий мрак
Мне радостней...

Рукопись обрывается. Ни слова более. А прочтешь — и улыбнешься, как нечаянной радости.

Тем удивительнее сознавать, что в завоевании русской классикой образованного мира Пушкин занимает место почетное, но скромное. Фаворитами европейского и мирового читателя становились поочередно Лев Толстой, Достоевский, Чехов, недавно поднялась новая волна внимания к живописному и фантасмагорическому таланту Гоголя, а Пушкин все еще остается для большинства иноземельных читателей недоступным — будто заговоренный русский клад. С нами вежливо соглашаются, что он велик,— и только.

Конечно, тут немало препятствий, и первое среди них — языковой порог: несмотря на изрядное число хороших переводов (хотя бы «Евгений Онегин» по-итальянски в переводе Ло Гатто), никто не может похвастать тем, что перевел Пушкина к о н г е н и а л ь н о. И оттого зарубежные читатели Пушкина из тех, что хотели бы ближе его понять, ходят вокруг этого имени, как вокруг заколдованного места, смутно чуют ему цену, догадываются о его значении для всей судьбы нашей литературы, да и с наших слов об этом знают, но нельзя думать, что уже сегодня открыли его вполне и усвоили своей культуре. Откроют ли завтра?

Тем благодарнее отзывается наше чувство на любую серьезную, искреннюю попытку понять значение великого поэта для его родной страны и приблизить к нему своих соплеменников.

Немет Ласло (род. в 1901) — известнейший венгерский писатель старшего поколения, одна из наиболее ярких фигур в венгерской литературе за последние полвека, романист, эссеист, историк и педагог — написал в 1967 году небольшую книгу о Пушкине. Демократ и социалист по убеждениям, европейски образованный литератор, Немет всегда проявлял интерес к русской классике. Им переведены на венгерский язык проза Пушкина, «Анна Каренина» Толстого, сочинения Горького.

Венгерский язык, как известно, своим особенным звучанием и строем не схож ни с одним из славянских или западноевропейских языков. Тем выше в наших глазах заслуга Немета, обратившегося с книгой о Пушкине к своим соотечественникам, а для этого тщательно читавшего и изучавшего поэта на его родном языке. Даже по нескольким публикуемым в русском переводе главам его книги видно: Немет неравнодушен к Пушкину. Немало точных рассуждений, неожиданных догадок, остроумных наблюдений рассыпано по страницам его труда. И с каким изяществом и литературной свободой предлагает он свое понимание Пушкина! Его суждения о «скором» таланте и житейском темпераменте поэта, о начертанном им плане движения русской литературы, ее жанров смелы и не банальны. Велика дань нашей признательности венгерскому автору, уважения к его даровитому и умному перу.

Не станем же с мелочной придирчивостью изъявлять по всякому случаю, где мы не вполне согласны с суждениями почтенного писателя или где его наблюдения расходятся с выводами новейшей пушкинистики, а выслушаем его с тем вниманием и душевной приязнью, с какими слушают на семейном пиру уважаемого и милого сердцу гостя. Возразим ему лишь в немногом, но важном.

Вероятно, чтобы быть понятнее своему читателю, Немет вынужден был иное упростить, об ином сказать чуть поспешнее, чем хотелось бы. Верно отмечает он значение широко взятой европейской традиции для понимания неожиданной, ослепительной вспышки пушкинского гения, осветившей дальние пути всему девятнадцатому веку русской литературы. Но напрасно так бегло и равнодушно скользит он взглядом по лицам предшественников поэта: русская литература до Пушкина кажется ему «белым, нетронутым полотном».

По праву гения, мерящего жизнь и искусство своими мерками, Пушкин писал о «ничтожестве литературы русской». Но неправда думать, что он возрос на одной лишь французской — или даже шире — европейской традиции. Давно изучено и признано, что значила для него народная поэзия и русское летописание, царственные ритмы Державина и бунтующий разум Радищева, изящная лира Батюшкова и романтическое одушевление Жуковского, историческое чутье Карамзина и «веселое лукавство» Крылова. Отечественные традиции Пушкин впитывал так же ненасытно, как чужие: он не стал бы упиваться российской культурной скудостью только оттого, что своя, и не склонился бы перед иноземным богатством только оттого, что чужое. Его свободный гений брал себе все, что находил для роста души, безмерной по объему и ненасытной в жажде познания и свежего опыта чувств.

Немет высказывает соблазнительную догадку о движении таланта Пушкина в двух умеряющих друг друга полярных крайностях: южного «африканского» его темперамента и северного европейского вкуса, привитого извне послепетровской России. Пусть так. Но ведь за вычетом этих двух присущих его гению черт остается еще нечто, и, может быть, самое главное. То, что уходит корнями в русскую историческую почву, природу, быт, что составляет характер народа и его незаемную, пусть пока еще скромную, культурную традицию. Не один же, конечно, императорский Петербург, лицей и двор, салоны Фикельмон и Хитрово создали и воспитали талант Пушкина. «Люблю тебя, Петра творенье...» — восклицал поэт. Но мог бы сказать и по Катуллу: odi et amo — ненавижу и люблю. Вкусив все обольщения света и придворных балов, Пушкин уже начинал и ненавидеть Петербург, от которого готов был порой отпрянуть, как от «мертвой области рабов, капральства, прихотей и моды»; там правят, скажет он в другом стихотворении, «скука, холод и гранит»... Нет, мила была Пушкину и старушка Москва, в которой провел он свое младенчество, мила как обветшавший барский дом с патриархальными обычаями и заветом в сравнении с изысканной и пустой европейской гостиной. (Сопоставление, знакомое по Толстому,— салона Шерер и дома Ростовых.) Мила была и деревня — воздух полей Захарьина, крестьянские избы Михайловского, простецкий усадебный быт — со своими прочными тяжами беспечной о себе красоты и нравственного здоровья.

Не эта ли привязанность к родной почве, при сознании всех ее нищенств и бед, сделала Пушкина великим русским поэтом? Не она ли дала его гению и то свойство «всемирной отзывчивости», на которое проницательно указал Достоевский? Способность «дружественно, с полной любовью» принять «в душу нашу гении других наций» в самом деле отозвалась в Пушкине редчайшим даром воскрешения во плоти характеров иных стран и веков. Не переряженные русские, а подлинно испанский гидальго и британский священник, античный мальчик и рыцарь-крестоносец возникали под его пером, будто перенесенные издалека волшебным ветром вдохновения и поставленные въявь перед нашими глазами. Под низким серым небом осеннего Болдина пред ним распахивались ослепительно-голубые небеса Италии, и, неспешно бродя с тяжелой тростью возле чахлого утиного прудика, он слышал, как бьются о скалы волны Адриатики.

Родная земля внушила Пушкину этот дар понимания, «лелеющую душу гуманность».

За то и весь просвещенный мир платит, начинает платить Пушкину возвратной признательностью и любовью. Книга венгерского писателя — еще одна ветвь благородного лавра, вплетаемая в неохватный зеленый венок русскому поэту.

Основатель литературы

Если бы какому-то литератору пришла мысль попытаться построить своего рода типологический ряд писателей, исходя из характера писательского таланта и его исторической роли, то один край такой типологии составили бы писатели-пионеры, начинавшие по невозделанному, кто своим творчеством утвердил, привел в движение, вдохнул жизнь в литературу своего времени, ну, а другой край типологического ряда остался бы на долю завершителей: тех, кто, суммируя и обобщая, подводил литературу к плодотворному сочетанию традиций, в чьем творчестве получили свое окончательное и наиболее блистательное выражение слившиеся воедино различные направления. Драма елизаветинской эпохи с ее бурным развитием дает нам законченные примеры талантов обоего рода, примеры, по времени стоящие почти рядом: Марло кует стих, создает ритмику английской драмы и, таким образом, определяет глубину дыхания в литературе XVI века; Шекспир, вобрав все новое и продолжив его, оживляет драму страстями века. Если обратиться к французской литературе XVII века, то Корнель и в большей мере Паскаль были талантами такого рода, в коих через литературу обретает голос новая духовная формация; Расин дает нам прообраз иного рода таланта: его ум как бы процеживает сквозь себя все накопленное предшественниками в этом затихающем кипении — процессе становления классицизма,— отбирает самые блестящие его черты. В английской историографии XIX века с личностью Карлейля связано взбудоражившее науку брожение, которое вызывает художественный талант, когда он, подобно бродильному ферменту, прорывается в несвойственный ему вид литературы (в данном случае привнося с собой все богатство красок немецкой романтики); Маколей — через посредство блистательных традиций английской культуры — даже эту карлейлевскую пестроту, это брожение выкристаллизовывает в монолит. Если Китс или Леопарди могут быть приняты за натуры всецело поэтические — так сказать, эталоны поэта в чистом виде,— то с Байроном и Виктором Гюго открывается ящик Пандоры, бурно смешиваются оба начала: ангельское и демоническое. В романе XX века возник новый тип, когда Горький ввел в литературу и утвердил в ней новый класс, а Мартен дю Гар и Марсель Пруст подарили нам прекрасную лебединую песнь уходящего класса.

Ряд поэтических характеров, родственных или полярных друг другу по своим типологическим критериям, как видим, может быть продолжен. Но коль скоро упомянутые типы писателей возникают, свободно сменяя друг друга, в каждой из зрелых литератур и развиваются с естественностью, подобной вольно растущему лесу, существует также иной, совершенно особый тип писателя, который почти неизбежно рождается там, где отсталый или искусственно заторможенный в своем развитии народ осознает свою бедность и, со стыдом созерцая свою косную литературу, стремится уже не в отдельных пунктах программы самообразования, а через целостный характер гениальных творцов пробиться вверх, дабы литературой своей занять место равного среди зрелых народов. Немецкая литература XVIII века может служить отличным примером такого рода духовного самоутверждения; два великих основоположника этой литературы вместе с тем являют собой и два типа литературных характеров. От Лессинга берет начало национальная литература, стоящая ближе к страстям человека, пронизанная солнцем юга и одушевленная тонким вкусом; эта литература впоследствии дала Германии Гёте; Гердер воплотил собой немецкий дух в его философском порыве, он — дитя севера и менее стеснен переживаниями и чувствами отдельной личности; здесь тропа к Шиллеру и немецкой романтике. В нашей венгерской культуре вслед за Бешшенеи [1], опередившим свое время, у истоков литературы возвышаются три первозданных таланта: Бачани, Карман и Казинци [2]. Эти трое своей судьбой не только доказали лишний раз, что появление такого рода крупных талантов у малых народов с трудной историей почти закономерно, но и подтвердили другое: что несчастливая судьба способна погубить целых три таланта на протяжении жизни одного поколения, ибо подлинные

Публикация глав книги Л. Немета «Пушкин» подготовлена при участии С. М. Бонди.

[1] Бешшенеи, Дёрдь (1747—1811) — писатель, провозглашавший идеи просветительства в венгерской культуре.

[2] Бачани, Янош (1763—1845) — поэт, один из основателей первого венгерского литературного журнала. За приверженность идеям французских якобинцев, резкие выпады против короля и клерикалов подвергался преследованиям и тюремному заключению.

Ка́рман, Йожеф (1769—1795) — писатель, следовавший идеям Просвещения. Он осуществил первую успешную попытку создания венгерской художественной прозы.

Казинци, Ференц (1759—1831) — писатель, выдающийся борец за обновление языка. Участник движения венгерских якобинцев, был приговорен к смерти, замененной впоследствии тюремным заключением. *(Здесь и далее прим. редакции.)*

глубины нашей литературы открывают все же не они, а три поэта более позднего периода: Чоконаи, Бержени, Катона [1].

В Восточной Европе, пожалуй, нет ни одного народа, в ком новое национальное соперничество на заре XIX столетия не выдвинуло бы самородных талантов, таких, как Караджич, Кораис, Юнгман, Коллар (точно так же и среди развивающихся народов Африки и Азии будут открыты их духовные аналоги), но, пожалуй, в этой плеяде не сыскать равного Пушкину, кто воплотил бы в себе тип художника — основателя национальной литературы; по исключительности своих достоинств и грандиозности сделанного Пушкин — единственный в галерее европейских характеров. Мицкевич, в ком польский народ опознал дотоле скрытые свои достоинства, возможно, в каких-то своих чертах и самобытнее как поэт и индивидуальность; но в качестве основоположника литературы, по вкладу его в национальную литературу, Мицкевичу далеко до Пушкина.

Таким образом, не только исследователя русской литературы вполне закономерно занимает вопрос, каким же был тот удивительный талант, которому по плечу оказалась титаническая работа: заложить основу, предопределить и «спроектировать» развитие одной из крупнейших литератур нового времени.

Талант Пушкина

Пушкин был темпераментным, вспыльчивым человеком, «натурой поэтической». Очевиднее всего, именно по этой причине он и остался в стороне от декабрьского восстания: друзья не решились посвятить пылкого до безрассудства молодого человека в заговор, и тем самым поэт избежал Сибири. Пушкин сам неоднократно упоминал о своей африканской родне. В действительности же он мог считаться африканцем лишь на одну восьмую, и если поэт все же подчеркивал это обстоятельство, занимался своей родословной, писал «Арапа Петра Великого», чем и увековечил своего южного предка самым демонстративным образом (хотя его африканское происхождение служило темой для литературных пасквилянтов), то этим Пушкин явно хотел подчеркнуть ощущаемую как им самим, так и его современниками разницу в темпераментах, что отделяла его от северного окружения. То ли отзвуки темперамента абиссинского принца, очутившегося при дворе Петра, были тому виною, то ли какие другие случайные стечения в наследственности, но несомненный факт, что Пушкин относился к числу людей с обостренными эмоциями и потому быстро сгорающих: в возрасте пятнадцати лет он написал стихи, вошедшие в собрания его избранных произведений, а в двадцать лет — он ссыльный, которого, опасаясь его политического влияния, изгоняют в Бессарабию; не без оснований сетует он на проведенную в безрассудствах молодость. По той же причине — пламенного темперамента — и первые признаки старости относительно рано дают себя знать; мы улавливаем эти признаки не только в шутливых жалобах человека, которому едва за тридцать; и в самых глубинах его таланта откладывается пепел зрелости, что обратит перо Пушкина от стихов к прозе.

Однако упомянутая нами африканская пылкость, которая помимо безрассудств юности могла бы и в духовной жизни завлечь поэта в бесшабашное буйство мысли или, во всяком случае, породить экстравагантные выходки, эта пылкость соединилась в Пушкине с исключительным вкусом. Если его темперамент напоминал поэту о жгучем юге, то нам, читая не только его стихи, но и письма, приходится вспоминать о Северной Пальмире, где к эпохе Екатерины II уже образовался своего рода полюс вкуса и просвещенности, что и поныне отличает этот город из городов. Секрет этого островка вкуса, поднявшегося среди моря отсталости, заслуживал бы специального исследования. Общеизвестно, что среди всех духовных ценностей вкус — это последнее и самое труднодоступное, что может приобрести дебютант, а в Петербурге едва за три поколения — за эпохи деяний Петра, Ломоносова и Екатерины II — стекшиеся сюда иностранцы и предприимчивые Меншиковы создают такую школу прекрасных, чистых линий и отточенных манер, каких не достиг ни один город не то что Пруссии, но даже Англии. Но какие бы силы ни вознесли над хлябями российского захолустья этот висячий сад эстетического изящества, Пушкин был уже наследником этого вкуса, был взращен в нем, им были пронизаны эмоции этой натуры, и этот же вкус направлял и удерживал ее в своих пределах — во всяком случае, когда поэт брался за перо. Как личность незаурядная и глубокая, но помещенная меж посредственностей, Пушкин с открытой душой порицал бы двор, его праздных, бездушных интриганов, но, собственно говоря (что редко выпадает на долю писателей!), он и сам был человеком светским, и достаточно было поэту наведаться в Москву — где жили его испытанные друзья,— чтобы тотчас почувствовать свою органическую взаимосвязь со столицей. Для современного путешественника в России открыта возможность во временных рамках одной поездки сравнить московский дом Толстого, его усадьбу в Ясной Поляне и квартиру Пушкина на Мойке, окрестности Царского Села, где он рос. Толстой был гораздо состоятельнее, но его богатство — это достаток среднего помещика. Пушкин же вел образ жизни, принятый в свете, на заработок писателя. И если столицей русской литературы с новым центром духовной оппо-

[1] Чоконаи, Витез Михай (1773—1805) — венгерский поэт эпохи Просвещения. Бержени, Даниэль (1776—1836) — венгерский поэт. Катона, Йожеф (1791—1830) — венгерский драматург.

зиции в конце концов все же стала Москва, и как ни выросла, как ни окрепла с тех пор эта литература, той своей особенностью, что одушевленная темпераментом Пушкина и облагороженная им изысканность все еще была не просто мерилом, а обязательным идеалом каждого писателя,— этим русская литература обязана школе своего основателя.

Каждый придворный — по необходимости дипломат; его существование зависит от умения верно определить, с кем и как следует разговаривать. В Пушкине тоже были чутье и гибкость прирожденного дипломата, однако его теплая задушевность распространяла эти качества за пределы общества, способность проникать в характеры не служила цели оборачивать выгодой для себя знакомство с каждым человеком, возникающим на его пути (но не стоящим поперек пути). Тем-то и притягательна до чрезвычайности его переписка, что она являет собой неподражаемый образец гибкой смены интонаций, какой истинная приветливость — даже будучи своего рода актерским искусством — никогда не позволит опуститься до пустого притворства. Среди писем скучающего в Бессарабии Пушкина (а ему нет еще и двадцати [1]) есть одно, отправленное младшему брату и сестре. Адресованная брату часть письма длиннее и на русском языке; в быстрых, шутливых фразах ясно проглядывает намерение — в духе семейных традиций — направить и брата на литературную стезю и использовать его в качестве своих глаз и рук для ведения прерванных дел, для наблюдений и для сплочения дружеского круга. Сестре Пушкин пишет на французском. В десять кратких строк втиснуты четырнадцать вопросов, из коих мило вырисовывается образ жизни юной девушки («Вернулась ли ты из своего путешествия? Посетила ли снова подземелья, замки, Нарвские водопады? Развлекло ли это тебя? Любишь ли ты по-прежнему одинокие прогулки? Какие собаки твои любимицы? Забыла ли ты трагическую смерть Омфалы и Бизара? Чем ты развлекаешься? Что читаешь? Виделась ли ты снова с соседкой, Анетой Вульф? Ездишь ли верхом? Когда возвращаешься в Петербург? Что поделывают Корфы? Не вышла ли ты замуж? Не собираешься ли выйти? Сомневаешься ли в моей дружбе? Прощай, мой добрый друг»). Большая часть уцелевших писем поэта, написанных по-французски, адресована трем лицам: графу Бенкендорфу, жандармскому генералу, уполномоченному следить за поэтом (а также посреднику в передаче просьб Пушкина царю и замечаний царя Пушкину), и двум старшим по возрасту приятельницам опального поэта: помещице Осиповой, в ее доме он во время наездов в Михайловское и ссылки нашел общество, близкое ему по духу, и женщин, достойных быть предметом его увлечений; третий же адресат — дочь генерала Кутузова, с кем поэт во время своих долгих странствий делился взглядами, какие не грех было бы распространить и при дворе. Обращенные к «благодетелю»-жандарму чрезмерно вежливые письма по стилю отличаются от писем к дамам, но и приветливость, остроумие, адресованные провинциальной помещице,— иного толка, нежели резкие, отточенные формулировки, рассчитанные на петербургских ценителей его ума. Почерк подсказывает: перед нами человек, углубленный в себя, но — отметим — многие и многие великие мастера эпистолярного жанра точно так же уделяли главное внимание стилю, а не красоте написания букв. Пушкин вносит поправки в тональность при общении с каждым новым адресатом, берет то диез, то бекар. Женитьба сводит его с деревенским дядюшкой [1], кому надлежит нравоучениями восполнить отсутствие приданого у Натали (и о ком под конец обнаруживается, что он, «свинья», против воли выдает замуж крестьянских девушек). У читателя вызывает улыбку патриархально-почтительный тон, уводящий нас к гоголевским героям, и терпение, с каким разыскивает Пушкин этого Афанасия Николаевича и обсуждает с ним комариный вопрос о памятнике императрице Екатерине (новоявленный дядюшка, в бытность свою молодым придворным, воздвиг такой памятник, вложив в него не столь много вкуса, сколь лести). Испещренные точками вместо опущенных слов письма связывают бывших лицейских товарищей, но и послания поэта к князю Вяземскому, слывшему философом, отличаются от обращений к барону Дельвигу, другу и единомышленнику Пушкина. Когда же по прошествии ряда лет поэт отыщет письмо старого кишиневского знакомца, Пушкин в своем ответе [2] становится добрым приятелем; свободно льются воспоминания о прежних веселых встречах, и тут уж перед нами чередой проходят и еврейки, и гречанки... Ну, а как громаден может быть диапазон чувств и мыслей в обращении к женщинам, показывают письма поэта к тригорским дамам, Анне Керн и собственной жене; здесь блестящие примеры искрометного, обольстительного, ревнивого светского ухаживания и любви, душевной приязни «под оковами супружества».

Среди многих достоинств и недостатков Пушкина, что наиболее ярко показали себя в его писательском таланте и способствовали формированию духовной структуры его как поэта, назовем следующие.

Пушкин был «скор» — и по своей человеческой натуре, и как характер творческий. Мы имеем в виду не только тот феномен, что он иной раз за короткое время писал на редкость много и хорошо (чему пример — болдинская осень, когда эпидемия холеры привязала поэта к столу), но Пушкин и как писатель не мог оставаться долго пригвожденным к одной теме, одному жанру, одному творческому методу; и если

[1] В пору написания этого письма (1821) А. С. Пушкину было двадцать два года.

[1] Имеется в виду А. Н. Гончаров — дед Н. Н. Гончаровой, жены А. С. Пушкина.

[2] Письмо А. С. Пушкина к Н. С. Алексееву от 1 декабря 1826 года.

жизнь иногда вынуждала его по два года метаться как в клетке между Михайловским и Тригорским, то даже успех не мог приковать его мысль к единожды разрешенной жанровой задаче. Эта «жанровая» неуспокоенность чрезвычайно способствовала благословенной широте охвата: тому, что Пушкин своим летящим пером везде прошелся по белому, нетронутому полотну русской литературы и наметил узловые штрихи каждого жанра, определил в целом контуры будущей картины. Из венгерских писателей разве что у Петефи встретим мы этакую стремительность, это отсутствие привязанности к раз испытанному методу: можно с уверенностью сказать, что, проживи он дольше, хотя бы столько, сколько Пушкин, он открыл бы более обширные области творчества Араню, Вайде, Кеменю[1] и грядущим драматургам; им, обладавшим менее быстрым талантом, не пришлось бы тогда коснеть в узких рамках жанра.

С другой стороны, прирожденный вкус сделал этот проект русской литературы, начерченный быстрою рукой Пушкина, необыкновенно точным. Поэт не только избежал нарушения пропорций в оценке и восприятии собственных творений, придав своему таланту уверенность и изящество плавного взлета — иными словами: гармонического развития,— но и поразительно точно оценивал, еще будучи юношей, труд других. Те, кого Пушкин-лицеист избрал в учителя себе,— Жуковский и Батюшков,— как известно, не потеряли своего лица среди других имен русской литературы. В историческом труде Карамзина (хотя Пушкин и не удержался от эпиграммы по поводу его верноподданнической направленности) поэт ценил стиль и богатство материала, а если Вяземский дерзает принизить Крылова, он может быть уверен, что получит достойную отповедь Пушкина. В развитии русского поэта известным стимулом явился Байрон. Но модное увлечение не перешло у Пушкина в манию, своего рода болезнь: он отобрал из Байрона лишь то рациональное, что было необходимо ему для высвобождения собственных сил и для первого, приспособленного к российской действительности поэтического автопортрета. Сколь критически относился он к британскому барду, сужу по одной из современных антологий Байрона, где цитатой из Пушкина объясняется, отчего Байрон не стал драматургом. Он «постиг, создал и описал единый характер (именно свой)... Когда же он стал составлять свою трагедию, то каждому действующему лицу роздал он по одной из составных частей сего мрачного и сильного характера и таким образом раздробил величественное свое создание на несколько лиц мелких и незначительных».

Умение постигать людей, проникаться их настроением, как в письмах, так же, очевидно, и в устной беседе, сослужило хорошую службу Пушкину-писателю не только в случае творческой, рабочей надобности (как в «Борисе Годунове»): чтобы заставить каждого персонажа говорить свойственным только ему языком — будь то царь, патриарх, игумен, ремесленник, бродяга-чернец, хозяйка корчмы. Этот же талант к постижению помогал Пушкину, когда он, попадая в новую для себя среду, обильную новыми впечатлениями, тотчас же определял, что из виденного, услышанного им может быть использовано, что ценно с точки зрения литературной: будь то «История государства Российского» Карамзина, не тронутый пером пейзаж Кавказа или сказки старой няни.

И посейчас в поэтической натуре Пушкина нас глубоко интересует это его необычайное качество, эта присущая ему редкая способность — своеобразный творческий инстинкт ориентировки, вживания в жизнь, который подобен вложенному природой в организм категорическому императиву, заставляющему поэта быть в средоточии событий, двигаться, слушать, смотреть — с единою целью: упорядочивать, систематизировать русскую литературу, которой, по сути, еще не существовало, но которую необходимо было создать! Он всего два года был воспитанником Царскосельского лицея, когда написал не так давно обнаруженное, в несколько сот строк стихотворение «Тень Фонвизина». Это свод поэтических канонов будущего основателя литературы. Фонвизин, писатель XVIII века, автор комедий, кого Пушкин относил к числу достойных предшественников, получает у небес дозволение навестить ныне здравствующую русскую литературу. Однако русской литературы как таковой не существует. Слагатель од, «почтенный старец» Державин — его знавал еще Фонвизин — болтает всякий вздор, Батюшков дремлет в домашнем уюте, и лишь один неутомимый стихоплет кропает упорно.

Когда Хвостов трудиться станет,
А Батюшков спокойно спать,
Наш гений долго не восстанет,
И дело не пойдет на лад,—

обобщает он впечатления Фонвизина. (Для неподкупного суждения молодого Пушкина характерен факт, что стихотворение это написано в тот самый год, когда на экзаменах в лицее старик Державин обнял юношу, декламировавшего стихи, и посвятил его в поэты.) Это рано пробудившееся чувство ответственности и делает Пушкина стражем художественных вкусов или, говоря естественно-научным языком, своего рода фильтром русской литературы.

Литературная образованность Пушкина была необычайно разносторонней. В последний год своей жизни, когда поэт (подобно нашему Жигмонду Морицу) основал журнал и ему пришлось призвать на помощь всю свою память и находчивость, чтобы выходящие ежеквартально выпуски «Современника» были интересными, тотчас выяви-

[1] Арань, Янош (1817—1882) — венгерский поэт. Вайда, Янош (1827—1897) — поэт, писатель и публицист. Кемень, Жигмонд (1814—1875) — писатель и публицист.

лось, сколь многое собрал в себе и удержал этот цепкий ум. Едва речь заходит о переводе Мильтона Шатобрианом, поэт не только обнаруживает знания фактографические, а именно: какое место занимает этот перевод в жизни престарелого поэта и почему не правы в своем пуризме французские критики; редактору «Современника» известно даже, как представляют Мильтона (наряду с Кромвелем) два других недавно объявившихся в литературе французских поэта, его современники — Виктор Гюго и Альфред де Виньи, и, разумеется, Пушкин отдает себе отчет, сколь велик был сам Мильтон. Однако образованность Пушкина не гелертерского типа, и особенно в двух отношениях она отличается от начитанности литератора, живущего среди своих книжных полок. К содержанию книг, даже когда он читает их как профессиональный писатель, Пушкин подходит как человек общественный: читая «Чайльд Гарольда», он видит тот общественный прибой, что выносит эту вещь на стол санкт-петербургских дам; за содержанием книги он угадывает и степень ее воздействия на умы, каждая книга — в то же время и движение общественного настроения. Вместе с тем Пушкин, как и положено доброму кормчему, следит, в каком направлении может увлечь корабль русской литературы это движение — поток мыслей и вкусов. С младых ногтей, в семье и в лицее, поэт впитал в себя французский дух. Позднее Жуковский обращает его внимание на немецкие и английские образцы, и Пушкин тотчас же замечает, что французский дух XVIII века — атмосферой коего со времен Екатерины проникался каждый образованный русский (как наши предки — латынью или индусы — английским) — к эпохе Пушкина измельчал, а глубинное течение литературы проходит близ острова, где за парусом Байрона встают вершины Шекспира. Более того, с предубеждением к французской литературе поэт не расстается и в более поздний период (сознаемся, не без оснований), когда в Париже пробуждается к жизни новое, талантливое и во многом родственное самому Пушкину, но в чем-то несдержанное, в чем-то излишне экзальтированное, романтическое поколение... Но возвратимся к Альбиону. Как видим мы из критики Байрона, и к дуврским скалам русский поэт обращался не без должной осторожности человека, направляющего собственную, отечественную литературу. «Не стоит десяти строчек Тристрама Шанди» [1],— укоряет он Жуковского за перевод Мура, и нас поражает: первое, что он вообще знаком со Стерном, этим, пожалуй, наиболее близким нам писателем XVIII века, и далее, что Пушкин так высоко ставит его, иными словами, столь верно оценивает любимца современников, «сентиментального классика».

Мировая литература, естественно, служит лишь форумом народов, перед их лицом предстоит Пушкину выписать пока еще лишенную контуров картину и наделить отечественную литературу русским характером — так, чтобы она вызывала интерес других стран. То немногое, что было создано до него и что сейчас окружает его, поэт неустанно упорядочивает: начатки отечественной литературы служат Пушкину материалом для формирования творческих принципов, метода, традиций национальной литературы — и даже более того: Пушкин определяет роль и значение каждого писателя для становления развивающейся культуры. Тот анализ положения русской литературы, который Белинский с бо́льшим научным аппаратом и более пространно излагает в своих первых работах, уже представлен в совершенном виде в статьях и письмах Пушкина. От Ломоносова и далее стоят: Радищев, крамольный автор «Путешествия из Петербурга в Москву»; Крылов, вдохнувший в басни Лафонтена русский дух; Державин в лучших образцах своей поэзии: мэтр перевода и баллад — Жуковский; Батюшков, ревнитель лирической поэзии, а в отдаленном прошлом — «Слово о полку Игореве», подлинность которого Пушкин отстаивает великолепными, неоспоримыми аргументами. Подобно зодчему, с великим тщанием собирает он немногий оставленный от предков материал, а то, что предлагает ему окружающая литературная среда, к сожалению, еще скуднее. Не только Пушкин в ссылке жаловался, что круг поэзии все более сужается, что поэты «скоро... будут принуждены, по недостатку слушателей, читать свои стихи друг другу на ухо»; Белинский в своей первой статье 1834 года сетует на то, что пробудившая было надежды русская литература иссякла, что вслед за эпохой Державина и Карамзина, видимо, закончился и тот период, который в двадцатые годы мог бы получить свое название от Пушкина. И действительно, в русской литературе 30-х годов (перед скачком 40-х) мы наблюдаем заметный пробел. Сам Пушкин не только торил новый путь, но и смело заглядывал вперед. Однако его современники, на кого он мог бы возложить хоть часть задачи, зреющей в его уме,— на Дельвига лирику, на Вяземского литературоведческие исследования,— эти современники умерли или же не поднялись над уровнем посредственности. Теперь-то мы, конечно, знаем, кого из ровесников Пушкина следовало бы брать в расчет: так вполне мог быть открыт талант Грибоедова, убитого в годы зрелости Пушкина; Лермонтов же в год смерти Пушкина был 23-летним юношей, которого Пушкин совсем не мог знать; Гоголю было 28, Белинскому 26 лет; Гоголь — любимый сотрудник пушкинского журнала, Белинского же как литературного критика Пушкин выделял среди прочих, даже несмотря на резкий выпад критика в его адрес.

Конечно, основателю литературы не обязательно быть основателем писательского кружка. Так и в данном случае: один человек, лишенный помощи единомышленников, наметил абрис будущей литературы, и то

[1] Автор имеет в виду письмо А. С. Пушкина к П. А. Вяземскому от 2 января 1822 года. Речь идет о поэме «Лалла Рук» Томаса Мура.

известное нам обстоятельство, что современное ему поколение отказало поэту в помощи, вынудило его засесть за работу более обширную и в одиночку, полуосознанно, прозревая интуицией гения, составить план, очертить контуры будущей литературы. Как волшебный жезл касается земли и в том месте от удара вмиг забьет живительный источник, не так ли и Пушкин мыслью и памятью своей прошелся над русской жизнью с ее стариной и нравами, на каждом шагу подключая к отечественной словесности все новые и новые открытые им области своими произведениями и планами указывая потомкам, где и что еще может быть взято и направлено на благо русской литературы.

■

Таким образом, двумя десятилетиями своего творчества Пушкин открыл дорогу последующим великим десятилетиям русской литературы, определил главнейшие задачи на будущее. Нелегко вообразить деяние более благодатное, ибо существует ли успех больший, нежели вознестись в подоблачные высоты, продвинув своим трудом культуру целой нации! Но не следует думать, будто этот успех был явным и признанным при жизни Пушкина, что, наконец, в этом успехе мог быть уверен он сам. Больше того, в годы перед гибелью Пушкина были основания опасаться, что после одного-двух крупных всплесков русская литература вновь измельчает. Мы знаем, что Белинский через три года по смерти Пушкина говорил о нем самом не без разочарования. И надо полагать, что и сам невольник светской красавицы, историограф и редактор журнала мог порою не без грусти оглянуться на свой поэтический Кавказ, на снежные пики «Онегина» и «Бориса Годунова» [1].

Необходим был взлет сороковых годов: появление «Мертвых душ», критических статей Белинского, первых произведений Тургенева, а там и выход на литературную арену Гончарова, Толстого, Достоевского, чтобы творческий подъем этот, начатый Пушкиным, был замечен писателями и широкой публикой. Но и тогда еще очень многим Гоголь казался подлинным основоположником русской литературы — да мы и сами поверили Достоевскому, будто вся русская литература вышла из «Шинели» Гоголя. Гоголь, однако, был в литературе истоком бесспорно меньшим, он — выразитель той специфической русской иронии, которая столь отлична от английской или иронии других западных литератур и языком которой после Гоголя заставят говорить своих героев Достоевский, Салтыков-Щедрин и — в лучших своих произведениях — Гончаров. Необходимо глубже знать Пушкина, чтобы прозреть — помимо личных его достоинств,— сколь гигантской программой развития литературы явилось его творчество, программой, большею частью осуществленной, а отчасти и неосуществленной, ибо тем озарениям гения, той высокой утонченности, легкости, с какими он набросал эскиз дальнейшего развития изящной словесности, не было или почти не было продолжения в более тяжелой и более грустной по тону русской литературе.

Конечно, для успеха замыслов Пушкина необходима была благодатная почва. Этой почвой стал русский народ, а залогом успеха тот факт, что Пушкин явился основоположником литературы у народа, столь богато одаренного, схватывающего на лету указания гения и, по предначертанному, прозорливо докапывающегося до новых культурных пластов. Без этой почвы — не пробуди он национального отзвука — не исключено, что Пушкин остался бы в истории лишь автором нескольких изумительных стихотворений или талантливых подражаний Байрону и Шекспиру. Ибо дар основоположника литературы лишь отчасти скрыт в томах его сочинений, своим успехом он лишь отчасти обязан перу, главным же образом — созвучию с нацией. Можно представить себе драматическую фигуру писателя одинаковой с Пушкиным одаренности, способного в силу духовных своих качеств стать основоположником литературы,— и все же такого писателя, талант которого высох, увял без поддержки, лишенный жизненных соков национальной культуры.

Перевод с венгерского Т. ВОРОНКИНОЙ

[1] Мысль о предпочтении А. С. Пушкиным его ранних произведений поздним представляется спорной.

◆

Культура и современность

Заметки на полях

ПРИЗРАКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Один из наиболее доступных способов измерения явлений духовной жизни состоит в сведении их к материальным единицам: тоннам использованной бумаги или типографской краски, километрам пленки, часам передач или миллионам выплаченного гонорара. Если применить этот способ к измерению колебаний интереса к проблеме фашизма в западных странах в послевоенные годы, то полученный график напомнит боковую проекцию двугорбого верблюда. На покатой линии четко выделяются два пика: один — приходящийся на начало 50-х годов и второй — на наше время.

Поток литературы о фашизме, хлынувший в послевоенные годы на книжные рынки, был для своих лет беспрецедентным. В нем были представлены всевозможные жанры: публицистика и художественная литература, аналитические обзоры и мемуары, филиппики и панегирики. В процесс производства информации (и дезинформации) на эту тему были вовлечены все средства массовых коммуникаций. Наиболее одиозные фигуры недавнего прошлого, и прежде всего главари третьего рейха, оказались как бы поднятыми на пьедестал: в лучах прожекторов оказались все аспекты их общественной и личной жизни.

Чисто формально то, что происходит в некоторых западных странах на протяжении последнего года,— это калька с ситуации, сложившейся тогда, когда поколение, вступившее ныне в брачный возраст, еще не родилось. Внешние проявления этого феномена описываются в журнале «Энкаунтер» следующими словами:

> «Уже почти в течение года мы, как представляется, являемся свидетелями «ренессанса» Гитлера, затронувшего литературу, театр, кино, телевидение и рынок грампластинок. Несомненно, речь идет о чем-то большем, нежели простой бизнес и погоня за барышом, если два гамбургских еженедельника («Штерн» и «Шпигель») с миллионными тиражами подают своим читателям, неделя за неделей, выдержки из новых книг о Гитлере, книг, которым, очевидно, было гарантировано место в списках бестселлеров еще до того, как они появились.
>
> И правда, за несколько месяцев были распроданы несколько сот тысяч экземпляров новой биографии Гитлера, написанной Иоахимом Фестом. Если по воскресному телевидению в программе Вернера Хофера «Круглый стол» тема Гитлера могла обсуждаться так, как будто нет ничего более срочного и важного,— это верный признак того, что широкая публика внезапно почувствовала потребность быть лучше информированной по этому «одиозному» вопросу».

Не касаясь пока объяснения причин отмеченного «ренессанса», к которым мы возвратимся позже, ограничимся оценкой фактической стороны дела. Основное содержание процесса схвачено автором верно, хотя само изложение далеко не полно. Дело не только в интересе к одной, названной выше фигуре, хотя она бесспорно находится в эпицентре. О новых публикациях дневников Геббельса пишут сейчас на Западе немногим меньше, чем, например, о книге Феста. Да и в некоторых других странах чаще, чем прежде, фиксируют внимание на местных бывших фашистских «вели-

чинах». Точнее можно было бы сказать, что общественности навязывается новая дискуссия не столько об отдельных личностях, сколько о сущности и содержании самого феномена фашизма.

Однако сходство внешних явлений еще не свидетельство идентичности процесса. И действительно, если сравнить «пики», о которых шла речь выше, то нетрудно выявить различия весьма существенного порядка.

В 50-е годы внимание, уделяемое конкретным проявлениям практики третьего рейха и итальянского «корпоративного» государства, выросло на естественной почве. Народы Европы с трудом оправлялись от последствий господства, основанного на беззаконии и терроре, попрании прав и достоинств человека. Еще кровоточили физические и духовные раны, нанесенные второй мировой войной. Людям хотелось знать: что же в действительности случилось? Почему цивилизованные, промышленно развитые, обладающие глубокими культурными традициями государства — Германия и Италия — превратились в заповедник злобных человекообразных? Как получилось, что многие вроде бы честные люди оказались пораженными душевной проказой? Почему в других странах, где фашисты не победили, в правящей верхушке нашлось немало субтильных джентльменов, которые, будучи не в состоянии лично оторвать у паука ножку, с легким сердцем в континентальном масштабе расчищали дорогу к власти заведомым насильникам, громилам и убийцам?

Как известно, спрос порождает предложение. А характер этого предложения, естественно, зависит от того, кто производит товар. Идеологическая сверхзадача, которая встала тогда перед буржуазной наукой и пропагандой, выглядела предельно ясно. Глубокая компрометация фашизма как идеологии и режима являлась непреложным фактом. Учитывая это, было необходимо разорвать укрепившееся в сознании людей представление об органической связи между фашизмом и капитализмом, фашизмом и традиционной правящей верхушкой. Иными словами, надо было не допустить, чтобы враждебность к фашизму приобрела форму отрицания капиталистической системы, а стремление вырвать корни фашизма привело к утрате правящими кругами позиций власти.

В этих общих рамках различные авторы действовали по-разному: в зависимости от политических симпатий, научных предпочтений, способностей и кругозора.

Сложилась и активно действовала, например, буржуазно-консервативная школа исследователей фашизма. Ее сторонники изображали этот феномен как частное выражение «пагубного развития», вызванного расшатыванием традиционных общественных устоев в результате прогресса и революций. Один из основателей этой школы, Герман Раушнинг, бывший некогда сторонником национал-социализма, а затем получивший известность как его критик, выводил все беды человечества, включая фашизм, из... Великой Французской буржуазной революции.

Освобождение человека от традиций и привычек, утверждал он, привело к полной идеологической дезориентации, сопровождаемой всеобщей анархией духовных ценностей. Вызванный всем происходящим величайший кризис современной цивилизации неизбежно толкает человечество на путь создания «авторитарного, арбитарного и тоталитарного государства».

Таким образом, ответственность за возникновение и утверждение фашизма несет не социально-экономическая система, создавшая объективные условия для этого процесса, и не правящая верхушка, охотно игравшая в фашистские игры, а безымянная и тем самым неподсудная «неструктурированная» масса.

У буржуазных либералов сложилась своя специфическая схема. Отталкиваясь от Бенедетто Кроче, они трактовали фашизм как патологическое отклонение в развитии цивилизованного, то есть капиталистического, общества в сторону от магистральной линии, ведущей к абсолютной свободе. Частной формой этой схемы была трактовка фашизма как следствия «морального кризиса», «социальной депрессии», своего рода опьянения.

Действовавшая в рамках этого направления социально-психологическая школа рассматривала фашизм как форму морального падения отдельных общественных групп и лиц. В ряде случаев проблема рассматривалась с позиции психиатра. Этим грешили даже левые либералы. Для В. Рейха, например, фашизм — это «садистски-мазохистская разрушительная реакция на процесс отчуждения человека в современном обществе», для Т. Адорно — реализация «авторитарного синдрома», делающего индивида «потенциальным фашистом», для Э. Фромма — выражение «механизма бегства» от социального бессилия, необеспеченности, изоляции.

Субъективные намерения исследователей, относящихся к этой группе, были в ряде случаев различными. Объективно же применяемая ими методология, так же как и выводы, к которым они приходили, служили затушевыванию классового содержания фашизма и тем самым реабилитации сил, несущих ответственность за его появление.

Сказанное полностью относится и к буржуазно-либеральной «социологической школе» исследователей фашизма. В соответствии с традицией, заложенной еще корифеем буржуазной социологии К. Манхеймом, рассматривавшим фашизм как отражение

психологической и социальной ситуации групп, которым развитие общества кажется иррациональным, в основных работах этой школы фашизм выступал как социальное движение «низших слоев средних классов». Наиболее подробно эта концепция была разработана американским социологом Сеймуром Липсетом.

Изучение социального базиса современных массовых движений, утверждал Липсет, позволяет прийти к выводу, что каждый большой социальный слой, или, как он говорил, страта (а таких страт он выделял три — низшую, среднюю и высшую), имеет два политических выражения: демократическое и экстремистское («тоталитарное»). К экстремистским движениям, отражающим позиции низшей страты, Липсет относил коммунизм и перонизм, к экстремистским движениям высшей страты — традиционализм, к экстремистским движениям средней страты — фашизм.

И в данном случае, как нетрудно убедиться, в новой, будто бы своеобразной форме выступает прежняя основная установка: правящие классы как бы отгораживаются от фашизма, который подается как форма выражения массовых устремлений.

Содержание многочисленных произведений, созданных буржуазной наукой в это время, разумеется, не исчерпывалось созданием «фундаментальных концепций». Был поднят, проанализирован и опубликован обширный документальный материал, проведена интересная разработка ряда более или менее важных проблем. Наиболее крупные работы того периода (например, западногерманских ученых Брахера и Нольте, американца Ширера и некоторых других), несмотря на несостоятельность исходных концепций, стали заметными вехами в исследовании если не самого феномена, то, во всяком случае, истории стран и правых политических движений в период господства фашизма. Что не менее важно, почти все авторы работ этого рода, вне зависимости от нюансов их политических взглядов, исходили из отрицательного отношения к конкретным воплощениям фашистской политики, которые они описывали, из негативной оценки наиболее одиозных деятелей фашистского прошлого. Апологетика фашизма, уже исходившая в то время от ультраправых, рассматривалась, учитывая общую духовную атмосферу, как стоящая вне пределов настоящей, серьезной, академической науки.

Однако научная литература о фашизме, появившаяся в 50-е годы, составляла лишь некоторую часть мощного бумажно-чернильного потока. Другая, не менее важная часть, количественно во много превосходившая первую, приходится на документальную и псевдодокументальную литературу, исходившую от бывших видных актеров кровавых фашистских спектаклей. Возникновение и масштабы этой струи были во многом обусловлены особыми политическими аспектами тогдашней ситуации. Поворот правящих кругов ведущих западных держав от военного союза с СССР к «холодной войне» против него вызвал переориентацию их отношения к разгромленному германскому рейху. Та его часть, которая находилась под контролем западных держав, стала рассматриваться как потенциальный союзник в «конфронтации» с Востоком. Соответственно изменилось отношение к административным и особенно военным кадрам бывшего рейха. Из предаваемых анафеме носителей зла они, по меньшей мере в потенции, превратились — или во всяком случае должны были превратиться — в друзей и единомышленников.

Однако этому превращению должна была предшествовать одна немаловажная косметическая операция. Поскольку фашизм как явление, идеология и практика оставался неприемлемым для подавляющего большинства общественности, необходимо было доказать, будто конкретные хозяйственные, административные и особенно военные кадры фашистского прошлого являлись не инструментами системы беззакония и террора, а ее тайными противниками и даже жертвами. Иными словами, обеление капитализма как системы должно было сопровождаться обелением конкретных людей, осуществлявших функции власти и управления при фашистских режимах.

Этот специфический социальный заказ создал атмосферу, в которой только и могла появиться и получить распространение многочисленная литература «самооправдания», наложившая столь заметный отпечаток на книжный, и не только книжный, рынок западных стран в 50-е годы. Стержень этой литературы составляли мемуары, в которых бывшие администраторы, дипломаты и генералы, захлебываясь от многословия, объясняли, какими высокими мотивами они руководствовались, как ясно понимали обстановку и четко предвидели будущее и как их позитивные усилия сводились на нет немногими бездарными дилетантами и «злыми гениями». При знакомстве со всей этой литературой получалось, что, например, в фашистской Германии практически не было фашистов: существовала лишь небольшая группа одержимых, которая, используя не совсем понятные средства, навязывала свою волю народу вопреки последовательному, хотя и скрытому, сопротивлению всего государственного и хозяйственного аппарата. В эту группу «действительно виновных», как правило, включались те, с кого все равно не было спроса: покойники, пропавшие без вести или нашедшие себе спокойное убежище в дальних странах.

Очень важно еще раз подчеркнуть, что при всем этом изложение, как правило, велось с позиций более или менее четко отрицательной оценки прошлого режима или, по крайней мере, наиболее очевидных последствий его господства.

Основные подходы, характерные для обоих потоков, воспроизводились и систе-

мой массовых коммуникаций, которая в свойственной ей манере упрощала, огрубляла и, соответственно, во многом обнажала механизм идеологических манипуляций.

Многое из того, что составляло содержание буржуазной литературы о фашизме в 50-е годы, характерно и для нынешнего ее потока. Прежде всего это реабилитация правящего класса от обвинений в активной поддержке фашизма и использовании установленного им режима в своих интересах, особый упор на широкие массы как основной «источник» фашизма, концентрация внимания на роли нескольких личностей как персонифицированных носителях зла и источнике магического воздействия на окружающих и т. п.

Примером может служить книга Корнелиуса Шнаубера «Как Гитлер говорил и писал» — одна из самых последних на эту тему, вышедших в Федеративной Республике. Вот наиболее примечательные выдержки из нее:

> «Гитлер сделал карьеру в результате взаимодействия многих факторов, и тот факт, что его при этом финансировали некоторые крупные предприниматели, был лишь одним из них. Разве, придя к власти, «марионетка» Гитлер не заключил в лагерь одного из этих финансовых воротил, являвшегося одновременно одним из богатейших представителей тяжелой промышленности Европы? Кроме того, он серьезно планировал провести когда-нибудь национализацию крупных заводов и фабрик, предприятий, монополий и «анонимных акционерных обществ», а также намеревался путем своего рода обобществления изъять «акции из частного владения»... Таким образом должны были быть ликвидированы капиталистические предприятия».

Выдавая за факт информацию, не получившую никакого документального подтверждения, автор продолжает в том же духе:

> «Не подлежит сомнению, что предприниматели извлекли для себя выгоды (из политики Гитлера.— А. Г.). Однако они практически не оказывали никакого влияния на приобретавшую все более хаотичный характер экономическую, а позже и военную политику Гитлера».

Вся эта тривиальная мешанина правды с полуправдой нужна автору для того, чтобы иметь возможность зафиксировать следующий окончательный вывод:

> «Именно крестьяне, а не предприниматели являлись привилегированным «классом» при Гитлере».

Пытаясь ответить на весьма неприятный вопрос: как же в таких условиях Гитлеру удавалось добиваться беспрекословного подчинения личностей и социальных групп, без активного участия которых была невозможна реализация функций власти, Шнаубер прибегает к ставшей уже традиционной уловке:

> «Гитлеру удавалось с помощью ритма, своеобразного членения и мелодики речи в значительной мере парализовать центры логического мышления коры головного мозга и по своему усмотрению активнее влиять на эмоциональные области мозгового ствола. Он использовал эти психо-просодические возможности воздействия прежде всего тогда, когда ему нужно было навязать своим слушателям вполне определенные идеи, абсурдные или даже нечеловеческие требования, преднамеренное искажение истины и исторических фактов или необходимые оправдания неожиданным и даже преступным поступкам».

Однако если бы содержание нынешнего потока литературы по фашизму сводилось лишь к перепеву мотивов, возникших в 50-е годы, то новый пароксизм интереса к этой проблеме был бы непонятен.

И действительно, уже в самом начале «новая волна» литературы о фашизме продемонстрировала свои существенные отличия. Наиболее характерное среди них — настойчивое стремление принципиально изменить акценты при оценке значения и роли самых одиозных фигур фашистского прошлого.

Если говорить, в частности, об освещении фигуры нацистского «фюрера», то с ним проводится операция, о которой мечтал еще в первую послевоенную зиму интеллектуальный предвестник национал-социализма, один из наиболее реакционных писателей в литературной истории Германии — Эрнст Юнгер:

> «Сегодня его неизбежно считают чистой воды провокатором. Эта оценка с течением времени претерпит изменения. Споры о Гитлере приведут нас к истокам его личности».
>
> «Двадцать семь лет спустя,— пишет в этой связи уже цитировавшийся журнал «Энкаунтер»,— это пророчество, по-видимому, начинает сбываться. Впервые человек, ставший самым ненавистным и самым проклинаемым из всех немецких государственных деятелей, получает то, что ему, если можно так выразиться, «причитается от истории»,— и не только здесь в Германии, но также и за ее пределами».

Чтобы получить представление о том, что же, по мнению некоторых современных авторов, выпускающих бестселлеры о «фюрере», «причитается» Адольфу Гитлеру, обратимся к изданию «Кем был Гитлер», вышедшему под редакцией Ганса Циглера и подготовленному им совместно с Институтом немецкой послевоенной истории.

> «Следует признать, что Адольф Гитлер был не только человеком доброй воли (?!), но необыкновенно гениальной (?!) и энергичной личностью, стремившейся основать германский рейх в качестве бастиона против Востока и создавшей для этого сообщество, обеспечившее необходимые предпосылки для свободной и мирной жизни (?!!). Кто станет оспаривать, что со времен первой мировой войны он сделал для этого все, что в человеческих силах?»

До такого уровня апологетики Гитлера и фашистского режима в целом, включая лагеря уничтожения, до сих пор «подымались» лишь немногие откровенно неофашистские деятели. Это тем более важно отметить, что данная апологетика характеризуется автором лишь как начало пути к «восстановлению исторической правды». Что же тогда ждет нас в конце этого пути?!

Разумеется, такие крайние формы реализации социального заказа, ввиду их одиозности, не могут являться типичными. Зато они достаточно четко маркируют путь, по которому движутся многие коллеги и единомышленники г-на Циглера.

С этой точки зрения полезно познакомиться со взглядами уже известного нам Иоахима Феста. Книга Феста о Гитлере по праву считается наиболее типичным проявлением «нового потока». Будучи результатом длительного и кропотливого труда по сбору и обобщению источников, она не поддается однозначной оценке. Хорошее владение материалом и многие меткие наблюдения свидетельствуют о необходимой степени профессионализма. Проявляя должную осторожность, Фест не дает позитивной оценки нацистскому режиму в целом. Война, преследование национальных меньшинств и геноцид, подчеркивает он, отнюдь не были нелепостями, несвойственными режиму. Они были его логическим следствием и неотделимы от той эффективности, с которой порядок создавался в самой Германии.

И тем не менее общая направленность работы Феста не вызывает сомнений: стремясь, как он утверждает, понять феномен, он, по сути дела, его оправдывает. Об этом достаточно убедительно свидетельствует квинтэссенция взглядов автора, изложенная им в специальной статье в том же «Энкаунтере».

Определяющим для этих взглядов является прежде всего постоянно звучащая нота сочувствия к объекту исследований. Нам сообщают, что Гитлер был очень одинок, что он всегда был мучим проблемой самовыражения. О его положительных качествах, признает Фест, можно сказать лишь немногое. В то же время почти ничего, сообщает он нам для равновесия, нельзя сказать и о его личных отрицательных сторонах.

Фест как бы находится под гипнозом «безошибочной» политической ловкости Гитлера.

> «Он всегда был выше всех своих партнеров и соперников в борьбе за власть, потому что во всех своих помыслах и действиях был свободен от всяких готовых установок и заданных концепций. Он не только не был чьим-либо оружием, но сам жестоко подчинял себе все: людей, идеи, различные движения, оппонентов, принципы для достижения цели, сделавшей его одержимым,— для сосредоточения в своих руках максимума личной власти».

Для Феста Гитлер — «воплощение самой истории» в личности одного человека, своеобразное выражение своего невротически возбужденного времени. Его успех в значительной мере объяснялся его склонностью требовать невозможного, игнорируя лежащие на поверхности факторы, масштабы поставленной задачи и вероятные последствия, что поначалу обескураживало его оппонентов, полагавшихся на рациональные оценки.

> «Весьма преувеличенные цели, которые он ставил перед собой,— пишет Фест,— не уменьшали остроты его тактических расчетов. И именно эта противоречивая смесь эксцентрического фантазирования и логичности, разброда в мыслях, истерических мечтаний и «ледяной холодности»... характеризует его странное отношение к реальности».

В целом из концепции Феста как бы естественно вытекает, что оценка Гитлера должна определяться общим балансом его действий. Если бы ему, в конечном итоге, удалось добиться своих целей, создав на развалинах мира «тысячелетнюю третью империю» и реализовав на практике свои расистские взгляды, история «признала бы его великим». Но поскольку он не оставил после себя никакого «ценного наследия» кроме развалин, за ним будет признано лишь «негативное величие».

Как мы видим, канава, которая отделяет откровенного апологета «фюрера» Циглера и «объективного» биографа Феста, никак не похожа на пропасть.

В заключение остается ответить на один весьма важный вопрос: каковы объективные причины, породившие как новую волну интереса к рассматриваемой проблеме,

так и — что особенно важно — столь заметное стремление к перестановке акцентов и оценок?

Автор статьи в январском номере «Энкаунтера» прибегает к такому объяснению:

> «Число немцев, которые никогда не слышали и не видели Гитлера, уже превосходит число его уцелевших современников. Они лишены страстей и предрассудков, не чувствуют угрызений совести или вины, и они ищут только «связь», какой-то доступ к этой исторической фигуре, под господством которой империя их отцов была разгромлена, Европа утратила свою ведущую довоенную роль и многие миллионы мужчин, женщин и детей были истреблены.
>
> Кроме того, немцы старшего поколения тоже видят смысл в том, чтобы вновь взглянуть в безрадостное прошлое... Учитывая, что судьба германского рейха на обозримое будущее решена, видимо, пришло время поразмыслить о карьере человека, оставившего так много невзгод».

Такое объяснение вряд ли можно признать удачным. Оно настолько неопределенно и неточно, что могло бы быть использовано как комментарий к совершенно противоположному процессу: скажем, полной потере интереса широких общественных кругов к фигуре, о которой шла речь выше.

Доказано, что интерес к исторической проблеме (и соответственно к исторической фигуре) порождается реальными, конкретными проблемами, перед которыми оказывается общество, его отдельные социальные группы. В прошлом фашизм возник, а в некоторых странах пришел к власти, в условиях острого кризиса капиталистической системы. Его важнейший козырь состоял в том, что он подавал себя как гарант «сильной власти», способной навести «порядок». О такой сильной власти мечтала верхушка правящего класса, потерявшая веру в возможность сохранения своих позиций при помощи традиционных методов господства. С другой стороны, к такой власти всей душой стремился средний обыватель, напуганный политической «смутой», разочаровавшийся в малоэффективном парламентаризме и грезящий о сильной руке политического «мессии», который бы утихомирил «чернь», ограничил бы аппетиты биржевых акул и финансовых спекулянтов, отрегулировал расстроившийся хозяйственный и политический механизм, не затрагивая кошелька основной массы имущих и квазимущих.

Слияние тоски по «сильной власти» и тоски по «порядку» создало ту политическую и идейную атмосферу, в которой теория и практика фашизма могли рассчитывать на серьезную поддержку.

В определенной степени, хотя в других масштабах и иной общей обстановке, аналогичная атмосфера возникла сейчас в отдельных районах современного капитализма. Социально-политические кризисы, потрясавшие со второй половины 60-х годов наиболее развитые в промышленном отношении капиталистические государства, породили среди части буржуазии глубокое недовольство степенью эффективности существующего механизма власти. Политические потрясения, подъем борьбы рабочего класса, студенческие бунты в больших масштабах возродили «голубую тоску» обывателя по законности и «порядку». В свою очередь в правящей верхушке усилилась позиция фракций, видящих в «твердом» правлении «ультима рацио» государственной политики.

Экономические потрясения последнего времени, катализатором которых стал энергетический кризис, усилили эту тенденцию. Они убедительно продемонстрировали неспособность государственно-монополистического механизма воздействовать на текущие хозяйственные процессы. Среди страдающих от этого развития и также падких на призывы к «сильной власти» многочисленных промежуточных слоев населения экономические потрясения усилили отрицательное отношение к демократическим механизмам решения проблем. Этим немедленно воспользовались крайне правые силы, всегда готовые сменить у рычагов власти представителей буржуазно-либеральных и реформистских направлений.

Так удобряется почва для укоренения идеи «харизматического лидера», способного мановением руки решить все сложные сегодняшние проблемы. Для оправдания этой идеи сознание обывателя интуитивно обращается в прошлое, ища в нем подтверждения современных иллюзий. Вот почему, с одной стороны, находятся люди, возносящие на пьедестал подходящие к случаю фигуры, а с другой — достаточно массовые группы населения, которые принимают такие маневры с восторгом. То, что при этом каждый делает свой бизнес, безусловно, важный, но не первостепенный фактор.

Разумеется, в истории, как и вообще в науке, нет запретных тем. Исследователь вправе заняться любым феноменом, и тот, кто ему мешает,— мешает самой науке. Настоящая проблема состоит не в том, о чем писать, а в том, что писать. По поводу многих книг «новой волны», о которой шла речь выше, человек со здоровой носоглоткой не вправе сказать «Non olet» (не пахнут).

А. ГАЛКИН

◆

Публицистика

В. КОМИССАРЖЕВСКИЙ

ПРОСТРАНСТВО, КОТОРОЕ НЕ МОЖЕТ ОСТАВАТЬСЯ ПУСТЫМ

Из заметок о зарубежном театре

5. Перед кем мы играем?

Когда после лекции о театре в Стокгольмском университете я беседовал со студентами, будущими режиссерами и историками шведской сцены, меня поразило, как настойчиво, все время возвращаясь к этой теме, они интересуются социальным составом зала, его социологией. Тот же самый вопрос часто задавали мне и шведские коллеги: «Как у вас? Какое место в жизни рабочего занимает театр? Расскажите об опыте постоянного общения в вашей стране завода и театра. Кое-что мы слышали об этом, но нам хотелось бы знать подробней».

...Светлый дом с белой мебелью и белыми стенами. Светлые, золотистые волосы хозяйки дома. И еще «светло» от того, что по комнате бегают двое прелестных ребят, то и дело врываясь своей веселой возней в наш разговор...

Мы в доме знаменитой актрисы шведского театра и кинематографа Бегиты Петерсон. Мы видели ее в «Девичьем источнике» Бергмана. У Бегиты еще совсем молодое лицо, и она красавица. Но она не снимается больше у Бергмана и отвергает самые выгодные ангажементы столичных театров. Почему? Бегита неразговорчива, за нее рассказывает муж — руководитель Народного театра в Гётеборге.

Окончание. Начало в № 5.

«Дело в том, что мы хотим вернуть народ в театр. Это звучит несколько высокопарно для шведа, но это так. Театр в народе родился и к нему должен вернуться. Мы не хотим играть для элиты. В наши столичные театры ходят те же дамы и господа, что и раньше. Для многих из них театр — явление чисто пищеварительного свойства. Мы хотим вести серьезный разговор о насущных проблемах, которых так много в нашем драматическом мире. Мы хотим знать, для кого мы играем».

Для кого мы играем? — это один из решающих вопросов для тех, кто хочет, чтобы его поиски, мучение, радость открытий хоть немного способствовали тому, чтобы сделать мир лучше.

Играя для 30—40 человек, Ежи Гротовский не зря называет свой театр во Вроцлаве «театром-лабораторией». В этом есть большой смысл. Как знать, быть может, «рациональное зерно», добытое им, через годы станет достоянием театров, которые увидят миллионы. Телевидение сегодня делает такую аудиторию вполне реальной. Но одно дело лабораторный поиск, другое — каждодневный диалог со зрителем. В этом диалоге все явственней и весомей звучит сегодня голос самого различного по формам политического театра.

Городской театр Гётеборга. «Густав-Адольф» Стриндберга в постановке режиссера брехтовской школы Ленгарда Юлвстрема, только что получившего «Гран

при» за лучший телевизионный спектакль на фестивале в Венеции.

Задолго до начала по фойе и коридорам театра ходят королевские герольды в старинных камзолах (год 1789) и громко читают указы короля Швеции Густава-Адольфа Третьего. В них он обещает демократические свободы шведам.

«Это неправда,— предупреждает меня моя переводчица Камила,— он не был демократ. Он врал. Ровно через три года его убьет на маскараде его первый министр. Но это будет еще через три года...»

Звучит клавесин, и где-то в глубине, в небольшом квадрате света, выхваченном из черного пространства сцены, на небольших подмостках, как фарфоровые куклы, застыли в менуэте король и королева. Подмостки держит на своих спинах толпа шведских мужиков. Решение резкое, почти элементарное, но впечатляющее.

Клавесин сменяют барабаны. Барабаны, как в восточном театре, синхронно связаны с актером. Новая мизансцена, рождение мысли, поворот событий сопровождаются их боем. На сцене — медные щиты и громадная карта Швеции. Из фарфоровой куколки король превращается в человека и политика. Он молод, женствен, импульсивен, непоследователен. Как политик, он делает ставку на демократические низы, кокетничает с аристократией, а по сути — стремится к самодержавной власти.

В четкой графике спектакля Юлвстрема движутся изящные пажи из свиты короля, вспыхивают и гаснут бурные ссоры Адольфа Третьего с королевой, неуклюже топчутся во дворце крестьянские депутаты, в темных залах при свечах собираются заговорщики во главе с первым министром.

«Голгофа» Мирослава Крлежи. Режиссер Богдан Ёркович.

Но их час еще не пришел. Заговор раскрыт. Король торжествует. Во дворце маскарад, на котором маски гусака и утки исполняют весьма откровенную пантомиму, намекающую на интимную жизнь монарха, который будет убит на таком же маскараде три года спустя.

Вспомним: это 1789 год! На сцене дерево Свободы, одетое в цвета Франции, той Франции, откуда после того, как отгремит Великая Французская революция, Наполеон пришлет Швеции своего короля Бернадота, женатого на женщине, бывшей его, Бонапарта, первой любовью.

Я был в Швеции в тот траурный час, когда на фоне серых, угрюмых скал и темно-красной жимолости, что врезаются то и дело в улицы шведской столицы или обрамляют ее каналы, стояли толпы людей, провожая в последний путь старого короля. Король был ученым-археологом и порядочным человеком. Шведы любили его, как старого знакомого, хотя монархическая идея и не слишком близка их демократическому сердцу.

«Густав-Адольф» Стриндберга перед коронованием наследника приобретал особый смысл: театр извлекал политические уроки из своей истории.

...После спектакля режиссер сел на сцену, спустив ноги в зрительный зал, и началась дискуссия.

«— Простите,— сказал юноша в очках,— из истории мы знаем, что Адольф Третий был гомосексуалистом. Почему вы это так мало подчеркнули в игре актера?

— Потому что это меня не интересует,— ответил Юлвстрем,— меня куда больше заинтересовали новые материалы о Густаве Третьем, из которых следует, что он был довольно вероломным политиком. Для меня куда важнее сказать об опасности фальшивого кокетства с демократией, чем вслед за ночными клубами заниматься интересующей вас проблемой. Этого у нас в Швеции больше чем достаточно. Хватит!

Это очень показательный разговор — и не только для шведской сцены. Политический театр! Его горячее дыхание возникает в самых разнообразных формах и в самых неожиданных обстоятельствах.

Из театральных королевских покоев стриндберговской драмы он легко переселялся, скажем, в громадину реальнейшего цеха завода сельскохозяйственных машин в социалистической Югославии, где актеры из Загреба играли прошлой осенью знаменитую пьесу Мирослава Крлежи «Голгофа».

Югославские актеры по-особому относятся к этой пьесе о предательстве и героизме: в двадцатых годах ее впервые поставил такой мастер, как Гавелла, и на ее премьере в Загребе был Станиславский. Поэтому в эксперименте режиссера Богда-

---

В. КОМИССАРЖЕВСКИЙ

ПРОСТРАНСТВО, КОТОРОЕ НЕ МОЖЕТ ОСТАВАТЬСЯ ПУСТЫМ

«Агнес» Кента Андерсена. Режиссер Матц Иогансон.

на Ёрковича и в игре своих коллег они находили немало просчетов.

И все же эта мистерия в цехе надолго осталась у меня в памяти. Помню, как люди с факелами указывали в вечернем сумраке путь к сцене, как затем сотни горящих факелов были розданы зрителям и все мы стали вдруг толпой, провожающей в день похорон рабочих-революционеров, преданных Иудой. Помню, как полз, истекая кровью, по серой от гари заводской земле молодой рабочий-вожак Павле. И как, повторяя притчу об Агасфере, не пустил, не спас Павле, оберегая покой своего дома, его товарищ; и как появились палачи в красном, приковав юношу к громадному кресту, подняли его в воздух, и он поплыл, распятый где-то наверху цеха, в голубоватой мгле. А потом, с того же заводского крана, что вез его крест, загрохотали солдатские залпы, разгоняющие толпу.

«Его повесили прямо против моего дома на сливе, а я спал под теплым одеялом и не впустил его в дом»,— будет повторять, теряя разум, малодушный. И эти слова давно написанной пьесы, обличающие предательство и капитуляцию, станут живым сегодняшним оружием общественной совести. «Политический театр» — ее голос. С истинной страстью служат ему молодые и немолодые последователи его идей. Я видел немало актеров, которые подобно Бегите Петерсон уходили из прославленных театров, чтобы выступать на платформах кочующих балаганов, в гаражах, ангарах, кафе и цирках, чтобы сказать свое слово о проблемах, которые ждут немедленного решения.

Порой это желание и резкое неприятие искусства для элиты приводило некоторых из них к явному экстремизму в вопросах искусства, к анархическому стремлению сбросить со счетов всех шекспиров, всю современную интеллектуальную драму, если в ней что-то непонятно человеку с улицы.

«Надо, чтобы все было понятно, пусть даже это перестанет быть искусством — элементарная агитка против буржуа или наркотиков важнее сегодня всех глубин «Лира» или нюансов Чехова! Нет такой проблемы: поднимать или не поднимать зрителя к вершинам искусства. Будьте любезны спуститься к нему сами! Вот так».

Такая «детская болезнь левизны» в политическом зарубежном театре существует, симптомы ее достаточно очевидны. Однако это не снимает существа и плодотворности процесса.

Театр хочет говорить со своим зрителем обо всем, начиная с самых житейских и насущных для него дел. Полемически перефразируя Шекспира, его соотечественник Арнольд Уэскер однажды написал: «Весь мир — кухня».

Его «Кухня», которую я видел в варшавском театре «Атенеум» в постановке Януша Варминского, ранит и западает в души надолго. Это безостановочное «брауново движение» официанток, поваров и их по-

мощников в «чреве» кухни комфортабельного отеля; это проклятье безрадостных усилий, висящее над приговоренным к каждодневной одинаковости жеста человеком, участвующим, как какое-то колесико, в великом таинстве рождения телячьей отбивной; это романы и драмы на ходу, в спешке, что не могут изменить заданного ритма; и наконец — взрыв, когда все дошло до точки, когда больше невмоготу, когда лучше гибель, лучше обваренное кипятком адского кухонного котла тело, чем заживо сварившаяся в нем душа... Кухня становится моделью мира, который должен быть изменен. С какого бы вопроса буржуазного бытия ни начинал театр, он неминуемо приходит к этому выводу.

У человека должен быть дом. А если этот дом, где он вырос, сносят крупные компании и, не спрашивая о его желании, да, в сущности, и не задумываясь о благоустройстве города, предлагают ему взамен нечто совсем его не устраивающее?

«Возьмите и пепел из печки» (то есть, проще говоря, забирайте уж все) — так называется идущая в Хельсинки пьеса, трактующая эту нелегкую проблему.

И в это же самое время в Гётеборге в Штаттеатре бывший актер, а ныне известный драматург Швеции Кент Андерсен предлагает вниманию зрителей свою новую драму «Агнес». Речь в ней идет о том, что можно в общем-то житейски хорошо устроиться, как, скажем, это удалось сделать одной преуспевающей интеллигентной паре (она смогла купить и отремонтировать себе прелестную квартирку в оставленных рабочими из-за дороговизны кварталах), но при этом все так же уныло и тягостно жить, если то, без чего нельзя людям жить вдвоем, не спасти уже никаким «ремонтом».

История вообще-то не новая, рассказана она привычным языком психологического, почти бытового театра. Но есть в ней один странный персонаж: человек, который когда-то жил в этих местах и в течение всего вечера ищет в оставленном им доме своего улетевшего сюда попугая, свою «синюю птицу», а его все принимают за вора... В этом есть какая-то щемящая печаль.

Сильнее всего этот мотив утраченных домов, утраченных корней, перерастающий в тему утраченного мира человеческих ценностей, был выражен молодой французской труппой «Аквариум» в спектакле «Продавцы города», поставленном на сцене ТНП.

До этого спектакля я не представлял себе, что такая «специальная» тема, как покупка строительных участков и переселение парижан в новые районы, может быть выражена на языке такой захватывающей театральной поэзии и привести к столь серьезным обобщениям.

В нижней части занавеса, отделяющего просцениум от сцены,— решенное аппликацией кладбище с памятниками на могилах. Потом мы поймем, что дельцы-маршаны в поисках выгодных участков не остановятся перед тем, чтобы уничтожить все дорогие могилы, а если нужно, то заодно и недорого продадут славную историю Франции.

В темноте по залу начинается пляска световых лучей. Маршаны с фонариками ищут добычу. Вспыхнувший свет заставляет их, как нечистую силу, застыть в щелях занавеса. Представление началось. Один из динамичных дельцов, взявшись за крупное дело, ищет ссуду. И тогда появляются три неправдоподобно высокие, зловещие, черные фигуры, с белыми клоунскими лицами и алыми губами вурдалаков. В отличие от «трех толстяков», они вытянуты и плоски, как скульптуры Джакометти. Это банкиры — истинные «продавцы города». Они до нитки обирают просителя кредитов.

Затем на пустую сцену выносят маленькие макеты старинных домов Парижа. На каждый из домов садится живший в нем человек. Он рассказывает залу свою историю. Каждый свою. Они одинаково печальны: люди не хотели уезжать, и каждый уехавший неизменно возвращается сюда, чтобы навестить свое детство. Черные маршаны «распределяют свои портфели». Теперь перед нами — Закон, Власть и Деньги. Они пляшут над маленькими домами Парижа, а на домах вместо людей — марионетки, и черные маршаны рвут их на части, перебрасываются ими, жонглируют, как мячами.

Затем они обольщают двух гротескных жадных хозяек, обещают им рай и, ласкаясь, всасываются в них, как гигантские пиявки. Тишина. Кто-то еще остался среди старых домов. Из-за одного из них появляется девушка. Она держит в руках марионетку — это кукла-старуха. Девушка — как бы душа ее. Наверху, под потолком, висит черный рояль, и за ним рыцарь в потертых латах играет какую-то грустную мелодию.

Девушка рассказывает залу жизнь старухи. Сочетание старого, сморщенного лица куклы и прекрасного, юного лица девушки дает поразительный эффект человеческой чистоты.

Маршаны душат куклу и продолжают жонглировать марионетками. Люди, стоящие рядом с домами, призывают зал к действию. Внезапно все смолкает, откуда-то из-под земли начинает расти гигантская оранжевая башня. Она растет все выше и выше. Маленькие дома старого Парижа, как хлам, уносят со сцены. «Мы начали»,— заключают маршаны.

Этот спектакль можно показывать и в зале знатоков, и на площади. Его изысканный и народный язык поймут везде. Карнавальность, поэтическая метафора, маски вообще характерны для многих художников сегодняшней мировой сцены. Когда-то умный театральный критик Уолтер Керр в статье, полемически названной им «Кино — лучше театра», писал о том, что кино, по его мнению, опередило в тот момент театр

В. КОМИССАРЖЕВСКИЙ
ПРОСТРАНСТВО, КОТОРОЕ НЕ МОЖЕТ ОСТАВАТЬСЯ ПУСТЫМ

по весьма простой причине: «оно знает, что оно — кино, а театр не осознает себя театром». Так вот, театр вспомнил, что он театр.

6. Театр возвращается к театру

Театр вспомнил, что он театр! Немало взяв от кинематографа, в том числе и более тонкую и как бы антитеатральную технику актера, он сейчас жадно припадает к своей родной земле, меняет веселые и трагические маски, причудливо соединяет их между собой, радостно звенит всеми своими бубенцами, по-иному сознает самого себя, то и дело вступает в союз с музыкой и пантомимой в своем движении в мир театральной поэзии.

На Международном театральном фестивале «Битеф-7» в Белграде можно было убедиться в этом.

Национальный театр имени Караджале из Бухареста привез на фестиваль в режиссуре Давида Эсрига виртуозный по щедрости театральных красок и изяществу иронии спектакль, созданный по пьесе Джованни Коллето «Три венецианских близнеца». Эта пьеса написана актером труппы Гольдони. Коллето решил перещеголять патрона. У Гольдони было два, он выпустил сразу троих близнецов на сцену: влюбленного вздыхателя, великовозрастного недоумка и пьянчугу-капитана. Всех троих, с легкостью необычайной, поражая каскадом неожиданных приспособлений, играл известный румынский комик Марин Морару.

Когда он выпивает подряд, в роли капитана-пьяницы, десять стаканов вина (вероятно, оно было с каким-то фокусом, не иначе), ему становится плохо. К изумлению всех, он выпивает одиннадцатый. Разгневанная дама обрушивает на него поток упреков, а он галантно целует ей руку. Его избивают и подбрасывают, как мяч, в воздух, он неизменно опускается на землю, застывая в элегантной позе меланхолического денди с тростью в руках.

Традиционная путаница любовных писем и притчи Арлекина затейливо выводили вензеля сюжета. Но какое это все имело значение! Эсриг заполнил сцену причудливым хором слуг просцениума — дзани. Все они, от масок до балахонов, были какими-то мучнисто-белыми, смешными и жутковатыми. Невнятно что-то бормоча, а порою явно включаясь в действие, они вели вместе с неутомимым Морару спектакль, девизом которого было «Да здравствует театр!»

В эти же дни Пьер Спиваков из Парижа со своими молодыми партнерами, с увлечением отдаваясь игре, гротескно пародировал Сару Бернар в душераздирающей мелодраме «Признание», написанной самой актрисой. Он играл эту бледную, похожую на врубелевского демона женщину при блеске молнии и ударах грома, то и дело подменяя ее классическую читку оперными ариями, стараясь передать нам, как видят сегодня сами французы свою великую Сару.

В одном случае — ироническая игра в комедию масок; в другом — не лишенная следов былой влюбленности пародия на патетическую декламацию.

Театр вернулся к театру? Но для чего? На примере «Продавцов города» мы убедились в том, что его «чары» понадобились ему для вопросов куда более серьезных.

Один из примеров, заслуживающий безусловного внимания, мы находим в том же Париже. Энергичная и талантливая Ариадна Мнушкина — театральная «крестница» Роже Планшона, направлявшего ее первые профессиональные опыты в области режиссуры, сняла в аренду со своими друзьями — актерами-любителями пустующий ангар большого патронного завода в Венсане и основала в нем «Театр Солнца».

Ну, как тут не вспомнить того же Арто — художника мрачного и во многом опасного, но и очень разного: в области чисто постановочной у него было чрезвычайно острое зрение. В том же манифесте 1932 года он так и писал:

«Отменяя архитектуру современного театра, мы берем какой-нибудь ангар или сарай, которые будут перепланированы заново согласно тому, как это бывает в некоторых церквах».

Гротовский непосредственно следует этой мысли. Мнушкину церковь не привлекает, но ангар вполне устраивает.

«Декораций не будет,— писал Арто.— Их функции достаточно успешно будут выполняться... особыми театральными костюмами и манекенами высотой в 10 футов, несущими бороду короля Лира в сцене бури».

Гигантские карнавальные фигуры на ходулях, изображающие короля и королеву, появятся в спектакле Мнушкиной о революции 1789 года во Франции, хотя ее «Театр Солнца» достаточно далек от ночного, сумрачного и жестокого театра Арто.

Призвав на помощь щедрую зрелищность французского ярмарочного, «грубого театра», с его шутовскими пантомимами, лубочными аллегориями, марионетками, с его акробатами, зазывалами, масками, с его импровизаторами-рассказчиками, шансонье и мимами, Мнушкина, ведя действие сразу на пяти установленных в зале среди публики площадках, поставила своей целью театрально воссоздать, как она говорила, «революцию глазами народа».

Можно было бы описать сложную партитуру этого импровизационного и в то же время властно «оркестрованного» на пяти сценах спектакля, показать, сколь интересно театр марионеток и кукол сочетается в нем с игрой живых актеров, порой сбрасывающих парик и по-брехтовски говорящих от своего имени, рассказать, как разнообразно пульсируют «пять сцен»,

связанные между собой то единым действием, то контрастным контрапунктом, то последовательно нарастающим, как снежный ком, с площадки на площадку, событием или мизансценой.

Однако еще более важно сказать о том, что Мнушкиной и ее актерам удалось добиться какого-то удивительного «эффекта присутствия» зала в атмосфере первого года революции, вернее — почувствовать себя ее участниками. Кульминация здесь, разумеется,— сцена взятия Бастилии.

Актеры, со всех сторон окруженные на площадке слушателями, начинают почти шепотом, потом все более и более давая свободу воодушевлению, рассказывать во всех подробностях о событиях великого дня: да, это было воскресенье, и утро было солнечное. Мы мирно шли, чтобы потребовать возвращения Неккера — министра, который обнародовал чудовищные расходы двора и был уволен в отставку. Многие несли его бюсты на руках. А потом — вы представляете, мадам,— мы увидели, как принц де Ламбен ведет кавалерию.

Конечно, возникло замешательство, но мы остались на улице. Звонили колокола, пушка выстрелила в Пале-Рояле, и мы увидели, что мы не одни. Это было чудо, мадам, шел весь Париж! Но надо было достать оружие. Вы поставьте себя на наше место, мадам и мосье, нам нужно было оружие, и мы бросались к оружейным магазинам. Но командующий гарнизоном Бастилии отказался открыть ворота. И тогда один из нас (вы бы, наверно, тоже так сделали или нет, не сделали?) прошел через крыши казарм и открыл их...

И дальше, дальше рассказчики все больше втягивали зал в события и вели его к тому ликованию, когда вспыхнувший солнечный свет освещал бушующий на всех площадках карнавал победы, на котором хмельные комедианты издевательски играли импровизированную пантомиму «отъезд аристократов», а ярмарочные силачи изображали борьбу Давида и Голиафа. Следовали выборы главнокомандующего генерала Лафайета, растроганно благодарившего за оказанную ему честь. Вслед за благодарностью следовала фраза, сказанная тоном приказа: «Революция окончена». Но революция еще только начиналась.

Патетический монолог Марата венчал этот примечательный спектакль. «Пусть народ разрушит старые варварские режимы,— говорил Марат,— зло достигло своего предела. Худшего быть не может. Оно может быть устранено только благодаря всеобщему перевороту».

Этот спектакль взволновал Париж. О нем спорили. Его театральное значение было неоспоримо, но некоторые из участников спора склонны были усматривать в призывах Марата отблески гошизма, использовавшего ситуацию 1968 года, чтобы бросить молодежь на баррикады.

Мне трудно судить, насколько это верно. Для этого надо знать все оттенки, быть «внутри» проблемы. Скажу только, что согласно оценке событий 1968 года Французской коммунистической партией, это был процесс глубинный, небывалый по размаху. В стране бастовало больше 12 миллионов. И конечно же он был вызван глубоким кризисом голлевской Франции, а маоисты и экстремисты лишь воспользовались ситуацией для того, чтобы «поджечь взрывчатку» молодежи. Всем же движением в целом руководили левые силы.

«1789» был поставлен в 1970 году. Так же, как и последовавший за этим трагический «1793», более строгий, сдержанный, но столь же документально достоверный спектакль, которого я не видел, был скорее вызван желанием разобраться в происшедшем, показать серьезность кризиса и осмыслить драматические уроки новой истории Франции.

«Магнитное поле» театра расширяется: дом — страна — мир, вернее, война и мир.

Этой осенью первое место на Международном театральном фестивале в Белграде завоевал спектакль Шиллер-театра из Западного Берлина, показавшего в постановке известного режиссера Ганса Лицау антивоенную трагедию Эдварда Бонда «Лир».

Прежде всего вы должны представить себе тусклую землю, похожую на песок, перемешанный с грязью. Ее покров закрывает сцену. По нему большей частью в таких же грязных, ржавых, засаленных костюмах и странных масках, закрывающих всю голову, кроме рта и глаз, движутся солдаты, придворные и сам Лир. Война — грязное дело, а мир — страшный маскарад. Даже когда на сцене появляются люди без масок, лицо их выкрашено зеленой, или синей, или темно-серой краской, ибо они тоже дети этого мира.

На этой грязной земле иногда еще бывают расставлены маленькие фигурки игрушечных солдатиков — пешки короля. Война — вчера и сегодня, без указания места военных действий, грязная, неправедная война.

Что взял у шекспировского «Лира» Эдвард Бонд? Он оставил королю двух злобных дочерей: одну из них зовут Бодис, вторую — Фонтанелла. На Бодис легкая маска, делающая ее похожей на белокурого ангела. Она все время вяжет, а потом этими же спицами будет в ярости прокалывать уши своего бывшего министра. Похожая на балерину, Фонтанелла внешне еще изящней сестры, но столь же жестока.

Корделия уже не дочь Лира, а крестьянка, которая потом станет предводительницей бунта. Бонд страшится бунта и не верит в него. Он жаждет милосердия. Если Ионеско в своем варианте «Макбета» уничтожил все светлые силы трагедии, превратив в чудовищ и честного Банко, и

В. КОМИССАРЖЕВСКИЙ

ПРОСТРАНСТВО, КОТОРОЕ НЕ МОЖЕТ ОСТАВАТЬСЯ ПУСТЫМ

доброго Дункана, и доблестного Малькольма, не видя ни в ком ни надежды, ни опоры, то Бонд эту опору видит. Он вводит в пьесу человека открытого сердца, который возделывает свои поля и впервые предлагает поверженному Лиру неотравленный хлеб и приют. Когда этого крестьянина убивают солдаты, его добрый дух заменяет шута злосчастному королю. И этот парень не одинок: в той странной модели мира, которую создал Эдвард Бонд, есть еще люди, способные и на доброе слово, и на добрый поступок. Но главное, разумеется,— это путь самого Лира.

Всю жизнь он строил огромную Стену, чтобы оградить себя и свое государство от других людей. Не задумываясь убивает он в первой сцене трагедии солдата, который возводил эту Стену слишком медленно и подбивал других на саботаж.

Стена — вот цель его омраченной безумием жизни. И когда, преданный дочерями, покинутый войсками, он, как и у Шекспира, начинает свой путь познания и страданий, когда он черпает воду из колодцев и видит, что даже колодезная вода в его королевстве в крови, когда он воет на земле, как бездомный, голодный пес, когда ему выжигают глаза, ибо Глостера в пьесе нет и он сам должен принять на себя эту муку,— он понимает, видит, что прежде всего надо разрушить Стену. «Если вы будете продолжать строить Стену, погубите себя,— проповедует теперь прозревший слепец.— Человек без милосердия безумен».

«Лир» Ганса Лицау — очень жестокий спектакль. Посадив старика в клетку и надев на шею ему какое-то странное приспособление, напоминающее гарроту, хирург в белой маске ослеплял Лира. А до того, пока король еще видел, на его глазах солдаты убивали Фонтанеллу и вынимали ее окровавленные легкие и сердце. Глядеть на это было трудно.

«Люди, которые не хотят, чтобы писали о жестокости, думают заставить нас перестать писать о нашем времени... Не писать о жестокости было бы аморально». Такими словами предварил Бонд своего Лира.

В дни, когда почти каждая утренняя газета смочена где-то проливаемой на земном шаре кровью, с этим трудно не согласиться. Вопрос лишь в том, как жестокость играть. Как ее ставить? Она не нуждается в том, чтобы ее разбавляли успокоительными каплями. Жестокость есть жестокость, но сцену нельзя превращать в операционную, в бойню.

«Лир» Лицау — это поединок Арто и Брехта, в котором одерживает очевидную победу воинствующая эстетика великого немецкого поэта.

«Лир» Бонда кончается лаконической и многозначительной сценой: король ночью ползет по земле к Стене, чтобы разрушить ее своими руками, и его убивает какой-то безымянный солдат из караульного патруля.

Энергия общественной совести мира, естественное желание народов протянуть руку и встретить ответное рукопожатие разрушают на наших глазах Стену вражды, Стену отчуждения, Стену войны...

7. Лицо и маска

В этих беглых заметках мне хотелось рассказать о некоторых аспектах зарубежного театра. Разумеется, в оценке их чрезвычайно важны соразмерность и пропорция. Что я имею в виду? Ну, скажем, я говорил о таком сравнительно новом (для меня) явлении, как «бунт театра против литературы». Теоретически он был сформулирован давно, практически я столкнулся с ним в прошлом сезоне. Но это отнюдь не значит, что он заполнил собой все «пространство» мировой сцены. Наоборот, спектакли, имевшие наибольший резонанс в это время (кроме опытов Гротовского, построенных на собственно театральном сочинении), были связаны, как правило, с высокой драматической поэзией или литературой.

Польский театр в прошлом году стал лидером международного сезона в Лондоне, показав инсценировку «Бесов» Достоевского, поставленных Анджеем Вайдой в краковском Старом театре имени Е. Маджевской.

...Черные облака и черные кони, несущиеся над болотной, пузыристой землей. И где-то между ними комнатенки Шатова, Кириллова, Лебядкиных — такова сценография Кристины Захватович и Марека Розиняка. Стоны, хохот, визг, плач, всхлипывания, невнятное бормотание — такова его «бесовская» звуковая стихия.

Черные люди в черных капюшонах, поначалу лишь передвигающие мебель на сцене, а потом по-бесовски подслушивающие человеческие исповеди и в злом плясе затаптывающие людей,— такова одна из театральных метафор, которыми оперирует Вайда.

В центре же всего фигуры сложнейшего романа, определяющие его смысл.

«Бесы» в сегодняшнем мире приобрели некий новый ракурс. То, что раньше звучало у Достоевского как хула на революцию и вызывало, скажем, справедливый протест Горького, читается сейчас как осуждение авантюристической псевдореволюционности. Сколько ее в самых различных оттенках шумит сегодня на свете!

Вайда тоже многое пересматривает: его «ледяной», застегнутый на все пуговицы Ставрогин на поверку оказывается отнюдь не суперменом, а, наоборот, довольно слабым человеком, слишком поздно понявшим себя. Понял — повесился. Безоговорочно осужден авантюрист от политики, многоликий бес Петр Верховенский. Безоговорочно осуждена «шигалевщина» — чудовищная концепция стандартизации человечества. Шатов и Кириллов, эти бесконечно запутавшиеся персонажи исторической драмы, для Вайды — импонирующие ему люди цели. Пусть эта цель ложна, но они ей отдали жизнь. Предшественники

«Иерма» Гарсиа Лорки. Постановка Виктора Гарсиа, в роли Иермы Нурия Эсперт.

будущей борьбы? Дискуссионно? Наверно. Но Вайда и ищет спора. Крик новорожденного ребенка в этом спектакле для него опора и надежда в мире бесов, черных облаков и болотных пузырей. Ребенок — дитя человеческое — вечный символ жизни.

Мировой резонанс получила постановка «Иермы» Лорки режиссером Виктором Гарсиа с выдающейся испанской актрисой Нурией Эсперт в центральной роли.

«Иерма» — это крик о нерожденном сыне. Это трагедия бесплодия, трагедия языческой неутоленной жажды зачатия. В этом смысле драматическая поэма Лорки — «идеальная» пьеса «эпохи сексуальной революции».

Эта сторона и стала доминирующей в спектакле Нурии Эсперт и Виктора Гарсиа. Постановщик отказался в спектакле от всех красок андалусского юга. Его Испания — это страна без солнца. Гарсиа ставил мистерию секса и смерти. Сцена напоминала в какой-то мере живот женщины. Она была покрыта эластичной тканью и все время дышала — то глубоко, то едва заметно. Костюмы были обсыпаны каким-то белым веществом. И поэтому, когда двигались актеры, возникала какая-то смутная ассоциация с семенем, которого ждет бесплодная мать, у которой отняли ее призвание.

Спектакль был полон откровенных мизансцен, передающих акт любви и рождение. Но трагический дар Нурии Эсперт, уже в восемнадцать лет игравшей Медею, так же как и талант Гарсиа, придавал всему происходящему напряженность страсти и трагической театральной поэзии.

И, однако, в спектакле Гарсиа был серьезный проигрыш: отдав все внимание биологической стороне «Иермы», его творцы забыли, что для Лорки трагедия бесплодия, воплощенная в истории деревенской женщины, мечтавшей о ребенке и убившей в отчаянии своего похотливого и корыстолюбивого мужа, была очень емкой метафорой бесплодия Испании, в муках ожидающей семян новой жизни.

Близость Нурии к идеям Аррабаля, в фильмах которого она играла, и увлечение Гарсиа плотской стихией пьесы сузили мир этого необычного спектакля.

Люди ждут сегодня от театра поддержки

В. КОМИССАРЖЕВСКИЙ
ПРОСТРАНСТВО, КОТОРОЕ НЕ МОЖЕТ ОСТАВАТЬСЯ ПУСТЫМ

и призыва. «Король Лир» Шекспира, поставленный в Милане Стреллером, в смерчах железной бури, что грохочет над превращенной в цирковую арену сценой, утверждает великую истину, провозглашаемую шекспировской трагедией: «Быть стойким заставляют времена».

Быть стойким, найти в себе нравственную опору, оставаться самим собой, не растворяясь в бесчисленном количестве «ролей», которые предлагает тебе играть современный мир, суметь подняться к «жизни высоте», а не прозябать в ее низинах, в ее гнилом, «бесовском» болоте, найти себя среди тех, кто по-хозяйски занят строительством и переустройством планеты,— вот слово, которого ждут...

Как видим, все большие спектакли рождаются в союзе с великой литературой. Интересно, что та же Ариадна Мнушкина, известная сегодня своими постановками исторических сценариев, составленных из документальных текстов, «организованных» ею в ходе актерских импровизаций, также пришла к этому после встреч с настоящей драмой, поставив «Капитана Фракасса» Т. Готье, «Мещан» Горького, «Кровавую свадьбу» Лорки, «Кухню» Уэскера... Драматическая литература по-прежнему лидирует и определяет собой мировой театр. Масштаб и влияние такой фигуры, как Антонен Арто, тоже требует ясного понимания соотношения сил. Разумеется, в опыте модернистского театра его «пророчества» весьма ощутимы. Отдельные стороны его поисков еще требуют изучения, как это делает Гротовский, ибо в них могут быть обнаружены и некоторые иные черты. Но интересно, что сам Гротовский отказывает Арто в первооткрывательстве ряда театральных идей, имеющих прогрессивный смысл.

Говоря в лекции, прочитанной в Париже, о «творческом» театре, то есть о театре, не пересказывающем язык драмы, а как бы вновь рождающем ее на своем собственном, особенном языке, Гротовский сказал: «Нам в этой перспективе трудно было бы признать Арто пионером. Что бы мы тогда сказали о Вахтангове? И — в значительной степени — о Станиславском?»

Несмотря на то что о Станиславском в Европе и Америке существует немало вздорных мифов о его якобы натурализме, о его якобы пренебрежении к телу и слову, о его якобы диктаторской педагогике, сковывающей природу и свободу актера,— тяготение к его открытиям и его учению, к его личности непреодолимо, ибо актеры, передавая от поколения к поколению легенды о встрече с живым Станиславским и молодым Художественным театром, знают, что Станиславский не натуралист, а поэт театра (для этого им достаточно вспомнить хотя бы открытые им «поэтические измерения» чеховских пьес). Они знают, что вместе с «жизнью человеческого духа» он столь же пристально изучал «жизнь человеческого тела». Им рассказывали, и они читали, как до последнего дня своей жизни, уже давно не играя на сцене, он прилежно занимался дикцией, а когда-то в юности, едва лишь начиная свой путь, для того чтобы поставить с братьями и сестрами в «домашнем театре» оперетту Салливена «Микадо», пригласил к себе труппу японских акробатов и месяц занимался с ними.

Они знают, что вся суть его учения в том, чтобы раскрыть природу артиста, а не закабалить ее, знают его как Моцарта, соединяющего полет с анализом, а не как Сальери, только и делающего, что поверяющего «алгеброй гармонию», как мятежника и революционера, а не охранителя догм.

Все это они знают. Но большинство из них знают раннего Станиславского, еще не сделавшего тех решающих открытий, к которым он пришел в последние годы. Миру еще предстоит заново «открыть» для себя его гений. Но и сегодня мы с полным правом можем повторить давно сказанные о нем слова Вилара: «Красавец собой, ум, открытый для всех и всего, человек, не знающий других обязательств, кроме тех, которые повседневно налагает на него профессия. Он приобретает влияние, распространяющееся к 1938 году, году его смерти, на всю Европу. (А сегодня и на весь мир, добавим мы от себя.— **В. К.**).

Он служил примером... для Жака Копо, Аппиа, Андре Антуана и многих других. Из его студий выходят Мейерхольд и Вахтангов. Тщетно пытались бы мы перечислить имена всех его последователей... Тысячи зрителей, посещающих по вечерам театры в Нью-Йорке или Москве, в Риме или Париже, в Берлине или Лондоне, не знают, что то, чем они восхищаются на сцене — начиная от актерской игры и кончая деталями постановки,— все сплошь и рядом является следствием уроков Станиславского».

Процесс формирующего влияния Станиславского на западный театр не прост: иногда его скрещивают с Фрейдом, иногда — с Арто, иногда воспринимают вне диалектики его развивающихся идей, но процесс этот очевиден. Станиславский по-прежнему одна из главных, решающих фигур мирового театра.

Второй такой фигурой является Брехт. Слова Вилара о незримом присутствии Станиславского во множестве спектаклей множества стран можно отнести и к нему. Два могучих, во многом совершенно различных, но в этической своей сути единых художника социалистической сцены победоносно идут по миру, определяя в конечном счете движение мирового театрального искусства.

«Брехт — ключевая фигура нашего времени. Все мы возвращаемся к нему». Это — Питер Брук. Я с удовольствием нашел в книге талантливого английского режиссера подтверждение своей давней мысли о том, что Брехт, отрицая в теории внутреннюю эмоциональную жизнь актера, как практик-режиссер неизменно добивался ее на сцене.

В законе «отчуждения» Брехта для нас конечно же не столь важно «отчуждение» актера от образа (это совершенно отлич-

ная от Станиславского система, и здесь, как говорится, надо выбирать), как великое брехтовское умение «отчуждать» характер, событие, идею от общепринятого «здравого смысла», чтобы заставить «наткнуться» зрителя на самое острие проблемы, самостоятельно задуматься над ней и прийти к неизбежному выводу о том, что мир должен быть переделан к лучшему.

■

Театр возвращается к себе. Это прекрасно. Только важно, чтобы маска не исключала бы и человеческого лица. Когда я следил за игрой Лира в спектакле Лицау, мне показалось, что в каких-то решающих сценах маска прячет от меня артиста. Мне хотелось, чтобы он снял ее. Иногда создается впечатление, что некоторых художников, нырнувших головой в безбрежное море театральности поражающей, театральности во что бы то ни стало, может постигнуть та же неприятность, что произошла в одной из пантомим Марсо, где участвует его знаменитый Бип. Весело меняя маски в магазине карнавальных товаров, он однажды не смог оторвать маску от лица, так с ней и остался. Если это маска Чарли или Бипа, ее, разумеется, снимать не стоит. Когда недавно по итальянскому телевидению наш старый друг Эдуардо де Филиппо выступил в маске Пульчинеллы, его глаза смеялись и плакали, и вместе с ним смеялась и плакала вся Италия. Такая это была маска. Но много ли таких масок на свете?

Мирослав Белович в Югославии поставил с одной актрисой «Человеческий голос» Кокто, который она вначале играла по-человечески, потом — гротескно (нечто вроде Сары Бернар Спивакова). Затем в манере театра Барбы, только телом и неясным бормотанием слов, шепотов и криков; и в финале, сдернув парик и открыв свое человеческое лицо, бросала в зал слова, выстраданные ее сердцем.

«Актер — это человеческий голос, это инструмент человечества»,— говорил мне в дни Международного театрального конгресса в Москве Жан-Луи Барро. Прелестный Барро, все такой же изящный и артистичный, как тогда, когда мы видели его в «Детях райка» в роли короля мимов Дебюро. Он, конечно, постарел немного, поседел, но все так же по-юношески влюблен в театр и в свое детище «Театр наций», на сцене которого должны перекликаться народы и открывать друг другу души и сердца.

«Языковой барьер для того и существует, чтобы преодолеть его,— говорит Барро.— Театр — великая наука жизни. Цель и смысл его — в человеке, и все средства и возможности его — в человеке. Он должен помочь ему жить в нашем сложном мире».

«Театр — это любовь»,— говорит Барро и исчезает, мерцая голубоватой гривой волос, как уходил когда-то на экране его Пьеро. Театр — это любовь? Но театр — это еще борьба и гнев!

Я вижу перед собой воодушевленное гневом и страстью лицо маленькой, худенькой женщины, которая на сцене вырастает в львицу. Одна из первых трагических актрис нашего времени гречанка Аспасия Папатанасиу. Накинув на голову черный платок, как это до сих пор делают женщины в греческих селениях, в обличии бессмертной Гекубы — великой матери, что вечно оплакивает своих погибших на войне детей,— взывает к человечеству, взывает к действию.

◆

Наши гости

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ— ОСНОВА ТВОРЧЕСТВА

(Французские писатели в «Иностранной литературе»)

Один из гостей — Андре Стиль — прекрасно знаком советскому читателю по переведенным в нашей стране романам «Первый удар», «Мы будем любить друг друга завтра», «Обвал», «Последние четверть часа», нескольким сборникам рассказов. Его коллега Анри Делуи — поэт, редактор журнала «Аксьон поэтик».

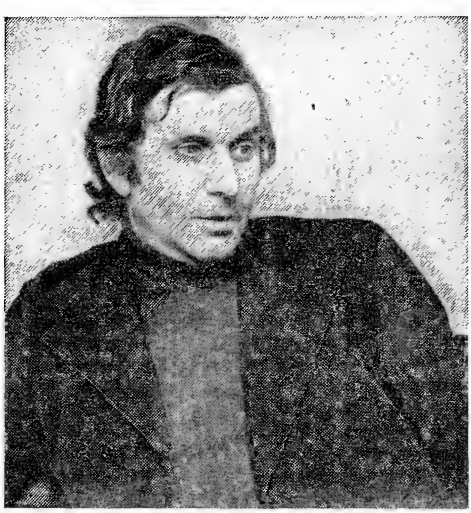
— Я никогда так много не писал, как сейчас,— рассказывает Андре Стиль.— Раньше у меня было мало времени для литературного труда: много лет я редактировал «Юманите», как член ЦК Французской коммунистической партии был очень занят партийной работой. Но вот в 1967 году перенес серьезную операцию. Сделали мне ее в Москве, и я всегда буду благодарен советским врачам, и особенно академику Петровскому, за ее прекрасный исход. Но здоровье уже не то, чтобы успевать везде. Я стал главным образом писателем.

Андре Стиль

Конечно, из написанного в последние годы опубликовано не все — четыре-пять книг. Последняя — сборник рассказов «Цветы по ошибке». Выпустило ее издательство «Жюллиар». Я люблю писать рассказы. В сборнике есть рассказы, написанные десять лет назад, есть совсем новые. Французские издатели, даже те, кого считают объективными ценителями литературы, по коммерческим соображениям издают рассказы реже, чем романы. В этом — специфика литературной ситуации во Франции. Скажем, в США все наоборот. А у нас те, кто пишет рассказы, должны бороться за их издание. Некоторые рассказы сборника «Цветы по ошибке» уже были переведены в СССР. Золя,— смеется Стиль,— в свое время тоже иногда печатался раньше в России, а затем у себя на родине.

— Творчество Андре Стиля,— вступает в разговор Анри Делуи,— имеет огромное значение для формирования молодых писателей Франции, прежде всего писателей-коммунистов. В течение многих лет ответственный работник партии, он всегда был мишенью для нападок со стороны наших врагов, буржуазной прессы, старавшихся убедить читателей в том, что, ста-

Анри Делуи



новясь коммунистом, писатель в основном теряет свой талант. И на Арагона тоже были подобного рода нападки.

Сейчас Андре Стиль ведет критическую рубрику в «Юманите». Его рецензии играют большую роль в отображении истинного положения во французской литературе.

— Анри коснулся очень важного вопроса — специфических условий, в которых мы работаем,— замечает Андре Стиль.— Писателю во Франции не так-то просто работать, а тем более, если он — коммунист. Очень уж устоялась идея, что нельзя быть коммунистом и писателем одновременно. Поэтому особенно важно, чтобы молодой писатель-коммунист, не теряя идейной убежденности, продолжал свою литературную деятельность. Постепенно стена предубеждений, которую пытается воздвигнуть буржуазное общественное мнение между литератором-коммунистом и читателями, рушится. Это было со мной, это происходит со многими молодыми писателями, которых теперь вынуждена «открывать» буржуазная критика.

Сейчас я работаю над двумя романами, большим и маленьким. Маленький сделан наполовину, а в большом написано... уже около 1000 страниц. Когда закончу — не знаю. Но ведь вся жизнь еще впереди. Это самая политическая книга, которую я когда-либо писал. Посвящена она коммунистическому движению. В ней много от моего личного опыта.

У меня были здесь интересные встречи с советскими писателями. С Бондаревым мы говорили о Роб-Грийе. Роб-Грийе участвовал в ленинградской встрече по проблемам романа, был на встрече в Вене. Там он сказал, что не знает, почему пишет, а когда садится за письменный стол, не знает, что напишет, и ему самому это интересно — все зависит от того, какие мысли придут в голову. Однако то, что он делает, куда более осознанно, чем может показаться на первый взгляд. Неправда, что он не знает, что напишет. У него есть определенная система, есть основа, есть схема, которую мы и находим в тексте его книг... Но цель всего этого одна — уйти от проблем реальной жизни.

Для меня действительность — основа творчества, но и у меня бывает так, как у Роб-Грийе. Иногда утром просыпаюсь, и в голове застряла фраза, может быть, осколок сна. Случается, что я начинаю именно с этой фразы. Многие мои рассказы так и были написаны. Например, «Маленькие руки». Первая фраза не имела никакого отношения к тому, что я написал дальше. Но она меня взволновала. Я стал писать, чтобы придать ей жизнь, потом не смог продолжать, отложил в сторону. Время от времени возвращался к тому, что сделал, но что должно быть дальше, не видел. А однажды я сопоставил этот кусок с куском для другого рассказа — и вторая половина рассказа была найдена.

Я считаю, что все дороги литературного письма, все способы творческого процесса, даже самые смутные, по своей диалектике, если их осмыслить, сводятся к одному — поискам пути к читателю. Нужно доверять своим чувствам, своему разуму. Живое творчество ломает любые системы. Система может быть интересна для исследования какого-то произведения, но сам процесс творчества сломает даже прекрасно разработанную систему. Не нужно ни преувеличивать, ни преуменьшать значение осознанной работы писательского мышления. Что касается меня, все, что я узнаю в жизненной практике, в своей партийной работе, влияет на мое творчество. Научного метода письма у меня нет. Я придерживаюсь одного принципа: пишу в зависимости от того, хочется ли мне писать, волнует меня какая-то мысль, фраза или не волнует, вызывает какие-либо обобщения или не вызывает.

Меня считают не просто рабочим писателем, а рабочим, который стал писателем. Но ведь я не рабочий, а интеллигент. Я стал писателем благодаря партии, но прежде, чем стать активным членом партии, был поэтом-сюрреалистом. Пробовал себя во многих поэтических направлениях, пытался овладеть методом так называемого «автоматического» письма. Мой диплом по философии назывался «Поэзия как средство психологического эксперимента». «Новый роман» я не приемлю как раз потому, что в свое время сам занимался сюрреалистическими поисками. Когда появился «новый роман», у меня уже была «прививка» от него.

— Я начал отходить от сюрреализма в 1943 году,— говорит Андре Стиль.— Вообще, надо сказать, что в моих сюрреалистических стихах было мало путного. Книга «Слово «шахтер», товарищи» стала как бы переходом, моим первым шагом к реализму. Первые два рассказа из нее — документальны, почти репортажи. После них я попытался писать настоящие рассказы, даже начал роман, составлял его из разных набросков, так, чтобы получилось цельное произведение. Эту книгу, по сути дела, составил Арагон. Он опубликовал разрозненные тексты в «Леттр франсэз», а затем сказал мне: «Ты должен сделать из этого сборник».

Андре Стиль предлагает поговорить о поэзии и передает слово своему товарищу.

— Я до сих пор публиковался мало,— рассказывает Анри Делуи,— во Франции вообще мало издают поэтов. Причины — сугубо коммерческий характер издательств, отношения, которые сложились между поэтами, издателями и читателями. За десять лет у меня не вышло ни одного сборника, сейчас, правда, выходят сразу два. Наряду с сочинением стихов не менее важна для меня работа в журнале «Аксьон поэтик». Журналу уже двадцать лет, выходит он четыре раза в год. В редколлегии такие поэты, как Жак Рубо, Шарль Добжинский, Лионель Рей, большинство их — коммунисты. Мне кажется, для современной французской поэзии вообще характерно то, что многие молодые поэты — комму-

нисты. Но сам журнал не является органом партии.

Мы много печатаем начинающих авторов. Эта работа очень важна, поскольку молодежи печататься негде. Слишком мало издательств во Франции, где берутся печатать стихи. Наш тираж колеблется между тремя и шестью тысячами экземпляров. Кроме стихов, журнал публикует теоретические исследования в области поэзии, разрабатывает различные проблемы поэтики, ведет борьбу с чуждыми идеологическими концепциями.

Еще одна область нашей деятельности — публикация стихов зарубежных авторов. Мы даем параллельно оригинал и перевод. В «Аксьон поэтик» впервые напечатаны на французском языке стихи Вознесенского, Евтушенко, Ахмадулиной. Во Франции нет традиции поэтического перевода. Исключение составляет разве лишь Бодлер, который занимался переводами, в частности переводил англоязычных поэтов. У нас в редколлегии многие знают языки очень хорошо, поскольку преподают их, и мы в каждом номере публикуем зарубежных поэтов.

Мы интересуемся, много ли сейчас во Франции «поэтов-леваков» и какая у них теперь программа.

— Для меня само слово «левак» невольно ассоциируется с троцкизмом. Во Франции существуют разные группировки троцкистского направления. В них много молодых людей, которые пишут стихи. Недавно, например, я прочел такое стихотворение:

Вперед, товарищи,
Будущее улыбается нам,
Расправим плечи,
Расширим стены
Лбами, для голосов,
Зовущих вперед,
Откроем окна!

У меня нет личной неприязни к молодому человеку, который написал эти стихи, я знаю, что и поэты, которых мы все любим, когда-то писали нечто похожее. Но если посмотреть на историю французской поэзии, на современную литературу, то подобные стихи просто ретроградны. Что же касается их маоистского содержания...

— Это уже политическая концепция,— снова вступает в разговор Андре Стиль.— Тут надо быть очень осторожным — ведь речь идет о молодых людях, которые делают первую попытку выразить себя в поэзии и начинают, к сожалению, с глупостей. Поэтому не следует сразу отвергать их. И мы, когда были молоды, ошибались.

Мне кажется, нельзя понять французскую литературу века, с одной стороны, не отдавая себе отчета в том, что произошли глубокие изменения в области авангардистских поисков, а с другой — не учитывая того, что представляет собой литература, отличная от авангардизма, питающая так называемое традиционное направление. Ныне его представляют такие писатели, как Арман Лану. В то же время в творчестве одного и того же писателя возможны постоянные столкновения между разными и даже, казалось бы, совершенно противоположными литературными течениями.

Значительная часть того, что пишет сейчас молодежь во Франции, так же трудно для понимания, как в свое время «автоматическое письмо». Нередко утрачивается само зерно поэзии, рифма, связь, даже смысл... Люди, которые пишут подобные стихи, чаще всего придерживаются левацких взглядов. Однако сейчас куда больше молодых поэтов, близких нам по взглядам, чем это было в эпоху сюрреализма. Долг коммунистов — создать благоприятные условия для политического и творческого прозрения литературной молодежи.

А. КАРЛОВ

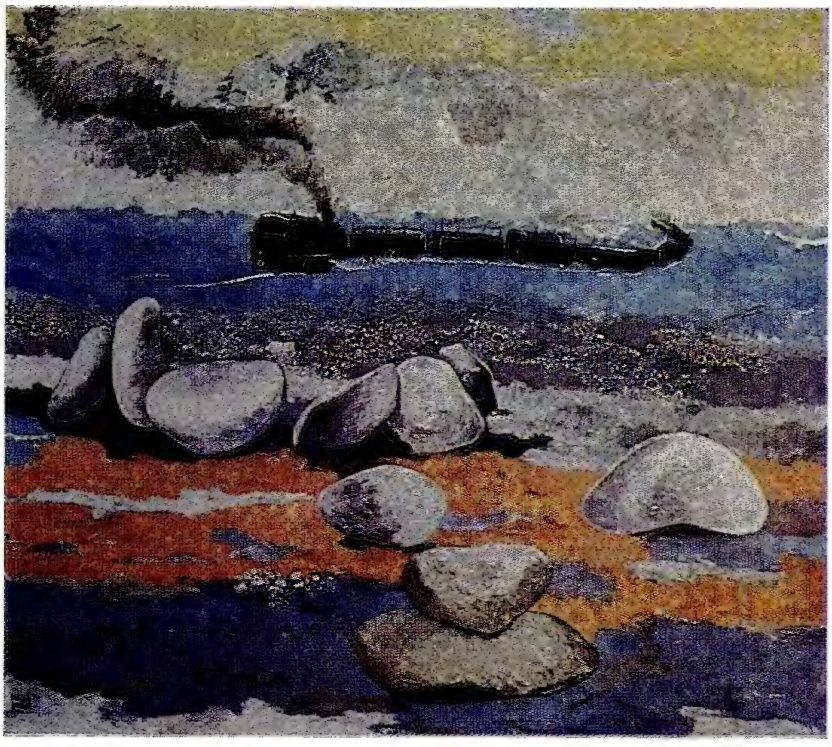
◆

Изобразительное искусство за рубежом

«Были мы впятером в корчме».

Из работ Кристо Хегедушича

Реквизиция (фрагмент).



Железная дорога Брчко—Бановичи.

Рассвет.

Караульные лагеря в 1942 году.

Мир нищих.

Изобразительное искусство за рубежом

АЛЕКСАНДР РОМАНЕНКО

«В МИРЕ НАШИХ ПЛАКУЧИХ ИВ...»

Пять с лишним десятилетий присутствует югославский хорватский художник Крсто Хегедушич, живописец и график, эстетик и публицист, в мировом изобразительном искусстве. Его картины видели зрители Москвы и Ленинграда, Парижа и Лондона, Венеции и Рима, Вены и Брюсселя, Нью-Йорка и Сан-Паулу. Многие из них хранятся в коллекциях европейских и американских музеев.

Прошедшая в конце 1973 — начале 1974 года в Загребе и Белграде выставка 160 картин и рисунков К. Хегедушича стала событием в культурной жизни Югославии последних лет. По существу впервые его искусство было представлено на этой выставке с достаточной полнотой, позволившей судить об оригинальности, широте и многозначности его творчества.

К. Хегедушич родился в 1901 году в деревне Петринье, расположенной на реке Драве, в местах, связанных с борьбой народов Центральной Европы против османов. Просторная подравская равнина, изрезанная каналами и окаймленная невысокими возвышенностями, напоминала

средневековый крестьянский Брабант. «Всегда, когда зимою я еду по этой провинции, мне кажется, будто железная дорога попала в какую-то большую раму Брейгелевой снежной композиции,— писал в 1925 году известный югославский писатель Мирослав Крлежа.— Соломенные крыши крестьянских хижин, из-под которых валит дым, жизнь, которая по своей примитивной сложности закопалась в землю и только начала развиваться, каменные колокольни и кладбища римско-католической организации, обильная, черная, плодородная земля Брабанта и мужики, скотоводы, виноградари, красные, налитые кровью, с мехом вина в одной руке, с колбасами и венцом лука — в другой...»

Хегедушич сызмала воспринял, а точнее, оно искони жило в нем, лишь позднее преломившись творчески, ощущение этой, с одной стороны, полнокровной, изобильной страстями и наслаждением, а с другой — убогой, тяжкой, беспросветно трудной жизни. Под влиянием матери он рано начал рисовать, затем получил специальное образование в Загребской Академии изобразительных искусств (спустя десять лет он начал здесь преподавать сам).

Одна из ранних работ художника, считающаяся едва ли не первой «политически ангажированной» картиной в хорватском искусстве, была написана в 1919 году и называлась «Октябрьские дни в Петрограде».

В 1926 году К. Хегедушич устроил свою первую небольшую выставку на родине и вскоре уехал на два года учиться в Париж. Здесь он познакомился с фламандским искусством, с немецким экспрессионизмом, впервые увидел картины Питера Брейгеля, рисунки Кетэ Кольвиц, Отто Дикса, Георга Гросса. В Париже художника потрясла острота классовых боев с их забастовками, демонстрациями, полицейскими облавами. В Париже Хегедушич убеждается, каким могучим оружием располагает искусство в борьбе против угнетения и социального зла.

В парижском Осеннем салоне 1927 года Хегедушич выставил свои картины. Он вернулся в Загреб в 1929 году вполне сложившимся художником, видевшим свое призвание в верности принципам программного реалистического искусства, способного рассказать миру о жизни его земляков — хорватских крестьян и об отношении его, Крсто Хегедушича, к этой жизни. «С самого начала оказался Крсто Хегедушич в оппозиции к окружающей среде»,— заметил один из югославских критиков. Эту среду буржуазного югославского государства он отвергал, о чем неоднократно заявлял на страницах тогдашних прогрессивных журналов — «Книжевник», «Савремена стварност», «Нолит», «Печат».

Почти сразу же по возвращении в Загреб К. Хегедушич создает группу крестьянских художников «Земля», чья теоретическая и творческая платформа противостояла эстетским тезисам «колористических гедонистов», тоже выступавших в ту пору. В нее входили пользующиеся ныне мировой известностью Иван Генералич, Франьо Мраз, расстрелянный фашистами в 1943 г., Марко Вириус и другие тогда начинавшие художники.

Конец 20-х и начало 30-х годов исключительно плодотворны у Хегедушича. Один

за другим рождаются его шедевры: «Дезертиры» (1928), «Реквизиция» (1929), «Ярмарка в Копривнице» (1930), «Небо убогих» (1931), «Наводнение» (1932), «Yustitia» (1934) и другие знаменитые ныне полотна. Колоритом, твердым, уверенным рисунком, плотной, насыщенной композицией и тщательно выписанными деталями они восходят к П. Брейгелю. Но это ни в коей мере не стилизация «под Брейгеля».

«Иллюзиям нет места, мир нужно не исправлять, но изменять его основы»,— утверждает Хегедушич. Подобно Брейгелю он использует в качестве неизменного фона маленькую (родную) хорватскую деревеньку, размещая на переднем и заднем планах картины отдельные людские группы, каждая из которых может рассматриваться как особая композиция. На полотнах Хегедушича, как и у раннего Брейгеля,— масса людей в тонко подмеченных и тщательно воспроизведенных позах и движениях. Взятые вкупе, они напоминают своеобразный, как бы внезапно остановившийся фильм. Важный элемент мастерства Хегедушича — умение передать зрителю ощущение движения, незавершенности, но цельности и психологической оправданности жеста.

После запрещения в 1935 году группы «Земля» художник оказывается почти в одиночестве. О нем мало пишут, мало упоминают. Ему не разрешают устраивать выставки. Правящие круги королевской Югославии не без оснований усматривали в нем своего врага. Несколько раз Хегедушича арестовывали. В 1941 году он попал в концентрационный лагерь в Госпиче. Жизнь его была на волоске, ибо его фамилия оказалась в списках заложников гестапо. Кошмары военных лет легли в основу созданных в 50-е годы страшных полотен: «Мертвые воды (Ясеновац)», «Караульные», «Конец. 1945»; написанных в 60-е годы: «Дети камеры № 8», «Оккупация», «Транспорт лагерников» и других.

Композиционно эти работы резко отличаются от полотен периода «Земли». Центром картины становится одинокая фигура (или броское цветовое пятно), занимающая почти весь первый план. Глухой серый или темный фон, как бы лишенный глубины, словно выдвигает, выпячивает эту фигуру вперед. На смену тщательно прорисованным, детализированным образам приходят нарочито массивные, округлые формы. Но в жестах, позах, движениях — психологически определенные и острые характеристики персонажей. Иногда эти движения деформированы, намеренно угловаты, но неизменно точны и строго реалистичны.

«Меня поражают банальные вещи, будни,— писал К. Хегедушич еще в начале своей деятельности.— В них я открываю связи, смысл и структуру человеческого существования». Полотна «Барахолка», «Сохо», «Двор», «Засуха», «Рассвет» с одиноким, унылым героем со стертой внешностью и как бы стертой душой напоминают пустыри итальянских неореалистических фильмов, полных глубокого неподдельного сочувствия к современнику, протеста против подавляющей, иссушающей власти пустых, унылых будней.

Сложны были пути развития послевоенного югославского искусства. В нем — много поисков, много искреннего и пережитого, немало было и моды, нередко чужой, заимствованной извне и скоро проходящей. Однако лучшие, наиболее талантливые художники Югославии устояли перед давлением безликой абстракции, создавая свое глубоко оригинальное, человечное искусство. Одним из них и является мэтр Крсто Хегедушич, репродукции с нескольких картин и рисунков которого печатает журнал в этом номере.

Среди книг

Издано в СССР

«ВСЕ, КАК БЫЛО...»

Захария Станку. Ветер и дождь. Роман. Авторизованный перевод с румынского и предисловие И. Константиновского. Редактор Е. Орлова. Москва, «Прогресс», 1973. 665 стр.

Роман Захарии Станку «Ветер и дождь» написан очень свободно; от начала и до конца он пронизан отступлениями, уходами в воспоминания о прошлом, которые создают исторический фон жизни румынского общества между двумя мировыми войнами и в годы фашистской диктатуры генерала Антонеску, рисуют представителей чуть ли не всех слоев этого общества. Конкретное же время действия романа — осень 1946 года, время подготовки парламентских выборов, от которых во многом зависело дальнейшее развитие Румынии.

Отказавшись от традиционной эпопейной последовательности исторического повествования, романист сосредоточил внимание на тех прошлых событиях, в которых он или принимал личное участие или хорошо разбирался благодаря журналистской осведомленности в политической жизни Румынии 30—40-х годов То же самое можно сказать и о галерее типов, которая проходит перед читателем в отступлениях — они в большинстве своем лично знакомы автору, сталкивались с ним на крутых поворотах истории. (Захария Станку в 30-е годы издавал газету «Лумя ромыняска», отражавшую взгляды и настроения антифашистских сил общества. Именно поэтому в день нападения гитлеровской Германии на Советский Союз он был брошен в концентрационный лагерь неподалеку от города Тыргу-Жиу.)

Предваряя одну из ретроспекций, автор высказал свое кредо, которое объясняет идейно-эстетическую концепцию данного романа. Он обращает особое внимание на то, что описывает «все, как было», что факты, которые он описывает, «подлинные». «Реально жившие люди и их поступки — вот что меня интересовало, когда я писал эту книгу. Писал как хочется, не согласуясь ни с какими литературными приемами». И еще весьма существенное добавление: «Писал с единственной целью: чтобы люди, не пережившие этого времени, увидели *корни* нынешних событий. Писал, чтобы показать другой мир, старый мир, его *горькие корни*».

В острейшей классовой борьбе, которая развернулась в послевоенной Румынии, позиции «старого мира» еще были достаточно крепки, особенно в деревне, где, действуя подкупом, страхом, террором, представители буржуазных партий пытались добиться успеха на парламентских выборах. Полны напряжения и драматизма страницы романа, где показано столкновение противоборствующих сил: с одной стороны, открыто враждебные элементы — боярин Цепою, Босоанка, братья Чиорану, перекрасившиеся под цвет времени и тем более опасные префект Бушулянга, «товарищ из центра» Бэрбуца; с другой — коммунисты, бывшие подпольщики, люди революционного долга, благородные и бесстрашные, это секретарь уездного комитета партии Орош, отважный Цигэнуш и его невеста Сармиза, многочисленное семейство Гынжей... Это те, кому принадлежит будущее. И среди них — Захария Станку.

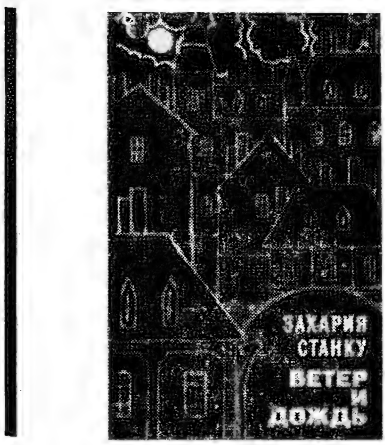
Да, повествование идет непосредственно от лица автора, его имя названо в романе, и это обстоятельство как бы еще раз подчеркивает достоверность описываемых событий. Следование фактам, историческим событиям, однако, не сковывает свободу романиста. «Ветер и дождь» — не историче-

ская хроника, это роман, написанный свободно, раскованно, страстно.

Главный персонаж, от лица которого ведется рассказ о событиях и людях, имеет две ипостаси: прежде всего он, конечно, повествователь, романист, человек с острым зрением, цепкой памятью, с даром проникать в тайны человеческой души; а кроме того, он — лицо действующее, двигающее сюжет, соединяющее прошлое с настоящим (в этом, последнем, качестве сближаются романист и персонаж).

Станку выступает в романе как кандидат в депутаты парламента от коммунистической партии в уезде Телиу. Он противостоит другому кандидату, выдвинутому буржуазными партиями, боярину Цепою, ловкому политическому дельцу и интригану, не брезгующему никакими средствами для достижения цели. Романист Станку не идеализирует кандидата в депутаты Станку, который приехал в уезд Телиу вести предвыборную кампанию, не боится поставить его в трудное положение, в иронический контекст. Этот прием добродушной иронии к лирическому персонажу, по-моему, дал блестящий результат в романе Станку «Безумный лес», романе о юности. Естественно, что в произведении совершенно иного плана, романе «Ветер и дождь», автор пользуется им весьма умеренно. Острота и драматизм событий дают иную окраску повествованию, но в некоторых эпизодах легкая ироническая усмешка, обращенная на себя, оказывается не только уместной, но и тонко намекает на превосходство возраста и опыта уже романиста Станку над тем человеком, который окунулся в самую гущу предвыборной борьбы, поначалу не очень ясно представляя себе ее противоречивую сложность. Она создает ощущение перспективы для нравственного и политического взросления персонажа.

Если сделать сравнительный анализ, не расчленяя образ писателя и персонажа, то можно довольно четко выделить три этапа его нравственного и политического сознания: первый раскрывается в воспоминаниях о прошлом как отражение демократических идей и настроений наиболее близкой к народу части интеллигенции; второй — в непосредственном течении сюжета, на гребне классовой борьбы в Румынии, когда коммунистические идеи постепенно овладевали массами и демократическая интеллигенция встала на сторону коммунистической партии; третий — в авторских раздумьях о времени, о судьбах народа, об истории. На этих раздумьях отсвет 60-х годов. С их вершины многое видно — в прошлом, настоящем и в будущем.



Разумеется, главная действующая сила в романе Станку — народ, многострадальный румынский народ, перед которым открылась перспектива национального и социального возрождения, и я еще вернусь к этой теме. Но, разбирая структуру романа, хотелось бы обратить внимание на поистине эпический образ *памяти*, которому автор придает большое значение. Образ памяти пронизывает идейно-философскую концепцию романа и скрепляет его композицию.

Эмоциональное отношение к памяти меняется в зависимости от тех конкретных ее видений, которые в данный момент возникают. Автор может с неподдельной горечью воскликнуть: «Проклятая память! Я ничего не забыл...» И мы понимаем, что груз воспоминаний о кровавых страницах недавней истории Румынии давит на него огромным прессом. А во время посещения бывшего лагеря смерти Бухенвальда, потрясенный всем увиденным и рассказом гида, бывшего узника этого лагеря, писатель размышляет: «...люди часто склонны забывать именно то, о чем следовало бы хорошо помнить. Но как долго можно помнить прошлое? Сколько лет? И когда человек получает наконец право забыть то, что ему больно вспомнить?»

И если в этих размышлениях автора можно уловить смятение, неопределенность, то выстраданную ясность вносит в нее Роза Калеб, подруга его юности, сама прошедшая через ад Бухенвальда. «Но разве можно забывать о людских страданиях? Разве можно забывать о том, что случилось с нами?» Это не вопрос, это — утверждение.

После встречи с Розой Калеб, после рассказа о перенесенных ею страданиях, после мучительных и долгих раздумий о прошлом и настоящем, о будущем, уже к концу романа, возникают эти слова, которые звучат концептуально: «Ни я, ни Роза не хотели ничего забыть. Мне даже казалось, что моя энергия, мое страстное желание продолжать борьбу за лучшее будущее, мое упорство и твердое решение отдать этой борьбе всю свою жизнь были основаны именно на том, что я *не желал забыть*. Корни будущего следовало искать в прошлом».

Собственно, эти слова и дают ключ к структурной разгадке романа. Память в нем — посланник из настоящего в прошлое и ходатай за будущее. Ретроспективные отступления как бы изнутри освещают не

только события, но и лица людей, в нем действующих.

Еще на одну структурную особенность романа Станку я хотел бы обратить внимание. Почти во всех сюжетах-воспоминаниях главными действующими лицами оказываются отдельные персонажи. В большинстве своем это прожженные политиканы, деятели буржуазных партий, генералы и либеральные болтуны, фашиствующие идеологи и журналисты. В основном сюжете романа главной действующей силой становится народ как самая реальная сила исторического развития. От его сознания, от его разумной воли зависит сейчас и настоящее, и будущее.

К власти в Румынии пришло народно-демократическое правительство во главе с коммунистами, но это еще не означало, что рабочий класс и трудовое крестьянство одержали полную победу. В период подготовки и проведения парламентских выборов (а основной сюжет романа умещается всего в недельный срок, включая и сам день выборов) борьба за власть достигла огромного накала: уходящие с политической арены реакционные силы отнюдь не собирались уступать без боя свои былые привилегии.

Звучат выстрелы и в уезде Телиу, куда герой романа приехал для встречи с избирателями в качестве кандидата от коммунистической партии. Вражеской пулей убит один из Гынжей, утоплен в болоте примарь деревни Блажинь Мардаре, тяжело ранен Цигэнуш... Недаром сопровождающий кандидата активист, пожилой человек, говорит ему: «Как война кончилась, многие возмечтали, что наступит мир и райская жизнь. Но что-то не видать этой райской жизни. Выходит, надо снова драться, как на войне, надо драться за землю и права...»

В этой реплике румынского крестьянина и находит отражение изменившееся самосознание народа на крутом повороте истории, она — но естественно, что и весь ход событий, все движение сюжета — дает читателю понять, что народ, ставший на революционный путь развития, уже не свернет с этого пути.

Совсем небольшой отрезок времени занимает главный сюжет романа, но он насыщен такими значительными событиями в жизни многих людей, что они дают возможность проявиться характерам, силе и слабости, воле и безволию, они дают возможность человеку победить в себе и слабость и безволие, закалить характер. И надо сказать, что персонажи произведения Станку раскрываются перед нами с той мерой идейно-эстетической глубины и правды жизни, которая позволяет отнести его к заметным явлениям современного европейского реалистического романа.

Мы видим, как крепнут и закаляются в борьбе все те, кто составляет актив компартии в народе, как мудреют, обогащаются новым опытом борьбы и руководства массами партийные руководители, как нравственно и политически возвышается тот, от имени кого ведется повествование. А это значит, что роман «Ветер и дождь» есть также история духовного роста крупнейшего писателя современной Румынии Захарии Станку.

Ал. МИХАЙЛОВ

ДВА РОМАНА ЙОЗЕФА ТОМАНА

Йозеф Томан. Дон Жуан. Жизнь и смерть дона Мигеля из Маньяры. Перевод с чешского и послесловие Н. А. Аросевой. Москва, «Художественная литература», 1973. 420 стр.
Йозеф Томан. После нас хоть потоп. Перевод с чешского И. Холодовой. Предисловие С. Ларина. Москва, «Прогресс», 1973. 624 стр.

В этом году Народный писатель Чехословакии Йозеф Томан отметил свое семидесятипятилетие. Почти полвека назад вышла первая его книга, и сейчас он является автором многих пьес и романов. Младший современник и друг Владислава Ванчуры, член возглавлявшегося им подпольного антифашистского комитета интеллигенции в годы Сопротивления, Йозеф Томан давно и прочно занял видное место в первых рядах чешской литературы. Его произведения 20—30-х годов охватывают широкий круг тем и остро социальны. И хотя писатель рано почувствовал тягу к истории, его исторические пьесы и романы тесно связаны с самой злободневной проблематикой «Когда я пишу исторический роман,— подчеркивает Йозеф Томан, обращаясь к советским читателям,— я понимаю его не просто как живописный образ прошлого... Я выбираю такие темы, которые освещают развитие прогресса в давние времена и несут в себе идеи гуманизма, демократии и социальной справедливости... Работая над историческим материалом, я всегда думаю о современности».

Духом современности пронизаны и романы «Дон Жуан» (1944) и «После нас хоть потоп» (1963), переведенные на многие языки мира, являющиеся, несомненно, наиболее значительным из того, что написано Томаном.

Мне довелось познакомиться с писателем летом 1972 года. Автор книг, воссоздающих красочную панораму средневековой Испании и античного Рима, живет в обычном многоквартирном доме на окраинной улочке Смихова — одного из самых промышленных районов Праги. Но Испанию и Италию он знает не понаслышке.

Замысел «Дон Жуана» возник на родине героя. В апреле 1936 года с группой чешских художников Томан посетил республиканскую Испанию, а уже через несколько месяцев начался франкистский мятеж. Фашистская оккупация Чехословакии как бы перенесла писателя в атмосферу Испании середины XVII века, Испании, метавшейся между крестом инквизиции и мечом войны. Роман о Дон Жуане создавался урывками в 1941—1944 годах как недвусмысленный протест против фашистского «нового поряд-

ка», захватнических войн, фанатического мракобесия.

Действие романа начинается в 1640 году. Перед нами огромная испанская империя в канун ее полного упадка. Где-то далеко за Пиренеями идет Тридцатилетняя война, в которой Испании суждено утратить Нидерланды. Португалия разорвала унию с испанской короной. Праздничный блеск двора Людовика XIV, короля Солнца, затмевает мрачную пышность Эскориала. Поток золота из заморских колоний прекратился. Война и безумная роскошь опустошили королевскую казну. Растут поборы, и растет народное недовольство. Страна охвачена крестьянскими восстаниями. У феодальной знати есть только одно средство для обуздания народа — террор инквизиции. Власть церкви в стране все усиливается. Радостный свет Ренессанса уступает мистическому мраку барокко. И в этой борьбе света и мрака формируется характер томановского героя.

В романе чешского писателя Дон Жуан, которого вновь и вновь воскрешали Мольер и Гольдони, Байрон и Ленау, Пушкин и Алексей Толстой, сочетает в себе черты едва ли не всех своих значительных литературных предшественников. Это и всевластный феодал, ни перед чем не останавливающийся для удовлетворения своей прихоти, и вольнодумец, протестующий против церковной догмы о греховности всего земного, и титан страсти, восстающий против самого бога, и романтическая жертва вечной неудовлетворенности, вечного несоответствия реальности идеалу, и человек, пороки которого порождены воспитанием и средой. Но духовный путь героя обретает внутреннюю логику и высокий смысл, поскольку он отражает диалектическую противоречивость развития европейской культуры.

В противовес комедийно-ренессансной трактовке похождений Дон Жуана Томан подчеркивает духовную опустошенность своего героя, внутренний холод, таящийся на дне страсти, эгоизм и феодальную жестокость, скрывающиеся за индивидуалистическим протестом против бога и общества. Ведь Ренессанс для Томана — это не только эпоха расцвета гуманизма, возрождения философии античности, торжества научного эмпиризма, возникновения социально-утопических идеалов, не только эпоха великого искусства и великой литературы (связь с этими традициями Ренессанса в романе воплощает монах Грегорио, воспитатель дона Мигеля, и друзья этого молодого вельможи — художник Мурильо и актер Вехоо), но и эпоха индивидуалистического титанизма. Утверждение барокко не было лишь победой феодальной реакции и контрреформации. Это одновременно было свидетельство кризиса индивидуалистического ренессансного мировоззрения. Вот почему бунт дона Мигеля бесперспективен.

Герой Томана примиряется с богом. Но не с жестоким богом карающей инквизиции, а с богом последней возлюбленной дона Мигеля — прекрасной и самоотверженной Хироламы, с человеколюбивым богом отца Грегорио. Для Мигеля последних лет его жизни, так же как для позднего Мурильо, бог — символ альтруистического начала, символ всеобъемлющей любви. Служи богу, служа человеку, — таков итог духовных исканий героя романа. Писатель не делает его ни атеистом, ни социальным утопистом. И он прав, ибо это было бы насилием над логикой образа, над легендой, над духом времени.

В Севилье Томану показали «Ла Каридад» — огромную монастырскую больницу с мраморными полами, золотыми подсвечниками и картинами на стенах. А на каменной плите у порога храма Милосердия он прочел надпись: «Здесь лежат кости и прах худшего человека из живших на свете, Мигеля Маньяры. Молитесь за него!». И герой Томана — это не Дон Хуан Тенорио, который у Тирсо де Молины заключал сделку с дьяволом и в наказание за свои прегрешения проваливался в тартарары, а так называемый подлинный Дон Жуан — граф Мигель де Маньяра Висентелья и Лека, в конце жизни построивший «Ла Каридад». В художественную литературу его ввели Мериме, Дюма, испанский драматург Сорилья. Томан целиком сохраняет сюжетную канву народной и церковной легенды о возвращении великого грешника на путь праведный под воздействием великой силы женской любви. Но он попытался осмыслить эту легенду исторически. Рисуя Дон Жуана — вслед за Э. Т. А. Гофманом — как «бунтаря против морали своей эпохи» и — вслед за Мериме — как жертву породившей его среды, чешский писатель стремится остаться в рамках этой эпохи и этой среды.

Роман отличается богатством стилистической инструментовки: контрастность сцен, воссоздающих жизнелюбивую и певучую Испанию Ренессанса, и сцен, рисующих мрачную атмосферу Испании эпохи барокко, сочетание подчеркнуто эпической повествовательной манеры, подсказанной прозой XVII—XVIII веков, и щедрой метафоричности, свойственной современной чешской поэзии, романтическая приподнятость легенды и реалистический психологизм. Так возникает своеобразная и стилистически прекрасно отточенная проза. Талантливый перевод Н. А. Аросевой удачно передает языковые достоинства оригинала.

Если в повествовании о Дон Жуане Томан, вступая в полемику с великими литературными предшественниками (от Кальдерона до Ростана и от Байрона до Чапека), стремится найти реальную психологическую разгадку характера человека, ставшего легендой, то в романе «После нас хоть потоп» о годах правления римских императоров Тиберия и Калигулы писатель полемизирует с легендой, созданной еще античными историками, и, опираясь на марксистский исторический метод, изучение малоизвестных источников и знание человеческой психологии, создает новую концепцию этой сложной эпохи. Нужно сказать, что историки отдали

должное писателю, пригласив его на один из своих международных конгрессов в качестве докладчика.

Согласно концепции Томана Тиберий не изверг в образе человеческом, а мудрый, проницательный политик. Но трудный путь к власти и логика политической борьбы постепенно превращают его в жестокого тирана, страдающего от собственного одиночества. Высокомерно презирая плебс, на который он мог бы опереться, император вынужден целиком полагаться на преторианскую гвардию и в конце концов оказывается обманутым им же возвеличенными приспешниками (Сеян, Макрон). Извергом, поначалу прикинувшимся благодетелем своих подданных, рисует писатель наследника Тиберия Калигулу. Загадочную метаморфозу, происшедшую с этим правителем, метаморфозу, над причинами которой безуспешно ломали голову многие историки, он объясняет и личными качествами Калигулы (безмерное честолюбие, извращенность, трусливая изворотливость), и объективной логикой событий (зависимость от сената и ненависть к нему).

Тиберию и Калигуле противостоят, помимо последних бескомпромиссных защитников римской демократии (старых сенаторов Сервия Куриона и Ульпия), философ Сенека и актер Флавий Скавр. В отличие от сына Сервия — молодого военачальника Луция Куриона, жертвующего любыми принципами во имя честолюбия,— оба они убежденные тираноборцы. Но Сенека одинок в своей борьбе, и, проповедуя стоическое бесстрашие, он постоянно оказывается во власти страха, постоянно отрекается от самого себя. Бывший раб Флавий Скавр всем своим существом связан с плебейским Затиберьем, и ощущение народной поддержки помогает ему преодолеть страх, забыть о себе и остаться верным собственной человеческой сути.

Народная масса, действующая как многоликий коллектив и персонифицированная в ряде эпизодических персонажей,— еще один активный герой романа. Автор сочно и многопланово рисует сцены из жизни римского плебса, свободолюбивого и гордого даже в эпоху императорского террора. Эти люди хотят жить трудом своих рук и презирают самые щедрые подачки. Чувство справедливости в них неистребимо. И роман кончается символической сценой: Калигула, направляющийся на казнь Фабия, как бы видит свою статую — обезглавленную, поверженную в грязь. Фабий, наложивший на себя руки в тюрьме, торжествует над ним.

Противоборство носителей культуры и высоких моральных принципов с тиранией оттеняется контрастом высокой любви Фабия к молоденькой актрисе Квирине, не пожелавшей жить после смерти мужа, и низменной, животной страсти дочери Макрона Валерии к Луцию, ради которого она готова пойти на убийство. А сам Луций, в недавнем прошлом любимец солдат, человек сильный и одаренный, становится все более жалким и опустошенным, по мере того как предает свои идеалы.

В романе четко распределены свет и тень, симпатии и антипатии автора. Но талант его — во многом талант драматический. Перевоплощаясь в своих героев, он со всей страстью и самоотдачей «играет» и за тирана, и за тираноборца. Это помогает ему рисовать каждый человеческий характер диалектично и многосторонне. Напряженное и динамичное действие, естественно и глубоко мотивированно возникая из столкновений противоречивых и сложных характеров, прочно связывает пластическую панораму эпохи.

Правдивое и красочное воссоздание исторической атмосферы времени — одна из главных заслуг писателя. Три года из шести лет, отданных работе над романом, Томан посвятил сбору и изучению материалов. Он вновь посетил Италию, в которой прожил два года еще в молодости. Пригодились и впечатления, почерпнутые во время путешествий по северной Африке и Ближнему Востоку. Все это органично и ненарочито вошло в художественную ткань романа.

В книге «Итальянская палитра» (1962) Йозеф Томан писал, что искусство жить — большое искусство. Важно только не нарушить меру. Упадок нравов, предвещавший закат Рима, оказался именно в нарушении этой меры. И описания обстановки, пиров, игрищ, религиозных церемоний, обычаев — это не просто красочный фон действия. Картины образа жизни и нравов императорского Рима служат раскрытию самой идеи романа, сформулированной в его названии. А императорский Рим для Томана — прообраз и предвестье сегодняшних сил реакции.

«Это многоплановое произведение,— писал автор, адресуясь к советским читателям,— должно показать корни империализма и родственность тогдашнего империализма с сегодняшним».

Стилистика каждого исторического произведения Томана соответствует духу изображаемого времени. Отсюда, например, барочная образность в «Дон Жуане». В качестве стилистического ключа для романа «После нас хоть потоп» не подходили, однако, ни ораторские периоды Цицерона, ни краткие, афористические фразы Сенеки. Поэтому автор обратился к современному языку и только в зависимости от конкретных сюжетных ситуаций вносил в него те или иные архаические элементы. Современность слога оригинала оказалась для переводчицы И. Холодовой большой и порой не до конца преодоленной трудностью, ибо тут все же недопустимы явные анахронизмы и нарушения духа языка эпохи.

Томан — принципиальный противник искусственной актуализации истории. Но он убежден, что взгляд на прошлое помогает человечеству глубже понять современность.

— Так летчик, поднявшийся над Прагой, видит не только сутолоку переполненных людьми и машинами улиц, но и город в целом,— говорит писатель.

Уже восемь лет Йозеф Томан работает над новым историческим романом «Сократ». Теперь его внимание привлекла Греция эпохи Перикла.

О. МАЛЕВИЧ

ВЕЧЕРОМ, У ОЧАГА

Десять вечеров Японские народные сказки. Перевод с японского, предисловие, примечания и комментарий Веры Марковой. Москва, «Художественная литература», 1973. 366 стр.

Получилось так, что японские народные сказки и легенды, необычайно разнообразные, поэтические и увлекательные, значительно позднее стали известны в нашей стране, нежели сказки европейских стран или персидские и индийские. Возможно, это объяснялось длительной изоляцией Японии от других стран, трудностью языка или какими-то иными причинами. Тем более отрадно, что сейчас они издаются у нас все чаще.

Сказки и легенды в Японии существуют более тысячи лет. Наиболее примечательные записи сказок, сохранившиеся до наших дней, были сделаны в XI, XIII и XVIII веках («Кондзяку моногатари», «Удзи сюи моногатари», «Отогидзоси» и т. д.).

В Японии никогда не ослабевал интерес к сказке и легенде. Обработкой народных сказок и легенд занимались многие видные японские литераторы. В последние десятилетия к ним обращались такие видные писатели, как Кубота Дзёдзи, Киносита Дзюндзи, Мацутани Миёко и другие.

Первые переводы японских сказок в России появились еще в прошлом веке. Известно, что в свое время японские народные легенды обрабатывал Лев Толстой, редактированием сказок Японии для детского чтения занимался Самуил Маршак.

В последние годы успешно переводит японские сказки Вера Маркова: две книги в ее переводе вышли в издательстве «Художественная литература», а «Детгиз» выпустил книгу сказок японских островов «Земляника под снегом» в ее пересказе.

В книге «Десять вечеров», выдержавшей уже второе издание,— около девяноста японских народных сказок. Конечно, это немного, если учесть, что известный специалист по японскому фольклору Янагида Кунио насчитал на японских островах 20 тысяч сказок и опубликовал их около пятидесяти лет назад. Однако и эти девяносто сказок, собранные Верой Марковой из разных источников, представляют достаточно широко сказочные жанры Японии. В эту книгу вошли сказки о животных, волшебные, авантюрные, сказки-новеллы, бытовые, пародийные. Они разделены на десять вечеров, видимо, потому, что в Японии сказки рассказывают вечерами, сидя у очага.

Японские сказочные сюжеты и персонажи напоминают иной раз мотивы и героев наших народных сказок: царевну-лягушку, бездетных старика и старуху, находчивого Балду...

Однако японские сказки густо населены чисто японскими существами, рожденными фантазией рыбака, угольщика, крестьянина, жителя старого японского города, преимущественно Нижнего города, где селились ремесленники, мелкие торговцы и прочие.

В волшебных сказках действует Тэнгу — японский леший, крылатое существо с клювом и волшебным веером. Отнимешь у него веер — и лишается Тэнгу своего могущества. У японского водяного Каппы на голове углубление в виде блюдечка, наполненное водой. Прольется вода — потеряет силу Каппа. Многочисленные горные духи то помогают людям, то наказывают их. Наказывают, например, за то, что нарушил давний завет делить еду по-братски, на всех. Съешь один пойманную в реке рыбу или полакомишься дарами леса — превратишься в какое-нибудь чудовище.

В сказках много всяких превращений и приключений. С дровосеками, угольщиками, рыбаками происходят всякие чудеса. Добро обычно вознаграждается, зло наказывается.

Японские сказки часто несут на себе влияние синтоистских представлений о мире, буддийских верований, но они близки нам, потому что устами их героев говорит народ, который верит в справедливость, в добро.

Хочется отметить высокое мастерство переводчицы. Чужое просторечье передано просторечьем русского языка «с большим вкусом и тактом», как отмечал Корней Иванович Чуковский в своей книге «Высокое искусство». Корней Иванович назвал перевод Веры Марковой «чудом». «Когда читаешь «Японские сказки» о драконах, медузах, тайфунах и крабах, кажутся совершенно естественными такие русизмы, вплетенные в их ткань:

— Устал, мочи нет.
— Взглянул и диву дался.
— Глядь, а это заяц пришел.

Чудо заключается в том, что, невзирая на эти русизмы, японцы в переводе остаются японцами, а японский фольклор не становится русским фольклором».

Чуковский писал так о книге «Японские сказки» в переводе Б. Бейкс и В. Марковой, изданной в 1956 году в «Гослитиздате». Но его высказывание вполне можно отнести и к переводу книги «Десять вечеров», отличающемуся прекрасным русским языком, что не лишает, однако, японские сказки их национального колорита.

Вера Маркова снабдила книгу «Десять вечеров» интересным предисловием которое само по себе заслуживает внимания, так как в нем изложена история японской сказки, изложена занимательно и популярно, хотя не трудно представить, какая огромная научно-исследовательская работа предшествовала его написанию.

Г. РОНСКАЯ

Издано за рубежом

ВО ИМЯ «ПОЮЩЕГО ЗАВТРА»

Walter Lowenfels. Found Poems and Others. New York, Barlenmir house, 1972.
Walter Lowenfels. The Revolution is to Be Human. New York, International publishers, 1973.

Старейший прогрессивный поэт Америки Уолтер Лоуэнфелс, перешагнувший 75-летний рубеж, кажется, переживает вторую молодость. Одна за другой выходят его книги, свидетельствующие о большой творческой активности. Об этом же говорят и «Обретенные стихи и другие» (1972) и «Революция — во имя человека» (1973).

Но Лоуэнфелс — не только автор сборников оригинальных стихов. Он также переводчик и, что особенно интересно, составитель многочисленных поэтических антологий, авторитетный собиратель произведений демократически настроенных поэтов и писателей. В его антологии вошли «поэты протеста», представители «черной поэзии», поэзии индейцев, пуэрториканцев, гаитян и других национальностей, живущих в США.

В своем творчестве Уолтер Лоуэнфелс — прямой наследник боевых традиций демократической поэзии прошлого — традиции Уолта Уитмена, Карла Сэндберга, Джо Хилла, Джона Рида, Майкла Голда. В 30-е годы Лоуэнфелс пришел к марксизму. И это обретение передового мировоззрения не только помогло ему найти свое место в бурном послекризисном десятилетии. Он переживает творческий подъем. Свойственные его ранним стихам темы смерти, обреченности современной цивилизации уступают место новой, оптимистической тематике. Поэзия становится для Лоуэнфелса оружием в борьбе. «Стихи никогда не были для меня лишь литературным занятием; они также и образ жизни»,— пишет поэт в «Автобиографии моих стихов» (1968).

В середине 30-х годов Лоуэнфелс оставляет поэзию и начинает работать сначала корреспондентом, а позже редактором пенсильванского издания органа Коммунистической партии США «Дейли уоркер», оказавшись в самой гуще социальной борьбы рабочего класса, о которой он рассказывал в своих корреспонденциях и политических репортажах. В них чувствуется дыхание поэзии. В годы маккартизма он подвергся преследованиям. В тюрьме, размышляя о судьбе своей страны и ее народа, Уолтер Лоуэнфелс после многолетнего перерыва вновь начинает писать стихи.

И хотя официальная критика замалчивает его творчество, оно нашло отзвук в сердцах читателей. Лоуэнфелсу принадлежит значительное место в американской литературе XX века. Карл Сэндберг так отзывался о его книге «Земля ежевики»: «Я знаю и пепел и слезы всех ее строк. Это и лирическая песня и псалом одновременно».

Поэтическая книга «Обретенные стихи и другие» — достижение Лоуэнфелса, она развивает мотивы других его сборников. Ощущение преемственности подчеркивается и включением некоторых стихов, уже печатавшихся прежде.

Стихам Лоуэнфелса присуще острое чувство современности. Он современен и тогда, когда пишет о событиях или людях прошлого. Наше время поэт воспринимает как эпоху, исполненную глубокого драматизма, острых социальных потрясений, конфликта двух идеологий — социалистической и буржуазной. С особой остротой он воспринимает опасность ядерной войны: «Весь наш эмоциональный строй изменился в шестидесятые годы из-за того, что произошло в Хиросиме в сороковые годы,— пишет поэт.— Весна, любовь, дети, назвать хотя бы эти слова, они уже не те, когда в воздухе витает стронций-90. Это накладывает отпечаток на всю нашу жизнь, на все наши стихи».

В стихах Лоуэнфелса звучит тревога за судьбы мира, когда он пишет о пятилетней девочке Лауре Мелман («Человек подобен часам»), об аболиционисте Джоне Брауне («Пусть свершится это») или о звездах. Любая, даже самая интимная тема или лирическое настроение обладают для него глубоко осознанным социальным звучанием. Поэт как бы раздвигает рамки лирического, открывая в нем эпическое начало, скрытый философский смысл, хотя, быть может, художественное воплощение не всегда соответствует замыслу. Автора можно сравнить с человеком, кричащим о пожаре, он напоминает персонаж картины Р. Кента «Вечная бдительность — залог свободы».

Тревожное ощущение опасности, нависшей над нашим миром, над современной цивилизацией, над жизнью каждого человека на земле, над самой природой — своеобразный лейтмотив многих стихов Лоуэнфелса. Поэт предельно откровенен, собран, говорит о самом главном. Сопоставляя современность с эпохами далекого прошлого, когда исчезали целые цивилизации, Лоуэнфелс формулирует цель художника — быть выразителем исторической правды: «Я признаю границу века. /У Дария она была и у ацтеков./ Теперь она во власти ядерных устройств. /Времени хватит/ только поведать правду».

Сопоставляя большое и малое, звездный мир и человека, Лоуэнфелс подчеркивает хрупкость, зыбкость жизни. И упоминание о космических или земных катаклизмах лишь оттеняет эту мысль. Воображаемый аппарат, посланный на Венеру, обнаруживает тонкую ниточку, на которой держится мир. Это она взывает хранить мировое равновесие: «Человек, я не так уж

крепка» («Эпитафия ниточке»). В «Эпитафии звездному экватору» звучит мысль об ответственности каждого человека за сохранение мира и всех жизненных ценностей.

Но все же не «космические» стихи составляют ядро сборника. Его главная тема— борьба трудящихся за лучшую жизнь.

Лоуэнфелс обличает язвы американского общества. Поэт помнит об огромных успехах технического прогресса в первой капиталистической стране мира. И вместе с тем он не забывает, что, окажись все эти достижения человеческого ума в руках трудового народа, они были бы направлены на его благо, привели бы к ликвидации расового и социального неравенства. В стихах Лоуэнфелса образ Америки лишен прикрас.

Если матушка Джонс из Западной Виргинии хочет рассказать богу о горестях населения, то легендарный Джон Браун воюет за права «презренной бедноты» в «этой рабской стране» («Пусть свершится это»). В монологе Юджина Дебса, которого В. И. Ленин ценил как «популярнейшего вождя американских социалистов», Лоуэнфелс запечатлел момент в истории социалистического движения США, когда Дебс, заняв интернационалистскую позицию, решительно выступил против империалистической войны.

Верный исторической правде, поэт рисует образы индейцев, подвергшихся истреблению со стороны белых поселенцев. Полный горечи и скорби по погибшим соплеменникам, вождь индейцев Джозеф говорит о своем намерении больше не воевать («Я устал воевать»). Судьба индейцев волнует поэта, и он посвятил им многие свои произведения. Упомянем только великолепное стихотворение «У водопада Бимиджи» (сб. «Земля ежевики») или появившуюся в 1973 году поэтическую антологию «Из брюха акулы», в которой широко представлены поэзия и песни индейских племен.

Поэзия Лоуэнфелса исполнена исторического оптимизма. Старому суждено умереть, уйти. Новое родится в трудностях, в борьбе. Жизнеутверждающее творчество поэта пронизано этим ощущением. Ссылаясь на письмо Фр. Энгельса в стихотворении «Исход не нулевой», он утверждает поступательное развитие природы и человечества. В философски окрашенной миниатюре «Поэма авангарда», написанной в прозе, центральное место занимает образ живого, вечно стремящегося вперед «авангарда мира».

Эта идея прогресса ассоциируется у него с образами детей. Им поэт посвящает лучшие свои стихи, щедро отдает свое тепло и любовь. В первом крике ребенка в стихотворении «Моему 12-му внуку» поэт видит символ жизни, обещание будущих побед.

Во второй раздел «Обретенных стихов» — «Любовные письма» — вошли несколько писем в прозе и стихах, адресованных близким поэту людям. Для Лоуэнфелса письма — один из любимых литературных жанров. Так, в письме литератору Кеннету Рексроту вслед за риторическим вопросом, почему 30 американских поэтов покончили жизнь самоубийством, Лоуэнфелс приводит иной перечень поэтов — борцов, не дрогнувших перед жизненными испытаниями. В их числе — Мистраль, Неруда, Вальехо, Гильен, Хикмет, Брехт, Элюар, Незвал и десятки других, составляющих цвет литературы двадцатого века.

Лоуэнфелс — поэт-интернационалист. Для него все борющиеся народы, а также народы, живущие в условиях социализма,— братья по оружию. В недавно опубликованных мужественных стихах «Телеграмма в Чили» поэт сопереживает трагедии чилийских революционеров, заявляя: «Боль ваших тюрем — в пульсе наших песен». Социализм — тот идеал, который, по глубокому убеждению автора, принесет американскому обществу избавление от социальной несправедливости, эксплуатации, ненависти между людьми. Поездки в СССР, Польшу, Чехословакию еще раз убедили поэта в реальных возможностях социализма.

Лоуэнфелса постоянно заботят вопросы психологии и философии творчества, личности поэта. Эстетическим проблемам он посвятил ряд произведений, в том числе книгу «Революция во имя человека», в которой обобщает свой художественный опыт. Лоуэнфелс видит в писателе творца, созидателя нового. «Участвуя в созидании нового общества, мы, поэты, чем бы мы ни занимались, бросаем вызов смерти. Мы не умрем, потому что общество, построению которого мы отдаем свои силы,— наше поющее завтра».

И этому «поющему будущему» на американской земле служит творчество Лоуэнфелса.

КРАСИН ХИМИРСКИ

г. СОФИЯ

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ВЕНЕСУЭЛЬСКОГО КАУДИЛЬО

Francisco Herrera Luque. Boves "El Urogallo". Caracas, Editorial Fuentes, 1973.

В Латинской Америке с ее ограниченным книжным рынком бестселлеры — книги, вызывающие внезапный и повышенный читательский спрос,— не в пример США, появляются сравнительно редко. Тем более примечателен успех романа Франсиско Эрреры Луке «Бовес — Глухарь», который недавно вышел в столице Венесуэлы Каракасе и за полгода выдержал четыре издания. На яркой желто-красно-синей обложке, символизирующей цвета венесуэльского знамени, нечеткие фотографии повешенных крестьян монтируются с одним из прославленных офортов Гойи из серии «Бедствия войны».

Имя Хосе Томаса Бовеса (1783 — 1814) — партизанского вождя полудиких степных пастухов — льянерос, выступивших на сто-

роне испанцев против Боливара в годы борьбы за независимость, для многих венесуэльцев давно уже стало символом антиреспубликанизма и слепой, почти маниакальной жестокости. Однако историческая правда заключается также и в том, что между 1812 и 1814 годами — период, о котором идет речь в романе,— вокруг Бовеса, умело разжигавшего расовые противоречия, унаследованные от колониального рабства, группировались самые обездоленные и эксплуатируемые слои негритянско-мулатского и метисского населения рождавшейся в кровавых распрях нации. Европейское происхождение Бовеса — он был родом из испанской провинции Астурии — не помешало этому свирепому каудильо стать на какое-то время воплощением «цветной» Венесуэлы, с одинаковой неприязнью относившейся к богатым плантаторам-креолам и к их противникам в лице кастильской колониальной аристократии. Противоречивая фигура Бовеса, королевского офицера и предводителя взбунтовавшихся рабов, кумира «плебса» и смертельного врага Республики, хладнокровного вешателя и жертвы неудавшейся любви, давно уже привлекает внимание литераторов и ученых.

Когда автор намеревается писать исторический роман — а «Бовес — Глухарь» во многих отношениях не только беллетризованная биография, но и роман,— он обычно мыслит свой будущий труд как произведение художественного жанра. С книгой Франсиско Эрреры Луке, который не является ни профессиональным историком, ни профессиональным романистом, все произошло иначе. Известный в Венесуэле врач, заведующий кафедрой психиатрии в Центральном университете Каракаса, Эррера Луке, привлеченный своеобразием личности знаменитого «каудильо», вначале задумал свою работу как строго научное исследование в редкой области «исторической психопатологии», находящейся на стыке нескольких дисциплин. Расшифровка «феномена Бовеса», этого миниатюрного «Атиллы льяносов», должна была пополнить серию уже написанных автором сочинений, таких как «Психологические аспекты иммиграции», «Неврозы в народных слоях Венесуэлы», «Психопатические фигуры истории» и др.

В целях наибольшей объективности Эррера Луке добросовестно изучил архивные и фольклорные источники, связанные с эпохой Бовеса, лично посетил и обследовал места его боевых действий, но... когда сел за письменный стол, по собственному признанию, внезапно почувствовал скудость чисто научного языкового стиля и, «отложив в сторону весь собранный материал, позволил мыслям и словам свободно выбрать необходимую форму». Так из авторитетного ученого-медика родился незаурядный писатель. Правда, стремление к объективности и самоконтроль исследователя сказались и здесь: роман завершает написанное автором послесловие, в котором Эррера Луке как бы вводит читателя в свою творческую лабораторию, подробнейшим образом, по главам поясняя, какие из эпизодов и героев его книги соответствуют реальному прошлому и какие в художественных целях придуманы им самим.

Хотя научные увлечения автора и обусловили некоторую односторонность в изображении Бовеса и налет чисто медицинского профессионализма в романе, перед нами, несомненно,— произведение высокохудожественное, о чем свидетельствуют единодушные хвалебные отзывы венесуэльской критики. Одна из самых крупных либеральных газет страны «Насиональ» писала в январе 1973 года: «Как бы мы ни назвали это произведение «историческим романом» или «романизированной историей»,— «Бовес — Глухарь» написан Франсиско Эррерой Луке с огромной любовью, мы бы даже сказали, с каким-то особым наслаждением и вкусом. Это — одна из самых страстных, самых увлекательных и самых живых книг, вышедших за последние годы в нашей стране».

«Увлекательность», «страстность», «живость» — применительно к биографии Бовеса, написанной Эррерой Луке, эпитеты неоспоримо заслуженные, но не очень конкретные. За ними должна стоять — и действительно стоит — определенная писательская техника. И техника эта, так же, впрочем, как и язык романа — простой и естественный, хотя локально окрашенный и слегка архаизованный в соответствии с изображаемой эпохой,— достаточно традиционны. Больше того, автор, кажется, намеренно избегает художественных приемов, характерных для многих его собратьев по перу на Западе и в Латинской Америке: всякого рода интроспекций, потока сознания, смещения временных планов, коллажа, стереоскопического изображения персонажей и событий в восприятии разных лиц и т. д.

Действие в книге Эрреры Луке от главы к главе развивается, как правило, линейно (хотя вначале эта «линейная» композиция нарушена за счет воспоминаний Бовеса о своих юношеских годах), описания чередуются с диалогом и авторскими отступлениями, отдельные части и главы сюжетно связаны между собой. Одним словом, перед нами — типичный образец «объективной» прозы, твердо стоящей на почве исторических фактов. В то же время произведение венесуэльского автора отличается красочностью и динамизмом, что в значительной степени связано с дроблением каждой из глав на внешне независимые друг от друга эпизоды, которые сами по себе выглядят как маленькие выразительные новеллы. Иногда эти «подглавки», имеющие собственные названия, целиком посвящены обстоятельному описанию действующих лиц.

Такая раскованность композиции в пределах главы позволяет автору сознательно разнообразить художественный материал, располагать его по принципу контрастности и добиваться той увлекательности и живости, которую столь единодушно признают критики. Некоторые усматривают здесь влияние искусства кино с его приемами монтажа, крупными «портретными» планами и быстрой сменой кадров. Литературный

обозреватель столичного журнала «Кена» Федерико Альварес пишет: «Книга очень кинематографична. Опытный сценарист может сделать из нее нечто чрезвычайно живое, переведя ее на аудио-визуальный язык».

Само название романа «Бовес — Глухарь» раскрывает преимущественно «психоаналитическую» трактовку главного героя и его эпохи. Хотя Эррера Луке, известный своими прогрессивными взглядами, достаточно ясно показывает расстановку классовых сил и экономические корни борьбы за независимость Венесуэлы, партизанское движение Бовеса, с одной стороны и зловещая фигура самого каудильо — с другой, выглядят у него часто как следствие определенных нравственных «комплексов». В первом случае — пресловутого «комплекса расовой неполноценности» веками угнетаемых афровенесуэльцев и индейцев, пополнявших отряды Бовеса и ненавидевших своих креольских хозяев; во втором — «комплекса социальной отринутости» их белого вожака, которого третировали и унижали те же креолы за грубость и низкое происхождение.

Подобно завороженному глухарю, легендарной птице, украшающей герб Астурии, Хосе Томас Бовес — раб необузданных страстей — слепо шел навстречу своей гибели. Устами одного из героев книги — падре Льямосаса, лукавого пастыря, приставленного к Бовесу Ватиканом,— автор так определяет судьбу и роль этой незаурядной исторической личности: «Хосе Томас — бессознательное орудие Божественного Провидения, призванное установить справедливость на этой земле. Но он обречен на исчезновение в тот момент, когда одержит победу или предаст возглавляемый им мятеж. Хосе Томас — человек глубоко уязвленный: все, что он сделал, объясняется ненавистью, а причина ненависти — в презрении и оскорблениях, которые ему нанесли его же собратья... И действует он не ради негров или мулатов, которых он и в грош-то не ставит, а во имя ненависти к белым, которые в свою очередь отвечают ему презрением. Его тяга к «низам» — не демократия, а демонократия. Это не любовь к угнетенным, а ненависть к тем, кто еще более высокомерен, чем он».

Если говорить о второстепенных персонажах романа, то они весьма многочисленны и разнообразны по социальному положению и роли в повествовании. Но характерная деталь — у врача и психолога Эрреры Луке, стремящегося к исторической непредвзятости, почти нет «положительных» и «отрицательных» героев, хотя в целом симпатии автора находятся явно на стороне угнетенной и обманутой массы. Сам писатель в уже упоминавшемся послесловии предпочитает делить действующих лиц на вымышленных и реально существовавших. Главные деятели эпохи борьбы за независимость Симон Боливар и Франсиско Миранда появляются на страницах книги лишь эпизодически. Но несмотря на это, они, так же как и другие креольские лидеры, описаны автором выразительно и без обычной в таких случаях хрестоматийной идеализации.

Образы их противников из лагеря испанских роялистов — генералов Монтеверде и Кахигаля; каракасских аристократов — графа де ла Гранха и маркиза де Каса Леон; служителей католической церкви — архиепископа Колль-и-Пратта и падре Льямосаса,— имеющие действительных прототипов, показаны такими, какими они предстают в документах тех лет и воспоминаниях современников. Это — люди, по мысли автора, исторически обреченные так же как и сам Бовес. При описании их, несколько лаконичном и суховатом, опирающемся лишь на установленные факты, Эррера Луке-исследователь явно берет верх над Эррерой Луке-художником.

Но какое богатство творческой фантазии, какое умение лепить типических героев в типических обстоятельствах обнаруживает писатель, когда он свободно отдается творческому ьымыслу! Тут и Доньяна, стареющая и набожная матрона, жена графа де ла Гранха, воплотившая паразитизм и барское высокомерие испанской колониальной верхушки; ее родственники и члены семьи, погрязшие в мелком разврате и насилиях над чернокожими рабынями; и весьма колоритные представители каракасского простонародья; а главное — люди из ближайшего окружения Бовеса: Хуан Паласиос, мятежный негр, ставший под именем «Великий Булу» чем-то вроде верховного жреца и наперсника каудильо; красавец мулат Мачадо, которого душит ненависть ко всем без исключения белым за испытанные унижения; и наконец, невозмутимый индеец Эулохио — самый верный, самый преданный и самый жестокий исполнитель бовесовской воли.

Кровавым смерчем прошли отряды Бовеса по северным и северо-восточным районам Венесуэлы. Эррера Луке с протокольной бесстрастностью описывает зверства восставших льянеров и их фанатичного предводителя. Исступленная, ничем не оправданная жестокость венесуэльского каудильо в конце концов оттолкнула от него даже самых надежных и верных друзей: один за другим переходят на сторону республиканцев негр Паласиос и мулат Мачадо, символизируя разрыв с Бовесом ранее преданной ему «цветной» Венесуэлы. По версии автора романа, большую психологическую роль в смерти «Атиллы льяносов» сыграла его нелегкая любовь к своенравной испанке Инес Корралес. Внутренне деморализованный, он гибнет в одном из решающих сражений, открывших путь к независимости его родины...

Можно не разделять увлечений автора «исторической психопатологией» — впрочем, вполне понятных, если учесть его основную профессию,— можно спорить по отдельным моментам его трактовки «феномена Бовеса», но бесспорно одно: Франсиско Эррера Луке написал интересную и талантливую книгу, по-новому осветившую один из наиболее примечательных моментов венесуэльской истории.

С. МАМОНТОВ

◆

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

«ЙИРРАВАЛА, ХУДОЖНИК И ЧЕЛОВЕК»

Всему миру известно имя талантливого акварельного пейзажиста аборигена Наматжиры. В Брисбене вышла книга Сандры ле Бран Холмс еще об одном таланте-самородке — художнике Йирравале с полуострова Арнемленд на севере Австралии; автор ее рассказывает о жизненном и творческом пути художника и делится своими воспоминаниями о нем.

«Сандра ле Бран Холмс сделала куда больше, чем только написала книгу,— утверждает рецензент в еженедельнике «Таймс литерари сапплмент».— Она распознала талант Йирравалы и помогла ему стать художником, не зависящим от миссий и их деятельности на Арнемленде».

Йирравала работает в традиционном для аборигенов этих мест жанре — рисует на коре, «в своих рисунках использует всего четыре цвета — черный, белый, оранжевый, желтая охра, и хотя это довольно узкий диапазон, ему удается достичь широкого разнообразия палитры и создать настроение для каждой картины»,— пишет рецензент.

Кенгуру, крокодилы, ящерицы, рыбы, черепахи, муравьеды, духи, мифологические герои — вот образы, к которым обращается Йирравала. Как и другие художники-аборигены, он придерживается определенных правил — есть несколько характерных поз, в которых принято рисовать животных и схематически упрощенных изображений человека, которые на языке искусства аборигенов употребляются для обозначения духов. «Йирравала оперирует этими правилами с огромной изобретательностью и преобразует декоративный замысел рисунка в буйный и убедительный мир фантазии».

Книга щедро иллюстрирована, и репродукции демонстрируют поразительное разнообразие форм при повторяемости тем в творчестве Йирравалы: изображение каждого животного разбито на разные геометрические фигуры либо выполнено в «рентгеновском» стиле (на рисунке видны и внутренности).

В книге широко представлен фольклорный материал — Сандра ле Бран Холмс пересказывает мифы, темы которых использует Йирравала в своих рисунках на коре. Большинство его работ воспринимается не просто как иллюстрации к древним мифам аборигенов — так, великан Лума-Лума и Наморрен — человек-молния становятся в его изображении трагическими образами и звучат удивительно современно.

По мнению рецензента, книга «Йирравала, художник и человек» имеет большое значение не только потому, что искусству австралийских аборигенов обычно уделяется меньше внимания, чем, например, искусству Африки, но и потому, что она дает нам представление о творчестве художника, который, располагая весьма ограниченными средствами, создал безгранично богатый и разнообразный мир.

АЛЖИР

НОВАЯ ПЬЕСА КАТЕБА ЯСИНА

«Голос женщины» — так называется новая пьеса известного алжирского писателя Катеба Ясина. Она посвящена событиям, происходившим в XIV веке в старинном алжирском городе Тлемсен. Этот город, бывший в то время столицей самостоятельного государства, в течение восьми лет выдерживал осаду войска султана Абу-Якуба Юсуфа. Осада была снята

только после того, как люди, подосланные правителем Тлемсена, проникли во дворец Абу-Якуба Юсуфа и убили его. В событиях, предшествовавших убийству султана, подробное описание которых оставил средневековый арабский писатель Абдеррахман Ибн Халдун, большую роль сыграли женщины двора тлемсенского правителя. Катеб Ясин изображает в пьесе последние, самые тяжелые дни осады города и страдания ни в чем не повинных жителей, которые принесла война, затеянная правителями.

Новая пьеса Ясина была поставлена в Тлемсене в дни празднования XII годовщины независимости Алжира.

АНГЛИЯ

«ВРЕМЕННЫЕ КОРОЛИ» ЭНТОНИ ПАУЭЛЛА

Английский писатель Энтони Пауэлл выпустил роман «Временные короли», который является одиннадцатой книгой его двенадцатитомной эпопеи под общим названием «Танец под музыку времени». Творчество Энтони Пауэлла неоднозначно оценивается литературоведами Англии и США. С выходом романа «Временные короли» в критике вновь возобновились споры о творчестве писателя.

Некоторые рецензенты находят произведения Энтони Пауэлла прекрасными образцами не только социального, но и психологического романа. Однако другие критики не разделяют это мнение. Они считают, что взгляд писателя на действительность слишком узок и ограничен. Герои его романов так же мало похожи на живых людей, «как пастухи и пастушки на дворцовых гобеленах».

Разбирая последнюю книгу писателя, обозреватель «Сатердей ревью» Роджер Старр пишет: «В романах Энтони Пауэлла мы не найдем широкой картины жизни британского общества. Писателя не интересует социальный анализ взаимоотношений классов и общественных групп. Все его внимание поглощено изображением причудливого переплетения человеческих судеб, изменением восприятия жизни по мере движения времени. Именно это Энтони Пауэлл называет «танцами времени».

Действие во «Временных королях» происходит в послевоенные годы, приблизительно в 1955 году. Так как Энтони Пауэллу не свойственно давать детальную экспозицию, читатель знакомится с тем, что происходит в романе, не столько через описания, сколько через намёки, полутона, случайные штрихи в разговоре. Ощущения, ассоциации, но не факты властвуют в прозе Энтони Пауэлла.

Роджер Старр замечает, что немалое место в книге уделяется теме, уже знакомой по предыдущим романам Энтони Пауэлла,— поискам утраченного времени, связям, существующим между реальностью и творческой личностью. Если в ранних книгах писателя эта тема, продолжает критик, трактовалась преимущественно как фарс, то теперь автор изменил угол видения и подает поиски в ироническом ключе.

Герои Пауэлла — «временные короли» на карнавале жизни, где царит случай. Совпадения и случаи должны напомнить читателю, как считает Пауэлл, что все люди живут в одном социальном организме, связи в котором хотя и незаметны, но нерасторжимы. Эти внешние неожиданные пересечения человеческих судеб меняют ход жизни, соединяют далеких и разлучают близких людей.

Музыка и живопись, пишет Роджер Старр, как и всегда, играют большую роль в книге Пауэлла. Через восприятие разными персонажами книги живописных полотен Тьеполо и Пуссена писатель раскрывает внутренний мир своих героев.

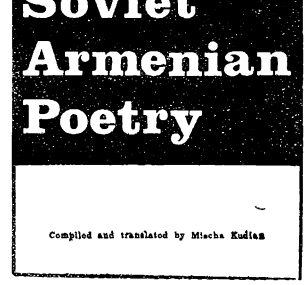
Как пишет рецензент «Сатердей ревью», музыка должна создать ощущение связи времен. Баллада, которую герои слушают в 1955 году, звучала и в начале века, когда они были еще детьми. Музыка вызывает поток ассоциаций, воскрешает в памяти давно минувшие события, связывает их в единую логическую цепь. Музыка помогает Энтони Пауэллу решить сложную проблему времени в произведении искусства.

БЛАГОРОДНЫЙ ТРУД ПЕРЕВОДЧИКА

Живущий в Лондоне писатель и переводчик Миша Кудян уже не первый год занимается переводами произведений армянской литературы на английский язык. Начало этой деятельности было положено несколько лет назад, когда в Лондоне вышли в переводе на английский язык рассказы Вагана Тотовенца «Сцены из детства в Армении». Для английского читателя, как отмечала печать, эта книга была началом открытия армянской литературы. В 1969 году были опубликованы переводы армянских народных сказок под названием «Три яблока упали с неба». Книга быстро исчезла с книжных прилавков. Следующей работой Миши Кудяна была «Сага о Сасуне» — пересказанный им на великолепном английском языке тысячелетний армянский эпос о Давиде Сасунском. Вскоре в Лондоне были опубликованы стихотворения и рассказы Ованеса Туманяна.

Обложка книги «Советская армянская поэзия».

(Газета «Морнинг стар»)



Несколько лет переводчик вынашивал замысел издания лучших рассказов Вагана Тотовенца. Этот замысел был осуществлен им в 1972 году — из печати вышел сборник рассказов Тотовенца под названием «Скажи мне, Белла». Эта работа, как и предыдущие, была высоко оценена в печати.

Недавно Миша Кудян порадовал любителей армянской литературы в странах английского языка еще одной работой: в начале 1974 года из печати вышел сборник «Советская армянская поэзия», включающий произведения Ованеса Туманяна, Аветика Исаакяна, Наири Зарьяна, Ованеса Шираза, Сильвы Капутикян, Геворга Эмина, Ваагна Давтяна, Паруйра Севака и других.

В планах Миши Кудяна на нынешний и следующий год — работа над переводами Севака и Исаакяна.

БОЛГАРИЯ

НОВЫЙ РОМАН АТАНАСА НАКОВСКОГО

Среди произведений, опубликованных в прошлом году, внимание критики привлек роман Атанаса Наковского «Мир вечером, мир утром», посвященный, как и другие его произведения, острым проблемам современности. В романе рассказывается о проблемах, встающих перед руководителем большого социалистического предприятия, проблемах не материального, а морально-этического порядка. Генеральный директор строительного объединения Цонков, целеустремленный, самоотверженный человек, всецело поглощен выполнением стоящих перед ним задач. Но он плохо подготовлен к будничным мелочам, неизбежным спутникам каждого большого дела, и потому передоверяет всю «черную» работу своему заместителю Темелкову, который, как никто другой, умеет «достать», «устроить». Темелков кажется Цонкову авторитетным, энергичным и вообще незаменимым специалистом и руководителем. В конце концов генеральный директор, исходивший из сиюминутной целесообразности, чуть было не капитулировал перед Темелковым и темелковщиной, пока авария, случившаяся на одной из строек, не заставляет его со всей ясностью увидеть, что попустительство «полезной» деятельности Темелкова не только угрожает его собственным идейно-нравственным устоям, но и несет в себе определенную общественную опасность.

Роман «Мир вечером, мир утром» редакция журнала «Пламк», где он был впервые опубликован, назвала лучшим произведением 1973 года, а газета «Работническо дело» писала, что книга А. Наковского «не только лучшее достижение его творчества, но и успех всей болгарской литературы». Известный критик С. Првчанов, подробно разбирая роман в еженедельнике «Литературен фронт», отмечает его динамичность и напряженность действия. Почти каждый образ Атанаса Наковского, пишет он, это тугой узел нелегких для разрешения нравственных и психологических проблем, к которым читатель не может не иметь активного личного отношения. Его герои — живые люди, сложные, данные в развитии, и даже те, к которым автор относится с нескрываемой симпатией, показаны им с суровой, не знающей снисхождения прямотой. Основной конфликт романа развернут углубленно и темпераментно, неумолимо подводя читателя к неприятию всего, что несет с собой темелковщина, представляющая собой новую, весьма опасную разновидность современного мещанства, опасного потому, что это мещанство скрытое.

ВЕНГРИЯ

РОЖДЕНИЕ «РАКЕТЫ»

В Будапеште в феврале этого года вышел новый литературный еженедельник «Регень-уйшаг «Ракета», который сразу привлек к себе внимание читателей и был раскуплен в первый же день. Поэтому в газетных киосках и почтовых отделениях можно увидеть объявление: «Ракеты» нет». «Не спрашивайте, пожалуйста, «Ракету», потому что кроме «нет» я ответить ничего не могу».

«Ракета» стала выходить в издательстве «Магвете». Уже вышло несколько номеров. Первые же номера вызвали огромный интерес у читателей.

«Ракета» выходит еженедельно 150-тысячным тиражом. В первых номерах были опубликованы произведения таких известных венгерских и зарубежных авторов, как Шандор Хуняди, Лайош Надь, Жигмонд Ременьик, Деже Костолани, Мопассан, Антал Серб, Чехов, Пиранделло, Боккаччо, Дюрренматт.

Есть в этом издании интересная рубрика «Роман в картинках». Венгерское телевидение дает серию передач по тому или иному литературному произведению, обрывая передачи на самом интересном месте с обращением к телезрителям: остальное вы можете узнать из самого произведения. Так и журнал в первых номерах в снимках представил роман известного венгерского писателя Эндре Фейеша «Супружество Маргит Черепеш».

«Не беда, что многие не смогли приобрести первые номера «Ракеты»,— говорится на страницах газеты «Непсабадшаг».— Этот пробел легко восполнить. Важно то, что «Ракета» вышла. Очень интересно задуманные и хорошо иллюстрированные первые номера показали, что редакции уже нужно думать об увеличении тиража. Можно надеяться, что популярность издания будет расти и «Ракета» станет верным спутником многотысячных читателей».

«ЮНОШИ, ПРЕВРАТИВШИЕСЯ В ОЛЕНЕЙ»

Сюжет известной румынской баллады «Юноши, превратившиеся в оленей» не раз использовался в художественных произведениях самых различных жан-

Кадр из фильма «Юноши, превратившиеся в оленей». Елка — Илона Бенце, Петер — Петер Фрид.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ров. Замечательный венгерский композитор Бела Барток положил румынскую балладу о юношах, превратившихся в оленей, в основу своей «Светской кантаты». Известная художница Маргит Ковач (см. «ИЛ» № 10, 1973) воспроизвела эту тему в своем керамическом панно. «Юноши, превратившиеся в оленей» — так называется том избранных стихов современного венгерского поэта Ференца Юхаса.

Некоторое время назад журнал «Фильм, синхаз, мюжика» известил читателей о том, что снимается фильм об узниках лагеря в городе Шаторальяуйхей, героях антифашистского Сопротивления. В фильме рассказывается, как в 1944 году венгерские коммунисты и югославские партизаны обезоружили охранников тюрьмы и организовали побег узников. Фильм тоже носит название «Юноши, превратившиеся в оленей».

Стремление к свободе, к свободе человеческого духа, ярко проявившееся в народном сказании, увлекло и создателей фильма. Авторы сценария Имре Дьендьеши и Барна Кабау, по свидетельству журнала «Фильм, синхаз, мюжика», сумели соединить показ героико-трагических событий с проникновенно лирическим повествованием и изображением народных обычаев и поверий.

В фильме заняты известные актеры венгерского кино Мари Тёрёчик, Эржебет Кутвёльди, Илона Бенце и др.

ГДР

К 25-ЛЕТИЮ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В 1974 году, юбилейном для Германской Демократической Республики, издательство «Ауфбау» выпускает книги: «Пятьдесят прозаиков ГДР» и «Лирика ГДР», сборник «Начала», в котором писатели рассказывают о своих первых произведениях, беседы с писателями о методах их творчества («Опыты»).

«Миттельдойчер ферлаг» планирует выпустить новые романы Макса Вальтера Шульца, Эрика Нойча, антологии, сборники стихов.

«Ферлаг дер кунст» предполагает издать целый ряд книг по искусству, среди которых «История русского искусства», «Прикладная графика ГДР», «Альбом фотомонтажей Джона Хартфильда» и другие.

В Лейпциге и Ростоке проведены недели современной драматургии, во время которых читались пьесы и сцены из пьес, после чего состоялись диспуты и дискуссии.

«Меркишес музеум» (Берлин) открывает выставку «Городская экспозиция Берлина 1949—1974 годов», где будут представлены произведения виднейших художников, посвященные восстановлению города и отражающие развитие искусства за четверть века.

Композитор Вильфрид Кретчмар создал к юбилею республики кантату для двух хоров, вокального квартета и солистов. Текст к кантате написали члены дрезденского кружка пишущих рабочих «Макс Дитель».

Сотни певцов и певиц готовят программу большого юбилейного концерта, где объединенный берлинский хор исполнит «Календарь песен». Текст к программе, которая будет содержать как старые традиционные произведения, так и новые, пишет Пауль Винс, автор композиции — Гейнц Вайцендорф.

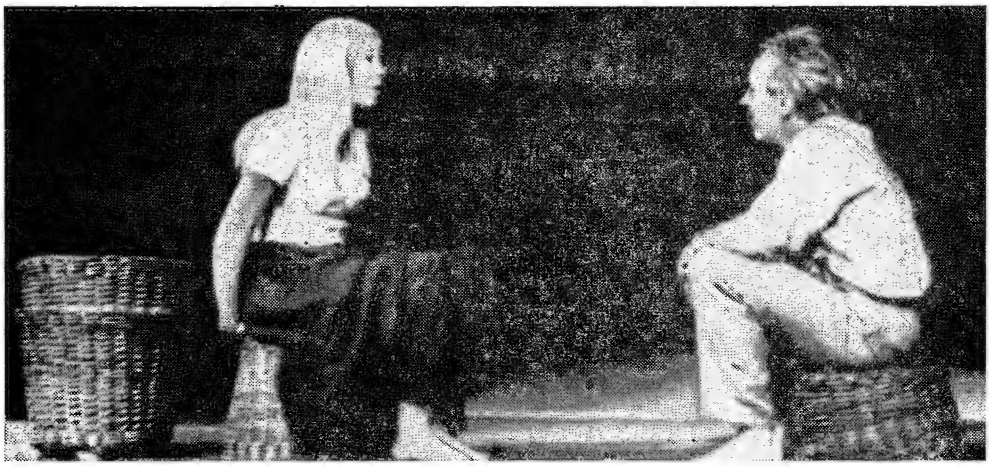
НА СЦЕНЕ — ВАН ГОГ

«Философско - эстетическим произведением» называет рецензент журнала «Театер дер цайт» пьесу недавно скончавшегося драматурга Альфреда Матуше «Ван Гог» (см. о нем «ИЛ» № 7, 1972).

Уже тяжелобольным присутствовал драматург на премьере спектакля, поставленного в Государственном театре города Карл-Маркс-штадт. За день до премьеры Матуше была торжественно вручена премия имени Лессинга.

Судьба Ван Гога интересовала Альфреда Матуше еще в юности. Много лет он работал над этой темой. В восемнадцати сценах прослеживается жизненный путь художника — от ухода из родного дома до его смерти.

«В пьесе дан анализ положения художника во враждебном ему мире,— пишет рецензент «Театер дер цайт»,— говорится об его ответственности перед обществом, о его борьбе за все светлое в жизни». Рецензент указывает, что все произведение отличается сжатостью, немногословием, что в нем нет ничего лишнего. Сдержанно и скупо



Петер Зоданн в роли Ван Гога и Кристина Крюгер в роли Дженки.

(Журнал «Театер дер цайт»)

исполняет главную роль Петер Зоданн (он же режиссер спектакля).

ФРГ

НОВЫЙ ГАЙСЛЕР В «АВТОРСКОЙ СЕРИИ»

Осенью 1973 года в «Авторской серии» издательства Бертельсмана среди первых ее изданий был опубликован новый роман Кристиана Гайслера «Хлеб с напильником».

Интересна история основания «Авторской серии». Четыре независимых от издательства Бертельсмана автора (Уве Фризель, Рихард Хей, Ханнелиз Ташау и Уве Тимм) заключили в декабре 1972 года договор, согласно которому в редакционную коллегию «Авторской серии» помимо четырех ее основателей входят представитель издательства Бертельсмана и один из публикуемых авторов. Независимость редакционной коллегии гарантируется издательством. Все решения принимаются простым большинством при открытом голосовании. Тираж книги (первый — не менее 5000 экз.), авторский гонорар, объем книги, ее оформление, издательские расходы на рекламу, цена книги (от 10 до 20 западногерманских марок) устанавливаются редакционной коллегией. Издательство обязуется знакомить членов редакционной коллегии, а также авторов с документами о расходах и калькуляции цен.

Новая издательская серия названа авторской согласно основному принципу ее работы: авторы издают авторов.

Редакционная коллегия этой серии ставит своей целью содействовать развитию критического и реалистического направления в литературе. Намечено издавать рассказы и романы современных немецких писателей, пишущих не для литературной элиты, а для широких читательских кругов. Авторы призваны выявлять интересы читателя и выражать их. Читатель должен найти в литературе критическое отображение проблем современности, то есть проблем, касающихся его лично. По мнению основателей данной серии, читателю надо помочь разобраться в окружающем его мире и проникнуться мыслью о возможности его изменения.

Проект основания «Авторской серии» привлек внимание западногерманской печати. Оспаривалась возможность реализации проекта, его жизнеспособность. Антифашистская еженедельная газета «Ди тат» отвела целую страницу под сообщение об организационных основах и о литературном профиле этой серии.

Среди пяти первых изданий «Авторской серии», по мнению прессы, наиболее интересным и примечательным является роман Кристиана Гайслера «Хлеб с напильником».

Местом действия автор избирает Гамбург, крупный портовый город, в котором живет около двух миллионов «незащищенных людей» и среди них — молодой рабочий Алерс, стоящий в центре повествования. По привычным понятиям, дела его идут неплохо. У него жена, ребенок и вполне приличное место работы. Но со временем он осознает зависимость и шаткость своего положения, свою незащищенность. Он вступает в конфликт с законами власть имущего меньшинства и пытается, как думают о нем коллеги, «пробить головой стену».

В романе много говорится об оружии в прямом и переносном смысле: об оружии господствующего в капиталистическом обществе класса, перед которым люди труда предстают безоружными, и об оружии, позволяющем рабочему ощутить свою силу и боеспособность.

Мюнхенский оперный театр поставил оперу Д. Шостаковича «Катерина Измайлова». В роли Измайлова — Гейнц Фридрих, в роли Катерины — Юна Кард.

(Газета «Зюддойче цайтунг»)

Роман Кристиана Гайслера, по выражению рецензента газеты «Ди тат», это роман о поиске угнетенными путей преодоления собственного бессилия. Именно в этом смысле и надо понимать название романа. Заключенный надеется получить хлеб с запеченным в него напильником и с его помощью обрести свободу.

На 478 страницах романа перед читателем предстает жизнь различных слоев общества ФРГ — рабочих, студентов, офицеров, предпринимателей — за последние два десятилетия. Он знакомится с людьми разных классов, партий и партийных группировок.

ГРЕЦИЯ

«ИЗБРАННОЕ» РОДИСА РУФОСА

Афинское издательство «Кедрос» выпустило в свет том «Избранное» Родиса Руфоса. Издание приурочено к первой годовщине со дня смерти видного греческого писателя, принимавшего активное участие в оппозиции творческой интеллигенции Греции режиму военной хунты. В томе «Избранное» представлены преимущественно не публиковавшиеся при жизни Руфоса произведения — стихи, рассказы, пьесы и неоконченный роман. Как пишет газета «Вима», «большая часть этих произведений была написана за последние шесть лет, и все они по-своему выражают позицию писателя, его глубокое чувство долга и ответственности перед лицом критических для его родины проблем».

Опубликованный в томе список произведений писателя обнаруживает, что именно Родису Руфосу принадлежит широкоизвестная книга, вышедшая в 1970 году на французском языке под названием «Правда о Греции» и в 1972 году на английском под названием «В Греции полковников». Имя автора до сих пор не было известно, оно предано гласности только теперь, в посмертном издании Родиса Руфоса. В книге предпринят анализ политических событий в Греции за последние годы, освещены причины, обусловившие эти события.

ЕГИПЕТ

ПАМЯТИ СЕЙИДА ДЕРВИША

Общественность арабских стран широко отметила 50-летие со дня смерти выдающегося египетского музыканта и композитора, одного из основоположников современного арабского музыкального искусства Сейида Дервиша (1893—1923). Как отмечает алжирский журнал «Ас-Сакафа», Сейид Дервиш «жил вместе с народом и выражал в своей музыке чувства народа». Его творчество — «значительная веха в истории арабской музыки».

Сейид Дервиш родился в небогатой семье и в юности был чтецом-декламатором Корана. Потом он уехал в Сирию, где познакомился с видными представителями арабского музыкального искусства. Вернувшись в 1912 году в Египет, он приобрел популярность как автор талантливых песен, которые до сих пор распевает народ, и музыки к патриотическим поэмам, самая известная из которых — поэма «Моя страна». Сейид Дервиш также автор многих музыкальных пьес. Во время египетской революции 1919 года композитор воодушевлял народ на борьбу своими песнями, из-за чего подвергся преследованиям британских властей. Сейид Дервиш прожил короткую жизнь, но много успел сделать для своего народа.

ИНДИЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КИНЕМАТОГРАФИЯ

На экраны Индии вышел фильм «Пехотинец» — новое произведение одного из крупнейших мастеров индийского кино Мринала Сена. Режиссер здесь, как и в предшествующих трех работах—«Интервью» («ИЛ» № 6, 1971), «Испытательный срок» и «Калькутта-71» («ИЛ» № 2, 1973),— снова стремится дать широкий художественный анализ социально-политической действительности современного индийского общества, пишет рецензент журнала «Линк». Как и прежде, Мриинал Сен неустанно ищет новые формы, которые могли бы вместить его идеи и донести их до зрителя, ищет собственный стиль и метод, которые помогли бы ему осветить в кино всю многогранность социально-политических проблем.

Последние три работы не только принесли индийскому художнику заслуженное международное признание, но одновременно открыли, по словам рецензента, новые возможности национального политического кино. Рост художественного мастерства Мринала Сена от фильма к фильму — таков результат воздействия на чуткого, честного и умного художника философии гуманизма XX века — марксистской философии, отмечает критик.

Рассматривая события и характеры во всей их сложности и динамике, политический фильм заставляет зрителя задуматься и более глубоко оценить значение тех или иных видимых вещей и явлений. Исследуя социальные взаимоотношения людей, подлинное политическое кино тем самым превращается сплошь да рядом в прямой политический комментарий. Именно к этому жанру рецензент относит три последние работы Мринала Сена.

Новая картина «Пехотинец» создана режиссером совместно с известным кинокритиком Ашизом Барманом, который, выступая в качестве автора сценария, разделяет с ним удачи фильма. Постановщики делают попытку вскрыть сущность и показать источники наксалитизма, так называемого «сверхлевого» движения в современной Индии, которое завоевало популярность у некоторых слоев индийской молодежи. Правда, режиссер попытался разобраться в этом социальном явлении еще в фильме «Калькутта-71», но полностью, по мнению критика, это сделать ему не удалось.

Герой новой ленты — молодой руководитель наксалитов — много размышляет о сути движения. Эти раздумья приводят его в конце концов к выводу о полной бессмысленности действий его единомышленников, о беспочвенности самого движения.

Глубоко проникая в образ и поведение главного героя, прослеживая цепь его поступков на фоне повседневных взаимоотношений с окружающими, создатели фильма шаг за шагом разоблачают всю ту систему анархии и неразберихи, которая царит в рядах так называемого «левого» движения в Индии, показывают несостоятельность руководства и безуспешность всех попыток преодолеть этот хаос, подчеркивает критик.

Фильм «Пехотинец» — свидетельство расцвета политического кинематографа. «Многоплановая, зрелая и совершенная по стилю, гуманная и сердечная, эта вещь представляет собой выдающееся творение Мринала Сена. Она возвещает «славное прибытие политического кино в Индию».

Универсальность картины заключается в том, что политическая мудрость, понимание сложности человеческого мира и совершенство художнического видения позволили режиссеру прийти, по мнению рецензента, к «верному и главному выводу: революция без активной поддержки и участия масс — невозможна».

ИТАЛИЯ

ДЕВЯТЬ ПОРТРЕТОВ

В конце 1973 года в миланском издательстве Гарцанти вышла книга «Ремесло писателя». Автор ее — молодой литератор Фердинандо Камон, прозаик и поэт,— еще в 1965 году опубликовал свои критические собеседования с видными поэтами. Затем он обратился к итальянским прозаикам и четыре года спустя выпустил еще одну книгу.

В новую книгу «Ремесло писателя» включены беседы автора с девятью крупными прозаиками разных поколений, каждый из них занимает собственную общественно-эстетическую позицию: Альберто Моравиа, Васко Пратолини, Джорджо Бассани, Карло Кассола, Пьер-Паоло Пазолини, Паоло Вольпони, Оттьеро Оттьери, Роберто Роверси и Итало Кальвино.

Уже один перечень этих имен показывает, сколь широк и разнообразен диапазон затронутых в критических собеседованиях тем. Фердинандо Камон сумел вызвать своих собеседников на серьезный и откровенный разговор об их поэтике, об их литературном и идейном кредо, об отношении к важным проблемам общества. Из авторского предисловия к сборнику, где Камон мотивирует выбор собеседников, становится ясным, что выбор этот не был случаен: Камону хотелось нащупать какие-то узловые моменты литературного процесса, определить — без малейшей предвзятости — некоторые направления в современной итальянской прозе.

Все беседы датированы: конец шестидесятых, начало семидесятых годов; в некоторых случаях даются интервью «с продолжениями». Камон дает зарисовки своих собеседников: внешность, манеру говорить, обстановку комнаты, атмосферу. Это создает фон, помогающий глубже понять тексты и самое течение разговоров, причем применяется прием стенограммы и приводится

прямая речь каждого из писателей.

Они рассказывают о своем интеллектуальном и нравственном формировании, называют имена духовных учителей, у некоторых это звучит как исповедь. Беседуя с писателями старшего поколения — Моравиа и Пратолини, Камон уточняет важные факты биографического характера, узнает немало интересных подробностей из их жизни. Но главное значение критических собеседований связано не с историей литературы, а с размышлениями писателей о современной итальянской действительности, о месте художественной интеллигенции в антикапиталистической борьбе, об их отношении к так называемой индустриальной реальности.

Фердинандо Камон — убежденный демократ, все писатели, с которыми он беседовал, также демократы и антифашисты, и их объединяет неприятие капитализма с его «системой ценностей».

Чрезвычайно интересны беседы с Вольпони и Оттьери — писателями, много лет проработавшими непосредственно в промышленности (в фирме Оливетти) и обладающими громадным личным опытом общения с рабочими. В беседах с Камоном Вольпони и Оттьеро Оттьери подробно и откровенно излагали свои точки зрения на роль рабочих, технической интеллигенции, завода как некоего единого целого в современном мире.

Книга Камона — серьезный вклад в дебаты, почти не сходящие со страниц итальянской печати, об участи человека в «неокапиталистическом» обществе, о задачах художественной интеллигенции.

КНР

АНТИСОВЕТСКИЙ РОМАН «НА МАРШЕ»

Газета «Гуанмин жибао» опубликовала рецензию Лун Вэйпиня «Гимн молодости социалистической эпохи» о романе «На марше», изданном в Шанхае. Автор романа — Го Сянь-хун. Роман активно рекламируется журналом «Чайниз литерачер» (№ 11, 1973). Сюжет его сводится к истории группы шанхайских выпускников школ, которые в 1969 году по призыву председателя Мао едут на поселение в сельский пограничный район.

В центре романа образ Чжун Вэй-хуа, хунвэйбиновского вожака, «закаленного в кипящих волнах хунвэйбиновского движения». На далеком севере Чжун Вэй-хуа совершает новые подвиги: на сорокаградусном морозе роет мерзлую землю для военных сооружений, поднимает целину на пограничных пустынных островах, ловит «шпиона социал-империализма».

В романе выведен и «притаившийся классовый враг», некий Чжан Шань, который пытается учить хунвэйбинов курить табак, пить водку и читать «низкопробные романы». Рецензент всячески превозносит главного героя Чжун Вэй-хуа за его «практический дух» и называет его «практиком, твердо стоящим на земле», который беспощадно, с помощью парторга Ли Дэ-цзяна, борется с неправильным уклоном, появившимся в среде хунвэйбинов, представители которого утверждали, что «в деревне учиться нечему». Герой романа испытывает к советским людям «классовый гнев» и «национальную ненависть».

Журнал «Чайниз литерачер» делает такой общий вывод о романе: «Он показывает, как образованная молодежь в Китае, закалившись во время великой пролетарской культурной революции, идет вперед по революционному пути».

КУБА

РЫЦАРЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ

«Книгой, которая стала олицетворением и конкретным выражением деятельности первого значительного издательства в истории Кубы», по словам Роландо Родригеса Гарсиа, генерального директора Кубинского института книги, явился роман М. Сервантеса «Дон Кихот». Это произведение было издано на Острове Свободы самым первым вскоре после победы кубинской революции.

Но только через десять с лишним лет, в 1973 году, среди сотен художников — иллюстраторов романа, уже создавших вторую многоликую жизнь «Дон Кихота» в странах разных континентов, появилось впервые имя кубинца — Хуана Морейры. Новое издание произведения

Иллюстрация Хуана Морейры к «Дон Кихоту».

(Журнал «Бохемия»)

в его оформлении осуществлено Кубинским институтом книги.

На фоне пышных деревьев — знакомые фигуры: Дон Кихот в рыцарских доспехах и его верный оруженосец Санчо Панса. Необычное для Ламанчи изобилие зелени, причудливые переплетения древесных ветвей, огромных размеров попугай, Дон Кихот, вдруг предстающий в виде босоногого странника,— все эти приметы тропической экзотики образуют в иллюстрациях Х. Морейры как бы второй план, придавая им особый смысл. И вместе с тем художник не лишает Дон Кихота привычных сервантесовских черт. Он — глубоко страдающий человек. Рыцарь в самом высоком смысле этого слова. Мечтатель, жаждущий восстановить попранную справедливость немедленно... Таким — в странствиях, в раздумьях и поисках путей к справедливости — предстает Дон Кихот в изображении первого кубинского иллюстратора романа.

В интервью журналу «Боэмия» Х. Морейра подчеркнул неслучайное появление в своих иллюстрациях «образов-символов» тропического мира, хотя, как отметил он, это противоречит географическому пейзажу родины героя — Ламанчи, с ее на редкость скудной и однообразной растительностью.

Иллюстрации молодого гаванского художника еще раз напоминают о пророческих словах Сервантеса в последней главе романа. Словах, породивших впоследствии, как это отмечалось исследователями произведения, многочисленные легенды о его герое: «...месторождение его Сид Ахмет точно не указал, дабы все города и селения Ламанчи оспаривали друг у друга право усыновить Дон Кихота и почитать его за своего уроженца, подобно тому как семь греческих городов спорили из-за Гомера».

Но только ли в Ламанче сегодня оспаривают честь и право «усыновить» Дон Кихота, давно ставшего фигурой легендарной? Ответ — в иллюстрациях Хуана Морейры: ведь они — своеобразное продолжение народных легенд о Дон Кихоте на латиноамериканском континенте...

МАВРИКИЙ

ШТРИХ К ПОДЛИННОЙ ИСТОРИИ ОСТРОВА

В Париже в издательстве «Мэйзоннёв» вышла книга К. Хазарисингха «История индийцев на острове Маврикий». Она рассказывает о том, как попали на остров выходцы из Индии, какую роль индийская община играла в жизни Маврикия раньше, в колониальную эпоху, и теперь, после установления независимости.

Много внимания Хазарисингх уделяет влиянию культурных традиций Индии на формирование маврикийской нации, которая складывалась на перекрестке трех цивилизаций: африканской, азиатской и европейской.

В работах западных авторов, отмечается в рецензии журнала «Жён Африк» на книгу Хазарисингха, появление на острове Маврикий индийцев слишком часто объясняют голодом и нищетой в Индии XIX века. Хазарисингх на основании источников доказывает, что переселение было насильственным. Начали его французы, которые после захвата Маврикия в 1715 году стали ввозить на него жителей из своего владения на Индостанском полуострове Пондишери, а продолжили англичане, сменившие французских колонизаторов на Маврикии. Восстановление исторической правды является, по мнению рецензента, одним из главных достоинств книги «История индийцев на острове Маврикий».

НОРВЕГИЯ

«НЕСЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ТРАГЕДИЯ»

Когда в конце 1972 года издательство «Ашехоуг и К°» выпустило книгу Дагфинна Грёносета «Анна в пустынном крае», ни издатели, ни сам автор не предполагали, что простой документальный рассказ о жизни восьмидесятилетней норвежской крестьянки станет не только бестселлером в стране (150 тысяч — неслыханный для Норвегии тираж), но и будет переведен на немецкий и шведский языки. А недавно «Анна в пустынном крае» вышла в датском издательстве «Линдхарт и Рингхоф» с послесловием западногерманского писателя Зигфрида Ленца. Рецензия на книгу, опубликованная в газете «Ланд ог фольк», озаглавлена «Несентиментальная трагедия». Книга начинается фразой, эпическая простота которой подчеркивает трагизм заложенного в ней содержания: «Меня продали хозяевам Хаугсетволдена. Муж получил триста крон за меня...»

Анне было три года, когда ее впервые отдали «в люди»: в многодетной семье бедняка ее рот был лишним. Все свое детство Анна провела в чужих домах. Один ей особенно запомнился: «Как-то раз, когда на обед нам дали жидкую похлебку — ржаная мука, вода и соль,— я пролила несколько капель на пол. Хозяин так рассвирепел, что показался мне дьяволом. Он заставил меня подлизать капли с пола. Я легла на пол и, как кошка, вылизала все, что пролила. До сих пор чувствую на языке грубые, шершавые доски».

В восемь лет «детство» кончилось, начался тяжелый батрацкий труд, но Анна ухитрялась все-таки учиться в школе, а когда стала девушкой — то даже ходить на танцы. Здесь она и встретила своего будущего мужа, который оказался гулякой и пропойцей и в конце концов продал жену. Здесь в одном из «медвежьих углов», каких и по сей день немало в Норвегии,— Анна прожила почти полвека и теперь, похоронив по очереди всех членов хозяйской семьи, осталась в полном одиночестве. Об этой трудной жизни, полной драматических событий, о голоде и нужде, о челове-

ческой солидарности, не только необходимой людям, но и облагораживающей их душу, рассказано в книге, как отмечает «Ланд ог фольк», без малейшего налета сентиментальности, спокойно и с большим достоинством. (Повествование ведется от первого лица, то есть от лица самой Анны, и лишь изредка Дагфинн Грёносет дает дополнительную информацию и свои комментарии.) Рецензент сравнивает книгу с «Соками земли» Кнута Гамсуна: «...та же жизнестойкость, то же упорство в стремлении к чему-то большому, несмотря на самые неблагоприятные для этого условия».

ПАКИСТАН

ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ

В Карачи вышел специальный номер журнала «Афкар», посвященный памяти индийского писателя, основателя и руководителя Ассоциации прогрессивных писателей Индии, активного участника афро-азиатского движения писателей — Саджада Захира.

В номер включены небольшие статьи о жизни и творчестве писателя, воспоминания о встречах с ним, шесть посвященных его памяти стихотворений, в том числе и стихотворение Фаиза Ахмада Фаиза «Прощальный кубок», отрывки из сочинений писателя и восемь его писем.

Привлекают внимание статьи «Личность Саджада Захира» индийского литературоведа Эоэ Ансари, критический разбор сборника стихотворений Саджада Захира «Расплавленный сапфир», сделанный молодым пакистанским поэтом Сехаром Ансари.

ПОЛЬША

РАБОЧИЙ КЛАСС В ПРОЗЕ ТРИДЦАТИЛЕТИЯ

Так назвал свою статью, опубликованную в еженедельнике «Жице литерацке», Витольд Навроцкий. В ней дается анализ развития польской рабочей темы в польской литературе на разных этапах ее развития.

Общественные изменения после войны в Польше привели к тому, что на сцену вышел новый герой — рабочий класс.

«Возникли все условия,— пишет Навроцкий,— чтобы героизация подвига на производстве приобрела новые формы, прежде неизвестные польскому художественному творчеству, а также, чтобы труд рабочего стал одной из доминирующих и важных тем современности». Далее Навроцкий говорит о том, что работа, которая раньше рассматривалась как источник существования, при новых производственных отношениях «помимо категории экономической приобрела категорию моральную». Общность цели, стоящей перед рабочим классом, ответственность за судьбу страны, разоренную войной, стремление к коренным переменам в общественной и политической жизни — все это объединяло, сплачивало морально и имело огромное воспитательное значение для масс.

Все происходящее не сразу нашло отражение в литературе. Для осознания нового в польской действительности, его изучения и художественного освоения требовалось известное время — новая тема требовала иного писательского подхода, серьезных перемен в мегоде и мировоззрении, что было трудным и сложным процессом. «В условиях революционных преобразований всего общества в стране отсталой, где было необходимо безотлагательное переустройство общественной и экономической структуры, а также коренные перемены в области культурно-воспитательной, не было места

Ежи Стефан Ставинский поставил фильм «Час «пик», в основу которого легла его книга под тем же названием («ИЛ» № 4, 1968).
Фильм вызвал большую дискуссию в прессе. Один из ведущих кинокритиков Александр Яцкевич в большой статье, посвященной Ставинскому как сценаристу и как режиссеру, в «Жице Варшавы» говорит: «Творчество Ставинского относится к лучшим образцам массовой культуры, которой еще в Польше нет».
Кадр из фильма «Час «пик».

(Газета «Жице Варшавы»)

для искусства экспериментаторского, в этот момент нужна была литература не о рабочем будущего, а такая, которая бы учитывала насущные потребности реального рабочего и могла им легко восприниматься».

Далее Навроцкий прослеживает различные этапы развития рабочей темы в польской литературе. Среди «первооткрывателей» этой темы Навроцкий называет Густава Морцинека, Евгениуша Паукшту, Александра Яцкевича, Яна Вильчека, Ежи Пытляковского, Станислава Ковалевского.

Особое место Навроцкий отводит книге Леона Кручковского «Очерки из ада честных», в которой он говорит о трудных политических ситуациях пятидесятых годов и о вере в историю и партию, вопреки демагогии и истерии, которые зачастую сопутствуют великим политическим потрясениям.

Изображая перемены в польской действительности, писатели прежде всего стремились показать новое в человеческом сознании и в отношениях между людьми, становление морали социалистического общества, обусловленность человеческих судеб теми социальными причинами, которые определяют ход истории.

В числе наиболее интересных авторов, работающих над темой рабочего класса сегодня, Навроцкий называет Самселя, Вавжака, Миколайка, Конюша, Кавальца, Дымного, Вантулу. Навроцкий в заключение пишет: «Литература, которая не хочет быть только социологическим документом, копией действительности, должна изучать все те изменения, которые происходят в жизни рабочего класса, самым активным и действенным способом, наиболее полно и смело отображать роль рабочего класса в неустанном преобразовании нашего мира, в создании им собственных культурных ценностей, на основе которых складываются новые нравственные, интеллектуальные и политические нормы, которые способствуют становлению активного самосознания рабочего класса».

РУМЫНИЯ

НОВЫЙ КАНДИД

Главный герой новой комедии П. Эверака «Жизнь — поездка в вагоне?» Тодор Ференциу, рабочий вагоностроительного завода.

«Тодор Ференциу,— отмечает М. Бэрбуцэ в еженедельнике «Контемпоранул»,— это своего рода Кандид нашего времени, он

Кадр из фильма «Жизнь — поездка в вагоне?».

(Еженедельник «Контемпоранул»)

смотрит на мир ясными глазами и из каждого приключения выносит соответствующий опыт. Но это не вольтеровский Кандид, убежденный Панглосом, что «все к лучшему в этом лучшем из миров», и на собственном опыте познающий всю лживость теории Лейбница, а трезво мыслящий Кандид, уверенный, что хозяином этого мира является человек труда, и потому исполненный решимости бороться с теми, кто мешает ему пользоваться плодами своего труда».

Как выясняется по ходу действия, таких враждебных труженику сил в социалистической Румынии еще немало: это самозванцы, лгуны, демагоги, дельцы разного масштаба, тунеядцы, карьеристы, бюрократы, догматики и т. д. В столкновении с ними главный герой комедии П. Эверака проявляет недюжинный ум, подлинно народную смекалистость, неиссякаемый оптимизм, хотя ситуации, в которые он попадает, носят порой глубоко драматический характер. «Но именно эта постоянная жизнерадостность,— заключает М. Бэрбуцэ,— это чувство юмора являются признаком его силы, способности не только преодолеть сегодняшние неурядицы, но и прозревать будущее, видеть его в оптимистическом свете нынешнего развития и в конечном счете внести свой вклад в это развитие».

ПРЕМИИ АКАДЕМИИ НАУК

На состоявшейся недавно чрезвычайной сессии общего собрания Академии наук СРР новыми членами секции филологических наук, литературы и искусства избраны критик Ш. Чокулеску, поэт Э. Жебеляну, прозаик Иштван Надь. Членами-корреспондентами стали прозаики М. Преда, Э. Барбу, Т. Попович, поэты В. Теодореску, Йожеф Мелиус, драматург М. Георгиу, литературовед З. Думитреску-Бушуленга.

Как отмечает «Лучафэрул», «на последнем заседании Академия вписала в свою почетную книгу большую группу деятелей науки и культуры, которым присуждены премии за четыре года (1969—1972). Среди лауреатов имена известных поэтов — А. Бландианы, Эм. Ботты, И. Карайона, И. Георге, М. Иванеску, прозаиков Э. Барбу, Л. Фулги, Ал. Ивасюка, Йожефа Мелиуса, драматургов П. Ангела, И. Бэешу, М. Георгиу, Х. Ловинеску, Д. Р. Попеску, историков литературы и критиков Н. Балотэ, И. Д. Бэлан, М. Кэлинеску, П. Корни, Дж. Иванку.

В их произведениях нашло отражение все многообразие нашей сегодняшней жизни, наш упорный труд во имя утверждения новых гуманистических ценностей».

США

ИНТЕРВЬЮ С МАЛЬКОЛЬМОМ КАУЛИ

Американский литературовед Малькольм Каули, известный советскому читателю по работе «Дом с многими окнами», выпустил монографию «Второе цветение: дни и книги «потерянного поколения» (издательство «Вайкинг»). Как видно уже из названия книги, Малькольм Каули обращается к проблеме, занимавшей его на протяжении всего творческого пути,— к произведениям писателей «потерянного поколения». Американские критики называют Малькольма Каули первооткрывателем Скотта Фицджеральда, Э. Хемингуэя, Дос Пассоса, Каммингса, Уайлдера, Фолкнера, Т. Вулфа, Харта Крейна.

В интервью, которое Малькольм Каули дал еженедельнику «Паблишерз уикли» по поводу выхода своей книги, критик вспоминает о холодном приеме, который маститые литературоведы оказали его первому труду — книге «Изгнанники возвращаются», где он высказал мысль о значимости молодых писателей, вошедших в литературу после первой мировой войны. «Меня тогда упрекали, — говорит М. Каули,— что я занимаюсь писателями, которые никогда не создадут ничего значительного. Хемингуэй и его друзья очень скоро исчезнут с литературного горизонта, наперебой возражали мне тогдашние литературоведы. Ни один критик старше 35 лет не отозвался хорошо о моей книге. Однако потом эта же самая книга была переиздана в 1951 г. и ее встретили, как говорится, громом аплодисментов. Сейчас она издается в тридцатый раз».

В интервью Малькольм Каули объясняет, почему его симпатии отданы эпохе 20-х годов. «Я должен признаться,— говорит он,— что мне свойственна слабость, часто приписываемая писателям того поколения, в особенности Дж. Дос Пассосу и Э. Хемингуэю,— жить прошлым. Но у нас тогда было такое прекрасное время. Хотя мы все считали себя мудрыми, разочарованными, циничными, на самом деле мы были детьми с широко открытыми глазами, детьми со свойственной детям способностью удивляться и восхищаться. Другое поколение — смеялось ли оно так, как могли смеяться мы, совершило ли оно столько безумств, сколько совершили мы?»

Отмечая важность работ Малькольма Каули для развития американской литературы XX века, рецензент американского еженедельника «Паблишерз уикли» говорит, что издание Уильяма Фолкнера в серии издательства «Вайкинг», за которое в свое время так ратовал М. Каули, «было великим поворотным моментом в репутации Фолкнера в Соединенных Штатах».

Малькольм Каули весьма критически оценивает состояние современной американской литературы: «Современная литература США в немалой степени фантастична и двусмысленна из-за засилия в ней всевозможных научно-фантастических, сексуально-психологических романов». Но критик выражает надежду, что «сама жизнь покажет американским писателям необходимость создавать не романы-репортажи в духе Нормана

Мейлера, а традиционные романы-панорамы о жизни Америки в целом. Современные писатели, продолжает М. Каули, часто забывают о публике. Они как бы упускают из виду, что люди и по сей день читают романы, чтобы лучше понимать окружающую их жизнь. Однако трудно найти ответ на этот вопрос в романе, который является голым вымыслом или полнейшей бессмыслицей. Людям важно понять законы человеческого существования, познать меру добра и зла в жизни».

Отвечая на вопрос о своих дальнейших творческих планах, М. Каули говорит, что в настоящее время работает над новой книгой — воспоминаниями о 30-х годах. Немало времени он уделяет начинающим авторам, поскольку считает подобную работу неотъемлемой частью труда критика. «Мой совет начинающим литературоведам таков: ваши суждения должны быть субъективны, но в них обязательно должна содержаться и объективная информация. Тогда они будут убедительными».

ТУНИС

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА

В Тунисе вышел специальный номер журнала «Аль-Фикр», посвященный литературе палестинского Сопротивления.

В номере широко представлены стихи и рассказы палестинских поэтов и писателей — участников движения Сопротивления, а также произведения тунисских авторов, посвященные борьбе арабов Палестины.

ТУРЦИЯ

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ

На снимке, который перепечатывается из тунисского журнала «Жён Африк», кадр из фильма прогрессивного турецкого кинорежиссера Йылмаза Гюнея «Надежда». Недавно, благодаря тому что один кинопрокатчик решился поставить в программу этот совершенно «некассовый» фильм, с ним познакомилась французская общественность.

Кадр из фильма «Надежда».

(Журнал «Жён Африк»)

Как сообщает журнал, Йылмаз Гюней был арестован в марте 1972 года за то, что «давал убежище анархистам». Йылмаз Гюней, родившийся на юге Турции, был в свое время одним из самых популярных киноактеров страны, специалистом по ролям «бандитов». Затем он отказался от подобной популярности, стал режиссером и начал снимать фильмы, посвященные жизни простого народа. Многие из его работ были запрещены в Турции и так и не дошли до зрителя.

Фильм «Надежда» рассказывает историю извозчика, лошадь которого попадает под машину. После того как владелец конюшни решает продать старый фиакр, герой фильма, недавний крестьянин, оказавшись на улице, без крова, без денег, без друзей, сталкивается в своих скитаниях по городу со стариком шарлатаном, который предсказывает, что крестьянину суждено найти клад. Тот, будучи в полной растерянности, верит, отправляется вместе со стариком в пустыню и после нескольких дней напрасных поисков сходит с ума.

Обозреватель «Жён Африк» называет «Надежду» одним из лучших фильмов «третьего мира».

«КАКОЙ ЗАПАД?»

Важной проблемой, занимающей общественную мысль Турции, стала в последние годы так называемая «европеизация» страны. Провозглашенная еще при султанах сто пятьдесят лет назад и получившая новый стимул после основания республики политика «европеизации», по мнению многих деятелей культуры и писателей, не только не ликвидировала, как ожидалось, отсталости Турции, но превратилась со временем в одну из форм неоколониализма, и прежде всего в области культуры.

Крупнейший романист Турции недавно скончавшийся Кемаль Тахир возглавлял группу литераторов, утверждавших, что именно европеизации Турция обязана тем, что до последнего времени большинство образованных людей смотрели на свою страну чужими глазами, прилагали к ее истории критерии, выработанные на основе анализа иных общественных формаций, и потому были не в состоянии осмыслить происходящее. Исторические романы, в ко-

торых писатель выразил свой взгляд на развитие турецкой общественной мысли, вызвали широкую дискуссию, не прекращающуюся до последних дней. Передовая критика, выразив понимание позиции, занятой К. Тахиром и его единомышленниками, в то же время отметила и ее односторонность, поскольку все, что шло с Запада, безоговорочно отбрасывалось. В этой связи, по отзывам турецкой печати, серьезный интерес представляет недавно вышедшая книга известного поэта Атилы Ильхана, которую автор назвал «Какой Запад?». В первой части книги А. Ильхан собрал основные высказывания на тему «европеизации» основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, чьи реформы в области культуры и государственности наложили огромный отпечаток на облик нынешней Турции. А затем, основываясь на своем собственном жизненном опыте, показал, как провозглашенные Ататюрком принципы осуществлялись на деле после его смерти. В школах и университетах молодежи внушалось, что между европеизацией и современностью стоит знак равенства, воспитывалось презрение к национальной истории и культуре. Так турецкая буржуазия пыталась внушить молодежи свой собственный комплекс неполноценности. Но когда молодежь, познакомившись с выработанными на том же Западе научными взглядами на развитие общества, пыталась применить их к турецкой действительности, дело принимало иной оборот. И это А. Ильхан знает тоже по своему личному опыту. Он принадлежит к поколению, которое вошло в литературу после второй мировой войны и в значительной своей части придерживалось убеждения в общественном назначении искусства. «На эти поколения,— пишет рецензент журнала «Еди тепе»,— были сразу же обрушены террор, полицейские и судебные преследования». Оказалось, что «европеизация свелась лишь к тому, чтобы сделать Турцию похожей на капиталистические страны Запада»,— таков один из важнейших выводов А. Ильхана.

В том, что Запад не представляет собой нечто единое, А. Ильхан убедился не только из книг, но и в результате неоднократного и не всегда добровольного пребывания на Западе. По его мнению, нынешним поколениям молодежи предстоит сделать выбор между двумя Западами — революционным и капиталистическим. Турция, нуждается не в поверхностной и обманчивой «европеизации», а в коренных социальных преобразованиях, и прежде всего в индустриализации страны, в синтезе научно-технических достижений Запада и национальной культуры. Таков второй важнейший вывод автора.

В книге «Какой Запад?» А. Ильхан не дает ответа на вопрос, как достичь желаемого. Тем не менее книга поэта, «книга памяти и боли», по мнению турецких критиков,— новый шаг вперед в осознании путей национального развития.

ФИНЛЯНДИЯ

ПРЕМИЯ СЕВЕРНОГО СОВЕТА — ДАТСКОМУ ПИСАТЕЛЮ

Учрежденная в 1962 году литературная премия стран Северной Европы присуждается ежегодно комитетом, в который входят представители Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии.

В этом году на рассмотрение жюри, заседавшего в Хельсинки, было представлено в последнем отборе три кандидатуры: швед Свен Дельбланк, финский писатель Альпо Руутх и датчанин Вилли Сёренсен. При окончательном голосовании остались А. Руутх и В. Сёренсен, получившие равное количество голосов. В результате жеребьевки премия досталась Сёренсену. Некоторые газеты, в частности «Хювюдстадсбладет», считают жеребьевку не самым лучшим решением: в аналогичной ситуации 1965 года премию разделили пополам. Шведская газета

С большим успехом идет на сцене хельсинкского театра пьеса финского драматурга Леены Хярмя «Возьмите и пепел из печки». На снимке: Ирво Ярвинен и Эйла Пехконен в главных ролях.

(Журнал «Мишми»)

«Дагенс нюхетер» отмечает, что второй год подряд финские писатели оказываются в числе лучших — в 1973 году премия была присуждена Вейо Мери, а в этом году все шансы получить ее имел до последнего момента Альпо Руутх — его роман «Капрал Юлин» критики и члены комитета называют «очень сильным произведением».

О лауреате премии Вилли Сёренсене газеты сообщают, что ему 44 года, что он философ и психолог (учился в Копенгагенском и Фрейбургском университетах). Дебютировал в литературе в 1953 году сборником новелл, написанных в духе андерсеновских сказок для взрослых. Два следующих сборника — «Безобидные истории» (1955) и «Рассказы опекуна» (1964) — проникнуты глубокой иронией и резкой критикой общества. Он часто пользуется гротеском. «Чтобы показать вещи в их истинном свете, он иногда ставит их с ног на голову»,— пишет шведская газета «Дагенс нюхетер». Однако премию Вилли Сёренсен получил не за художественное творчество, а за сборник философско-критических эссе 1973 года «Без цели — и с целью». (Ранее он опубликовал работы о Ницше, Шопенгауэре, Кьеркегоре.) В решении комитета говорится, что, «применив диалектический подход к осмыслению различных идей и явлений современной жизни», он показал общность проблем искусства, науки, нравственности и изложил все это на высоком художественном и интеллектуальном уровне.

ФРАНЦИЯ

ОТКРЫТИЕ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ ПАБЛО НЕРУДЫ

В городе Корбей-Эсьонн по решению муниципального совета, возглавляемого мэром-коммунистом Роже Конбриммоном, создан Культурный центр, посвященный Пабло Неруде. Это один из самых крупных культурных центров Парижского района.

На его открытии перед многочисленной аудиторией, состоявшей из представителей французской, испанской и чилийской творческой интеллигенции, выступил член Политбюро и секретарь ЦК ФКП Ролан Леруа. Он рассказал о жизненном пути и творчестве Пабло Неруды.

«Всю свою жизнь он был поэтом и борцом,— сказал Ролан Леруа,— и остался им до последнего вздоха... Для него не существовало отчаяния, ибо он никогда не терял из виду великого хода истории. Пабло Неруда является примером художника-коммуниста, творившего для своего народа и для всех народов».

Напомнив о поэме Пабло Неруды «Прибытие в порт Пикассо», посвященной Пикассо, Ролан Леруа утверждал, что и сегодня оба художника своими произведениями продолжают обвинять фашистское варварство и несут людям надежду.

Затем был показан спектакль «Когда поет народ», созданный Раулем Сангла и Мишелем Винтером на основе произведений Пабло Неруды и других поэтов: Рафаэля Альберти, Арагона, Мигеля Анхеля Астуриаса, Жана Марсенака, Виктора Хары, Шарля Добжинского. В нем хореография сочетается с исполнением песен и стихов.

В спектакле изображены также похороны Пабло Неруды, на которых друзья, товарищи и почитатели умершего поэта поют «Интернационал» под ружейными дулами окружающих их солдат хунты.

Режиссер Поль Себан, поставивший несколько фильмов, в том числе «Шинель» по Гоголю, осуществил телевизионную постановку повести Э. Триоле «Авиньонские любовники». Повесть была написана в 1943 г. в память о погибших коммунистах Лоране и Даниэль Казанова и издана подпольным издательством под названием «Лоран, Даниэль».

Критика высоко оценивает художественные достоинства этого фильма, в котором режиссеру удалось правдиво отобразить жизнь оккупированной Франции, показать героев Сопротивления в конкретной исторической обстановке.

На снимке: Николь Жаме и Анри Серр в главных ролях.

(Газета «Юманите»)

ПЕРЕПИСКА ШАРЛЯ БОДЛЕРА

«О Бодлере уже столько написано, что вряд ли можно еще что-нибудь добавить»,— писал Люк Декон в своем предисловии к сборнику поэта, изданному во Франции в 1960 году. Однако интерес к творчеству Шарля Бодлера и его личности с годами не угасает — стихи поэта постоянно переиздаются, выходят все новые критические работы, посвященные его творчеству. Бодлер-поэт, Бодлер-критик, Бодлер — переводчик и эстетик — каждая из граней его разностороннего таланта по-прежнему привлекает к себе исследователей.

Большой интерес для литературоведов и многочисленных читателей представляет собой двухтомная переписка Бодлера, вышедшая в издательстве Галлимара под редакцией Клода Пишуа. Существенным дополнением к этому изданию служат «Письма Бодлеру», подготовленные к публикации.

Французские газеты и журналы уделяют большое внимание этим документам, подчеркивая их непреходящую ценность и богатство содержащихся в них сведений о жизни и личности поэта. В предыдущих неполных изданиях писем Ш. Бодлера зачастую нарушалась хронология, недостаточно бережным было и обращение с текстами самих писем поэта. Рецензенты нового полного издания писем отмечают заслугу Клода Пишуа, который собрал, систематизировал и снабдил комментариями этот материал.

Обширная переписка Бодлера — своего рода зеркало, в котором отразилась его эпоха, окружающие его люди, личность самого поэта, его взгляды, пристрастия и то трагическое положение, на которое был обречен поэт в буржуазном обществе.

ШВЕЙЦАРИЯ

ПРЕМЬЕРА ПЬЕСЫ ДИГГЕЛЬМАНА

В Бернском городском театре состоялась премьера первой большой пьесы Вальтера Дигтельмана «Сделать людей счастливыми, или Игра бедности и богатства», жанр которой определен автором как «тривиальная детективная комедия». Рецензент газеты «Нойе цюрхер цайтунг» отмечает, что Диггельман, в соответствии со своими принципами, подвергает резкой и нелицеприятной критике «либерально-капиталистическую общественную теорию», называя ее «теорией элитарной», то есть антигуманной.

В основу комедии положен сказочный мотив о женитьбе бедняка на принцессе. В роли принцессы выступает богатая совладелица концерна графиня Элеонора, расправившаяся с помощью своих жестоких телохранителей с пятью мужьями. Конфликт начинается с того, что Элеонора отказывается продолжать выгодную для концерна игру и выйти замуж за богатого барона Вольфеншиссена, так как ей понравился молодой Питт — «простой рабочий с прекрасным телом и доброй душой». Став мужем графини, Питт сразу же приступает к переустройству общества, устраняя социальную несправедливость, но представители господствующих классов жестоко расправляются с ним.

По общему признанию прессы, премьера прошла успешно. Рецензенты отмечают удачную постановку В. Б. Фишера и игру актеров, сумевших донести до зрителя страстность и бескомпромиссность общественной позиции Диггельмана.

ШВЕЦИЯ

ТЕОДОР КАЛЛИФАТИДЕС — ШВЕДСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Десять лет тому назад двадцатишестилетний греческий эмигрант Теодор Каллифатидес мыл посуду в стокгольмском ресторане. Сегодня он, пишет «Дагенс нюхетер»,— заметная фигура на шведском литературном Парнасе. Критик Улуф Лагеркранц считает, что шведская литература получила нового самобытного писателя. Десять лет тому назад Каллифатидес не знал ни слова по-шведски, и теперь, когда его спрашивают, как он сумел так блестяще овладеть чужим языком, он отвечает, что учился у шведских классиков и у лучших современных писателей. Чтобы иметь возможность слушать лекции в университете, он перешел на ночную работу — служил портье в гостинице, разносчиком газет, сортировщиком писем. Получив диплом, стал преподавать в школе. Уже в 1969 году, то есть через пять лет после приезда в Швецию, Каллифатидес выпустил первую книгу — сборник стихов «Память в изгнании». Следующей была книга об иностранных рабочих в Швеции, потом снова стихи — сборник под названием «Время тоже виновато», и вот теперь роман «Крестьяне и господа», о котором пишет сейчас шведская печать.

Действие романа происходит в родных местах Каллифатидеса, недалеко от Спарты, в годы фашистской оккупации. Читатель встречается с жителями села Ялос в момент, когда их собрали для встречи немецкой армии на главной площади под огромным старым каштаном, на котором потом будут вешать партизан. В этой первой сцене, пишет рецензент газеты «Ню даг», уже просматривается схема социального расслоения в деревне, постепенно она обрастает деталями и подробностями, вырисовываются образы и характеры, и, наконец, в действиях, в поведении вскрывается подлинная сущность каждого человека. «Главные герои романа,— продолжает критик, — показаны как бы в нескольких измерениях: так, например, учителя села (прообразом которого послужил отец писателя) мы видим через восприятие школьников и бургомистра, гитлеровцев и партизан».

Разные чувства испытывают жители Ялоса в своем новом положении: здесь и стыд, и страх, и религиозная покорность, но и ненависть к нацистам, и воля к

Постановка пьесы М. Горького «Враги», осуществленная в стокгольмском театре «Драматен» режиссером Альфом Шёбергом, стала одним из примечательных событий сезона. Альф Шёберг — ярый противник левацких идей голого «пропагандистского театра» — решил показать силу отвергаемого леваками искусства и показать это на остро политическом материале. Как пишет обозреватель газеты «Хювюдстадсбладет», режиссер использовал все возможности театра, чтобы раскрыть перед зрителем богатое содержание пьесы, многомерность и многозначность горьковских образов, несущих ярко выраженную идейную нагрузку. Успеху спектакля, по мнению критика, немало способствуют и актеры, играющие во всю силу таланта.
На снимке: сцена из спектакля «Враги» в стокгольмском театре «Драматен». Гуннел Линдблом в роли Татьяны и Ян Бломберг в роли Николая Скроботова.

(Газета «Хювюдстадсбладет»)

борьбе за освобождение. Автор прослеживает зависимость этих чувств и поведения от места человека в социальной пирамиде села. Однако, отмечает рецензент, переход от социального анализа к психологическому сделан настолько тонко, что читатель не замечает границы: художественное мастерство Каллифатидеса достигает здесь высшей точки.

О высоких художественных достоинствах романа пишут все рецензенты. Критик газеты «Хювюдстадсбладет» (выходящей на шведском языке в Финляндии) считает, что своим романом Каллифатидес напомнил некоторым молодым писателям о традициях шведской литературы — говорить не только об условиях человеческого существования, но и о самом человеке, о его внутренней природе, душевных потребностях и порывах, о главных человеческих ценностях.

◆

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ВОССТАНИЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

30-летие Словацкого национального восстания, которое началось в августе 1944 года и имело огромное значение в освобождении Чехословакии от немецких оккупантов и установлении народной власти, готовятся отметить вместе со всем народом и деятели искусств.

На экраны вышел новый художественный фильм братиславской киностудии «Долина» в постановке известного режиссера Штефана Угера, который не впервые обращается к теме восстания. Начальные кадры сразу же вводят зрителя в боевую атмосферу партизанской борьбы. Создатели картины показывают причины, побудившие главного героя фильма студента-медика Душана бросить учебу и взять в руки оружие.

Недавно на Пражском кинофестивале трудящихся состоялась премьера фильма «Жаркая зима», созданного режиссером Карелом Кахиней на студии «Баррандов». Это не эпопея о Словацком национальном восстании, а, как говорит режиссер, маленький штрих, отображающий трудности борьбы, рождение боевой дружбы чехов и словаков.

Знаменательной дате посвящаются и многие театральные постановки. Словацкий национальный театр в Братиславе и Театр Словацкого национального восстания в Мартине покажут пьесы Ивана Буковчана «Снег над кедром» и «Меридиан» Яна Соловича. Государственный театр в городе Кошице готовит спектакль по пьесе Б. Трапла «По тебе не будет звонить колокол». Ряд театров принял к постановке пьесу Я. Какоша «Дом для младшего сына». Новые спектакли о героическом восстании покажут и другие театры. А осенью Банска-Бистрица станет центром фестиваля, на котором будут представлены спектакли, посвященные Словацкому национальному восстанию.

Авторы этого номера

МАКС ФОН ДЕР ГРЮН — MAX VON DER GRÜN (род. в 1926 г.).

Западногерманский писатель, один из основателей дортмундской «Группы-61» — литературного объединения прозаиков и поэтов, творчество которых посвящено жизни и труду рабочих, их взаимоотношениям с предпринимателями, борьбе против эксплуатации.

Сам в прошлом рабочий-шахтер, более десяти лет проработавший в шахтах Рура, Макс фон дер Грюн опубликовал свой первый роман «Люди двойной ночи» («Männer in zweifacher Nacht») в 1962 году. Вторая книга писателя — роман «Светляки и пламя», принесший ему известность, был переведен на 14 языков и экранизирован (в ГДР). Русский перевод этого романа печатался в «Иностранной литературе» (№№ 3, 4 за 1967 г.). Третий роман — «Два письма Поспишилу» — был также переведен на русский язык («Прогресс», 1972 г.).

Макс фон дер Грюн — автор сборников рассказов «Остановка в пути» («Fahrtunterbrechung», 1965), «Стенограмма» («Stenogramm», 1972), сборника очерков «Люди в Германии» («Menschen in Deutschland», 1973), нескольких пьес для театра и радио, телевизионных сценариев.

В этом номере мы публикуем новый роман писателя «Местами гололед» («Stellenweise Glatteis», Darmstadt, Luchterhand, 1973).

■

ЛУИС СИМПСОН — LOUIS SIMPSON (род. в 1923 г.).

Американский поэт. Дебютировал в 1950 году сборником стихов «Вновь прибывшие» («The Arrivistes»). В последующие годы вышли поэтические книги «Вести о смерти и другие стихи» («Good News of Death and Other Poems», 1955), «В конце открытой дороги» («At the End of the Open Road», 1963) и др. Л. Симпсону принадлежит роман «Дорога по набережной» («Riverside Drive», 1962), он является составителем ряда учебных пособий по истории английской поэзии

За свою поэтическую деятельность Л. Симпсон был в 1964 г. удостоен Пулитцеровской премии.

Публикуемые стихотворения взяты из книги «Избранные стихи» («Selected Poems», New York, Harcourt, Brace & World, Inc., 1965).

■

ЯН ПАРАНДОВСКИЙ — JAN PARANDOWSKI (род. в 1895 г.).

Польский писатель — романист, новеллист, эссеист. Многолетний председатель польского ПЕН-клуба, лауреат Государственной премии ПНР. В 1923 г. окончил Львовский университет. С 1945 г.— профессор кафедры античной культуры. Автор целого ряда произведений, написанных по мотивам древнегреческих мифов и легенд,— «Эрос на Олимпе» («Eros na Olimpie», 1924), «Две весны» («Dwie wiosny», 1927), «Троянская война» («Wojna trojańska», 1930), «Олимпийский диск» («Dysk olimpijski», 1933), эссе, посвященных Леонардо да Винчи, Данте, Флоберу, Анатолю Франсу. В основу нескольких его книг легли воспоминания детства и отрочества.

Перу писателя принадлежат также сборник исторических рассказов «Средиземноморский час» («Godzina śródziemnomorska», 1949), повести «Возвращение к жизни» («Powrót do życia». 1961), «Сентябрьская ночь» («Wrześniowa noc», 1962), сборник рассказов «Акация» («Akacja», 1967) и другие произведения.

На русский язык переведены его повесть «Небо в огнях», книги «Мифология» и «Алхимия слова», в «Иностранной литературе» напечатано эссе «При свете утренней свечи» (№ 12, 1973).

Мы знакомим читателей с книгой Яна Парандовского «Петрарка» («Petrarka», 1954—1955), посвященной важным вехам личной и творческой биографии Франческо Петрарки.

■

ЖАК ФРЕМОНТЬЕ — JAQUES FREMONTIER (род. в 1930 г.).

Французский журналист. Окончил факультет права в Париже. Сотрудничал во многих крупных печатных органах. На французском телевидении им поставлен цикл передач, посвященных проблемам повседневной жизни французов. Автор романа «Колония» («La Colonie», 1967).

Мы публикуем отрывки из его книги «Рабочая крепость: «Рено» («La forteresse ouvrière : Renault»), за которую в 1972 году он был награжден премией имени Поля Вайяна-Кутюрье, присуждаемой за журналистскую работу, которая глубоко раскрывает человеческую и социальную правду, дает честную и смелую информацию. Жак Фремонтье пришел на завод «Рено» во время забастовок в мае 1968 года. Он провел 120 интервью с рабочими и служащими «Рено», изучая условия их жизни и работы, политические взгляды и стремления. «Юманите» отметила мастерство журналиста, с которым Ж. Фремонтье показал картину жизни завода.

ЮРИЙ КОСАЧ (род. в 1909 г. в Киеве).

Украинский писатель, живущий в США. Автор романов «Эней и жизнь других» (1947), «День гнева» (1948), книги «От феодализма к капитализму» (1961), рассказов, пьес. Редактировал журнал «За синим океаном», ныне сотрудник прогрессивной украинской газеты «Украинская жизнь», издающейся в Нью-Йорке.

МАРТТИ ЛАРНИ — MARTTI LARNI (род. в 1909 г.).

Финский писатель, творчество которого хорошо знакомо советским читателям по переведенным на русский язык романам-памфлетам «Четвертый позвонок», «Прекрасная свинарка» (журнальный вариант под названием «Госпожа советница» напечатан в «Иностранной литературе». №№ 8—9, 1960 г.) и «Об этом помалкивают (Разоблачительные признания простодушного)».

Остроумные рассказы, памфлеты, фельетоны и юморески Мартти Ларни часто появляются на страницах советских газет и журналов.

ЛАСЛО НЕМЕТ — NÉMETH LÁSZLÓ (род. в 1901 г.).

Венгерский писатель, лауреат премии имени Кошута.

Произведения Ласло Немета, выдающегося художника слова, социолога, педагога, историка и литературоведа, составляют обширную библиотеку романов и пьес, статей и эссе, воспоминаний и заметок из творческой лаборатории писателя. Наиболее известные романы «Грех» («Bün», 1936), «Эстер Эгетё» («Égetö Eszter», 1956), «Милосердие» («Irgalom», 1965), исторические драмы «Ян Гус» («Husz János», 1948), «Галилей» («Galilei», 1953), «Два Бойяи» («A két Bolyai», 1961) составляют лишь часть этой библиотеки.

Л. Немету принадлежит целый ряд переводов русской и советской литературы.

Советские читатели имели возможность познакомиться с творчеством Ласло Немета по переведенным на русский язык роману «Траур» и пьесе «Галилей».

Публикуемые в этом номере главы из исследования Л. Немета об А. С. Пушкине взяты из книги «Пушкин» («Pushkin», Budapest, Gondalat, 1967).

КРАСИН ВЪЛЧЕВ ХИМИРСКИ (род. в 1938 г.).

Болгарский литературовед, публицист, поэт.

В ряде болгарских и зарубежных журналов и газет, в том числе советских, печатались его статьи, стихи, переводы. В 1971 г. была издана публицистическая книга «Камбоджа борется» («Камбоджа се бори»), написанная К. Химирски в соавторстве с Д. Станишевым.

В настоящее время К. Химирски заканчивает аспирантуру на кафедре теории литературы и литературной критики Академии общественных наук при ЦК КПСС.

Статья «Во имя поющего завтра» написана для нашего журнала.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН (отв. секретарь), **И. Ф. ЗОРИНА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: Москва 109017, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Сдано в набор 3/IV 1974 г. А04914 Подписано к печати 15/V 1974 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2) усл. печ. л.+1 вкл. Уч.-изд. л. 27,38.
Тираж 565.000 экз. (1-й завод—400.000 экз.). Зак. 1210.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394